
КОЛОС

О. В. Аптекман

Общество „ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ"

70-х гг.

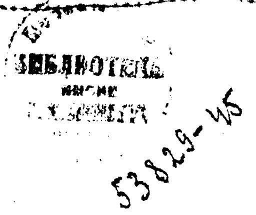
по личным воспоминаниям

2-е исправленное и значительно дополненное издание



ПЕТРОГРАД
«К О Л О С»
1924







Главлит 13.899. Москва. Тираж 4.000.

Типография «9-е ЯНВАРЯ», Серебряническая набер., д. 23а.

ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ТОВАРИЩЕЙ

„Таково во всемирной истории положение героев, которые, создавая своей деятельностью новый мир, приходят в противоречие с старым порядком и разрушают его: они являются нарушителями общественных законов. Поэтому они гибнут, но гибнут, как отдельные лица; их наказание не уничтожает представляемого ими принципа.... принцип торжествует впоследствии, хотя бы в другой форме“.

(**Гегель** о Сократе в „Чтениях по истории философии“).

ОТ АВТОРА.

Воспоминания мои о «Земле и Воле» 70-х годов под названием «Из недавнего прошлого» были написаны еще мною в 1882—83 гг., во время пребывания моего в ссылке в Якутской области.

Я познакомил моих товарищей как в Якутской области, так и в других местах Сибири с содержанием моих записок.

Товарищи настойчиво советовали мне, чтобы я не брал моих записок с собою в Россию, а оставил бы их где-нибудь на сохранение в надежном месте, что я и сделал в Томске в 1886 году при возвращении моем на родину. Из Томска мои воспоминания попали (кажется, через Л. Э. Шишко) в Париж, в библиотеку П. Л. Лаврова.

П. Л. Лавров удостоил мои воспоминания своим вниманием и использовал их в своих «Материалах для истории русского социально-революционного движения», а именно в статьях «Народники-пропагандисты».

Многое из моих воспоминаний также легло в основу известной брошюры Е. А. Серебрякова «Общество Земля и Воля» (раньше этот очерк печатался в упомянутых уже «Материалах» П. Л. Лаврова).

Термины «деревенщина» и «деревенщики», а равно и многие другие технические термины нашей довольно сложной землевольской организации и также много фактического материала позаимствовал из моего «недавнего прошлого» г. Серебряков.

Так: характеристика землевольских поселений, описание структуры нашего Общества, характеристика нашей

деятельности как пропагандистской, так и агитационной среди учащейся молодежи, описание некоторых наших советов и съездов, в том числе и Воронежского,—все это и многое другое вошло в брошюру г. Серебрякова.

В соответственных местах г. Серебряков и ссылается на мои воспоминания, ставит их в кавычки, цитируя их: «неизданные воспоминания землевольца».

Наконец, на мои якутские воспоминания же ссылается неоднократно и Л. Э. Шишко в своих примечаниях к переводу «Истории революционных движений в России» А. Туна.

Таким образом, мои воспоминания, помимо моей воли, стали уже в той или другой форме достоянием печати.

Я очень рад, что они, как материал для истории революционного движения в России, сослужили некоторую службу. Мой труд, значит, не пропал даром.

Настоящие мои воспоминания представляются совершенно переработанными и значительно дополненными. Мои ранние, якутские воспоминания, о которых я выше говорил («Из недавнего прошлого»), конечно, вошли и в настоящие воспоминания. Они местами входят целыми отрывками почти без всяких изменений или с небольшими редакционными или фактическими изменениями. Эти отрывки я ставлю обыкновенно в кавычках, с указанием, откуда этот отрывок взят. Многое же мною написано совершенно *заново*: как по личным моим воспоминаниям, так и на основании кое-каких литературных материалов, имеющих отношение к 70-м годам вообще и периоду «Земли и Воли»—в частности.

Настоящие мои воспоминания, за исключением лишь первых трех глав их, впервые были напечатаны в журнале «Современная Жизнь» (октябрь, ноябрь и декабрь 1906 г. и январь 1907 г.).

Вот список литературных пособий, которыми я пользовался, между прочим, при составлении настоящей моей работы.

1) А. Тун. «История революционного движения в России». (Пользовался *обоими* переводами: с предисл. Плеханова и с примечаниями и дополнениями Шишко).

2) Г. В. Плеханов. Сочинения. Т. I, ч. 1 и 2. 1905 г. Издание Библиотеки научного социализма. Женева.

3) Г. В. Плеханов. «Русский рабочий в революционном движении». Издание второе, испр. и дополн. 1902 г.

4) «За сто лет». В. Л. Бурцев.

5) «Революционная журналистика 70-х годов». Сборник под редакциею Базилевского. Paris, 1905.

6) «Материалы для истории русского социально-революционного движения» X.

7) Общество «Земля и Воля». Е. А. Серебряков. Лондон. Типография «Жизни». 1902 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Мои воспоминания о революционном движении 70-х годов обнимают собою период времени в 10 лет—с начала 1870 года по 1880.

За этот период времени революционное движение завершило почти полный цикл своего развития. Я говорю «почти», потому что в последующие затем ближайшие годы—с 80 по 84 год—жизнь революционной партии стала уже угасать, вспыхивая лишь порою предсмертными судорогами отчаянной борьбы...

С тех пор прошло 25 лет. Оглядываясь назад на путь, пройденный нашей революционной молодежью, мы должны признать, что это был тернистый путь самоотверженной борьбы и геройских подвигов. Много жертв легло на этом пути. Много могильных холмов воздвигнуто на нем. И теперь, 25 лет спустя, когда на нашей родине разыгрывается одна из величайших народных революций, когда старый клич «земля и воля!» раздался по всей родной земле раскатами грома, когда народная расправа готова уже разнести в прах отживающий приказно-крепостнический государственный строй,—теперь, говорю я, с особенной силой и яркостью выступает предо мною то великое дело, которое молодая интеллигенция 70-х годов хотела поднять на свои плечи!.. Ноша оказалась непомерно тяжелая—и революционная молодежь, сокрушенная, пала под ее гнетом... Глубоко трагична судьба этой молодежи. Поучительна история ее революционной борьбы. Будущему историку этого движения предстоит серьезная задача, выяснить с строго-научной объективностью действительные причины его крушения. Я же, как современник этого движения,

скажу вот что: пусть это поражение было, в силу лежавших в основе этого движения причин, неизбежно! И все-таки велико в историческом смысле значение этого движения: оно, во-первых, оставило нам традицию революционной борьбы, стремившейся опереться на народные массы, на трудящийся класс; оно, во-вторых, несмотря на крупные его ошибки и ложные шаги,—а, может быть, именно поэтому,—значительно обогатило наш опыт; оно, наконец, в-третьих, значительно способствовало распространению в обществе тех идей, за которые оно само, это движение, поплатилось своей гибелью. Мы видим, что даже во вторую половину 80-х годов,—в эту эпоху разброда общественных сил и идейного шатания,—многие требования семидесятников, за которые эти последние подвергались преследованию, становятся предметом как публичного суждения, так и законодательных мероприятий. Так, в 70-е годы о безземельи крестьян нельзя было и обмолвиться под страхом тяжкой уголовной кары, а в 80-е годы это уже признается даже официальными сферами.

Обращаясь теперь к моим воспоминаниям, я считаю нужным оговориться. Я буду говорить не только о том, что я видел, слышал, что переживал, в чем, я, как скромный работник, принимал участие, но я намерен еще хоть в общих чертах коснуться тех общих социальных явлений нашей русской действительности, современником которых я был.

Нас окружала определенная, исторически-данная социальная обстановка: пореформенная Россия, с ее политической организацией, экономическим строем, правовыми нормами и общественным движением, в широком смысле этого последнего слова. Как же эта обстановка влияла на нас, семидесятников? Как она отразилась в нашем сознании? Как мы, молодое поколение 70-х годов, реагировали на эту обстановку—и теоретически и практически?

И дальше. Помимо непосредственных воздействий нашей родной русской действительности, на нас посредственно еще влияла западно-европейская жизнь, с

ее особенно выдающимися явлениями того времени: научным социализмом, с его теорией и практикой.

Все это импонировало нам и определило в последнем счете наше направление и нашу окончательную тактику. Обо всем этом мне придется говорить на нижеследующих страницах, так как все это входило в содержание «практической и теоретической мысли» молодежи 70-х годов, выработало определенным образом эту молодежь и решительным образом обусловило ее деятельность. Я буду обо всем этом говорить еще потому, что это входило также в круг личных моих воспоминаний, как интегральная часть того, что я с молодежью пережил и передумал за это десятилетие. Постараюсь быть правдивым.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.

Второе издание является значительно дополненным и переработанным. Дополнения сделаны, главным образом, на основании моих расширенных личных воспоминаний, свидетельства моих товарищей по «Земле и Воле», некоторых данных архива бывших III отделения и Департамента Государственной Полиции, а равно кое-каких литературных источников. Так: совершенно вновь являются главы I, II, III и X[1]). Некоторые силуэты землевольцев в последней главе уже раньше были напечатаны как в первом издании, так и в журнале «Современный Мир» за 1913 год, № 5.

Но, в общем и существенном, в основе второго издания, попрежнему, лежат мои первоначальные воспоминания, написанные под свежим впечатлением, еще в 1882—83 г. в Якутской области (неизданные мои воспоминания под названием «Из недавнего прошлого», о которых я выше говорю) —Скажу пару слов по поводу отзыва о моей книге рецензента г. Т—ина. Мой рецензент («Былое», № 7, 1907 года), совершенно резонно ставит мне на вид, что я не упомянул в моей книге о том, какое громадное значение имело «Положение рабочего класса в России» Н. Флеровского для молодой интеллигенции семидесятых годов.

Смею уверить многоуважаемого рецензента, что я не забыл Флеровского. О, я его хорошо помнил! В Якутской области, когда я впервые писал мои воспоминания, я нарочито, по понятным причинам, не называл имен авторов и лиц, так или иначе, бывших причастными к революционному

---

[1]) II и III главы впервые были напечатаны в журнале „Былое" 1922 г. №№ 18 и 19.

движению 70-х годов, а тем более—непосредственных деятелей. Я,—да не только я один—вся передовая молодежь,—был хорошо осведемлен о том, какие преследования со стороны царского правительства выпали на долю нашего любимого писателя. Я боялся вызвать по отношению к нему новые еще напасти. За границей, когда я готовил мои воспоминания уже в печать, я, тем более, был настороже. Я знал, что Флеровский-Берви в России, в царской России... Во всяком случае, сердечное спасибо г. Т—ину за важное указание. Может быть, я и в самом деле переборщил. Старые навыки, подпольно-конспираторские, сказались здесь. И еще одно объяснение. Г. Т—ин, по поводу моего введения, говорит:—«Литература об Александровской эпохе уже довольно богата, и интерес книги г. Аптекмана нисколько не пострадал бы, если-б при ней не было этого ведения». Совершенно согласен с г. Т—ином. Я сам недоволен этим введением, как опытом исторического очерка «об Александровской эпохе». Но, ведь, я и не думал такой очерк дать. Я хотел лишь констатировать, какое значение имела для нас та эпоха, во всей ее совокупности: показать, как она отразилась и переломилась в моей голове и головах моих совеременников, как мы реагировали на все это, как, в последнем счете, вся эта эпоха, со всеми ее субъективными и объективными моментами, определила наш окончательный путь—революционный. Мог ли я об этом умолчать? Ведь, все это факты исторические, «уроки жизни»! Может-быть, я не верно это истолковал, то обязанность рецензента была—указать на это. А историк должен знать, что об этом думали современники,—если даже они неправильно думали. Voilà tout.—И я, поэтому, оставляю введение.

Автор.

9 мая, 1922 года. Петроград.

ВВЕДЕНИЕ.

Крепостнически-народная политика правительства Александра II. Экономически-буржуазная политика правительства. Настроение пореформенной деревни. Общественное настроение в пореформенной России. Литературные течения в пореформенной России. (60—70 гг.).

С уничтожением крепостного права в хозяйственной жизни России начинается глубокий процесс ликвидации старых ее «устоев» и постепенного созидания новых. Процесс этот совершается медленно, но неуклонно. При поверхностном наблюдении казалось, что «все обстоит благополучно», все—«по старому», «как наши деды и отцы, так и мы». Для вдумчивого же наблюдателя,—а таковой был и в мое время,—было ясно, как день, что в глубинах народной жизни совершается глубокий процесс ломки—рушится старое здание народной жизни, рушатся «устои», «старые законы». Да иначе и не могло быть. Уж в самой «крестьянской реформе»,—этой кардинальной реформе так называемой «эпохи великих реформ»,—скрывались все зародыши неизбежного разрушения.

По манифесту 19 февраля, «свободный хлебопашец» наделяется таким количеством земли, которое должно было не только обеспечить его существование, но и гарантировать ему возможность оставаться «исправным плательщиком» государству. Мягко стелет, да жестко спать. «Свободный хлебопашец», несмотря на то, что он «вольный», получает в надел земли меньше, чем владел в крепостное время. Мало того. Земля в общем худшего качества. Запутанная система максимумов и минимумов наделов вносила с самого начала в дело освобождения крестьян массу недоразумений, замешательств, конфликтов, окончившихся, как ниже увидим, кровавой расправой. Последствия «великой крестьянской реформы» сказались

уже на другой день реформы. Однородное в экономическом отношении крепостное крестьянское население расслаивается: на одном полюсе масса крестьянского населения с сильно урезанным душевым наделом — малоземельные, на другом—значительная группа «хлебопашцев» с «четвертным» или «нищенским» наделом, т.-е. почти что безземельные. Интересы помещиков-крепостников были соблюдены. Это несомненно. Крестьяне, как масса, как сословие, имеющее превратиться в процессе истории в класс, были принесены в жертву жадным аппетитам сословия крепостников,—будущему классу аграриев. Так —

Цепь великая ударила
Одним концом по барину, другим—по мужику"...

«Барин» нас пока мало интересует, а «мужик»..... на это ответил страшным взрывом народного негодования. Веками лелеянная народом надежда на землю и волю разбита. Где она, эта столь желанная земля и воля? И «дни великого гнева» настали уж на другой день крестьянской «воли»: вспыхнул целый ряд бунтов, беспощадно залитых народною кровью. Они, эти бунты, обнимают собою целые уезды, много волостей сплошь. Красной, кровавой нитью проходят они через все «десятилетие великих реформ», и последние запоздалые волны этих бунтов доходят до нас еще в течение первой половины 70-х годов.

Я отмечу здесь лишь более крупные из этих крестьянских волнений.

В 1861 году в Бездне, Казанской губернии, вспыхнуло под предводительством Антона Петрова форменное восстание, в котором принимало участие 10 тысяч крестьян. В ход пущена полевая артиллерия. Убито до 100 крестьян. Антон Петров казнен 19 апреля того же года. В том же году волнения в Воронежской губ., убито 40 чел. крестьян Далее: волнения в Пензенской губ., много убитых, раненых, наказанных шпицрутенами сквозь строй, наказанных розгами, сосланных и проч.

Можно без преувеличения сказать, что во время освобождения крестьян не было ни одной губернии или уезда, где бы не происходили крестьянские беспорядки в той или другой форме, с обычными их спутниками—военными экзе-

куциями, постоями, тюремным заключением, ссылками и разорением. В 1862 году снова крестьянские волнения в Волынской, Курской и других губерниях. Крестьянские беспорядки не прекращаются, как мы выше уже говорили, вплоть до второй половины семидесятых годов: они вспыхивают периодически то там, то сям в Киевской губ. (бунт чигиринских крестьян).

Мы будем близки к истине, если скажем, что крестьянская реформа не была реформой «эпохи великих реформ», данной крестьянам «сверху» сердобольным Александром II. Нет! это была «крестьянская война», растянувшаяся на 1½ десятка слишком лет; война, в которой высказался протест народа против многовекового гнета крепостническиполицейского государственного строя....

Крестьянские волнения, стихийные и разрозненные, были повсеместно задушены, «порядок восстановлен». В деревне воцарилась «тишь и гладь». Но это только казалось. Разрушительный процесс начинающегося оскудения деревни все наростал и наростал. Надвигалось новое народное бедствие,—тоже стихийное и неумолимо жестокое.

Я говорю о народных голодовках. Первая голодовка «пореформенной России» появилась уже 6—7 лет после «воли», т.-е. в 1867—68 гг. Она охватила девять губерний: пять—северных и четыре—центральных.

Вторая голодовка упала на нас, как снег на голову: ее открыл Лев Толстой. Это—страшный голод Самарской губ. в 1873—74 гг.

Начиная с 80-х годов,—скажу я в скобках,—голодовки все более и более учащаются, периоды их появления сокращаются; они захватывают все большие и большие пространства нашей родины, поражая десятки миллионов жителей и унося сотни тысяч до миллиона жертв—от голода непосредственно,—во-первых, и от роковых его спутников—«голодного тифа», цынги и прочих болезней,—во-вторых. Голодовка и смерть от них становятся хроническими......

О, поле, поле, кто тебя усеял так мертвыми костями?

Наши голодовки, это—настоящие общественные катастрофы, периодически появляющиеся с железною необходимостью естественного закона.

Каждая такая катастрофа подтачивает в корне народное хозяйство, расшатывая постепенно «исконные народные устои».

Но ни одними катастрофами проявлялся процесс ликвидации старого порядка деревни. Параллельно и одновременно с этим в том же направлении действовали и другие моменты. Укажем на более важные: 1. Семейные разделы. Падение крепостного права уничтожило правовую зависимость крестьян от помещиков, как от «командующего класса». И хотя бесправие крестьян по отношению к государству сохранилось еще в полной силе, уничтожение крепостного права все-таки было шагом вперед в смысле начинающегося пробуждения правового сознания в массе, а в особенности в молодом поколении, выросшем «на воле». Молодое поколение скоро показало это. Проснувшееся в нем сознание человеческого достоинства, сознание личности, особенно ярко сказалось в быстро последовавших за освождением крестьян «разделах семьи». «Сыны» восстали против «отцов»». «В доброе старое время»—время крепостного права,—это было немыслимо. Крепостной гнет держал семью крестьянскую в ежевых рукавицах—семейные разделы строго воспрещались. И крестьяне жили тогда «большими семьями».

С падением же крепостного права, внешняя, сплачивающая и сдерживающая семью сила исчезла. «Старики», как ревностные хранители обычаев, традиций (как отцы, так и мы) головою стояли за единую, нераздельную семью: раздел, это-де раззор. Молодежь соглашалась с этим, но жажда свободы, озлобление против опеки,—одним словом, чувство собственного достоинства властно требовало раздела, хотя бы дорогою ценою хозяйственного разорения. И разделы совершались с такой, можно сказать, головокружительной стремительностью, что уже в начале 70-х годов можно было в любом селе, при въезде в него, увидеть «новые поселочки», «порядки», с маленькими, словно на курьих ножках, избушками (издебками), ютящимися где-то за селом, «за околицей», или вокруг оврага—«на бутырках». Ни «двора», ни «надворных построек», каких-нибудь. Это — своего рода

импровизированные «шатры», куда «беспокойный Израиль» новой деревни собрался «на всякий случай».

Это—поселения «одиноких», «маломощных» семей. Это—резервная армия нашего сельского пролетариата. Она еще не готова, но она уже формируется. Достаточно одного неурожая или иного какого-либо несчастного случая—и белыми нитками сшитое хозяйство рассыпается в прах: надел, «душа», сдается в «опчество», избенка заколачивается, и «хозяева», как вольные птички, снимаются и уходят—«в батраки», «в казаки», куда-нибудь «наймоваться».

Разделы эти, само собою, сильно расшатывают хозяйственную независимость «старых» семей, подготовляя разложение патриархально-крепостнической семьи. Навстречу семейным разделам идет другой процесс распада старого уклада жизни:

1. Бегство крестьян из деревень. «Бегут врозь» целые семьи, деревни и общества. Бегут потому, что «тесно стало». Замечательно, что это бегство началось еще в первое 10-летие «великих реформ»—в 1868 году. По официальным сведениям, крестьяне трех волостей Смоленской губернии «крестьяне-одиночки», обремененные семействами,—по словам официального репортера (исправника),—распродав свое имущество, движимое и недвижимое, переселяются в другие губернии. Дома жить нечем: малоземелье, безысходная нужда и голод. Их ловят и возвращают назад, а они с тупым отчаянным упорством твердят: «убегем!» «Все равно пропадать!» Им грозят тюрьмою, а они с стоическим спокойствием стоят на своем, «лбами уперлись»: предпочитают тюремный хлеб домашнему голоду.

Так действовало на деревенские «устои» «малоземелье».

2. Фиск обостряет, усиливает и углубляет еще больше начавшийся процесс разложения в деревне. По отношению к крестьянам, как мы знаем, государство стало в чисто-крепостнические оброчные отношения: высокие выкупные платежи и масса других денежных повинностей, падающих непосредственно на землю, «на душу», поглощают не только весь доход крестьянина с надела, но крестьянину, для удовлетворения

государственных нужд и для поддержания своего полуголодного существования, приходится посторонними заработками, «отхожими промыслами», вырабатывать еще в $1\frac{1}{2}$—2 раза больше, чем дает ему доход с его надела. (См. «Опыт статистического исследования о наделах и платежах», проф. Янсона). А это приводит неизбежно к одному: слабый, «маломощный», «однолошадный» хозяин, изнемогая под тяжестью платежей государственных, бросает свою землю и сдает ее обществу, «миру». Этим путем создается:

3. Концентрация общественной, «мирской» земли в руках богатых, «хозяйственных мужиков»-односельчан. Образуется группа «кулаков», орудующих нередко довольно большими участками «надельной земли» и ведущих свое хозяйство с наемными рабочими, которых ему нетрудно найти на своем же деревенском рабочем рынке. Так, при формальном существовании общественной, «мирской», «общинной, земли, долженствующей обеспечить землею равномерно всех односельчан, фактически надельная земля может оказаться в руках десятка-другого «кулаков». De jure существует общество, экономически и юридически ответственное пред государством, de facto же это общество—фикция: господствует экономически и юридически кучка кулаков, деревенских капиталистов, которые, присосавшись к обществу, вершат все дела—как внутри общины, так и вне ее.

В окончательном итоге положение крестьян, в связи и зависимости от «крестьянской реформы», было таково:

А. В области экономической: малоземелье—в общем; крайний недостаток в луговых, выгонных и сеянных угодьях—в частности. При малоземельи—земля не всегда удовлетворительного качества: лучшие земли отошли к помещикам. Масса «отрезков» окружает железным кольцом крестьянские земли, так что крестьянам негде повернуться, чтобы не натолкнуться на помещичью чересполосицу. Недостаток земли, в связи с громадной ее обложенностью, роковым образом ведет к выпахиванию ее, к понижению ее плодородия, а это в свою очередь вызывает недороды и неурожаи. За недородами и неурожаями следует по стопам хроническое не-

доедание и острая голодовка. Первое подрывает общее питание организма, порождает хронический маразм, способствует физическому вырождению; а это в общей совокупности увеличивает общую смертность, а в особенности—детскую. Второе—голод—действует остро, кося жизнь на право и на лево. Каждая такая периодически возвращающаяся голодовка оставляет после себя все большие и большие дефекты в экономическом и санитарном состояниях народного организма. Экономические дефекты, накопляясь, подрывают все более и более благосостояние отдельных крестьянских хозяйств, еще раньше ослабленных малоземельем и фиском, что в дальнейшем приводит, с одной стороны к фактическому полному обезземелению одной группы населения,—порою значительной,—и к сосредоточению земли в руках сравнительно немногочисленной группы населения—с другой. Однородная в крепостное время экономическая структура деревни решительно идет, под влиянием крепостническо-народной политики правительства, к расслоению, и это расслоение становится все глубже и глубже с ростом фискального гнета. В пореформенной деревне образуются две диаметрально противоположные по своим хозяйственным интересам группы: группа «хозяйственных» мужиков и группа «маломощных», «бесхозяйных».

Община, где она есть, не представляет достаточно надежной защиты своему общиннику против фактической его экспроприации и превращения его в пролетария. Это—потому, что община, в силу круговой поруки, является исключительно юридически-ответственным лицом пред всесильным азиатским фиском. Община, под давлением фиска, фактически превращается в крепостнически-деревенский «приказ», опекающий, угнетающий и стерегущий, как тюремщик, своего общинника. Под влиянием этого двойного гнета, государства и общины, в общиннике прежде всего зажигается ненависть и отвращение к своему обществу, как к ближайшему своему угнетателю. В общиннике просыпается чувство собственного достоинства, просыпается неудержимое стремление разбить тесные рамки своего крестьянского житья-бытья. И общинник бежит вон из деревни, угнетающей и обезличивающей его. Тягловую «душу»

свою он сдает «миру», а собственную свою душу он спасает бегством. В окончательном счете—бегство односельчан подрывает самые «устои» общины.

В. В юридической сфере. Уничтожение крепостного права,—«воля», по меткому выражению народа,—еще не означало полного раскрепощения крестьян. Крестьяне, попрежнему, остались в значительной мере и de jure крепостными: «крепкими земле» сложною и запутанной сетью «крестьянского уложения», со всеми его исключительно сословными правовыми нормами, превратившими их в «податное», исключительно «оброчное», «тягловое» сословие. В правовом отношении наш пореформенный крестьянин не выше стоит, так называемых, «лишенных прав и состояния». Уж одно сохранение телесного наказания в крестьянской юрисдикции почти уравнивает крестьянина с ссыльно-поселенцами и каторжными.

Мы видели, как пагубно отразилось крепостнически-народная политика,—экономическая и правовая, — на всем крестьянском пореформенном строе. Нам следует теперь рассмотреть, какое влияние на крестьянскую жизнь имела экономическая политика правительства, объектом которой служил не народ непосредственно, а средний класс, или, точнее, торгово-промышленное сословие. Если крестьяне были пасынком царского правительства; если «крестьянскую реформу»,—освобождение,—народу бросили «сверху», как обглоданную кость злому изголодавшемуся псу,—то, наоборот, нашему торгово-промышленному сословию во все время царствования Александра II весьма посчастливилось. Оно, «чумазое», стало любимцем, persona grata «Царя-Освободителя». Его, «чумазого», стали выводить в люди, в «общество». Оно сделалось сразу необходимым «нужным человеком».

На молодую нашу буржуазию стали, как из рога изобилия, сыпаться царские щедроты. Железнодорожные концессии, гарантии, покровительственные тарифы, всяческие акционерные компании, банки и проч.,—все это быстро выростало, как грибы после дождя. На сцену выступают новые люди,—«дельцы», к которым в качестве приказчиков пристраивается наше «родовитое дворянство». Да как же иначе? Дерунову нужна ширма, «протекция», «имя». И вот во главе

разных предприятий красуются имена графов, баронов, князей, в том числе и «великих князей»,—под сурдинкой, конечно,—и разных других высшего ранга сановников.

Капиталистически-предпринимательская горячка все растет и растет. Она становится заразительной. Она втягивает в сферу своей деятельности и «либеральные» элементы нашего общества.

«Либеральное» земство и «отцы городов» сами вовлекаются в предпринимательский круговорот: организуют акционерные общества, ходатайствуют для себя концессии,—конечно, все это не для себя, а для народа—все для народа!—и, ухлопавши уйму народных денег, строят плохие железные дороги, разоряя народ вконец.

Но буржуазии не только нужна материальная поддержка и покровительство «сверху»,—она не менее того нуждается в содействии и помощи знания, науки, а также и текущей прессы. И вот либеральная пресса—научная, публицистическая и газетная—решительно санкционирует капиталистические предприятия, пропагандируя их urbi et orbi. «Идеологи» и «практики» буржуазии подают друг другу руки и идут по одной дорожке. Правительство, буржуазия и либералы образуют, таким образом, концерт реальных сил. Картина умилительная.

И работа закипела и в городах, и в деревнях—повсюду.

Оставим город в стороне и посмотрим, какие завоевания сделала молодая буржуазия в деревне. Прежде всего, она являлась в деревню, как обладательница торгового капитала, и энергично занялась куплей-продажей. Она покупает охотно все, но прежде всего хлеб. Железные дороги, с подъездными путями, пароходы облегчают транспорт в ближайшие торговые центры, для отправки за границу.

Хлебный экспорт из года в год все растет и растет. «Торговый баланс» преуспевает. Правда, с вывозом за границу зерновых хлебов, земля, при существующих агрикультурных условиях, все более и более истощается.

Но что же делать? Лес рубят—щепки летят. Капиталист продолжает свою работу. Не о едином хлебе он бывает жив. В деревнях спокон веку существовали, так называемые, домашние промыслы. Капиталист и их облюбовал: в «золотых руках» его—а у капиталиста уж несомненно

руки золотые,—домашние промыслы легко могут превратиться в солидную статью дохода. Сказано—сделано. Торговый капитал постепенно овладел этими промыслами. В качестве же промышленного капитала, при дальнейшем росте этого последнего, он разъединяет производителя домашних промыслов от его орудий производства, превращая первого в наемного рабочего — в пролетария.

Таким образом, как в качестве ростовщичьего и торгового капитала, так и еще более в качестве промышленого капитала, тенденция деревенского капитала остается неизменно одна и та же, а именно: наростающая капитализация домашних промыслов. Таково непосредственное воздействие капитала на деревню. Но и посредственное влияние как разрушающее, так и созидающее, капитала в деревне тоже чрезвычайно велико,—все равно: является ли капитал в деревне, как капитал земледельческий, в собственном смысле этого слова, или, как капитал добывающей и обрабатывающей промышленности. Во всех этих случаях он не только создает новые производительные отношения, но нередко создает новые подсобные отрасли труда для самой деревни. Приложением капитала к разнообразным отраслям промышленности, кроме земледельческой, вызываются к жизни новые городские промышленные рынки, для привлечения избыточного в деревне населения в город. Между деревней и городом устанавливаются опять-таки совершенно новые отношения. Город становится центром тяготения для деревни. Прежняя обособленность деревни мало-по-малу исчезает. Мало того. Там, где вокруг деревень возникают промышленные учреждения, вырастают совершенно новые деревни, новые поселки, разростающиеся с течением времени в новые города, с совсем особенным пролетарско-фабрично-заводским населением, порывающим нередко всякую связь как материальную, так и духовную, с своей деревней-метрополией. Да и сама метрополия совершенно преображается. «Рубль» и «купон» вдохнули новую жизнь в архаическую деревенскую «тишь и гладь». «Рупь» в глазах деревни вырастает в громадную, мистически-чудодейственную силу.

Патриархальная простота отношений как в семье, так и в деревне, заменяется сложными, запутанными отношениями. Индивидуализм вырастает, как антитеза первобытному чувству солидарности и согласия в дореформенной семье и общине. Семейные узы и общественные связи, под напором капитала, расслабляются и рвутся. Таково непосредственное и посредственное действие капитала на деревню.

Резюмируем сказанное.

Буржуазно-экономическая политика правительства Александра II, поставившая себе ближайшей целью развить в России крупную капиталистическую промышленность, воздействовала на деревню в смысле дезорганизации ее «исконных устоев» еще более решительно, чем крепостнически-мужицкая политика того же правительства. Наше «первоначальное капиталистическое накопление» прежде всего отразилось на громадном росте нашего государственного бюджета, расплачиваться за который своими боками приходилось исключительно «податной» деревне. И без того надорванные крестьянской реформой, производительные силы деревни еще более ускоренным темпом идут на-убыль. Производительные силы деревни с каждым годом все более и более падают и истощаются. А это одно уже ведет к роковому падению «старого порядка» в деревне. Одновременно с этим, в том же направлении, хотя и более медленно, неуклонно действует все развивающаяся и наростающая новая экономическая сила деревни—капитал. Последний не только разрушает, но и трансформирует деревню—и трансформирует ее во всех направлениях. Начатое первоначально государством расслоение деревни ведется далее неукоснительно и последовательно уж капиталом, как таковым, в силу присущих ему одному, т.-е. капиталу, тенденций. Прежде совершенно сплошная и сплоченная, деревня теперь превращается, под влиянием капитала, в деревню, так сказать, полиморфную, разрозненную и антагонистическую. Такова была деревня в семидесятые годы.

Мы познакомились с социальным положением пореформенной деревни. Каково же было тогда настроение де-

ревни? Как она реагировала на «новые» порядки? Мы уже знаем, как народ отнесся к кардинальной реформе «эпохи великих реформ»—к крестьянской реформе. Восстаниями, бунтами и всяческими беспорядками ответил он уже на другой день «19 февраля». Горькое разочарование, обида, негодование и отчаяние вылились в этих бурных и кровавых протестах... Десятки, сотни лет—

«Гремя цепьми, склонивши выю,
«Он молился за царя!...»

Он молился, верил и надеялся! Молитва его не дошла до бога, вера в царя не оправдалась, надежды оказались тщетными... Ни земли, ни воли!.. Будущее рисуется народу в самом мрачном виде. А беспросветное будущее, в форме грозного сфинкса, уже надвигается на него.

«Разгадай меня или я съем тебя!»—неумолимо взывает к нему этот сфинкс. Где же ему, «серому и темному», разгадать этот сфинкс?..

Сфинкс—это «новые» времена, «новые» порядки. А новые времена вышли «тяжелыми», новые порядки—«мудреными». «Жить стало тесно!»—жалуется деревня. «Деваться некуда!»—вопиет деревня. И эхо многомиллионными переливами разносит этот крик народного отчаяния, народного горя по всей русской земле, превращаясь «в стон бесконечный!...» А все более усложняющиеся условия существования императивно предъявляют народу все новые и новые требования, все более трудные и сложные задачи. Требования должны быть исполнены, задачи разрешены «хоть разрывайся!.. А то помирать приходится!..» И мечется наша деревня, словно ошалелая, во все стороны. Вечные страхи, опасения и тревоги. Вечная забота. Масса всевозможных «слухов», обманчивых и фанатастических, особенно слухов о «переделке» земли. Откуда эти слухи? Их рождает напряженное народное настроение. Ропщет народ. Недоволен. Истрепался, изнервничался.

«Слаб народ стал!..»—жалуются «старики».

Раньше люди привыкли к о п р е д е л е н н о м у обиходу жизни, к прочному порядку, к установившемуся положению. Раньше крепостной гнет все уравнивал. Он же их и объединял: и в общих радостях, и в общем

горе, и в вековом многотерпении, и в великих «днях гнева»... Теперь не то. Новая полоса жизни пошла. И какая жизнь! Рознь пошла между людьми: рознь в семье, рознь в «обществе». Сговориться не могут. Каждый в свою сторону тянет. «Каторга!»—злобно ворчит молодое деревенское поколение, почуявшее уже свободу, и телом и душою стремившееся вырваться вон из опостылевшей ему деревенской жизни...

И люди, как в старину, при нашествии ордынцев, «разбегаются врозь». И по мере того, как новые условия жизни выясняются, по мере того, как она, эта жизнь, все более и более осмысливается, растет и крепнет народная дума. Новые формы жизни кристаллизуются, а с ними отливаются в соответственные формы и новые понятия, новые потребности и новые стремления. Сознание растет. Воля пробуждается. На старое, ветхое народ махнул рукою. Он ищет нового, новых путей. На людей надо посмотреть и себя показать.

Лицом в грязь, небось, не ударим!.. Пробуждается потребность к «грамоте» («грамотному—куда способнее!»), к знанию; появляется интерес к газете и книжке.

Самым ярким выражением начинавшегося умственного пробуждения народа надо считать сектантство 60-х и 70-х годов.

Я говорю о новом сектантстве — о штундистах, шелапутах, «не наших», «молчальниках» и проч. сектах, зародившихся вскоре после падения крепостного права и появления новых порядков в деревне. Появление этих сект в это именно время—отнюдь не случайное явление. Повсюду и всегда, во времена крупных общественных переворотов в жизни массы, подымается в массе идейное брожение, облекающееся обыкновенно в форму религиозно-нравственных, религиозно-мистических, — порою и изуверски-диких,—учений. При ближайшем, однако, анализе этих учений, в них вскрывается обыкновенно одна неизменно основная тенденция, это — резкий протест личности против существующего строя,—во-1-х, и страстное стремление личности к «новой правде», согласно с которой она, личность, перестраивает свою жизнь,—во-2-х.

Таково и значение нашего сектантства. Грандиозная общественная ломка, совершившаяся с такой сокрушительной силой на глазах наиболее мощной в умственном и нравственном отношениях части русского народа, поставила пред ней роковой вопрос: что делать? Как устроить свою жизнь иначе? В жизни много зла. Мир утопает в грехах. Много ненависти, розни и антагонизма.

«Како жити свято?» Как спастись от окончательного растления? Ответом на это явилось сектантство, как учение, сектантская община, как форма реализации этого учения, как практика.

Вместо грубо-эгоистического принципа: «спасайся, кто может!» она внесла в свои личные и общественные отношения глубоко-гуманный и неумирающий принцип—«положити души своя за други своя!».

Значение сектантства, как социального явления, исключительно симптоматическое: оно указывает на кроющиеся в структуре общества аномалии и противоречия. Доктрина и форма борьбы сектантства имеют чисто историческое значение: это—социалистические пережитки мышления и практики. Остается значение сектантства, как показателя народного настроения в известную историческую эпоху.

В связи с другими подобного рода симптомами, оно—сектантство, рисует деревню 70-х годов мятущейся, ищущей, недовольной и оппозиционной.

«Либеральные реформы» правительства Александра II не тольке не удовлетворили интеллигентного общества, но вскоре совершенно оттолкнули его от этого двуличного, слабого, то-и-дело меняющего свой курс правительства.

Установившееся было между обществом и либеральным правительством entente cordiale совершенно порвалось. Прошло «десять лет реформ», а «венца здания» нет—как нет. И увлечение «либеральными начинаниями», и вера в «благие намерения» правительства стали проходить. «Облетели цветы, догорели огни».

И по мере того, как правительство самым решительным образом выступает на путь реакции, урезывая, искажая и совсем отымая у общества то, что оно только, так сказать, накануне дало ему, общество становится все более и более оппозиционным.

Оно открыто заявляет свое недовольство. Оно начинает даже фрондировать. Дворянские общества, городские и земские учреждения «бьют челом» царю по тому или другому поводу. Конституционный адрес петербургского дворянства в 1865 году. Адрес московской думы о свободе печати (1870 г.). Ходатайство московского дворянства об упразднении административной ссылки в 1872 г. Адрес харьковского земства, составленный проф. Гордеенко, в 1878 г. Конституционный адрес черниговского губернского земства в 1879 г. Инициатор этого адреса И. И. Петрункевич сослан административным порядком на север. И т. д., и т. д. В ответ на все эти «челобитни», «ходатайства» и адресы—административные кары и взыскания, репрессии и репрессии, безумные и суровые. Реакция все более и более затягивает свою мертвую петлю над страной.

Выдающиеся общественные деятели, городские и земские, подвергаются тяжелым карам: удаляются, смещаются с должностей, заточаются в тюрьмы и отправляются в ссылку.

Характерна крайняя неискренность всей «внутренней политики» правительства: вечные шатания и колебания, — однако, с основной тенденцией—к светобоязни и мракобесию. К концу 70-х годов «великие реформы»—крестьянская, земская, судебная и проч.,—оказались дотого искалеченными и урезанными разными «циркулярами» и «административными усмотрениями», что в них «либерального» и одного грана не осталось. «Славное царствование» Александра III подготовлялось весьма основательно.

Единственные организованные общественные силы того времени,—дворянство, города и земства,—пользовавшиеся правом «челобитных» на Высочайшее имя, с одной стороны, и обжалования действий «предержащих властей»—с другой,—были тогда слабы, как класс, а потому и все их, более чем скромные, протесты оставались «без последствий».

Организованного общественного мнения, как мнения вполне дифференцированного класса, тогда еще не было. Стало-быть, и организованного активного противодействия реакционному правительству тогда и не могло быть. Всякие надежды на «правовой порядок» были оставлены.

Общество впало в отчаяние. Апатия овладела им.

Уничтожение крепостного права объединило все прогрессивные элементы нашей интеллигенции. Литература, как выразительница общественных стремлений, была охвачена тогда одной доминирующей идеей, одним цельным настроением. Подъем интеллигентной мысли и интеллигентного чувства был на значительной высоте. Это было в первую половину 60-х годов. Наша литература переживала тогда хорошее время. Это была пора «бурных стремлений и натиска». Освобождение крестьян означало освобождение человека, личности от всякого гнета, — гнета семейного и общественного, гнета традиций и авторитета. Зарождается и развивается нигилизм, как самое яркое выражение протеста со стороны интеллигентного разночинца. Пришел разночинец, сильный, гордый и смелый. Он почуял свободу и взял быка за рога.

Падают авторитеты. Рушатся традиции. Идет решительная «переоценка всех ценностей». Проблемы философии и жизни, теории и практики подвергаются смелой критике. Реальное мышление и автономная личность— гвоздь философской доктрины разночинца. Самым мощным и талантливым представителем этого направления был Писарев. Популярность его громадная. Сторонников у него масса. Да оно и понятно. Это была «идеология» «мыслящего пролетария», этого совершенно нового тогда общественного наслоения, выкристаллизовавшегося лишь по уничтожении крепостного права и лишенного всяких сословных традиций и связей. Разночинцы, это—общественная группа без резко определенных границ, лишенная определенной социальной

структуры, По аналогии, мы бы ее, эту группу, назвали эмбриональной социальной тканью, из которой уже дальнейший процесс развития выделяет и обособляет резко оформленные образования.

В 60-х годах, повторяю, разночинская группа именно была такая—эмбриональная, не вполне дифференцированная еще. Вот почему и ее идеология im Grossen und Ganzen носила характер над-сословный. Но вскрывая абстрактную оболочку этой идеологии, мы находим в ней черты, значительно сближающие ее с идеологией либерально-буржуазной. И это совершенно понятно. Буржуазия, как класс, тоже только что «вылупилась». Ее экономические тенденции еще не определились, ее идеология не оформилась. Она только собирала свои силы, выпрямлялась. И свобода личности, свобода от всяких ограничений и определений исторически-данных конкретных условий,—символ веры «мыслящего пролетария»,—была ей, народившейся только .буржуазии, как-раз на-руку. Laissez faire laissez passer. Так же легко приемлемым в пользу буржуазии был и другой «член» разночинской «верую» писаревского «толка»—«реализм», «реальное мышление», с горячей пропагандой натуралистических знаний. Ведь и реализм и естествознание—орудие победы над природою, орудие, подымающее производительные силы человека, как экономической единицы общества. А это именно прежде всего и нужно буржуазии. Этим орудием она у нас, как это и повсюду было, воспользуется первая. Конечно, ни Писарев, ни разночинская идеология его направления совсем не подозревали в то время, кому они служат ближайшим образом. Шла энергичная ломка старого и дружное построение нового. И «каменьщикам» легко могло казаться, что они новое здание готовят для «народа», для массы, а не для меньшинства.

Говоря, что разночинская группа 60-х годов еще не была «вполне дифференцирована», я хотел сказать, что процесс расслоения в ней уже начался. И действительно. Уже в первое 5-летие 60-х годов, из разночинской массы выделилась заметная группа, с совершенно иным, чем писаревское, учением. Мы говорим о народниче-

ской доктрине литераторов «Современника» с Чернышевским и Добролюбовым во главе. Обаяние этих двух «учителей жизни» на известные слои нашей интеллигенции было неотразимо. Оно чувствовалось еще и в течение 70-х годов.

Беспощадная критика капиталистического строя Чернышевского, страстная, почти религиозная, проповедь народнических идей Добролюбова действовали захватывающим образом.

Особенно Добролюбов в своих критических и публицистических статьях горячо, ярко и прямолинейно противопоставлял интересы народа интересам других классов.

В некоторых своих статьях,—которых, к сожалению, я не имею теперь под-рукой,—он доходит прямо до вдохновения, говоря о народе. Он не только любил народ «всеми фибрами» своей благородной души: он глубоко уважал народ и страстно учил других уважать его. Он прямо звал в народ, указывая, что у народа можно многому чему научиться.

А его злая ирония, его «Свисток», которым он беспощадно бичевал либеральную посредственность и либеральное прекраснодушие!.... Он не давал уснуть человеческой мысли, он не позволял усыплять ее. Он ненавидел фразу, «гнилые слова» (собственное выражение Добролюбова), а властно звал на «дело»—на народное дело.

«Я ваш, друзья, хочу быть вашим,
«На борьбу и битву я готов,
«Лишь бы начать в союзе нашем
«Живое дело вместо слов!...»

Такими словами звал Добролюбов разночинца на дело. И крайнее левое крыло разночинцев отозвалось на этот благородный клич.

«Земля и Воля!» 60-х годов—духовное детище Добролюбова.

В 70-х годах литературные течения,—так называемые, литературные партии,—определились еще более резко. Да иначе и быть не могло. За это время процесс общественного расслоения вполне обозначился. Уже можно было ви-

деть направление, к которому тяготеют разные слои общества. И литература 70-х годов отразила эти тенденции, обобщила и оформила их.

Если оставить в стороне литературу реакционную, консервативную и рептильную со Страстного бульвара и задворков петербургского общества, то пред нами встают два литературных направления, с высоким удельным весом, имевшие, поэтому, значительное влияние на общественное мнение и настроение.

Я говорю о либерально-прогрессивной литературе и народнически-радикальной.

Представителями первого направления служат «Вестник Европы», «Дело» (70-х годов) и др.

В ряду названных органов первенствующее место несомненно принадлежит «Вестнику Европы», как вполне выдержанному в идейном отношении органу. А потому ограничимся лишь беглой характеристикой только этого органа.

Вокруг «Вестника Европы» группировались выдающиеся ученые, публицисты и литераторы: Стасюлевич, Пыпин, Кавелин, Арсеньев, Головачев, Сеченов, Утин, Слонимский, Кони и проч.

Не касаясь философского миросозерцания органа,— трудно, впрочем, поддающегося определению, так как рядом с идеалистическими статьями Кавелина о психологии, этике и проч. идет ряд статей на ту же тему чисто материалистического характера проф. Сеченова,— мы скажем несколько слов о социально-этической его доктрине. В этом отношении «Вестник Европы» является последовательным проводником идей западно-европейского «либерализма».

Правда, орган никогда прямо не высказывал своего политического credo, но лейтмотив его направления легко выдает это credo. Чрез все его обозрения, хроники и другие публицистические статьи красной нитью проходит один и тот же лейтмотив: «правовой порядок», законность, защита свободы совести, свободы слова и печати, общественный контроль, защита труда, проповедь просвещения и гуманности,—одним словом, «Вестник Европы»—орган нашей просвещенной либеральной буржуазии.

Нужно отдать справедливость «Вестнику Европы», что он оставался верен самому себе и непоколебимо стоял на своем гуманитарно-либеральном посту. Раз только,— замечу в скобках,—«Вестник Европы» изменил себе. Это было, если не ошибаюсь, в декабрьской книжке журнала за 1876 год. В своем «Внутреннем Обозрении» орган, по поводу казанской демонстрации 6 декабря, разразился такой филиппикой против революционной партии, которая скорее пристала бы публицистам Страстного бульвара.....

Нам, семидесятникам, выступавшим тогда как-раз на революционно-народнический путь, такое злобное отношение со стороны всегда довольно корректного органа казалось и обидным и несправедливым. Много лет спустя, а именно в 1886 году, я проездом был в Томске, где виделся, между прочим, с покойным Станюковичем. Последний объяснил эту выходку «Вестника Европы» случайностью—непредвиденным в то время отсутствием ответственного редактора, Стасюлевича, выехавшего тогда за границу. Сам Стасюлевич,—уверял меня Станюкович,—никоим образом не допустил бы такого коленца. Может-быть, это и так.

Народнически-радикальная литературная партия группировалась вокруг «Отечественных Записок». Оставаясь верными великим традициям «Современника», «Отеч. Зап.» почти безраздельно «властвовали над умами» той эпохи. Влияние их было громадно. Целое поколение, поколение 70-х годов, энергичное и боевое, считало «Отеч. Зап.» почти что своим органом. Семидесятые годы поставили пред нашей молодой разночинской интеллигенцией целый ряд важных проблем—и философских и социальных.

Чуткие к запросам жизни, «Отеч. Зап.» сделали эти вопросы своими вопросами, своим делом, которому они долго, славно служили, оставаясь непреклонно на своем боевом посту.

Значительная группа крупных мыслителей, высокоталантливых публицистов и художников энергично взялась за эту работу. И голос этих людей властно раздавался по России. Их слушали не только молодежь: и старшее поколение разночинцев, и все интеллигентное общество с глубоким интересом прислушивались к этому авторитетному голосу. Журнал читался нарасхват. Каждая новая книжка

журнала ожидалась с нетерпением. Что скажут Михайловский и Лавров? Что напишут Щедрин и Грыцько (Елисеев)? Что подарят нам Некрасов, Успенский, Златовратский и другие? Между журналом и читателем устанавливаются самые тесные отношения,—отношения *взаимного понимания общности задач и стремлений*. Мало того. По мере того, как молодая разночинская молодежь вырастала и выпрямлялась, по мере того, как она все решительнее и решительнее выступала на революционный путь,—она, эта молодежь, уже в свою очередь толкала,—по крайней мере, в *идейном* отношении,—своих учителей в желательном для нее, молодежи, направлении. Попутно скажем, это влияние революционной молодежи на журнал особенно сказалось во *вторую и третью* стадии развития революционного движения молодежи 70-х годов.

Таково было значение народническо-радикальной литературной партии *в общем*.

Познакомимся теперь поближе с ее работой. Большая это была работа. В центре ее стоит опять-таки народ, «пореформенный мужик», со всеми его радостями и печалями, с его помыслами и стремлениями,—одним словом, со всей его обиходной жизнью. Пред нами теперь во весь рост выступает фигура того «таинственного незнакомца», который еще с 60-х годов приковал к себе внимание разночинца. И вот черта за чертой, штрих за штрихом—и пред нами развертывается безысходная печальная картина народного житья-бытья.

Наши любимцы-беллетристы Наумов, Успенский и Златовратский вынесли все это на белый свет и показали всему миру. Впечатление импонирующее. А «муза мести и печали» по-прежнему поет нам унылые песни о народе, по-прежнему нам слышится в них «стон бесконечный», стон народный!..

Рука-об-руку с народнической беллетристикой и в том же направлении работает публицистика.

Крестьянская реформа, община, обычное право, семейные и общественные отношения в деревне, административные и земледельческие порядки,—словом, все, чем жива бывает деревня, становится объектом исследования публицистики «Отеч. Зап.». Но не только деревня—вся современная

русская действительность, со всеми ее злобами, заполняет собою журнал. Хроника общественной жизни («Внутренние дела» журнала) это—мастерская картина современной действительности, нарисованная опытной и сильной рукой. Группировка фактов, освещение отличаются ясностью и глубиной. Молодежь буквально зачитывалась этими хрониками. Мало того. Я помню хорошо, как свободные часы между лекциями, мы, студенты, захватив с собою *новую* книжку журнала, *прежде всего* обыкновенно набрасывались на «Внутренние дела» журнала и прочитывали их, при глубоком внимании, вслух.

Елисеев был знаток своего дела. И не только знаток: *его хроники были в общем проникнуты тем народническим тоном, который характеризует в целом весь орган.* В этом отношении,—замечу в скобках,—эти хроники Елисеева, куда выше стояли, чем те же хроники этого журнала, которые раньше вел Демерт. Демертовские хроники в «Отеч. Зап.» были бы больше к лицу журналу «Дело».

Не могу, заговорив об этих хрониках Елисеева, не упомянуть о том, как на них смотрела В. Н. Фигнер, яркая и крупная представительница 70-х годов. Я это узнал случайно. Зимою 1886 года я был проездом в Иркутске. В это время там жила мать Веры Николаевны. В одно из моих посещений Фигнер-мать показала мне последнюю фотографическую карточку В. Н., а равно и письмо В. Н. к ее младшей сестре Ольге Николаевне. Это замечательное во всех отношениях письмо. Это даже не письмо, а *завещание*, глубоко трогательное и продуманное, завещание старшей сестры, столько передумавшей и пережившей, горячо любимой младшей сестре, только что вступающей в жизнь.

Вера Николаевна советует сестре в этом письме основательно поработать над своим умственным развитием. Между прочим, Вера Николаевна горячо рекомендует своей сестре *внимательное* чтение «Отеч. Зап.», обращая *особое* ее внимание на *хроники* журнала.

Однако, это неожиданно выплывшее у меня воспоминание о Вере Николаевне отклонило меня в сторону. Продолжаю характеристику «Отеч. Зап.».

Вообще журнал отличался редким богатством содержания. Один Щедрин чего стоит!

Как антитеза оптимистическому в общем народничеству журнала, Щедрин был прямо незаменим [1]). Его сатира, это—аттическая соль журнала. Его желчный смех, злой сарказм, заставлял людей не только смеяться, но и трепетать. Никто, как Щедрин, не умел, что называется, срывать маску, разоблачить, вскрыть пошлость, дутое благородство. Особенную идиосинкразию он чувствовал ко всяческим «либеральным начинаниям», «веяниям сверху» и вообще ко всяким «ликованиям». Со свойственной ему проницательностью, он под приличным их покровом легко улавливал фальшь, пошлость и тупость. «Эпоха великих реформ» дала сатире Щедрина богатейший материал, который он с изумительной силой использовал. В то время, когда наши либералы пели: «Гром победы раздавайся!», Щедрин щипел, высмеивая беспощадно мещанскую посредственность их стремлений и мышления. От «земских деятелей», «от полуды земской посуды» его прямо тошнило. Его «Новый Нарцыс» вызвал прямо бурю в либеральном лагере.

Не было ни одного крупного явления в общественной жизни пореформенной России, которое Щедрин обошел бы молчанием. Можно без преувеличения сказать, что по сочинениям Щедрина можно в известном смысле познакомиться с эволюцией русской действительности в последние два десятилетия пореформенной России. И действительно. Его сочинения, это—картинная галлерея, в которой выступают типичные представители различных об-

---

[1]) Мой рецензент г. Т—ин (Былое, № 7, 1907 г.) по этому поводу замечает:—„Пропуская всем известные вещи, автор делает открытия и не совсем удачные. Где это усмотрел он „народническо-оптимистическое настроение“ в „Отечественных Записках“, антитезой которому служил Щедрин“. Смею уверить моего рецензента, что я никогда не стремился делать какие-либо „открытия“, ибо я хорошо знаю размеры моих сил и способностей. Но меня удивляет, как такой, повидимому, опытный и осведомленный рецензент не сделал такого простого „открытия“, что все дело в крайне неудачной редакции с моей стороны по существу правильной мысли. Я хотел подчеркнуть только, что Щедрин в *спокойно-выдержанный* в целом народнический тон журнала внес жало своей бессмертной сатиры, что только подняло народнический тон журнала на надлежащую высоту. Никакой, конечно, антитезы здесь нет, как и нет, к слову сказать, и моих слов „народническо-оптимистическое настроение“, поставленных моим рецензентом в ковычках. Sapienti sat. *А.*

щественных групп пореформенной России: представители магистратуры, с адвокатурой включительно, представители зародившейся буржуазии—Разуваев с Деруновым, либералы, с их принципом—«с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой—надо признаться», представители дряхлеющего и разлагающегося крепостнического дворянства («Господа Головлевы»). И т. д., и т. д. Щедрин не только сатирик: он во многих случаях возвышается до глубокого трагизма, особенно в последние годы его литературной деятельности. Многие страницы его «Господ Головлевых», его «Имя рек», некоторые его «Сказки» прямо за душу хватают. «Одиночество и оброшенность», — конечно, не личного только характера, а главным образом общественного,—выжимают слезы у исстрадавшегося, изболевшегося сердцем за богом обиженную родину старика-писателя. Ненавистник «мелочей жизни», пустословия и игры в дело, он,—может-быть, и помимо своей воли,—звал на все великое и разумное!...

Сатира Щедрина, одним словом, создавала здоровое протестующее настроение.

Сказанным отнюдь не исчерпывается то значение, которое «Отеч. Зап.» имели для семидесятников. Я еще ничего не сказал об отношениях этого органа к социализму и социалистическому движению на Западе. Я еще ничего не сказал о кардинальном течении этого органа—его социологической доктрине.

«Отеч. Зап.» никак нельзя назвать социалистическим органом, в том, по крайней мере, смысле, как это понимается на Западе. Не будучи социалистическими, «Отеч. Зап.», тем не менее, способствовали распространению социалистических идей в нашей среде.

Научный социализм на Западе и тесно с ним связанное движение пролетариата представляли самое крупное явление того времени. И «Отеч. Зап.», конечно, не могли не отнестись к нему со свойственной им в таких случаях отзывчивостью. И вот на страницах журнала то-и-дело появляются статьи догматического, критического, полемического и рецензионного характера о теории и практике социализма. Конечно, все это в рамках цензурного устава. Огромный авторитет органа,—во-1-х, позиция, принятая ор-

ганом по отношению к социализму,—во-2-х, и, наконец, тот факт, что эта позиция органа вытекала из того, что социализм отнюдь не противоречил социологической доктрине самого органа,—в-3-х,—привели summa summarum к тому, что к социалистическим идеям пробуждался в молодежи все больший и больший интерес, а с этим и изучение этих идей—с первых уже источников—стало все больше и больше распространяться.

В виду того громадного значения, которое социализм имел для молодежи еще в периоде формирования ее миросозерцания, с одной стороны, а особенно в виду решающего значения социализма при выступлении молодежи на революционный путь—с другой,—заслуга «Отеч. Зап.» в этом отношении была очень велика.

Я только-что сказал, что «социализм отнюдь не противоречил социологической доктрине» «От. Зап.».

Какая же это была доктрина? Чему она учила?

Тень Михайловского является пред нами!

Он был тогда в расцвете своих творческих сил, энергичный, твердый и непоколебимый литературный борец. Огромный литературный талант, свято сберегаемые лучшие заветы 60-х годов, сразу выдвинули его и дали ему возможность занять центральное место не только в своем журнале,—«Отеч. Зап.»,—но и во всей народнически-освободительной литературе. Михайловский, как мыслитель, как литератор-публицист,— типичный представитель своего времени. Михайловский — шестидесятник. Это была пора, как мы уже говорили, особенно интенсивного стремления к освобождению.

Не раскрепощенная еще личность всеми силами, бывшими так долго в потенциальном состоянии, порывается к возможно полному освобождению. Личность почувствовала огромный прилив освободившейся энергии. Личности казалось, что она может все сделать. Такая переоценка своих сил психологически в такое бурное время весьма возможна. Михайловский жил в этой среде, насыщенной этими бурными порывами. Михайловский дышал атмосферой Sturm und Drang'a. На его глазах вырос вызывающий нигилизм, возникло освободительное женское движение, («жен-

ский вопрос») образовались, между прочим, два кардинальных литературных течения—«писаревское» и народничество «Современника». Оба течения—боевые. Не мудрено, что в такой боевой социальной обстановке интеллигенции могли зародиться представления о великой роли «личности» в истории, об ее чуть ли не провиденциальном значении в «прогрессе» человечества.

Россия же, Россия, экономическая и социальная, «не напала еще тогда на след своего естественного закона развития». Она пересозидалась только.

Не мудрено, поэтому,—повторяю я,—что в такое именно время могли зародиться идеи слишком общего, абстрактного характера, которые и вылились в форме той социологической доктрины, ярким и последним выразителем которой явился Михайловский. В 1869 году эта доктрина была совершенно готова и вышла из головы Михайловского, как Минерва из пены морской.

Статья Михайловского—«Что такое прогресс?» «составила эпоху» в литературе. В этой статье «субъективная социология» получила свое начало и завершение. Это—альфа и омега новой концепции. «Объективный» прогресс отметается прочь. На его место воздвигается—«субъективный». «Личность» становится верховным критерием прогресса. Прогрессивно все то, что «расширяет формулу жизни личности», что «увеличивает физиологическое разделение труда между органами личности»,—одним словом, все, что делает личность «полной и целостной». И наоборот. Все, что задерживает рост и развитие личности вширь и вглубь, все, что урезывает ее так или иначе—регрессивно, т.-е. вредно, а вместе с тем «преступно», т.-е. и «безнравственно».

Но личность живет в обществе, в той или другой форме определяется им, обществом.

Как же должно прогрессировать общество, чтобы не задерживать прогрессивного развития личности? Ответ простой. Общество должно развиваться в направлении обратно противоположном, чем личность. Это значит—в противоположность «типу органического развития». А потому, «общественное разделение труда» решительно отвергается, как регрессивное.

Общество должно быть организовано по типу «простой кооперации», т.-е. как организованная совокупность разносторонне и полно развитых личностей. Все, что вызывает большее разделение труда в обществе, действует задерживающим образом на прогресс личности, раздробляет личность, расчленяет ее, превращая ее, таким образом, из полной и целостной личности, каковой она должна быть, в, так сказать, «палец от ноги», говоря шекспировским языком. А потому, и такая, по «типу органического развития» тенденция общественного развития тоже вредна, нежелательна и безнравственна.

Такова сущность учения о прогрессе Михайловского.

В течение последующей многолетней своей литературной деятельности, Михайловский остался непреклонно верным этой основной своей концепции прогресса. Впоследствии Михайловский расширил свою концепцию, дополнив ее учением «о типах и ступенях развития». «Типы», это—«синтетические формы» организации. Это—«целостные, полные» организации, в которых «физиологическое разделение труда» осуществлено вполне.

«Ступени развития», это—дезъинтегрированные организации, в которых отдельные органы и функции могут достигнуть высокой ступени, но, так сказать, за счет урезывания, сокращения и полной атрофии некоторых или всех прочих органов и функций. Так совершается развитие в органическом мире. Общественная организация, развивающаяся по этому типу—регрессивная организация, а потому опять-таки нежелательна и безнравственна.

Пред нами, таким образом, одновременно и социологическая и этическая концепция. Она проходит, как верховный критерий, красной нитью через все литературные работы Михайловского.

Объективные явления истории, жгучие проблемы современной действительности, «литература и жизнь»,—все рассматривается, исследуется и разбирается именно с точки зрения этого критерия. И нужно отдать справедливость Михайловскому, он сумел, благодаря своему таланту и авторитету, так сказать, пропитать «Отечественные Записки» своей концепцией.

Понятно, почему «Отечеств. Записки» с Михайловским во главе так сочувственно относились к социализму, хотя этот последний—не их доктрина. Социалистический строй, это—антитеза современного капиталистического строя, доведшего общественное разделение труда, со всеми его разрушительными для развития личности последствиями, до крайней степени. Социализм стремится реорганизовать этот строй на новых началах, которыми полное и разностороннее развитие личности будет вполне осуществлено.

Таким образом, требования социализма и требования «субъективной социологии» не только не противоречат друг другу, но и вполне совпадают в некоторых существенных пунктах, касающихся интересов развития личности, ее будущих судеб. И дальше. Социологическая доктрина Михайловского санкционировала также и «народничество». Иначе и не могло быть.

«Народничество» стояло на страже народных интересов и требовало полного и беспрепятственного развития «исконных устоев» его, способных обеспечить народу нормальное, прогрессивное общественное существование. В деревне, правда, теперь пошла ломка: рушится старое, новое воздвигается: «Старому»—туда и дорога: вечная память ему! А «новое»? Новое пока вырисовывается лишь в самых смутных и расплывчатых очертаниях. Во что оно выльется—пока трудно сказать. Между тем, разрушительный процесс в деревне оставил еще нетронутыми многие «устои» народной жизни. А эти «устои» такого характера, что, если создать для них условия дальнейшего нормального развития, то жизнь массы может вылиться тогда в самые совершенные формы.

Если выразить это в терминах теории прогресса Михайловского, то получим следующее: русский народ еще не вступил в фазу капиталистического развития; общественного разделения труда он еще не знает; «тип» развития еще сохранился крестьянином; в деревне сохранилась еще община,—прототип «простой кооперации»; конкуренция, или борьба за существование, так калечащая личность на Западе, у нас едва только зарождается в деревне.

А потому, развитие русской действитель-

ности в направлении реорганизации ее строя в строй по типу «простой кооперации», с одной стороны, и дальнейшее поступательное развитие личности в смысле подъема сохранившегося «типа» развития на высшую «ступень» ее—с другой,—не представляет на своем пути непреодолимых препятствий.

Такой именно вывод сделала наша молодая интеллигенция 70-х годов из социологической доктрины Михайловского. Этим, попутно скажем, и объясняется тот громадный авторитет, которым Михайловский пользовался у молодежи.

Учение Михайловского о роли личности в истории, как фактора исторического процесса, о значении личности, как деятеля прогресса, имело особое значение для семидесятников. Михайловский делает личность центральной фигурой истории. Вместе с Лавровым, Михайловский возлагает на личность всю тяжесть исторического творчества. Во имя «истины и справедливости» (Лавров), во имя «двуединой правды» (Михайловский) повелительно требуется от личности, «критически-мыслящей» личности, чтобы она делала историю, осуществляла прогресс.

И «личность» жадно хваталась за это учение.

Таково было значение для нас, семидесятников, народнически-радикальной литературной партии «Отечественных Записок».

ГЛАВА I.

Харьковские кружки 1870—1871 гг.

„Вечный студент" С. С. Немировский. Кружок приказчиков. Умонастроение и общественные симпатии кружка. Франко-прусская война и Парижская Коммуна. Проф. Н. Н. Бекетов. Преобразование кружка в „Общество распространения знаний среди приказчиков". Е. Н. Солнцева (по мужу Ковальская) и Я. И. Ковальский. Совместная работа их в Харькове. „Книжное дело" Чайковцев в Харькове и Я. И. Ковальский. Личные переживания. Чтение Флеровского, Лассаля и Миртова-Лаврова. Итоги. Переезд в Петербург.

В 1870 году я состоял студентом Харьковского Университета на медицинском факультете. Собственно, меня больше всего тянуло к гуманитарным наукам, но общее увлечение тогдашней интеллигенции естественными науками толкнуло меня, помимо моей воли, выбрать медицину. Я вообще был тогда склонен к мечтательности и всяким порываниям. О чем мечтал? К чему стремился? Ну, конечно, прежде всего—к знанию, к развитию, чтобы стать полезным для общества членом. То был завет 60-х годов, тому учили нас Писарев, Добролюбов и Чернышевский в первую голову. Передо мною носились образы Базарова, Лопухова и Кирсанова. Так,—мечтал я,—надо жить.

Само собою, все это было крайне смутно, неясно, расплывчато,—по крайней мере, в моей голове, но оно-то именно тянуло меня в какую-то прекрасную даль, в какую-то недосягаемую высь, откуда для меня маячили приветливые «огоньки». Man muss Wagen zu träumen!—говорит Шиллер, а для меня, юноши тогда, и дерзновения никакого не требовалось, чтобы «мечтать», ибо само собою мечталось—как птичка поет: не может она не петь.

2-й семестр. Я вошел уже в курс студенческих дел и интересов. Хотя меня уверяли, что харьковское студенчество волочится в хвосте общестуденческого движения, но, присматриваясь больше и больше к нашему студенчеству,

сходясь с ним все ближе и ближе, я убеждаюсь, что харьковская молодежь кое-что делает.

Пусть эта работа пока незаметная, так сказать, молекулярная—нужды нет! но работа все-таки идет и не прекращается.

Об этом я расскажу сейчас, расскажу, как это я запомнил, как все это, помимо моей воли, сейчас выплывает наружу с отчетливостью и яркостью почти непосредственного чувственно-осязаемого восприятия.

У моих родственников я как-то познакомился с «вечным студентом» Сем. Сем. Немировским. Познакомились, сошлись и поселились вместе.

Отчетливо сохранилась в моей памяти фигура этой, во всяком случае, недюжинной личности. Он был студент— какого курса, какого факультета, никто не знал. Он был на медицинском, на естественном и на юридическом факультетах. Набросится на работу на первых порах—и работает в буквальном смысле запоем: ни днем, ни ночью покоя не знает, словно он хочет доказать, что «nur rastlos ruht der Mensch» («в неустанной работе отдыхает человек»). Способный, он удивительно легко овладевает предметом, быстро выдвигается в первые ряды. И вдруг метаморфоза: увлечение, жар внезапно угасают, угасает всякий интерес к научным занятиям. Все к чорту! Вялый лежит он целыми неделями без мысли и желания. Полная душевная прострация. Глаза мутные, как мутно у него в голове и на сердце. Вдруг вскакивает и исчезает на целые дни из дому. Шляется по ресторанам, гостиницам и кабакам, пьет, кутит, прожигает свои молодые силы, свой мозг, свое сердце. Так продолжается неделя—другая. Перегорел и снова набрасывается на науку. Он уже на другом факультете и весь с головой уходит в новую свою специальность. Таким образом вот уже несколько лет, как он мечется во все стороны, беспокойный, неудовлетворенный; ищет — и не может обрести, стучится, но не отверзается ему...

Профессора махнули на него рукою, а товарищи-студенты отвернулись от него. В то время почетом и авторитетом пользовались у товарищей серьезно работавшие студенты. Таким не был Немировский. Он много работал, он много знал, но все это—работа неустойчивая, знания, наспех

нахваченные,—порывами, наскоком, а потому-де непрочные, поверхностные, малоценные! И между Немировским и товарищами отчуждение с каждым днем становится все глубже и глубже. Немировский уже не посещает университета, манкирует лекциями. И студенты, в свою очередь, махнули на него рукой. Только близко знавшие его ценили его большие дарования и были уверены, что он, в конце-концов, найдет самого себя, нападет на настоящую свою дорогу. Живя вместе с ним, видя, как бесплодно растрачиваются большие его дарования, я душою болел за него, но замолвить об этом словечко я не посмел. Я боялся коснуться чувствительной раны души его, от неосторожного прикосновения к которой она бы стала еще сильнее кровоточить...

Как живой стоит передо мною этот горячо отзывчивый, вечно мятущийся человек. Услышит ли про нужду товарища, болезнь—Немировский тут как тут: окажет материальную помощь (Немировский был достаточно обеспеченный человек), ухаживает за больным терпеливо, заботливо, умело. Надо ли похлопотать перед начальством за товарища—Немировский сам вызывается, и ему нередко удается добиться желаемых результатов. А когда на глазах Немировского совершается какая-либо несправедливость—с какой бы то ни было стороны—Немировский, будьте уверены, вмешается в это дело, и справедливость, как он ее понимает, будет, так или иначе, восстановлена. Всегда и повсюду он впереди. На все, одним словом, откликается. Вот кучка студентов в «ожидальне». Ростет кучка все больше и больше. Неопределенный вначале гул и говор превращается в ропот, негодующие возгласы, среди которых резко и отчетливо выдается голос Немировского. Он сцепился с «субом» (субинспектором) и припер его к стене. За что? «Суб» посмел придраться к товарищу. Студенты поддерживают Немировского—и «суб» бежит с поля битвы. Говорит Немировский сильно, выразительно и горячо. Его гнев, протест легко передаются окружающим.

А вот совершенно другая кучка людей на рыбной площади. Слышна резкая обличительная речь. Обличается столь ненавистная обывателям полиция. Сочувственные возгласы, в перемежку со смехом. То Немировский берет под свою защиту преследуемого околоточным обывателя. На-

тиск Немировского так энергичен, сочувствие толпы так демонстративно, что околоточный, как побитая собака, ретируется с конфузом. Такой был Немировский.

Когда я с ним познакомился, он был тогда всецело захвачен организацией кружка приказчиков. Помню, как горячо он защищал свое дело.—«Вы ищите дела,—говорил он,—и спускаетесь для этого в низы, в массу, устраиваете воскресные и другие школы, а забываете приказчиков. Разве они, приказчики, не народ? Уверяю вас, приказчики—тот же народ, только в лампасах[1]).—Кружок приказчиков преследовал образовательные цели. Дело это встретило сочувствие, и вскоре Немировскому удалось привлечь лучшие силы университета в качестве преподавателей. К числу последних, к слову сказать, был популярный в среде студентов кандидат естественных наук, лаборант при физическом кабинете проф. Шимкова, Я. И. Ковальский. В круг чтения входили: физика, космография, всеобщая и русская литература, история и русский язык. Лекции по физике и космографии читал Я. И. Ковальский и читал блестяще. Я, в качестве гостя и знакомого приказчиков, присутствовал на этих лекциях. Во-первых, мне хотелось научиться педагогическим приемам на случай, если бы понадобилось мое участие. А во-вторых,—мне хотелось убедиться в том, насколько приемы эти применимы на практике, т.-е. как они усваиваются слушателями. Скажу уже, что как лекции Ковальского, так и других лекторов, имели большой успех. По истории читал, помнится, студент Курилов, а по русскому языку и словесности Немировский. Последний оказался не только дельным, толковым лектором, но и весьма увлекательным. Я на всех лекциях присутствовал, и это сблизило меня с приказчиками, что во всех отношениях было полезно для меня. Курсы пошли весьма удачно, число слушателей стало прибывать. Дело надо было поставить на более широкую ногу и более прочную почву. Вопрос этот неоднократно поднимался как самими приказчиками, так в особенности Немировским и Ковальским. Дело в том, кружок, ведь, существовал нелегально,—как и все тогдашние

---

[1]) Тогда были в моде брюки с лампасами. Приказчики, как „модники“, не отставали от моды. *А.*

начинания молодежи. Культурно-просветительная ее работа всякого рода была тогда загнана в подполье, а это особенно связывало по рукам такого кипучего работника, как Немировский. Он метал громы и молнии. Злые сарказмы так и вырывались из хриплого его голоса (он говорил с хрипотой, что сильно портило его живую выразительную речь), губы его нервно передергивались презрением и негодованием.

— «Надо во что бы то ни стало вырваться из этого тупика,—хрипел Немировский,—надо вырваться на широкий простор»...

И вот он, по собственной инициативе, обращается к проф. химии Харьковского Университета, Н. Н. Бекетову, самому любимому и глубоко почитаемому молодежью профессору. Выдающийся ученый, «европейская знаменитость», как величали его студенты и харьковская интеллигенция вообще, Н. Н. Бекетов был гордостью Харькова. Он во всех общественных и административных кругах пользовался заслуженным уважением. Связи у него были обширные во всех сферах. Лучшего, стало быть, выбора Немировский не мог сделать. Н. Н. Бекетов горячо отозвался на призыв Немировского взять кружок под свое покровительство, и дело легализации кружка быстро подвинулось. Выработан был устав «Общества для распространения знаний в среде приказчиков», устроен был спектакль любителей в местном театре, выпущен был подписной лист и т. д., и т. д. Какие мытарства это зародившееся еще только Общество перетерпевало на тернистом пути административной волокиты, какие фазы переживало оно, это общество, по утверждении его, — об этом я ничего не могу сказать, ибо я вскоре оставил Харьков и переехал в Петербург, в Медико-Хирургическую Академию.

Скажу лишь, что, по приезде в Петербург, я получил письмо, поразившее меня как гром: на другой день моего отъезда, Немировский скоропостижно умер. Это была чувствительная потеря для строющегося еще дела его. Слишком уже интенсивно горел Немировский—и быстро сгорел. «Вечный студент» успокоился на веки...

Но начинание его среди приказчиков не погибло: мне передавали, что идейный контакт между харьковской мо-

лодежью и приказчиками не прекращался со смертью Немировского, что к концу семидесятых годов этот контакт настолько окреп, что в 1878 году, во время студенческих волнений в Харькове, приказчики участвовали в уличной манифестации студентов и поддерживали те протесты против набега казаков и войска на университет, что, наконец, некоторые из приказчиков одинаково со студентами были избиты и уведены в училище. Значит, с легкой руки Немировского, харьковской молодежи удалось-таки установить связь с некоторой частью городского населения. Это—несомненная заслуга «вечного студента».

Кружок приказчиков, как я уже выше упомянул, произвел на меня, зеленого тогда юношу, сильное впечатление. Впервые, в конкретно-осязаемой форме выявилось передо мной общественно-полезное,—правда, крошечное, весьма скромное,—начинание. Но по мере того, как это дело все более и более вырастало и развивалось на моих глазах, по мере этого я все крепче и крепче утверждался в том, что такая именно работа—лучшая школа для выработки из молодежи сознательных элементов для предстоящей общественной деятельности. После чтений приказчики не расходились, а оставались некоторое время в квартире Немировского (лекции происходили в его квартире). Чувствовалась потребность поговорить—и говорили о всем, что бог на душу положит. Мало-по-малу эти беседы стали принимать более определенную форму, окристаллизовались в более систематичные после-курсовые собеседования. Темой этих собеседований были текущие вопросы нашей общественной жизни, а равно и крупные события западно-европейской действительности, — поскольку, разумеется, эти последние переломлялись в наших газетах. Эти собеседования особенно интересовали меня и дали первый толчок моему политическому развитию, ибо до этого я совсем не читал газет и не интересовался ничуть политическими вопросами. А тут, словно нарочно для меня, — для пробуждения моей политической мысли,—вспыхнула неожиданно франко-германская война. Я набросился на газеты, не довольствуясь уже передачей содержания их со вторых

рук. Это—во-первых; а, во-вторых, я присутствовал на беседах уж подготовленным,—с фактической, по крайней мере, стороны. Война вызвала взрыв горячего сочувствия в широких кругах харьковского общества к Франции. В приказчичьем кружке беседы сильно оживились. Все, без исключения, были на стороне французов; не стесняясь, приказчики всячески поносили «гороховую колбасу», особенно доставалось «железному канцлеру», Бисмарку: «дипломатический» он гений, великий он «государственный» человек—что и говорить! Да чорт бы его побрал!.. Раздавил он бедную Францию; немец теперь пойдет в гору, покажет свой железный кулак!.. Приказчики высказывались совершенно свободно, пускались в довольно смелые обсуждения дипломатических и международных последствий этой войны для обеих воюющих держав: Франции-де грозит опасность попасть в ранг, если не третьестепенной, то второстепенной державы...

И вдруг, как эпилог войны, грянула Парижская Коммуна. В студенческой «о ж и д а л ь н е», в аудиториях, в студенческой читальне, в театре, кофейных, ресторанах и т. д.,—везде, где только скоплялась «публика», только и разговоры что о Коммуне. Каких только речей не наслышался я тогда! Но основной тон харьковского «хора» звучал непримиримой враждебностью к Коммуне. Слышались злопыхательские, отталкивающие нотки: коммунары-де враги отечества, изменники и многое, многое в этом роде... И среди студентов раздавались подобные же речи, хотя и в более сдержанной форме. Изредка лишь прозвучат, если не сочувствующие, то, по крайней мере, оправдывающие коммунаров тона: парижские-де рабочие **в ы н у ж д е н ы** были восстать, благодаря дряблости, нерешительности Жюль Фавра, Тьера и всего правительства; позорный мир довел-де вожаков Коммуны и слепо шедшую за ним рабочую массу до белого каления, до отчаяния...

Наш приказчичий кружок (говорю «наш», ибо я состоял de facto членом его) также был захвачен этим потоком огульного обвинения и беспощадного осуждения Коммуны. Вначале я не мог даже разобраться в их взглядах,—дотого они горячились! Но в конце-концов их точка зрения выяснилась: Франция-де разгромлена, в конец раздавлена, можно

сказать, еле дышет, и вот в такой именно момент парижские рабочие вздумали поднять мятеж против своего правительства!

Немировский пытался было разубедить приказчиков. Пустил в ход всю свою эрудицию, свои способности убеждать, свой несомненный дар трибуна. Напрасно. Наши приказчики упорно стояли на своем. Немировский-де—что и говорить!—большая голова, много он знает—где нам! но в этом вопросе он зашел слишком далеко. Он хорошо знает историю Франции, знает, что было, но не знает или закрывает глаза на то, что теперь есть, а сейчас все поставлено на карту, вся Франция; она кровью истекает, а коммунары в своем безумии выкачивают из нее последнюю каплю. Этого нельзя ни под каким видом оправдать.

К концу 2-го семестра я окончательно вошел в курс студенческих дел—как академических, так и общекультурных. Я познакомился с главными кружками и их деятелями. И тех, и других было в то время немного. Я вошел в один из кружков, основанный студентом выпускного курса естественного факультета, Малютиным. Среди молодежи он пользовался каким-то особенным уважением. О нем говорили полушепотом. У него-де уж много раз были обыски и сейчас он будто находится под надзором[1]). Когда я расспрашивал о нем товарищей, мне отвечали: «Малютин далеко видит». Это окружало его каким-то ореолом в моих глазах. В нашем кружке он вел дело тактично, говорил вообще мало, но тонкое политичное руководительство его чувствовалось. Стал также захаживать и ко мне—все чаще и чаще, присматривался, зондировал меня—и опять-таки тонко, почти неуловимо. Частенько вели серьезные беседы на разные темы.—О студенческих делах и научных и литературных новинках. Эти беседы были для меня очень полезны, и я многим обязан Малютину. Но он тогда не выдавался на первый план в общей работе молодежи, он как бы нарочито (а, может быть, по иным соображениям) оставался в тени.

Первую скрипку тогда играли Е. Н. Солнцева (потом по мужу Ковальская) и Я. И. Ковальский. Кому из этих

---

1) Привлекался к Нечаевскому делу.

двоих принадлежит инициатива движения, руководительство им, организация его, движения, в целом и частностях,— трудно мне было тогда разобраться, да и теперь нелегко; так тесно сливалась тогда их общая работа, так дружно шли они оба рука об руку. Одно только могу я сказать: основной тон движения давал Ковальский: мирная культурно-просветительная работа была ближайшим их заданием. Но с оговоркой: Е. Н. Солнцева уже тогда заметно тяготела влево,—правда, это было еще смутно, расплывчато, но оно сказывалось уж тогда в ее мятежных порываниях, вносивших красные тона в общее, основное направление работы кружков.

С Е. Н. Солнцевой я познакомился через двоюродную сестру мою, Анну Аптекман, большую тогда приятельницу Е. Н., а впоследствии—верного ее друга. Е. Н. пользовалась в больших кругах харьковской молодежи,—да и не только молодежи, но и некоторой части интеллигентного общества,—большим уважением и симпатией.

Молодая, красивая, привлекательная, выдержанная, развитая, чуткая ко всяким общественно-полезным начинаниям, в которых она сама принимала самое деятельное участие, всецело тогда захваченная умственным движением 60-х годов,—тою первою гранью в молодой еще жизни, которая определила духовную ее личность, твердо наметила ближайшую линию ее личного и общественного поведения,—рьяная сторонница женской эмансипации,—вот такой именно я помню Е. Н. Солнцеву, когда я впервые с ней познакомился. Она стоит в центре движения харьковской молодежи. Вокруг нее группируются самые талантливые, сравнительно более зрелые и самые живые элементы студенчества и прочей учащейся молодежи. Я. И. Ковальский, Шабельский, Коновалов, Максим Ковалевский, Куплевасский, Горвиц, Немировский, а еще раньше, до ссылки на север, студ. Лазарь Гольденберг—вот кто окружали Солнцеву.

Из них Ковальский самый старший по летам и видный по положению. Он уже—ассистент проф. Шимкова, его ждет кафедра; но, увлекшись общественной деятельностью, он запускает свои научные работы и все более разменивается на мелочи, а тут еще и жандармские и административные

власти стали смотреть на него косо и заявили университету, что не допустят его занять кафедру—и таким образом кафедра стала уплывать от него в туманную даль... Он оставляет в 1873—74 году Харьков и поселяется в Петербурге, где посвящает себя педагогической деятельности, мирной культурной работе вообще—и пропаганде идей эволюции среди учащейся молодежи, в частности.

В 1877—78 году, Ковальский, как ниже об этом подробнее расскажу, выступает в кружках молодежи с открытой пропагандой своих идей мирного постепенного прогресса. Он остался верен самому себе. Но я забежал невольно вперед, скажу только: в Харькове Ковальский сыграл выдающуюся роль в деле развития и самоутверждения молодой интеллигенции. Создана здоровая традиция «культуртрегерства», образовались элементы и небольшие кадры такой работы. Коновалов, Горвиц, Куплевасский и самый юный из них Максим Ковалевский стали впоследствии известны, как люди науки и профессуры и как выдающиеся—каждый на свой манер—общественные и политические деятели,—в особенности Максим Ковалевский. Наконец, Л. Гольденберг бежал из ссылки, эмигрировал и занял в рядах эмиграции видное положение.

В Харькове,—передавала мне лично Е. Н. Солнцева,—Гольденберг был в их среде уник: он явно тяготел к революционной деятельности, стремился противостоять слишком прямолинейной постепеновской работе остальных членов кружка Солнцевой-Ковальской.

Таковы были те люди, которых собрала вокруг себя Е. Н. Солнцева. Они были ее сотрудниками, товарищами, а в некоторой мере—и ее учителями, ибо работая, она продолжает упорно учиться, учась—вносит большое содержание в свою работу, расширяя и углубляя ее, эту работу. Один из ее больших домов в Харькове, [1]) а именно: «розовый дом», как мы называли его, благодаря его окраске, стал вскоре сборным пунктом для молодой интеллигенции

[1]) Она получила эти дома в наследство от своего отца вскоре по окончании ею гимназии; замечу уж здесь в скобках, что Солнцева—незаконная дочь помещика-аристократа Солнцева и крестьянки, крепостной отца; когда Солнцевой минуло 7—8 лет, отец выдал матери и ей „вольную". *А.*

Харькова, его окрестностей и уезда. «Розовый дом» превращается в своего рода университет, с «камеральным» факультетом. На этом факультете образуются систематические чтения по различным отделам знания, начиная с элементарных и кончая высшими его элементами. Аудитория здесь, само собою, самая пестрая—и по предварительной подготовке, и по общественному положению. Приходили сюда и работницы-модистки, за «лебом насущным», т.-е. ради грамоты и элементарных знаний. Приходили учителя и учительницы городских и приходских школ для расширения и пополнения своих знаний; нередко приезжали за этим из уезда и проводили одну—другую неделю, посещая курсы. Приходили группами в 25—30 человек, размещались в большом доме в разных комнатах, в которых одновременно—обыкновенно по вечерам—шло преподавание того или другого курса предметов, по той или другой системе, в том или другом объеме,—по уровню знаний и развития слушателей глядя. Наконец, приходили в урочные часы гимназисты, гимназистки, семинаристы, студенты, ветеринары и т. д. за разными справками, за научными пособиями, за литературой по тому или другому вопросу и т. д.. Одним словом, «розовый дом» был одновременной школой и справочным бюро для получения разнообразных сведений и указаний. Помню, сколько прекрасных книг передавал мне таким образом Ковальский: Оптику Гельмгольца, сочинения Фарадея, Гексли, Тиндаля и многие редкие научные брошюры по разным вопросам общей и медицинской физики. Помню, с каким захватывающим интересом я проштудировал замечательное исследование одного немецкого ученого физика-физиолога (фамилию, к сожалению, не могу вспомнить) о преломляющих средах человеческого глаза (в 1873—74 году брошюра эта в переводе на русский язык появилась впервые в виде приложения к «Курсу лекций», читанных проф. Ционом по физиологии в Медико-Хирургической Академии). Я прямо скажу:—Ковальскому я обязан тем, что познакомился с ф и л о с о ф и е й естествознания того времени. И сейчас, когда пишу эти строки и переживаю мои юношеские порывания, я шлю ему от всего сердца признательность и благодарность. Но, ведь, я не один был у Ковальского,—таких юношей, как я, было-таки изрядно, и все они стучались в «розовый дом» и двери

этого дома радушно раскрывались для приходящих. Таким образом и днем и вечером, ежедневно в определенные часы, в «розовом доме» скопляется молодежь, как в «храме науки», для слушания различных курсов. В общем, эти курсы можно охарактеризовать так: они давали сведения по различным научным дисциплинам, но давались они, эти сведения, не как голые, разрозненные элементы знания, а в объединенной, обобщенной теоретическим единством и философским синтезом форме. Преследовалось основное назначение всякого познания: развитие, расширение умственного горизонта, углубление, одним словом, личности. Курсы эти были культурно-просветительными в полном смысле этого слова и, как таковые, непосредственно предуготовляли почву для восприятия и лучшего понимания сложных вопросов общественности, вырабатывали сознательные элементы для будущей широкой общественной деятельности—освободительной и революционной.

«Розовый дом» Е. Н. Солнцевой сделался таким образом сосредоточием нескольких кружков. Во-первых, кружок модисток из 30 человек, организованный самой Е. Н. В этом кружке Е. Н. преподавала русский язык и арифметику, основания естествознания—Я. И. Ковальский, а русскую литературу—Немировский. Во-вторых, менявшиеся в своем составе кружки народных учителей и учительниц как г. Харькова, так и его окрестностей и самого уезда. В этих кружках, кроме Я. И. Ковальского, на которого выпала почти вся тяжесть преподавания, работали еще по своей специальности приват-доцент Деларю, Фесенко, Гончаров и др.

В-третьих, кружок интеллигентных девушек,—с целью изучения социалистических течений на Западе. Составляются и читаются рефераты об Овене, Сен-Симоне, Фурье и Кабе. За литературой и всякими указаниями обращаются к мужчинам, но в свой кружок их не принимают, так как мужчины подавляют-де самостоятельность женщин. Все молодые девушки этого исключительно женского кружка—ярые сторонницы «женской эманципации», так называемого «женского вопроса».

Наконец, в-четвертых, в этом же «розовом доме» собирается организованный Ковальским кружок для изучения государственных учреждений на Западе. В этот кружок, кроме самого Ковальского, вошли Куплевасский, Шабельский, Максим Ковалевский и др. Удивительно, что Максим Ковалевский, хотя и был самый молодой, но, тем не менее, наиболее определенный не только в идейном вообще отношении, но и в политическом. Он тогда уже был ярко выраженным демократом. Скажу уж попутно, что немало услуг оказывал Максим Ковалевский своими советами и указаниями вышеупомянутому кружку самообразования молодых девушек (организованному по инициативе Е. Н. Солнцевой).

Но над «розовым домом», с его кружками и «камеральным» факультетом, повисла уже карающая рука харьковского жандармского управления. Во-едину от суббот,—по доносу, конечно,—в дом неожиданно нагрянул харьковский жандармский полковник Ковалинский,—как-раз в тот момент, когда Я. И. Ковальский вечером читал учителям и учительницам о наглядном обучении. Увидев на столе разложенные карты для наглядного обучения, Ковалинский растерялся:—«А мне совсем другое наговорили... что же, это даже мне нравится! но все-таки я должен прекратить всякие частные собрания»...—«Розовый дом» опустел: собрания кружков прекратились.

Мои воспоминания о Харькове близятся к концу. Скажу еще несколько слов об одном начинании, которое сыграло большую роль в истории развития харьковских кружков. Речь идет об открытии филиального отделения «Книжного Дела», кружка Чайковцев (об этом более подробно ниже).

В Петербурге должен был собраться съезд делегатов всероссийских студенческих организаций самообразования. Харьковские кружки делегировали на съезд Я. И. Ковальского. Он выполнил свою миссию как нельзя лучше. По возвращении из Петербурга, Ковальский созывает сходку из делегатов и не-делегатов всех наличных кружков. Место собрания—лаборатория студ. выпускного курса медиц. факультета, Алферова. В двух небольших комнатах, установленных склянками, банками, ретортами и прочими химиче-

скими принадлежностями, собралось около 40—50 человек. Народ все молодой. Было душно и накурено. Ждали Ковальского. Пришел и тут же приступил к докладу. В деловитой живой речи он познакомил нас с деятельностью чайковцев в Петербурге. И тут же с большим юмором передал нам, как нас, харьковцев, там пробирали за нашу инертность и бездеятельность. Ковальский нам предложил открыть при харьковских кружках отделение «Книжного Дела». Предложение принято весьма сочувственно. Сходка разошлась в приподнятом настроении. Кружки пришли в движение, образовались новые как среди студентов, так и прочей молодежи. Работа пошла ускоренным темпом. Книги раскупались нарасхват и деятельно распространялись в университете, ветеринарном институте, семинарии и во всех гимназиях. Рассылались они также народным учителям и земским деятелям, интересовавшимся этим делом. Книги продавались по удешевленной цене. Читались книги с захватывающим интересом, ибо в этих книгах молодежи слышалось «слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагой гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной» (слова Добролюбова). Какие же книги привез Ковальский? Об этом, чтобы не повторяться, скажу ниже, когда будет речь о «Книжном Деле» Чайковцев.

Все, что я выше написал, все, что я пережил в 1870—71 гг. в Харькове, глубоко запечатлелось в моей душе, как первый серьезный опыт моей жизни, как первые уроки жизни вообще. Не скажу, что это было первою гранью в моей жизни, но это был во всяком случае сдвиг, решительный сдвиг в моем развитии. Я более окреп и определился в общественном и политическом отношениях. То, что прежде мыслилось мною абстрактно лишь, теперь, под влиянием движения молодежи, перевоплотилось в живое, конкретно-ощутимое понимание. Я впервые почувствовал и сознал непреодолимое почти тяготение к трудовым массам. Я сказал себе: окончу курс медицинских наук и буду лечить народ, «мужика». Это не было клятвою Аннибала, а непосредственное, так сказать, веление сердца, ибо, как французы говорят, «сердце имеет свой разум, которого нет в

разуме» (Le coeur a sa raison qu'il n'y a pas dans la raison). Это так. Я констатирую лишь то, что я переживал тогда,—в пору моей ранней молодости. Это, во-первых. А, во-вторых, моя политическая мысль, впервые разбуженная войной и Коммуной, получила дальнейшее развитие, благодаря тем горячим спорам, которые, по их поводу, велись среди молодежи вообще и более систематически и связно в организованных ячейках—в особенности. Я стал с того момента следить за западно-европейской текущей жизнью, за политическим движением на Западе, а в особенности за судьбами милой моему сердцу Франции. Быстрое, почти чудотворное восстановление Франции, после перенесенного ею тяжелого разгрома, радовало меня бесконечно и укрепляло мою веру в творческие силы этого гениального свободного народа. Но вместе с тем росла и крепла моя ненависть к Версальскому правительству и главе его—Тьеру. Я последнего ненавидел от всего моего чистого юношеского сердца: его бесчеловечная расправа с коммунарами внушала мне ужас и омерзение. В лице Тьера я видел живое воплощение свирепой жестокости, беспощадной злобы, низменной мстительности победителя: горе побежденным!.. О, это мне уже было известно из истории Рима по гимназическим учебникам! Старая погудка на новый лад. Но подлинное значение всего этого выяснилось для меня лишь впоследствии, постепенно, по мере того, как накопились у меня знания, росла и крепла моя мысль. А тут подоспели три хороших книги, привезенные Ковальским: «Положение рабочего класса в России» Флеровского, I том Лассаля и маленькая книжечка, которую можно было засунуть в боковой карман, поближе к сердцу: «Исторические письма» Миртова-Лаврова. Одно к одному. По прочтении первой мои горячие симпатии к массе еще больше окрепли. Вторая завершила лишь то, с чем в общих и беглых чертах меня познакомили уже Малютин и другие: во всеоружии мощной мысли, в блеске захватывающего слова, в титанической борьбе впервые во всей красоте и во всем величии встало передо мною рабочее движение на Западе. Это—занимающаяся заря новой жизни,—шептал я, словно зачарованный. Наконец, третья книга—«Исторические письма»—вознесла меня на вершины социально-этического мышления: я должен, я обязан

выработать из себя критически мыслящую личность, прогресс творящую, т.-е. «воплотить идеалы истины и справедливости в человеческие отношения» (Лавров). Я читал, перечитывал многократно эту книжечку, писал по ее поводу длиннейшие и длиннейшие письма к товарищам, приставал к ним за различными разъяснениями и т. д., и т. д.,—словом, книга овладела мною, как, скажу, св. писание или Коран верующим: она, книжечка, сулила мне спасение, «праведную жизнь». И я сказал себе: чтобы достигнуть такого совершенства, надо выстрадать свои думы, надо работать, работать и работать!..

Я бросил полулекарский экзамен (осталось лишь несколько побочных предметов) и решил перевестись в Петербург на естественный факультет. Малютин весьма сочувственно отнесся к моему решению.

Прощай, Харьков! Прости, Харьков! Ты дал мне коечто на дорогу. И на том спасибо!

ГЛАВА II.

Петербугские кружки.

Мой переезд в Петербург в 1871 г. Конец „Нечаевского процесса". Медико-Хирургическая Академия. — Студенчество. Студенческая библиотека. „Демократ-народник" В. С. Ивановский („Василий Великий"). Подъем настроения молодежи. Кружок „Екатеринославского землячества". Рефераты в кружке. М. А. Натансон и его столкновения с Нечаевым. Образование кружка „Чайковцев". Его состав, цели и задачи. „Книжное Дело". Берви-Флеровский и его книги „Положение рабочего класса" и „Азбука социальных наук". Влияние Флеровского и Лаврова на молодежь. Религиозные и этические запросы молодежи. Связь „Чайковцев" с Флеровским. Его „Азбука", как предпосылка этики. Перовская и Натансон о Флеровском. Личность Флеровского и его судьба.

В начале августа 1871 года я был уже в Петербурге. Пошла новая полоса моей жизни. Многое забывается, многое покрывается тусклым налетом, ржавчиной... Но эта полоса моей жизни глубоко врезалась в моей памяти, крепко засела в мозгу, клещами не вытащишь ее оттуда.

Лучшая полоса моей жизни. Я застал в Петербурге конец «нечаевского дела». Я бывал на суде и зорко следил, с живым интересом провинциала, за всем. Подсудимые произвели сильное впечатление — не только на меня, но и на прочую студенческую и не-студенческую молодежь. Но и

здесь, как и в Харькове, отношение молодежи к Нечаеву и к тому, что мы прозвали «нечаевщиной»,—были принципиально отрицательные.

Масса молодежи в целом вовсе не была тогда революционно настроена, а потому, призыв к революции, заговор и т. д. пугали ее и далеко отбросили ее от революционного пути—на путь мирной работы. Меньшинство же, как, напр., чайковцы (как ниже увидим), с самого начала противостояло агитации Нечаева и его тактике.

Я лично стоял тогда на перепутьи, пока-что знакомился по книжкам с «рабочим вопросом» на Западе, с его теорией и практикой («доктриной», как мы тогда выражались, «идеологией»—по современной терминологии). Все это, конечно, меня захватывало, как и всех, изучавших движение рабочих масс на Западе, сплотившихся под знаменем социализма. Но к практической в этом смысле работе я еще и не думал приступить, ибо я не чувствовал себя для этого достаточно подготовленным. И тем более я был решительным противником Нечаева и «нечаевщины», в особенности: самозванщина, иезуитизм и маккиавеллизм глубоко претили мне вообще, а применение их к товарищам по работе—считал просто преступлением. И это убеждение мое утвердилось еще больше впоследствии, когда я примкнул к революционному движению молодежи последующих годов. Я смотрел на «нечаевское дело», как на вредную революционную попытку того времени, как на недозволенный революционный опыт и считал его тяжелым кошмарным эпизодом в нашей истории революционного движения. И по сие время я стою на этом. Большое народное дело, по-моему, не может быть осуществленно таким образом. Самозванство исторически изжило себя. Исторически «нечаевское дело»—наглядный пример для современности отрицательного революционного опыта. В этом смысле оно глубоко поучительно, в этом смысле оно сделало свое дело, сыграло свою роль.

Der Mohr hat seine Shuldigkeit getan.
Der Mohr kann gehen.
(Мавр сделал свое дело,
Мавр может убраться. (Шиллер).

Я всю жизнь остался благодарным товарищу моего детства, С. Шору, за его настойчивый совет поступить в Медико-Хирургическую Академию. (Я было решил раньше поступить в университет на естественный факультет). Не поступи я в Академию, жизнь моя, пожалуй, сложилась бы иначе. И я отнюдь не сожалею об этом. Разве можно сожалеть о том, что в молодости был молод? Разве можно сожалеть о том, что лучшие годы,—годы молодости,—прошли в хорошем обществе? А общество в Академии, действительно, было самое лучшее, отборное. Общество здоровых, сильных, бодрых разночинцев. Здесь разночинским духом пахло, здесь демократизм был не наносный, а подлинный—pur sang. Уж одна внешность студента Академии, несмотря на то, что полагалась форма, бросалась в глаза. Блуза, косоворотка, высокие сапоги, широкополая шляпа, длинные волосы—такова в общем фигура медика. Нигде, думается мне, студенты не были так объединены, как в Академии. И объединяли их не только специально медицинские, но и культурно-просветительно-общественные интересы. Центром, объединявшим студентов, была студенческая библиотека. Кто-то шутя прозвал библиотеку якобинским клубом. Меткая кличка. Это, действительно, был клуб: библиотека, читальня, место для сходок, куда был свободный доступ и не-студентам. Одним словом, открытая политическая арена. Были в этом клубе и «Гора» и «Центр» («Долина», «Болото»). Я хорошо помню отдельных представителей каждой фракции. Типичные, красивые фигуры. Но об этом потом. Библиотека помещалась в одном из многих дворов Академии. Небольшая передняя, она же—читальня. Тут же газеты и журналы. Большая, несуразная, довольно грязная зимою, мрачная комната. Это собственно библиотека с ее отделами. Заведывала библиотекой комиссия из выборных членов: по два от каждого курса. Во главе комиссии, для сношения с начальством, стоял уполномоченный—один из членов комиссии. Библиотечная комиссия выбиралась на год. Комиссия ведала все административно-хозяйственные дела библиотеки, отвечала за сохранность библиотечного имущества, следила за своевременным пополнением библиотеки новыми книгами. Но для последнего требовалось предварительно заявление 30 человек. Заявление заносилось в журнал, и как только

собиралось 30 подписей, комиссия, в течение определенного срока, обязана была исполнить это требование. Журнал этот, первоначально имевший определенно-специальное назначение, мало-по-малу, совершенно незаметно, превратился в своеобразный критический сборник. Дело в том, что нередко предлагаемая книга вызывала нарекание, осуждение, недовольство. Завязывалась полемика, в общем содержательная, серьезная, а порою и страстная, и пристрастная. Исписылись pro и contra целые страницы. Люди писали, как понимали, как бог на душу положил. И в этом-то был весь интерес этих писаний. Читалась эта полемика с величайшим интересом. Ведь в них, в этих импровизациях литературных, непосредственно отражалось умонастроение молодежи. Сколько бодрости, свежести, прямолинейности чуялось в этих суждениях! Право, жаль, если этот журнал затерялся совсем! В мое время несменяемым представителем комиссии был Василий Семенович Ивановский, или, как любовно прозвали его товарищи, «Василий Великий». Это—типичная, яркая фигура «Горы». Крепкая, как кремень, твердая, как дуб, индивидуальность. По внешности холодный, а ударьте по нем—искры сыплются. По внешности—тонкий, а согните его—не гнется. Трещит, а не гнется, ломается, а не гнется. Чтобы сломать его, нужны мощные порывы ветра, буря и гроза, топор и могучая рука. Цельная натура.

Я прямо любовался им: его огромным ростом, открытым лицом, ясными спокойными глазами. Вот он! в блузе, подпоясанный ремешком, в картузе, в высоких смазных сапогах. Зимою поверх этого—недубленный полушубок. Когда, бывало, я говорю с ним,—один только смех: я задираю голову вверх, а «Василий Великий» опускает голову долу.

Ну, и человек же! Все товарищи, без исключения, уважали его, уважали за прямоту характера, за твердые убеждения.—«Демократ!»—произносилось по его адресу с неподдельным уважением. И Василий Великий, действительно, возвеличил демократизм, поднял на высоту знамя его и высоко держал его все время. Начальство, профессора тоже платили дань его спокойному характеру и демократическим убеждениям. Он являлся к начальству в кожухе. Ничего! почет и место. Он нередко являлся на экзамен недостаточно подготовленным (многочисленные общественные занятия от-

клоняли его от систематических занятий). Профессор-экзаминатор берет у него самое существенное, безусловно необходимое,—и отпускает его с миром.

Библиотеку он поставил отлично, обогатил ее многими ценными произведениями специального и общеобразовательного характера. Связи у него были большие среди книгопродавцев и издателей. Открыл при библиотеке секцию «Книжного дела» Чайковцев. Он прекрасно знал педагогическое дело,—не только теоретически, но и на практике. Но его главная заслуга,—уже тогда, когда началось хождение в народ,—открытие им при библиотеке специального отдела по продаже народной литературы. Отдел этот был хорошо составлен и находился в руках людей, фанатически преданных делу народного образования. Назову хоть братьев Воскресенских и Козельского.

Можно без преувеличения сказать, что В. С. Ивановский вписал свое имя в историю духовного развития студентов Медико-Хирургической Академии.

Помню первое мое знакомство с «Василием Великим».

Сижу я как-то в свободное время в библиотеке и читаю газеты. В то время бонапартисты во Франции затевали какую-то пакость. Возмутило это меня. Не удержался и воскликнул: отчего его не задушат? Крик вырвался сам собою.

Я смутился. Поднял глаза: два ясных глаза с улыбкой смотрят на меня. Ивановский. Смутился я пуще того.

— Кого это вы собираетесь душить?

— Ну, этого... Наполеона III...

— За что?

— Ну, уж это вы, пожалуй, не хуже моего знаете...

Улыбнулся открытой улыбкой.

— Верно!—рассмеялся.—Но не слишком ли это просто... прямолинейно?..

Так познакомились. В другой раз я обратился к Ивановскому за какими-то справками. Сейчас припомнить не могу. Подумал некоторое время, потом сказал: «Знакомы ли вы с Чайковским? Нет? Ну, так вам надо познакомиться, от него и узнаете, что вам нужно. Только торопитесь—он уезжает»!

Дал адрес Чайковского. В тот же вечер пошел, но не застал дома. Ждал и не дождался. А через несколько дней

совсем уехал из Петербурга (говорили, будто за границу уехал).

Сошелся я уж несколько ближе с Ивановским, когда вступил в члены правления.

Хорошо сохранилось в моей памяти последнее наше свидание. Я был тогда на выпускном курсе и собирался совсем оставить Академию и «пойти в народ».

Ивановский приехал из деревни, где был врачем. Потянуло меня к нему—поговорить с ним, посоветоваться. Этот—думал я —скажет.

Поразила меня с первого раза скорбная складочка на открытом его лице.

Поделился со мною своими деревенскими впечатлениями. Много там работы для врача. Но все усилия разбиваются о бедность, темноту и косность массы.

— Можно ли работать, ради целей пропаганды, в качестве врача?

— Конечно! И для вас, пожалуй, это самое подходящее положение. Фабричным или заводским вы не можете стать... слабенький вы. Ремесла не знаете? надо научиться... Это подходит... попробуйте!.. Как школа, это полезно... Но для пропаганды—любое положение годится; все зависит от человека!..

Распрощались. Больше уже мне не пришлось встретиться с «Василием Великим». Но слухи о нем доходили до меня. Слышал, что в 1877 году, кажется, бежал из под ареста в Москве и ушел за границу. Вернулся будто в Россию в начале 1881 года, снова был арестован, бежал из тюрьмы за границу—в Румынию, где и скончался в 1911 году.

Последний привет я от него получил через сестру его Прасковью Семеновну Волошенко-Ивановскую. Она передала мне, что Василий Семенович ждет меня к себе, когда буду возвращаться в Россию [1]). Да! замечательный был человек В. С. Ивановский.

Один из могикан «активного народничества». По словам В. Г. Короленко, посвятившего Ивановскому фельетон в «Русских Ведомостях»,—он, Ивановский, «до конца своей жизни остался «народником» во взглядах и, что еще важнее—в жизни».

---

[1]) Это было в Женеве, в 1907 г. Л.

В. Г. Короленко в своем фельетоне поставил эпиграфом следующие слова Гофмана:—«Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение; другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая».

Эти слова Гофмана следовало бы высечь на могильной плите В. С. Ивановского. «Василий Великий» был именно такой медалью.

Не успел я оглянуться, как первое полугодие, проведенное мною в Академии, промелькнуло, как метеор. Но за это время я вполне освоился с моей alma mater, с ее серьезными научными требованиями, перезнакомился с моими товарищами, вошел в курс академических интересов и вполне приспособился к шумному, кипучему Петербургу. Зима 1872 года. Среди молодежи резко бросается в глаза подъем настроения: образуются ячейки, строятся кружки, все чаще и чаще собираются сходки—то кружковые, то делегатские, то смешанные, смотря по надобности—по важности накопившихся и требовавших решения вопросов. Нет высшего учебного заведения в Петербурге, в котором студенты не сплачивались бы в кружки и не собирались. В качестве уроженца Екатеринославской губернии, и я, вскоре по прибытии моем в Петербург, вступил в Екатеринославский кружок. Через одного из наших членов кружок наш находился в постоянном сношении с кружком Чайковцев и прочими кружками Петербурга. Кружок Екатеринославцев ничем особенным не выделялся в практическом отношении. В теоретическом же отношении надо отметить его серьезную, вдумчивую систематическую работу. Членами кружка обязательно составлялись рефераты по вопросам биологии, экономики и социологии. Референты добросовестно относились к своей работе, так как кружок был строг в своих требованиях. Среди наших референтов, помню, особенно выдавался медик IV курса, Исаак Оршанский (впоследствии известный невропатолог и психиатр, профессор Харьковского университета). Его рефераты о дарвинизме и систематическое изложение «Капитала» Маркса были выслушаны с захватывающим интересом. Особенно реферат о дарвинизме был интересен богатством новых фактов, вносивших иное понимание дар-

винизма вообще и ограничивавших силу и значимость выставленных Дарвиным основоположений. Изложение «Капитала» было блестяще, тем более, что референт то-и-дело проводил параллель между экономическим учением Маркса и учением классических и «вульгарных» политикоэкономов.

В дополнение к последнему реферату весьма интересен был реферат В. Анрепа (будущего известного ученого и профессора, общественного и государственного деятеля) о французской «вульгарной» экономии.

Пишущий эти строки прочитал реферат «О законе народонаселения Мальтуса» с критикой этого закона Чернышевским и Марксом и соображениями биологического характера по Спенсеру. Все эти рефераты были полезны и вызывали живой обмен мнений. В результате этих и других рефератов получился весьма заметный сдвиг в сторону научного социализма. Практические вопросы, сами собою, выдвигались, но то были д а л е к и е, заглядывающие в будущее вопросы; относительно же современной деятельности, с ее «проклятыми вопросами», кружок пока-что признавал настоятельную необходимость разрешения их в рамках исторически данного общественного строя, чтобы этим путем подготовить необходимые фактические предпосылки коренного изменения этого строя,—в сторону социализации всех общественно-экономических отношений.

Кружок собирался раз в две недели аккуратно и продержался до того момента, когда вполне уже обозначилось массовое, неудержимое стремление молодежи в народ, когда, само собою, о таком направлении кружковой работы не могло быть уже и речи. Довлеет дневи злоба его.

В центре всех петербургских кружков стоял «кружок Чайковцев».

Он объединял все кружки е д и н ы м п р и н ц и п о м— принципом обязательной выработки для революционной деятельности сознательной, теоретически подготовленной стойкой личности, с одной стороны, и е д и н ы м, цементирующим все кружки в одно целое п р а к т и ч е с к и м делом—«Книжным делом»—с другой.

В этом сущность его деятельности и заслуга его перед

русской революцией, накануне пилигримства молодежи в народ. В этом смысле надо считать кружок Чайковцев авангардом революционной молодежи 70-х годов; в этом смысле Чайковцы были пионерами этого движения. Это, повторяю, большая их заслуга.

О Чайковцах уже так много писали, что я в воспоминаниях о них ограничусь лишь существенным—что лично мне известно, так или иначе, о них и что не сделалось еще достоянием печати. Отмечаю главные моменты в работе Чайковцев. Прежде всего вопрос, что послужило ближайшим поводом к возникновению кружка Чайковцев? Когда он собственно построился? Из каких элементов он первоначально состоял? Вот что насчет этого рассказал мне Марк Андреевич Натансон.

В 1869 году он состоял студентом Медико-Хирургической Академии. Несмотря,—скажу я,—на его юность (ему тогда было не больше 19 лет), он уже успел выдвинуться среди своих товарищей как энергичный, с большой инициативой и несомненно организаторскими дарованиями, человек. Ему студенты-медики обязаны устройством своей библиотеки, которая была отделена совершенно от обще-академической, как самостоятельное, автономное учреждение.

Натансон сумел скоро поставить библиотеку на должную высоту, построил ее на строго демократических началах, обогатил ее книгохранилище ценными произведениями и в таком виде сдал ее В. С. Ивановскому. Это—большая заслуга Натансона пред студентами, и его хорошо помнили еще во время пребывания моего в Академии. Кроме того, он участвовал во всех начинаниях медиков. Весною 1869 года вспыхнули в Петербурге студенческие беспорядки в Медико-Хирургической Академии, Технологическом Институте и Университете. Причины волнений—чисто академические. Натансон стоял во главе этих волнений.

В это время неожиданно является Нечаев и бросает в эту взволнованную среду искры революционной агитации: зовет молодежь на улицу, убеждает ее устроить политическую демонстрацию.

Нечаев говорит сильно, убедительно, прибегает к аргументам веским, не стесняется цитировать Канта, вообще импонирует слушателям. Силою и мощью веет от него, но

что-то отталкивающее, демагогическое. Натансон энергично выступает против него со всем жаром искреннего, глубокого убеждения. На стороне Натансона—большинство академиков, а потом пристают и прочие студенты. Нечаев терпит поражение в высших учебных заведениях и переносит свою агитацию в замкнутые ячейки и кружки молодежи. Здесь он уже выступает без забрала: он зовет поднять крестьян, которые-де к 1870 году сами уже поднимутся, так как в этом году (1870) кончаются их временно-обязанные отношения к помещикам. У Нечаева много сторонников, бороться с ним становится труднее и труднее.

Противники его прибегают к дипломатическому ходу: они предлагают прежде, чем окончательно решить этот вопрос о восстании, предпринять на каникулах повсеместно в деревнях анкету, чтобы действительно убедиться в том, что народ уже готов, как думает Нечаев, к восстанию. Предложение принимается и агитация завершается [1]. Нечаев оставляет Петербург не солоно хлебавши. Натансон, передавая мне все это, сильно волновался, словно он все это снова переживал. В заключение он с горечью добавил:—«А знаешь, Осип, ведь Нечаев отомстил мне... впутал было меня в свою авантюру заграничную... из-за границы он шлет мне через Александровскую какую-то посылку... Александровскую на границе обыскивают и посылку находят... Меня, конечно, арестуют и держат в крепости около двух месяцев... Ну, и я его не пощадил: я показал, что все это он сделал из-за мести ко мне... за то, что я обличал его вредную, злостную агитацию»... Вот эта-то агитация Нечаева в Петербурге и дала непосредственный толчок к сплочению его противников в тесный кружок. Кружок этот стал известен под именем **кружка Чайковцев**.

В этот кружок вошли отдельные ячейки и элементы совершенно солидарные в идейном отношении: кружок **натансоновцев** на Вульфовой улице («Коммуна»), кружок девушек из С. Перовской, Ольги Шлейснер, сестер Корниловых и Ободовской, а также отдельных лиц высших учебных заведений Петербурга. Надо было сплотиться. Тень

---

[1] Л. Э. Шишко. Общественное движение в шестидесятых и первой половины семидесятых годов. Стр. 79. Госуд. изд. 1921.

Нечаева носилась еще над молодежью, и появление его во плоти могло оказаться роковым. Надо сплотиться и действовать согласно, по определенному плану. Так организовался кружок чайковцев.

Л. Шишко в своей книге «Общественное движение шестидесятых годов и первой половины семидесятых», на 79 стр. рассказывает о возникновении кружка чайковцев почти буквально то же самое. Да оно и понятно. Л. Шишко вступил в кружок лишь два года спустя, в 1872 г., и товарищи, само собою, познакомили его с историей возникновения кружка.

В центральный (петербургский) кружок вошли: М. Натансон, А. Сердюков, Н. Чайковский, Ольга Шлейснер, С. Перовская, А. и В. Корниловы, Ободовская, Д. Клеменц, Франжоли, Купреянов, Чарушин, Ф. Лермонтов и Александров. Позднее, в 1872 г., к ним присоединились: Л. Шишко, С. Синегуб, С. Кравчинский, П. Кропоткин, Д. Рогачев и др. [1]). Из московских членов кружка вначале было трое: М. Антонова, Клячко и Иванчин-Писарев; потом присоединились: Л. Тихомиров, Н. Морозов, М. Фроленко, Н. Армфельд, Н. А. Саблин, Варвара Батюшкова, Т. Лебедева и др.

К одесским членам кружка принадлежали: Ф. Волховской, С. Чудновский, М. Лангаис, А. Желябов и Вс. Лопатин. К киевским членам кружка принадлежали: Н. Лопатин, Н. Колоткевич и П. Аксельрод.

Можно без преувеличения сказать, что это был цвет молодежи: ум, талант, довольно высокое умственное развитие, в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная красота, ригоризм в личных и общественных отношениях,—таковы были чайковцы в целом. Перебирая сейчас

---

[1]) Странно, что никто из чайковцев не упоминает имени В. В. Воронцова. Я хорошо помню, что в Академии его считали чайковцем (точнее натансоновцем). Натансон был очень дружен с Воронцовым и, когда после ссылки попадал в Петербург, обязательно видался с ним. Когда строилось „Народное Право“ (1892—93 г.) мы вдвоем навестили Воронцова в Москве. Натансон его считал чайковцем (т.-е. принадлежащим к кружку), в это я почти уверен. В Академии он был старше меня на 3—4 курса. В 1873—74 г. он был уже врачем и в перемежку писал народные книги беллетристического и научного содержания. Если не ошибаюсь, „Безоброчный“ принадлежит перу Воронцова. Хороши его книги по этнографии. Вообще он идейно был близок к революционному движению 70-х годов. Помню хорошо его жену, Мельникову. Она, по-моему, тоже принадлежала к кружку чайковцев. *А.*

в моей памяти тех чайковцев, с которыми я впоследствии в разное время познакомился и сошелся, я сейчас, на склоне моих лет уже, могу сказать: то были люди! и я счастлив, что знал их.

Ближайшим заданием чайковцев было—выработка сознательных, стойких элементов среди молодежи для предстоящей революционной деятельности. Они были дальновидны, эти чайковцы. Они требовали от будущих революционеров основательной теоретической подготовки, нравственной чистоты и практической закалки. Надо твердо, отчетливо знать, чего хочешь, куда идешь,—чтобы не дрогнуть в серьезную минуту. Настоятельно нужны, поэтому, и предварительная серьезная работа мысли в этом направлении, и практическое начинание, на котором выработали бы навык, выдержку, твердость и гибкость в действиях. Таковы были предпосылки чайковцев, таково их задание. Это—во-первых. А, во-вторых,—такая система действий—надежнейшая охрана молодежи от всякой «нечаевщины» и тому подобных «революционных авантюр». И нужно отдать справедливость—чайковцы вполне справились со своей ближайшей задачей.

Выработан строгий план действий, со строгим распределением функций и обязанностей между членами кружков—поскольку это диктовалось само собою, составом кружка, его численностью и индивидуальными особенностями его членов. Чайковцы впервые сумели на практике согласовать дисциплину в кружке с свободным самоопределением членов кружка; подчинение общим интересам без внешнего принуждения, авторитета, ибо в основе их организации лежал принцип нравственной солидарности, безусловного доверия друг к другу.

В самом деле, разве не из области мифов такой, например, факт? Молодая девушка, 18 лет, проникает в самое логовище чудовищного, можно сказать, апокалиптического зверя—в III Отделение, этого «высшего в государстве полицейского учреждения», как оно само важно величает себя.—Девушка через одного подкупленного жандарма заводит сношения с сидящими там товарищами, получает и передает им записки и всякие поручения, имеет с ними свидание в камерах и совершенно сказочным образом выводит

своих товарищей для свидания с товарищами на воле, получает все следственное их дело из III Отделения и т. д., и т. д.,—словом, девушка ни больше, ни меньше хозяйничает в III Отделении. Эта девушка—Софья Перовская. Сколько доверия надо было иметь к 18-ти летней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело [1]). Не мудрено, что у чайковцев дело спорилось. «Книжное дело» их—этот «гвоздь» всей их практической работы—в короткое время распространилось по всей России: от Петербурга до Одессы, от Москвы — до Вятки. Везде филиальные отделения. Книги распродавались по удешевленным ценам,—покупаются на расхват, читаются в засос,—везде организуются библиотеки и склады.

Энергия и уменье, проявленные здесь чайковцами, прямо изумительны.

Н. Флеровский, в названной в выноске книжке своей, посвящает несколько восторженных страниц, проникнутых чуть ли не преклонением перед беззаветностью, ригоризмом, удивительной деловитостью и стойкостью молодежи. Еще бы! ведь многих из них, как ниже увидим, он лично близко знал и сошелся с ними.—Организация «Книжное дело» была проста: книги покупались и брались на комиссию с уступкой у книгопродавцев и издателей. Потом кружок открыл сам издательство и издавал и распространял те произведения, которые он считал наиболее соответствующими своим целям. Среди чайковцев были люди, хорошо владевшие иностранными языками. Этим кружок воспользовался и открыл у себя подсекцию переводчиков. Были, например, переведены Ланге «Рабочий вопрос», Консидерана «Фурье» (точно не помню названия), Геккеля «Естественная история мироздания». К сожалению, книги эти так и не увидели света: были конфискованы и сожжены [2]). Какие же книги вообще распространял кружок? Одного беглого взгляда на перечень нижеприводимых книг достаточно, чтобы убедиться в том, какого направления были эти книги и насколько они согласовались с поставленной кружком задачей. Вот этот

---

[1]) Л. Шишко. Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев. Стр. 23—24. См. также Н. Флеровский. „Три политические системы". Лондонское издание. 1897 г.

[2]) Сообщение Натансона.

перечень. Сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, Бокля, Костомарова, Щапова, Сергеевича, Мордовцева, Хлебникова, Берне, Дж. Ст. Милля, Дарвина, Дрепера, Спенсера, «Исторические письма Миртова-Лаврова», «Положение рабочего класса в России» Н. Флеровского, его же — «Азбука социальных наук». Первый том сочинений Ф. Лассаля. «Капитал» Маркса. Первый том «Истории французской революции», Луи Блана. «Комедия всемирной истории» Шерра. Романы Шпильгагена и Швейцера (Эмма и Люцинда), Тшокке (Делатели золота), «Отщепенцы» Соколова, «Пролетариат во Франции» и «Ассоциации» Шеллера-Михайлова и др.[1]).

Из непропущенных переводных книг собственного издания, кроме вышеназванных, следует еще отметить: «Историю 48 года», Л. Блана, «Историю Коммуны»» Корьеза и Ланжоле.

Habeants sua fata libelli! (и книги имеют свою судьбу!). Эта латинская поговорка пришла мне на ум, когда я сейчас просматривал список книг «Книжного дела» кружка чайковцев. В этом списке я, между прочим, нашел две книги, о которых современный читатель, пожалуй, и представления не имеет. Это—«Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук» Берви-Флеровского. Что это за книги, спросит недоумевающе читатель, и кто такой Флеровский, имя которого помещено в рядах таких писателей и мыслителей, как Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Милль, Спенсер, Лассаль и Маркс etc, etc? Кто же он такой, этот Флеровский? Забытый постыдно писатель, большой писатель. Забыты и книги его. Забыт он до того, что до самого последнего времени я не мог добиться, расспрашивая компетентных писателей—жив ли Флеровский или он навсегда ушел от нас? Один из наших уважаемых писателей—nomina odiosa sunt, смеясь, сказал:—«Должно быть умер, ведь ему под 90 лет!» «Литературный фонд», который, казалось бы, должен был знать об этом, тоже отзывался полным неведением... А умер Флеровский 4 октября 1918 года на руках жены и сына. Я хочу здесь воскресить в памяти читателя

---

[1]) Л. Э. Шишко, l. c., стр., 83 и его же „Воспоминания о С. Кравчинском“. (Стр. не помню)

как вышеназванные две книги, так и светлый образ писателя, автора этих книг,—как я запомнил, сохранил в моей памяти из тех далеких, но незабвенных времен, когда эти книги и автор их всецело владел нами, как «учитель жизни», как один из благороднейших друзей народа, как талантливый писатель и благородный мыслитель,—одним словом, как «друг-писатель» молодежи. Этого требует, во-первых, наш долг перед Флеровским, этого требует, во-вторых,—историческая правда, ибо в истории нашего революционного движения «в народ» Флеровский сыграл выдающуюся роль— и как писатель, и как личность.

Канун революционного паломничества «в народ» носит на себе яркую печать непосредственного могучего влияния Флеровского—его идей, его обаятельной личности.

Но, прежде всего, обратимся к его литературному наследию—к его двум забытым вышеназванным книгам. Расскажу об этом, как современник этих книг, что пережил и перечувствовал, а со мною—мои современники, такие же молодые, каким я тогда был.

Начнем с «Положения рабочего класса в России». Впечатление, произведенное этой книгой на молодое поколение семидесятых годов было поистине потрясающее. Лучше всего можно выразить это впечатление словами Герцена, высказанными им, по поводу известного «Философского письма» Чаадаева:—«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть о потере... все равно, надобно было проснуться»...

И проснулись. Завеса упала с глаз. Впервые «великая крестьянская реформа» выявилась в том виде, в каком она была в действительности. Впервые мы узнали доподлинно, что она действительно дала народу. И потрясающая картина народного раззорения, обнищания, пауперизма, встала перед нами. Это—не западно-европейский пролетариат, «свободный, как птица»: это—нищий, голый, с сумой на плечах, блуждающий по деревням и селам «крещеной Руси»,— нищий и голодный, прикрепленный, как раб к своей галере, цепями бесправия к своей «общине». Молодежь была потрясена до глубины своей души.

И если можно было без метафор говорить о клятве Ан-

нибала, то у молодежи эта клятва—без слов, без красивых жестов—была выжжена в ее сердце и уме. О, она будет служить народу! она омоет его раны, она залечит его скорби, она выведет его с факелом науки и свободы в руках, на широкий простор культурного существования! Ей самой ничего, ничего не нужно, ему, ему, народу—все: и величие, и счастье!..

Так подействовала книга на молодежь Но не только на молодежь она так подействовала, а также на широкие круги интеллигенции. Вся печать заговорила об этой книге. Покойный Н. К. Михайловский посвятил ей первый сочувственную заметку, а затем в «Отечественных Записках» появилась об этой книге обстоятельная критическая статья. Заговорили даже и об «Заключении» этой книги, в котором брошены Флеровским первые семена его будущей мировой философии. Но и «общество» отозвалось. Помню хорошо, что зимою 1873 года, среди нас, медиков, циркулировала какая-то программа для собирания сведений в народе,—программа, составленная каким-то земством. (Если память не изменяет мне, то то была—программа об артелях). В этой программе, между прочим, указывается на то, что за образец экономического исследования народа следует принимать работу Флеровского, при чем особенно подчеркивалось, я отчетливо это помню,—художественная форма изложения, как особенно желательная, ибо правдивыми красочными картинами, как у Флеровского, реальное положение народа, выраженное цифровым языком, перевоплощается в чувственно-конкретные, глубоко запечатлевающиеся в душу впечатления.

Припоминая сейчас мои переживания, во время появления «Положения рабочего класса», я не могу не поддаться искушению сравнить впечатление, произведенное «Положением рабочего класса», с впечатлением, полученным нами тогда от маленькой книжки Миртова-Лаврова—«Исторических писем» его[1]). Обе книги читались одновременно, обе действовали на нас неотразимо. Параллель почти насильно

---

[1]) Впервые я познакомился с „Историческими письмами“, когда они печатались еще в „Неделе“ (в 1869 г.). Они тогда уже произвели сильное впечатление на молодежь, а отдельное издание только закрепило, углубило и расширило это впечатление. Л.

навязывается. «Исторические письма»—наш «символ веры», указывающий нам путь к «прогрессу», будивший нашу «критическую мысль», формовавший в известной мере наше мировоззрение, утверждавший нашу «личность», «прогресс творящую личность». «Положение рабочего класса» же ярко-выпуклым, конкретным содержанием его, богатством и разнообразием красок, выхваченных из самой гущи народной жизни, кровью сердца автора написанными страницами, будило наше чувство, заставляло биться наше сердца, возбуждая в нас беззаветную преданность и любовь к народу. «Письма» стимулировали наш ум, давали синтез, философию жизни, «Положение рабочего класса» давало конкретные факты действительности, «кричащие», зовущие на помощь. Одно дополняло другое, оба одинаково действовали на нас, подготовляя нас к борьбе за лучшие идеалы жизни; оба, в конечном счете, подготовили нас к предстоящей революционной деятельности, когда наступила пора.

Вторая книга Флеровского—«Азбука социальных наук» еще крепче связала установившуюся уже первой книгой внутреннюю связь между молодежью и автором этой книги. Вот как один из семидесятников отзывается об «Азбуке» и описывает впечатление, произведенное ею на молодежь: «.... когда в 1871 г. вышла вторая книга Флеровского «Азбука социальных наук» т. 1-й, она явилась для интеллигенции России своего рода откровением. Это была целая философия коллективизма, совершенно новая, оригинальная, не имеющая у себя предшественников. Черпая доказательства из области истории культуры и этнографии, она противопоставляла, как основной принцип исторической эволюции, дарвиновской борьбе за существование—«союз за существование»; общежитию, основанному на «хищнических» началах, она противопоставляла коллективистическое мирно-трудовое начало общежития. Она доказывала, что завоевание, рабство и насилия никогда не способствовали прогрессу человечества, и только альтруистические начала спасали мир от разложения и гибели. На многочисленных примерах, взятых из истории и современной этнографии, она показывала, как все, что делалось властвующей личностью над себе подобными, для усиления и расширения своей власти, вело народы к регрессу, а всякая защита обще-

ственных начал, все, что вело к торжеству коллективизма, было прогрессивным. Правда, в прямолинейной защите своих положений автор местами доходит до парадоксов, но основная идея книги была настолько глубока, вопросы, выдвигаемые ею, представляли такой животрепещущий интерес, что «Азбука социальных наук» вместе с «Историческими письмами» Миртова (Лаврова) и «Примечаниями к политической экономии» Чернышевского сделалась одною из самых любимых книг учащейся молодежи, всей передовой интеллигенции того времени. С этих книг начинались занятия по общественным вопросам. Вокруг них сосредоточивались наиболее горячие споры «утилитаристов» и «альтруистов» семидесятых годов»[1].

Подписываюсь без колебаний под этими прекрасными словами семидесятника Н. А. Малиновского. Так именно мы понимали «Азбуку», приблизительно в таких именно терминах мы выражали нашу оценку этой книги и была она для нас, действительно „«откровѐнием своего рода». И эти две книги—«Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук» забыты совершенно, затеряны, пропали для современного читателя!...

Что вызвало ближайшим образом появление «Азбуки» в свет? какой повод? Ответом на это являются показания М. Натансона, самого авторитетного, непосредственно принимавшего участие и в издании, и в корректуре «Азбуки», человека.

Но, прежде всего, необходимо отступление.

В то время среди учащейся молодежи, несмотря на доминирующее в ее среде стремление к положительному знанию, к критике, намечалось, правда,—довольно еще смутное, но все же сказавшееся уже течение. Это стремление, можно сказать,—потребность в религиозном построении. С разных сторон мне приходилось слышать такого рода суждения: мир утопает во зле и неправде; чтобы спасти его недостаточна наука, бессильна философия; только религия—религия сердца может дать человечеству сча-

---

[1]) Н. А. Малиновский. „Не пора ли вспомнить"? „Русская Мысль" 1905 г., апрель, стр. 130.

стье, только **такая** религия может перерodить человека, вытравить из него зверя и вдохнуть в него божество—**совершенство**. Я помню хорошо одно небольшое бывшее у меня собрание товарищей (по субботам у меня обыкновенно собирались 8—10 человек товарищей для чтения и бесед). Мы только что прочли, кажется, в «Отечественных Записках» статью об американских сектах. Статья, сама собою, вызвала споры. Одни высказались, что сектантство вообще исторический пережиток «религиозного периода человеческого мышления», а другие, наоборот, видели в нем, в сектантстве, симптом нарождающегося умонастроения, идущего на смену и в отмену современному, слишком положительному, слишком материалистическому миропониманию.

Особенно горячо защищал это последнее положение юноша-грузин, общий наш любимец. Он был филолог и по субботам аккуратно с Васильевского Острова приходил ко мне, чтобы побеседовать, душу отвести. Как живой, стоит сейчас передо мною этот чудный юноша.

Среднего роста, стройный, как тополь, продолговатое тонкое лицо оливкового цвета, глаза газели. Что-то девственно-чистое, робкое лежало на его лице, светилось из его больших чудных, чуть затуманенных глаз. Он был очень начитан и талантлив, но робость его не давала ему высказаться, хотя по выражению лица его видно было, как мысли рвутся наружу, как многое он может сказать. За его внешность девичью я прозвал его «Тамарой», и эта кличка закрепилась за ним. В эту субботу «Тамара» был сильно возбужден. Тема статьи и последующие за нею споры, очевидно, сильно задели его. Он доказывал, опираясь на сравнительную историю религии, что религиозным учениям человечество обязано тем, что оно вышло из животного состояния, что современное антирелигиозное направление — одно только недоразумение, основанное на смешении религии с ее внешними формами проявления—с догмой, ритуалом, церковью. Религия—это высшая форма эмоционального существования, приводящая к слиянию во-едино индивидуального и мирового, единицы и космоса. Мои гости были все медики и eo ipso—ярые материалисты и «безбожники». Они обрушились на «Тамару» сарказмами, резкими выражениями, огорчили его, но ничуть не смутили. Я мягко за-

метил «Тамаре», что его религия недоступна современным массам, она слишком бесплотна: масса склонна к перевоплощениям всякой чистой идеи, всякой высокой сложной эмоции, без символа масса не может обойтись—ей нужны идол, жест, ритуал,—все равно, а раз это так, то неизбежны обряды, церковь, догмы, со всеми их последствиями: исключительностью, нетерпимостью к инако верующим, гонениями и проч., и проч. И, вместо единства, союза,—будет разъединение, распыление людей, т.-е. антитеза тому, чего повелительно требует религия. Когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Передо мною, как чудное изваяние, стоял образ юноши-грузина, вопрошающего:

«О, разрешите мне жизни загадку,
Вечно тревожный и страшный вопрос!»

Как был хорош, духовно красив сегодняшний вечер этот юноша! Милый юноша, он вскоре ушел от нас: заболел скоротечной чахоткой и быстро сгорел. Это было для нас большое горе. Я долго не мог заснуть и все упорно думал о том, почему так живуча идея о религии, почему она так неистребима, несмотря на критику ее современным знанием, несмотря на особую материалистическую основу современного строя, несмотря на особый реализм современного человека. Почему? Разве наука, знание одни не способны дать человеку совершенство? Глаза мои стали смыкаться, мысли расплылись в тумане, а в тумане еще раз промелькнул чудный образ с грустно-задумчивыми глазами.....

Я заговорил об этом, чтобы познакомить современного читателя с теми тревогами сердца,—иначе я не могу назвать это настроение молодежи,—которые мучили нас. Чайковцы также не были свободны от этого. И когда был уже составлен список книг имеющих быть распространенными, они были поражены, что в этом списке нет книги об этике.

Как же так? А чайковцы тогда, можно сказать, болели вопросами этики. Я в этом убедился, когда жил с Натансоном в Якутской области. Уже зрелый мужчина, побывавший в боях, он в наших беседах (в тесном кругу: я и супруги Натансоны) нередко возвращался к этой теме. Он мне горячо доказывал, что пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить со-

циалистический строй. Когда я ему указывал на марксизм и на научный социализм, он упорно возражал, что марксизм и научный социализм лишь философия социального строя, в котором эксплоатация человека человеком не будет иметь места, в котором не будет деления на классы и т. д.,—словом, философия материального устроения человека, материального его существования, но не духовного, во всей его полноте, глубине и красоте.

Последнее может дать только этика, как венец философии, высшее ее завершение. Пока творческие силы человека еще недостаточны, чтобы дать такое построение, а пока этого нет, мы будем долго, если не брести впотьмах, то двигаться извилинами и тропинками[1]).

Если еще в Якутской области в ссылке, десять лет слишком спустя, Натансон все продолжал тревожно думать об этике, то можно себе представить, что было в начале 70-х годов, в пору самого неудержимого натиска и порыва. И действительно. Кружок решил, что такая книга — книга об этике—должна быть написана. Кто же может написать такую книгу? К кому из наших писателей можно за этим обратиться? Остановились на Флеровском. Он тогда уже близко стоял к кружку. Живя в Любани, он частенько ездил в Петербург, чтобы повидаться с Натансоном и другими чайковцами. Мысль написать такую книгу пришлась по душе Флеровскому. Он уже присмотрелся к молодежи, видел, каким энтузиазмом она захвачена, что она делает, к чему готовится и по какому пути она пойдет. Он, самый старший среди них, самый образованный, самый опытный, горячо им сочувствовал, ибо их стремления были его стремлениями, их путь—его путь. Надо им помочь. И вот он пишет «Азбуку». Это еще не этика—что и говорить!—но это предпосылки к этике, первые камни, из которых должна быть построена «научная этика», по выражению Флеровского.

Молодежь требует книги о «революционной

---

[1]) Помню, что в 83 или 84 году печатались в „Вестнике Европы" статьи Кавелина „Об этике" (вышла отдельным изданием). Мы втроем с большим интересом читали эти статьи. И наши споры об этике снова возобновились. Натансон настойчиво просил меня, чтобы я ответил Кавелину, находя многие мои возражения серьезными. Я считал себя неподготовленным. Л.

этике», но такая книга сейчас невозможна, ибо нет еще ее основания—«научной этики».

Такова история появления «Азбуки социальных наук».

«Азбука» дорого стоила как ее автору, так и чайковцам. Книга эта навела какой-то мистический страх на всесильное III Отделение и на царя, Александра II. Флеровский попал в опалу, треть долгой своей жизни он перманентно остается в ссылке, проводит в тюрьмах и казематах,—главным образом благодаря своей «Азбуке». При каждом удобном случае, в каждой бумажке III Отделение напоминает, что Берви (Флеровский) это именно тот, который написал «Азбуку».

Чайковцы тоже получили порядочный удар: Натансон вырван из их рядов и сослан на север (в 1872 г.). Чайковского трепали изрядно, несколько месяцев продержали в заключении. Клеменца тоже, а равно и многих-многих прочих; наконец, склад книжный (центральный) потерпел урон: много книг конфисковано.

Отношения некоторых чайковцев к Флеровскому-Берви были трогательны. Перовская глубоко уважала его прежде всего за беззаветную преданность его народу,—не надуманную, а непосредственную, вытекавшую из кристаллически чистой души его.

— «Он,—говорила мне Перовская,—прирожденный народный пропагандист и агитатор.... куда бы он ни являлся—народ льнет к нему. У него много связей, много преданных в народе.... В голове у него копошатся немолчно большие гениальные мысли... но рядом с этим что-то наивное.... Он полусерьезно, полушутя считает себя первым революционером в России.... Пожалуй, он имеет право на это.... Он не засиделся среди интеллигенции и выбрал (отчасти, конечно, невольно) благую часть.... народ, народную среду.... Он—предтеча нас... Он стоит на почве народных идеалов... Боюсь только, что на практике слишком суживает народные требования, пользуясь для пропаганды текущими требованиями..... Как бы он не разменялся. .... но он везде будит народ.... Он прелестен, привлекателен, как личность, ригорист, проповедует «добровольную бедность», словно апостол библейский.... чудак он, но прелестен...».

Натансон также мне много рассказывал о Флеровском.

— «У него большая голова, он призван совершить в умственной сфере очень большое..... но я боюсь, что непрерывная ссылка может съесть его: ему надо жить в центрах умственной жизни, в столицах, а он, несчастный, томится в медвежьих уголках.... Он высоко одаренный, редкой трудоспособности, огромной эрудиции, хотя, к сожалению, несколько односторонней.... многих авторов совсем игнорирует, словно их на свете нет.... Его отзывы вообще верны, метки, но склонен к преувеличениям и парадоксам.... Он, когда я его оставил, был уже занят построением какой-то грандиозной, мировой философии.... Он много мне об этом говорил (любит таки Вильгельм Вильгельмович поговорить!......) все об этике научной мечтает. Он сам верит в какую-то свою миссию, отсюда порою его самоуверенность, пренебрежительное отношение к академической учености..... Он, раз мне, Осип, самым серьезным образом заявил, что он единственный сейчас революционер в России?... чудак Вильгельм Вильгельмович, чудак!»....

(Я передаю, конечно, не буквально слова Перовской и Натансона, а лишь смысл их. За подлинность ручаюсь).

Флеровский платил чайковцам тою же монетой. Выше я уже говорил, как восторженно он отнесся к «Книжному Делу» кружка.

Некоторые фигуры обрисованы им так ярко, что так и хочется назвать их. От Перовской он просто без ума: в его восторженной характеристике она является какой-то сказочной феей, которая чарами своими производит чудеса.... И это он говорит о девушке 18—19 лет!

Повторяю: те страницы своих «воспоминаний» [1]), которые Флеровский посвящает молодежи вообще, накануне хождения последней в народ,—лучшие страницы его по их искренности, правдивости и яркости красок. И в этом отношении они, эти страницы, представляют ценный материал для истории революционного движения семидесятых годов.

В 1872 году он переезжает из Любани в Финляндию, на дачу; конечно, тут иной умысел был—быть ближе к Петербургу. Дача его вскоре становится Каноссой, куда то-и-дело со всех сторон к нему идут поклонники. На даче

1) Я разумею его брошюру „Три политические системы". Лондон. 1897.

несколько дней подряд живут Ободовская и Чемоданова (Синегуб по мужу), частенько появляется и Перовская—желанная из желанных; навещают его Кравчинский и Клеменц; наконец, появляются Долгушин, Дмоховский и Плотников (подробнее об этом ниже); вокруг дачи устроилась «коммуна» молодежи, которой Флеровский преподает основы правоведения. Одним словом, Флеровский в центре: его обаятельная личность, его простота, его обширный пропагандистский опыт, его симпатии к молодежи,—все это крепко связывает узы братства и товарищества, между сравнительно пожилым уже В. В. Флеровским-Берви, с одной стороны, и совершенно еще зеленой молодежью—с другой...

Я останавливаюсь так долго на Флеровском потому, во-первых,—что работа чайковцев и прочей молодежи так тесно переплеталась тогда с личностью Флеровского, что оторвать их друг от друга не представляется возможным. А, во-вторых,—и это особенно важно—я хочу воскресить светлый образ постыдно забытого человека, писателя, мыслителя, вписавшего свое имя в историю русского общественного движения второй половины XIX века.

Я хочу вместе с Н. А. Малиновским воскликнуть во всеуслышание:—«Не пора ли—вспомнить?».... Ведь у других народов, в других странах В. В. Флеровскому-Берви воздвигнули бы памятник—за ум его большой, за высокие мысли его, великие идеалы его, за большие страдания его!.. А у нас современное поколение не знает его! Оно не знает, что всю долгую жизнь свою, гонимый и преследуемый царским правительством, он не переставал звать в народ, что любил он этот народ горячей любовью, что, говоря словами Н. К. Михайловского, у него, Флеровского, «мысли и чувства не глядели врозь», что он сам, везде и всегда,—где бы то ни было—на воле кратковременной и в многолетней ссылке,—«ходил в народ», вел среди него пламенную пропаганду, будил его дремлющую мысль, звал к борьбе и жертве, к *сознательному* строительству новой жизни. Не знает молодое поколение и того, что за великий и благородный мыслитель был Флеровский, неутомимый и беспокойный искатель истины и правды, воплощавший в *личной* своей жизни светлые идеалы, проповедуемые им: братство, равенство, самоотречение, суровый ригоризм, «добровольную бед-

ность» и труд,—труд, как основа разумной сознательной жизни, направленный на пользу своего народа, всего человечества—всех «слабых» и угнетенных, эксплоатируемых и обижаемых.

Двадцать пять слишком лет, в самую пору расцвета творческих сил его, провел Флеровский в перманентной ссылке. Природа отметила его исключительным своим вниманием, вложила в него завидные задатки творчества как идейного, так и практического, но злой рок действительности, русской действительности—царский режим—безжалостно отрезал кудри Самсона и обессилил его.... Исковеркана и изломана вся жизнь, задавлено могучее творчество.

С воцарением Александра III, «Царя-миротворца», Василию Васильевичу был отрезан всякий доступ в литературу, имя его не произносилось, работы его преданы забвению—постыдному забвению....

Жестокое табу, как черная туча, нависла на многие годы на личность и творчество одного из лучших людей нашей родины.... Он забыт....—«В течение всех 16 лет моей литературной деятельности,—жалуется В. В. Флеровский,—я был в самом странном положении, из-за каждой своей книги, из-за каждой статьи я должен был биться, как начинающий писатель; я начал и кончил начинающим. То, что я писал, производило нередко большой шум, но идея всегда, без исключения, оставалась незамеченной. Из-за этого я пил горькую чашу, с отчаянием в душе и без всякой надежды я погружался в мрак забвения»[1]. «В мрак, забвения!» И жутко, и холодно становится от этого, читатель!...

ГЛАВА III.

Флеровский-Берви и кружок Долгушина.

Состав кружка. Характеристика его. Вопрос о „нормальном человеке“ в кружке. Революционная работа кружка. Личные воспоминания.

Много жертв вырвало из рядов революционной молодежи движение семидесятых годов. Если сравнить число погибших с числом всех участвовавших в этом движении, то цифра получится ужасающая. Не длинен этот путь, а весь усеян

[1]) Флеровский. „Три политические системы“. Лондонское издание. 1897 г., стр. 463.

могильными холмами. Есть кружки, в которых «вихорь злобы и бешенства» разметал всех членов кружка до единого, рассеял, смел так, что и следа не осталось. Такая именно судьба постигла кружок долгушинцев. Один за другим в сравнительно короткое время пали в цвете лет, вышедшие на борьбу, бодрые и смелые. Они рвались в бой, они не ждали примера от рабочих, не ждали призыва с запада, санкции от Бакунина или Лаврова, они первые, в 1873 году, круто порвали со «старым миром» и на собственный страх и риск, выстрадав предварительно надуманное ими, двинулись в народ. Их было немного, но они крепко сплотились, дружно сомкнулись. Кружок долгушинцев—типичнейший интеллигентский кружок революционной молодежи начала семидесятых годов.

В нем, в этом кружке, как в миниатюре, отражается весь «порыв и натиск» той эпохи, своеобразные особенности ее, жизнеощущение и миропонимание того молодого поколения, которое задало себе колоссальную задачу, поставило недостижимую для него цель и пало под тяжестью этого огромного начинания. Следя шаг за шагом за историей возникновения этого замечательного кружка, за той внутренней работой мысли, которую кружок этот предварительно пережил, можно близко к правде нарисовать соответствующую картину революционного движения того времени—в целом. И идеи, и цели, и стремления, и люди—все в общей совокупности и в частности носит на себе неизгладимую печать того времени: искание истины, добра, нравственных устоев, готовность к полному самоотречению, к жертвенности во имя обожаемого народа прежде всего,—вот что отличало это движение.

И когда сейчас передо мной восстает образ этого кружка, когда вижу Долгушина, сосредоточенного, сдержанного, сильного и решительного, Дмоховскоог — экспансивного, открытого, порывистого и привлекательного, Плотникова, — застывшего точно в экстазе охватившего его всецело нового устремления, новой «правды», Гамова, не утвердившегося еще, упорно ищущего и вопрошающего, в тиши своей комнатки набрасывающего планы будущего федеративного устройства России, одним ударом рассекающего гордиев узел общественных проблем,—когда все это развер-

тывается передо мною, я говорю: то семидесятник стоит передо мною, то он бьется, как рыба об лед, ищет, чтобы обрести, стучится, чтобы отверзлось ему!..

Осенью 1872 года начал формироваться кружок долгушинцев. В основной кружок вошли: Долгушин, голова кружка, Дмоховский, сердце кружка, Ив. Папин, Н. Плотников, Дм. Гамов, А—др Чиков, Ананий Васильев и др., примыкавшие только к ним. И вскоре они напали на след своего пути и смело пошли по нему [1]).

Зимою 1872 года у долгушинцев происходят многочисленные сходки, ребром ставятся жгучие вопросы, бык берется за рога. Ставится вопрос о «нормальном человеке». Что надо разуметь под «нормальным человеком»? Тема была отнюдь не академическая, а вытекала из глубины умственно-нравственных исканий кружка. Под «нормальным человеком» надо разуметь человека, в котором заложены все возможности разностороннего гармонического развития личности как телесной, так и духовной. Оно достижимо лишь в том случае, когда личность живет и действует в нормальной среде, способствующей полному развитию этих возможностей. Ближайшим его условием должен быть труд, направленный на общественную пользу, свободный от гнета как извне, так и извнутри,—труд, основанный на солидарности всех трудящихся, на дружной совместной их кооперации, где эксплоатация человека человеком не может иметь места, где свобода, равенство, братство осуществляются не на словах, а на деле. Наши «верхи»—вельможи, чиновники, дворяне и купцы и проч.,—иже с ними, а равно и наша «интеллигенция», представляют-де собою среду, по природе своей, безусловно неблагоприятную для воспитания «нормального человека»: эта среда не только в своем собственном царстве убивает слабые ростки возможного развития «нормального человека», но и задерживает всячески, тормозит беспрестанно свободное проявление «нормального человека» и в рабочей среде. Только последняя является живой носительницей идеального типа «нормального человека». И если этот

---

1) См. „Предварительное следствие по делу о составлении и распространении различных прокламаций противогосударственного характера“. Начало—декабря 21 дня 1873 г. Конец—20 февраля 1874 г. На 379 листах Инст.-рев. архив.

тип в рабочей массе не выявляется сейчас во всей его полноте и красоте, то этому исключительно мешают гнет властвующих и эксплоатация имущих классов, которыми они, эти угнетатели и эксплоататоры, систематически уродуют массу физически, притупляют ее умственно и принижают морально. Надо открыть глаза массе, надо ей показать, что такой порядок противоречит «закону природы и правды». Масса легко поймет это: она веками живет этой моралью, хотя ясно не может ее формулировать; вся ее крестная жизнь есть лишь неустанное воплощение в человеческих отношениях «закона природы и правды»; она, масса, вечно к этому стремится, но отбрасывается с истинного своего пути грубым натиском насильников и эксплоататоров.

Уже с весны 1873 года долгушинцы развернули лихорадочную деятельность. Они уже все вопросы порешили, они уже на новом пути. Они—обреченные. Все корабли сожжены, отступление невозможно. Недостает лишь некоторых «снаряжений» в дальний путь: брошюры для народа, которая заменила бы ему евангелие. Долгушинцы с этой целью завязывают знакомство с Флеровским. Через Дмоховского отец которого был очень близок с Флеровским, они знакомятся с последним. Они хорошо знали отношения последнего к молодежи, знали направление его мыслей, знали его, как автора «Положения рабочего класса» и «Азбуки», знали, наконец, о его связях с чайковцами. Они решили: Флеровский непременно напишет для них такую брошюру, Василий Васильевич Флеровский (Берви) охотно согласился, но заметил при этом, что, «как бы плох ни был современный порядок, существующий в России, но он образовался исторически, со всеми воззрениями и инстинктами, которые из него произошли» [1]. Это значит: не берите на себя слишком тяжелую ношу, ставьте цели и задачи, реально-осуществимые и достижимые. Мудрый совет старшего товарища-друга. Под влиянием молодежи, Флеровский словно помолодел сам: его озаряет новая идея, всецело охватившая его—создания новой религии, как мощного орудия завоевания народа.

Вот что он по этому поводу говорит: «у меня постоянно было в уме сравнение между готовящейся к действию моло-

---

[1]) Н. Флеровский. „Три политические системы". Лонд. изд. 1897 .

дежью и первыми христианами. Они еще не выступили в дело, они только готовились и, одушевленные беззаветным своим энтузиазмом, были вполне уверены в своем успехе. Я был также убежден, что с ними сладить будет нелегко, но когда я обозревал беспредельное поле действия среди непочатого русского народа, тогда я убеждался, что успеха можно ожидать только тогда, когда охвативший молодежь взрыв энтузиазма будет превращен в постоянное и неискоренимое чувство. Непрерывно думая об этом, я пришел к убеждению, что успех можно обеспечить только одним путем—созданием новой религии... Надо научить народ посвящать свои силы только самому себе, сделать его способным жить и переносить все на свете ради своих братьев; они, и одни они, должны быть предметом его любви и его горячих желаний; к ним одним должны быть обращены его горячие чувства; они одни должны стоять в его глазах выше всего и составлять все целью его жизни; они должны составлять его религию. Я стремился создать религию братства!.. Если бы можно было эту самую молодежь превратить в апостолов такой религии. Если бы убывающие ряды их пополнялись все новыми верующими, которые, подобно первым христианам, горели бы возрастающим энтузиазмом, тогда успех был бы обеспечен»[1].

И Василий Васильевич, конечно, со свойственной ему откровенностью и чистосердечием выложил все это перед молодежью. Последняя с живым интересом слушала Василия Васильевича. Новая религия манила ее своей эмоциональной стороной—пафосом. Это тогда гармонировало с тогдашним настроением молодежи, и долгушинцев,—в особенности.

Вместе с тем она не противоречила их собственной идеологии и ближайшим их целям: ведь, «религия равенства» стремилась к установлению братства, солидарности между людьми, а, следовательно, в последнем счете—к уничтожению эксплоатации человека человеком, т.-е. к той же конечной цели, к которой стремится социализм. А потому-де вполне целесообразно было бы,—рассуждали молодые,—сде-

---

[1]) Н. Флеровский. „Три политические системы". Стр. 297—298. Курсив везде мой. *А.*

лать в этом направлении опыт в народе: как такая религия, без бога и святых, приемлется народом, как воздействует на нее народ. Книга была написана и пущена сначала в рукописи в народную среду, и когда оказалось, что она произвела сильное впечатление на народ, решено было ее отпечатать. Заглавие этой брошюры первоначально было: «О мученике Николае и как должен жить человек по закону правды и природы». В марте 1873 года Дмоховский едет заграницу, в Швейцарию, и печатает книжку. Но первая заграничная вариация не удовлетворила ни Флеровского, ни долгушинцев, и решено было переделать ее. Так появилась вторая вариация под заглавием: «Как надо жить по закону природы и правды». Этот вариант был уже отпечатан в своей, долгушинской, типографии в Сареeве, звенигородского уезда (московской губернии). То было летом 1873 г.

Долгушинцы утверждают, что брошюра эта была принята народом с восхищением. Флеровский подтверждает то же самое и приводит в своих «воспоминаниях» [1]) один весьма трогательный случай: во время своих обычных прогулок на даче с книгой в руках он встречает рабочего-финляндца, который, завидя его, Флеровского, круто оставляет свою работу, подбегает к нему и, пожимая ему руку, говорит: «твоя книжка говорит правду, будем вместе, молиться!..» Пишущий эти строки может, с своей стороны, сказать то же: где бы ему ни приходилось читать крестьянам эту брошюру—в глухих и забытых богом и добрыми людьми деревнях и деревушках пензенской губернии, или в торговых слободах тамбовской и харьковской—везде она, эта брошюра, производила потрясающее впечатление. Но тут же я должен оговориться,—впечатление не было длительное, как это, например, производила «Хитрая механика», или простая устная беседа с крестьянами, иллюстрируемая картами и картограммами, о малоземелье, о выкупных платежах, о податях и всяких фискальных и административных тяготах вообще.

Брошюра была для них, крестьян, чем-то в роде «музыки будущего», вторые—«хлебом насущным», «злобой дня». Первая не волновала, а уносила лишь «горе», последние же подымали тревоги, зарождали вопросы, пробуждали мысль,

---

[1]) Я разумею его брошюру „Три политические системы". Лондон. 1897.

энергию и волю к действию. В конце-концов брошюра не оказалась «религией братства», и сам Флеровский скоро горько убедился в этом и предался отчаянию. Скажу уж здесь в скобках, что по поводу этой брошюры—Флеровского арестовали, долго держали в Петербурге, а потом и в Москве, вымотали из него всю душу, но он сумел представить своему прокурору-следователю такую «записку» — шедевр юридической аргументации, что камня на камне не осталось от построения прокурора. III Отделение и царь были очень огорчены этим исходом: им очень хотелось приобщить Флеровского к делу долгушинцев, очень хотелось им осудить его, но пришлось поневоле ограничиться... административной карой: отправить его (надолго) на север (в архангельскую губернию). Не мытьем, так катаньем.

Лето 1873 года долгушинцы уже на работе—«в народе». То была лихорадочная работа. Люди буквально сгорали на этой работе, не жалели себя, не думали о себе: печатали доморощенным способом прокламации свои, брошюры для народа, распространяли все это, читали народу.

То тут, то там появляются, бросают искры, авось от них возгорится пламя, и кровавое зарево его раздастся мощным призывом к народной расправе.

Никаких предосторожностей, никакой конспирации—открыто, смело. Пятеро их было: Долгушин, Дмоховский, Панин, Плотников,—все из интеллигентской среды, и один подросток рабочий, Ананий Васильев. Не велика рать. Но они могли гордо сказать врагам: «из искры возгорится пламя»—славный ответ декабристов Пушкину. Когда я сейчас перебираю в моей памяти штрих за штрихом, черту за чертой все перипетии этой первой вылазки наших пионеров-семидесятников на исконного врага, когда припоминаю все то, что я наслышался о долгушинцах с разных сторон, когда припоминаю то потрясающее впечатление, которое произвел на меня летом 1874 г., во время уже пропаганды моей в деревне, начинающийся процесс по делу долгушинцев, когда я сейчас углубляюсь в фолианты «следственного дела» о долгушинцах,—тогда, словно из гроба, восстают передо мною не тени погибших товарищей, а одетые плотью светлые образы их...

В лежащем передо мною «следственном производстве»— масса ценного в высокой степени материала, рисующего, можно сказать, интимные стороны характера этого кружка. Мы воспользуемся здесь некоторыми данными.

Вот перед нами протокол № X. Осмотр дачи Долгушина, где находилась типография. Прежде всего бросается в глаза следующее: в доме найден в углу, стоящим на полке, деревянный, некрашеный, ручной работы крест, на котором вверху сделана надпись: «Во имя Христа», и на перекладине креста: «Свобода, равенство, братство». Надписи на стенах: на одной: «O God, o soul, o Glory of liberty, night and day their lightening, their light... What man schall stop us and what God schall smit us?» («О, бог, о, душа, о, слава свободы, и днем, и ночью их молния и свет... Мы гребем, как рабы. Но если твой перст коснется нас, то они бегут... Какой человек остановит нас, какой бог поразит нас?»). На другой: «Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat». («Что не может быть излечено лекарством, то излечивается железом, чего не может излечить железо, то излечивает огонь». Гиппократ). Над дверью в комнате:— «Segui il tuo corso; e lascia dir le genti.»—«Ne sers que lui; sa cause est sainte; il souffre et tout homme auprès peuple est. l'envoyé de Dieu». («Шествуй своей стезей и пусть люди говорят, что хотят.»—«Служи только ему, ибо его дело— священное; он страдает и всякий человек вблизи народа— посланник бога»). Это написал Долгушин на разных языках—английском, французском, итальянском и латинском.

Что это—красивый жест? Фраза? И то, и другое чуждо натуре Долгушина. Это—заповеди, дорогие сердцу Долгушина, он пишет их на видном месте на стенах и у входа у дверей, чтобы они постоянно были перед его глазами— как memento vivere (как напоминание о том, «как надо жить»), от них веет гордостью высокой мысли и отвагой борца («Шествуй своей стезей и пусть люди говорят, что хотят»), от них веет жертвенностью и порывами ввысь («О, Бог, о, душа», и т. д.), в них, наконец, слышится лязг разящего стального булата (изречение Гиппократа).

Какие сложные движения души! Крест—символ искупления, и революция—выражение «святого гнева». «Во имя Христа» и «Свобода, равенство, братство». Революция жертв

просит—иди на крест! Революция кровавой борьбы требует—рази мечом!

Это не было так просто, как другие себе представляют: прочла-де молодежь одну—другую полдюжины тенденциозных книжек, наслушалась призыва Бакунина и Лаврова и пошла в народ. Нет! То была подлинная драма растущей и выпрямляющейся души, то были муки рождения больших дум и тревожных вапросов сердца. Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. Чего она искала в Евангелии? Какие струны ее души были так задеты «благой вестью»?...

Крест и фригийская шапка? Но это было, было, читатель!

И не одни долгушинцы были такие. Я сам все это переживал тогда: я потому и принял христианство—по глубокому моему сердечному движению, по любви моей к Христу. Далеко ушло от нас это время, но и сейчас не могу этого объяснить. Все объективные причины и условия сохраняют, конечно, свою силу, как моменты, обусловливавшие все это движение в целом, но они не все объясняют, не все вскрывают. Могу только одно сказать: покаянного чувства во мне и следа не было. Да и откуда оно могло родиться во мне? Скорее мне, как одному из представителей угнетаемой народности, следовало бы предъявить вексель к уплате, чем самому по какому-то фантастическому займу платить! [1]). Не видал я также этого покаянного чувства и у моих товарищей дворян, шедших со мною по одному пути.

Кто выдумал это? Чтобы отдаться народу, совсем не требуется покаяния: ум и сердце, согретые мыслью и чувством, достаточны для этого. А этим, хотя и мы не кончали университетов и академий, «господь—бог» не обидел

[1]) То же можно сказать и о представителях других „покоренных" и „инородческих" национальностей (поляки, кавказцы, латыши, финны и проч., проч.). Сюда же относятся и представители жалкого мелкого чиновничества, мелкого духовенства и мелкого городского мещанства. Все они—не эксплоататоры, самое бóльшее—паразиты, но они—„униженные и оскорбленные", а где унижение и оскорбление, там нет места чувству „покаяния". А их было 42% революционной молодежи (по процессам) (См. Л. Э. Шишко, l. c., стр. 85, выноска).

нас. Для счастья народа—нет жертв, для блага народа— один путь, путь борьбы. Мы к этому и стремились, мы этого и хотели. Просматривая протоколы, относящиеся к другим долгушинцам, мы у них находим в существенных чертах то же самое; те же сложные движения души, те же сложные мотивы действия.

У Миткевича-Далецкого мы находим даже те же надписи.

У всех почти находим Евангелие, и это не только ради пропаганды—нет; тут чуется другое.... что и у Долгушина. Попадается даже у Циммермана такая книга: Молитвенное обращение к богу об умиротворении совести. (Курсив мой. А.).

Протокол VI. Занимает несколько листов; к сожалению, во многих местах грубые искажения, невежество и безграмотность.

Гамов—в высокой степени вдумчивый человек, с критическим умом, беспокойным, ищущим. Он все хочет знать досконально, все хочет предвидеть, предусмотреть, чтобы не было промаха, ошибки. Дело большое затевается, надо на все смотреть с открытыми глазами. Он оставил много «записок», дневник—все ценное. У него, конечно, Евангелие, но рядом с этим—«Исторические письма», сочинения Флеровского с обширными выписками как из этих сочинений, так и из его статей в «Сборнике Недели». щачинает он с плана организации революционных сил. Надо привлекать силы из всех сословий, но особенно—из духовного и военного. Тип организации—централистический. Он прослеживает весь процесс организации до момента вооруженного восстания, когда и военные станут на сторону революции, и духовенство даст свое благословение.

Гамов идет дальше. Он спрашивает: как же по совершении революции устроимся? И он набрасывает смелой рукой план реорганизации России на федеративных началах. Гамов предлагает при этом любопытную картограмму. Россия разделена на 29 федераций: Великороссия, Малороссия, Литва образуют группу федерации в среднем из 3 (трех) губерний. Он принимает во внимание исторические, этнографические и бытовые особенности населения губерний. Польша, Финляндия, Кавказ, Закавказье, Войска Дон-

ское и Кубанское составляют самостоятельные федерации. Федеративный строй, по мнению Гамова,—лишь переходный к коммунистическому: к вольному союзу свободных коммун, которыми вся покроется. Такая постепенность неизбежна, диктуется историческим ходом развития и сложения государственного строя России. Все это разовьется, без всякого насилия. «В других странах нелепо поступили, что прямо объявили коммуну». (Гамов). (Курсив везде мой. А.).

Далее Гамов переходит к анализу хозяйственного и административного устройства будущих коммун. Он предвидит несогласия, столкновения интересов и на административной, и хозяйственной почве. Но все это уладится естественным ходом вещей, который приведет к естественному порядку. Там, где собственники вкрапливаются в общинные коммуны, первые, в силу объективного хода вещей, вынуждены будут перейти к общинному землевладению, ибо последнее окажется материально более сильным и обеспеченным, а это, в последнем счете, приведет и к административному слиянию. «Собственность,—говорит Гамов в другом месте,—не отвергается, но в каком смысле подразумевается собственность? Всякий человек считает своей собственностью то, что воспроизвел своим трудом, на что приходилось употреблять собственные его физические силы, и при этом будет считаться собственностью только в количестве, ограничивающем его жизненные потребности. Всякое исключительное владение кем-нибудь какой-нибудь частью земли отменяется, и земля предоставляется в полное обладание всем, так как земля, как стихия природы, есть достояние всех, как воздух и вода. (Учение о «нормальном человеке» и «законы природы и правды»).

Любопытны его суждения об «образе правления»: — «На царя у нас смотрят, как на помазанника божия, а потому итти против царя в России невозможно; для этого нужно выдумать такую религию, которая была бы против царя и правительства (Курсив мой. А.). Последователи-де найдутся непременно: «Мы знаем, что всякая секта собирает около себя громадное количество последователей. Надо составить катехизис и молитвы в этом духе». (Курсив мой. А.). Опять—«ре-

лигия». Как не видеть здесь, между прочим, влияния В. В. Флеровского? В конце концов Гамов допускает, что если будет глава государства, то это будет—выборный из 29 представителей, 29 вольных федераций, стало быть, — выбранный народом, а не «божией милостью» царь.

А конечная цель федеративного устроения России — «анархия», т.-е. «естественный союз» людей, основанный на свободе и равенстве, без принудительной силы закона. Таков идеал будущего общественного устройства России, после революции, по Гамову.

Кроме записок имеется еще любопытнейший дневник Гамова. Дневник писан карандашем (очевидно, Гамов торопился все слышанное закрепить нна бумаге), с 9 сентября по 25 декабря 1873 г. (с перерывами). Вот некоторые отрывки.

«9 сентября (воскресение). Были не все, окончательно решили, чтобы не читать никаких книг, и почти все решили, чтобы сперва заниматься предварительными занятиями, именно, посвятить, несколько дней на исследование всех движений русского народа, а потом уже приступить к исследованию всех учений, касающихся практической почвы....

23 сентября (воскресенье). Порешили заниматься сперва исследованием всех социальных вопросов, начиная с уничтожения феодализма, а там (потом? А.) уже приступить к практическим, т.-е. рассмотреть цель и средства...

Все наши совещания состояли в передавании друг другу фактов; между прочим, было говорено, что городские жители—те же фабричные, от них мало кое-чего хорошего узнать; для этого необходимо потереться между сельским населением. В старобельском уезде народ взбунтовался по поводу воли (2 года тому назад), и на них была выставлена вооруженная сила, которая три раза бралась в штыки и ничего не могла сделать. Лермонтов, приехавши из Харькова, сообщил, что малороссияне не хотят платить ни оброков, ни податей....

4-е декабря. Я был у Кишкиной, был брат второй, Аносов и две женщины, из которых одна пожилых лет. Они сообщили, что в Зарайске, в селении, находящемся близ него, крестьяне взбунтовались, начали гнать в шею станового и др. и положительно отказались платить. На

просьбу, чтобы они повиновались, они отвечали:—зачем? А зачем нам школу, да ты скажи, зачем и кому они.... В Александрии стычка между мужиками и отрядом солдат. Эти женщины обещались достать рукописи декабристов. Другая женщина передала мне, что в селение (? А.) был назначен учитель новый на место старого, это сильно встревожило крестьян, они подняли бунт, и начальство, несмотря на все усилия, принуждено было отказать этому учителю, которого впрочем без того рабочие выгнали чуть ли не в шею»... Затем, после списка фамилий декабристов, извлечения из Симона, разные заметки, извлечения из газет... Далее заметка по поводу восточных и западных славян, где говорится о поляках, которые должны возвратить свою самостоятельность, и оканчивается следующими словами:— «Странно, как это в России установилась монархия, ведь у ней с самого рождения и далее была коммунистическая форма правления [1])».

Дневник интересен: сколок того, что на всех сходках повторялось. Эти «слухи», разговоры о «бунтах» все время циркулировали в нашей среде, возбуждали нас; хотелось верить и верилось, что народ уже «готов». А в действительности—гора мышь родила, но у нас шоры были перед глазами.... А заключительный аккорд о «коммунистической форме правления»? Ведь то было для нас Сезамом, как в арабских сказках....

Дальше имеется набросок составленной им программы, но все так исковеркано протоколистом, что нелегко разобраться в этом. Гамов ставит категорический вопрос о необходимости отчетливо высказаться относительно будущего идеала. В этом отношении он предвосхитил идею Кропоткина, который позже тоже выдвинул вопрос: «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?» Гамов решительно высказывается за это.

Мы уже знаем, что Долгушин написал две прокламации: «К русскому народу» и «К интеллигенции». Нам надо познакомиться с их содержанием, так как оно очень характерно как для Долгушина, так и для того времени,

---

[1]) Подчеркнуто мною. *А.*

Эпиграфом для первой прокламации Долгушин выбрал стих Евангелиста Матфея: «Ищите и обрящете, стучите и отверзится вам; ибо всякий, кто ищет, находит, и стучащему отверзается». Прокламация «К русскому народу» написана в приподнятом нравственно-религиозном тоне. Она является в значительной мере подражанием брошюре «Как надо жить по закону природы и правды?» Сдается, что Флеровский и здесь оказал свое влияние: манера говорить, аргументация, апелляция к «вечной справедливости», к «закону природы и правды», к «естественному праву»,—словом, основные тона прокламации отдают утопическим социализмом, которого В. В. Флеровский в то время еще не изжил. Нам не приходилось читать народу эту прокламацию, по думаем, что она, особенно платформа ее, произвела бы сильное впечатление.

Приводим ее в извлечении:

«...Мы, ваши братья, обращаемся к вам, угнетенным людям, и взываем во имя вечной справедливости, восстаньте против этих несправедливых порядков, не подобающих человеку, высшему и лучшему созданию на земле.

Восстаньте, братья, и праведно будет ваше восстание, и благо будет вам, если вы дружно подыметесь и смело будете стоять за свое правое святое дело, никому ничего не уступая»..... «Только встань и скажи смелое свое слово, и угнетатели твои затрепещут перед тобой и униженно попросят пощады.... И когда ты победишь, ты устрой так жизнь свою, чтобы она не давала разводиться угнетателям, и когда не будет ни угнетателей, ни угнетенных, тогда ты будешь счастлив вполне....» «...И вот, когда вы потребуете для себя лучшей участи, злые люди—лиходеи станут кричать против вас, что вы бунтовщики, что вы всех перерезать хотите.... и все такое.... Это уж так бывает всегда, вспомните, что говорит Иисус Христос: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками».

В заключение прокламация предлагает целый ряд требований, предлагает свою платформу:—«Итак, мы требуем, во-первых, чтобы оброки были уничтожены. Земля-де спо-

кон веку принадлежала народу-пахарям, он заплатил за нее вековым своим рабством,—крепостным правом и т. д.»— «За что же платить-то? По справедливости помещики должны бы еще нам заплатить за то, что мы за них даром работали за все время, пока они нами владели; а тут, напротив, нас же еще они платить заставляют: это уж совсем не годится. А ежели ко всему этому прибавить, что заставляют иной раз выкупать землю негодную, али платить такой оброк, что он в сложности-то больше того, что и земля-то выкупная стоит,—ежели все это обдумать, так выходит ни с чем несообразно. Но есть еще одно: земля создана для всех, и каждый человек имеет в ней свою долю безо всякой платы за это; а ежели за это полагается плата, так это вот что значит: некоторые люди насильно захватили землю в свои руки да и заставили других покупать ее у у них. Мы спрашиваем, справедливо ли это? не насилие ли это? не грабеж? И разве у людей не одинаковые потребности? Нет; мы знаем, что все люди равны от рождения, и уж от природы неотъемлемыми правами и прежде (всего?) всякий имеет право на жизнь, свободу и счастье. Земля наша кормилица и все имеем одинаковое право на нее. Вот из-за всего этого мы не хотим платить оброков».

— «Второе наше требование подобно первому: мы не хотим пользоваться малыми наделами и плохой неудобной землей, потому что такая земля плохая кормилица. Да и что за нужда пользоваться такой землей, коли в нашем отечестве на всех хватит хорошей земли, из-за чего же тут мыкаться? Поэтому требуем мы всеобщего осмотра, передела всей земли крестьянской, помещичьей и казенной,—для того, чтобы распределить ее между всеми по справедливости, чтобы всякому досталось сколько надобно.

«В-третьих, чтобы не было некрутчины, какая теперь бывает каждый год: она дорого нам стоит и сильно разоряет наши хозяйства».... «...Неужели оставлять такие порядки? Нет; мы требуем, чтобы рекрутская повинность была уничтожена и заменена вольным обучением в школах, и чтобы только во время войны собиралось войско.....» «...В этих школах всякий человек выучится и сумеет, коли надобность будет, постоять за себя и за отечество: тогда стоит только клич кликнуть—и соберется воинство,

изберет оно себе офицеров и всех, кого нужно, из своей же братьи, и поведут эти излюбленные вожди вольное воинство на битву.... При таких порядках не придется тратить на содержание войска столько денег, сколько теперь тратим.

«В-четвертых, требуем мы хороших школ (за грамотного двух неграмотных дают)... чтобы устроены они были наилучшим манером; чтобы учителями у них были люди сведующие и ученые; чтобы не напрасно ходили в них наши дети, а выучивались бы всему, что нужно человеку для того, чтобы уметь постоять за себя, за ближних своих, свое отечество...

Знанье—сила, знанье—свет.
Рабство без него.

«В-пятых, требуем, мы, чтобы паспорта были уничтожены.

«И вот, наконец, последнее и самое важное наше требование: мы не хотим, чтобы с нас собирали сколько угодно и тратили все, куда хотят. Как, мы отдаем казне часть своих средств, добытых нашим тяжелым трудом, и не знаем, куда они деваются, как будто моты какие-нибудь, словно для нас все равно, пойдут ли они на хорошее дело или пропадут даром ни за что, про что.

«Нет; мы не можем так беспутно поступать, деньги нам, чай, недаром достаются, мы, ведь, не дворяне, нам так нельзя. По нам правительство должно делать расходы с общего нашего согласия и отдавать народу во всем самый подробный отчет...» «...Мы не хотим, чтобы всеми делами заправляли дворяне, нам не нужно чиновников, мы ведь знаем, что они нисколько не заботятся о наших нуждах, а норовят только, как бы, нажиться на наш счет».

«А хотим мы, чтобы управляли народ через своих выборных; чтобы правительство состояло не из одних дворян только, как теперь, а из людей, избранных самим народом; за ними народ будет наблюдать и спрашивать с них отчет и сменять их когда будет нужно. Такое правительство будет делать только то, что полезно народу, а чуть оно вздумает делать что-нибудь вредное, — его остановят и сменят. Только такое правительство может искренно заботиться о нуждах. Теперешнее правительство может

почитаться, как враг народа, потому что оно разоряет народ и не заботится о нуждах его»....

«...Ежели бы все эти требования наши исполнились, то, клянемся, не стало бы таких беспорядков, какие теперь у нас имеются. Не будет ни угнетателей, ни угнетаемых, не будет неученых, темных и бедных людей, а будем мы все счастливы, будем жить, как подобает человеку, властелину земли. Так вот в чем наше дело. Рассудьте же, добрые люди, есть ли тут что-нибудь незаконное или неправое. Мы твердо уверены, что оно святое и правое дело, и теперь нужно только подумать о том,—каким манером мы хотим достичь того (чего) хотим. Но как не думать, одно средство находим, без которого ничего не поделать: нужно всем стояковаться, а не брести врозь. А согласиться-то, кажись, (не) трудно, ведь у нас одно житье-бытье, одно (горе).

«Когда мы согласимся, тогда будем так сильны, что сильнее нас никого не будет. Но как добиться общего согласия? Да вот как: ежели одно общество согласится, пускай оно пошлет от себя выборных в другое общество, чтобы согласить его действовать за одно; коли оно согласится, тогда послать выборных двух обществ к третьему и так дальше-больше из деревни в деревню, из села в село, из волости в волость, из уезда в уезд, из губернии в губернию»[1].

«Пусть, как единый человек,
Вся Русь замученная встанет,
Освободим себя навек;
Земли родной на всех достанет»[2].

Остановимся на момент на этом замечательном документе. Если общая часть (в извлечении) раскрывает перед нами утопическую природу его, то платформа воззвания своими конкретными подробностями, так выпукло рисующими назревшие уже требования народа, прямо импонирует знаниями народной жизни, народных нужд. Приходится удивляться такой прозорливости Долгушина. Но если

[1]) Вставки слов и отдельных букв в клеммы-скобки принадлежат везде мне. Отпечатано неумело, „неопытными руками“ по экспертизе Риса. *А.*

[2]) Заимствовано из „Ослушной песни“. *А.*

вспомнить, как близко стояли долгушинцы к Флеровскому, как сам Флеровский везде и всегда проводил настойчиво мысль о необходимости действовать в народе, становясь на почву совершенно назревших уже нужд и потребностей, то мы можем, думается нам, без всякой натяжки сказать: тут указание Флеровского видно, тут его перст во всем чувствуется. Я уже не говорю об общем всей прокламации, ее нравственно-религиозном, почти евангелическом тоне: это, утверждаю, если не прямо навеяно Флеровским, то явилось к долгушинцам, как и у многих из нас, как «дух времени»,—другого, более подходящего выражения сейчас подыскать не могу. Интересна в этом воззвании характерная черта: царь игнорируется, обходится дипломатично, словно его нет, или без него совершенно можно обойтись. В центре обстрела стоит «правительство» из «дворян и чиновников», его-то, «infame» (выражение Вольтера по отношению к католичеству) надо, прежде всего, убрать прочь с дороги и заменить «народным правительством», «излюбленными выборными», которых во всякое время можно было бы контролировать и убрать по добру и здорову, когда они окажутся не на высоте своего положения. Что это за правительство при царе, которое будет ответственно перед народом? Парламентарное? Но долгушинцы—анархисты pur sang. Долгушин дипломатично обходит вопрос. На первом плане у него: всенародное восстание, которое передаст все в руки народа, и они, т.-е. долгушинцы, «клянутся», что за сим наступит царство правды на земле, где «не будет ни угнетателей, ни угнетенных, ни неученых, темных и бедых людей, а будем мы все счастливы, будем жить, как подобает человеку, властелину земли.... Это святое и правое дело»....

Итак, в последнем счете—вся надежда на народ: он сам устроит все «по милу, по добру». Неискоренимая вера в творческие самобытные силы народа—вот заключительный аккорд этой прокламации.

Прокламация «К интеллигентным людям» написана совершенно в других тонах. Автор—Долгушин хорошо знал свою аудиторию, хорошо знал ее психологию, задушевные думы и чаяния. И его стиль не евангелический, а твердый, как алмаз режущий, как сталь рубящая; его голос—не го-

лос проповедника, с глазами обращенными горé, а голос гордо-призывной: он зовет к борьбе, непримиримой, беспощадной, неотложной. Мертвые в гробах, восстаньте,—вот его призыв. Он не нуждается в стимулах извне, во внушениях со стороны: он сам твердо знает, куда он идет и куда зовет «спящих». В виду огромной важности этой прокламации, как завет передовой части молодежи к молодежи,—приводим ее целиком.

— «К вам, интеллигентные люди, которые вполне поняли крайнюю ненормальность современного положения вещей,—к вам мы обращаемся и приглашаем вас итти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства. Пусть, кто только может, направит все свои силы на дело народного освобождения и не думает, чтобы какая бы то ни была жертва была для него слишком велика, И где можно более принести пользы? Так не в земстве, куда рвутся наши молодые силы, обманутые внешностью? Но земство бесправно, оно—лживая форма, наполненная и постоянно направляемая рукою деспота, которому никогда не понять, в чем собственно заключается благо народа. Или хотите вы заниматься устройством артелей? Но ведь это значит вливать новое вино в старые мехи, потому что артель предполагает принцип солидарности, а вы хотите втиснуть ее туда, где абсолютно господствует грубый личный эгоизм.

«Подготовьте же сначала почву, если хотите, чтобы принялось новое растение. Вспомните Рочдельскую артель: вот вам хороший пример того, как вырождается новый принцип, когда он окружен несоответственными ему условиями. Благотворительность? Но она не выдерживает никакой критики. Что же еще? Уж не хотите ли быть примерными отцами семейства и заняться воспитанием детей, чтобы сделать из них людей с новыми мировоззрениями? Или будете вы добиваться так называемой личной независимости? Но как в том, так и в другом случае вам придется целую жизнь быть эксплоататорами и паразитами?... Неужели вас не замучит эта гнетущая мысль? Да, нигде, нигде вы не будете так полезны, как в роли народного пропагандиста новой лучшей жизни. Вспомните слова Прудона: «Воля и вера провозглашались во все времена величайшими силами

природы и человечества; в нас живет вера в справедливость нашего дела, в правду наших принципов, в ценность наших догматов,—нам ли недостает воли»?

«Неужели мы не представим в один прекрасный день новое зрелище людей, убежденных и непреодолимых в их верованиях и вместе с тем решительных и постоянных в своем предприятии? Докажем, что мы искренни, что наша вера горяча и наш пример изменит лицо земли (Курсив мой. А.). И не думайте, чтобы русский народ не мог понять вас и грубо оттолкнул бы вас от себя; если это говорят иногда, то говорят только на основании фактов, которые всегда доказывают только неумение действовать, а чаще всего—отсутствие искренней преданности делу. Кто не знает, как русский человек любит сочувствие и как он умеет ценить того человека, который страдает его страданиями, лишь только подметит эту симпатию? Но если он видит, что с ним только бобы разводят, то он справедливо раздражается и дарит презрением. Так пусть люди, которым дорога правда, для которых проводить истину в жизнь стало органической потребностью, пусть эти люди идут в народ, не страшась ни гонений, ни смерти....

Наш лозунг—равенство, свобода,
К оружию, вперед, друзья!
Да погибнут враги народа—
Царь, и бояре, и князья!

Долгушинцы повели дело так круто,—можно было сказать—с плеча, что очень скоро провалились. Это для меня до сих пор еще загадка. Сам Долгушин такая умница, все его товарищи такие серьезные,—почему же они вели дело так, словно стремились сознательно, нарочито к гибели? Подпольная работа далеко не легкое дело, а тут..... какая масса промахов, сколько следов оставлено, словом, опять-таки—нарочито, чтобы предоставить врагу своему все, все вещественные доказательства..... Здесь—какая-то психологическая загадка. Они, эти долгушинцы, были молоды, от 22—23-х лет, бодры, жизнерадостны, а отправляются точно на смерть..... Неужто они своей ранней гибелью, своей первой жертвой хотели послужить примером другим? Может

быть. Во всяком случае—возврат назад был невозможен: все корабли сожжены....

Осенью 1873 года началась уже систематическая травля: один вслед за другим все изловлены и препровождены под замок. Предварительное следствие ведется форсированным маршем, а к концу зимы следствие почти закончено. Наконец, 10 июля 1874 года Долгушин, Дмоховский, Папин, Плотников, Гамов, Чиков и Ананий Васильев предстали перед судом Особого Присутствия Правительствующего Сената. 15 июля всем уже был вынесен приговор суда: Александра Долгушина и Льва Дмоховского приговорили к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в крепостях на 10 лет; Ивана Папина и Николая Плотникова, лишив прав состояния, в каторжные работы на заводах на 5 лет; Дмитрия Гамова лишили прав состояния и каторга в крепостях на 8 лет. Остальных сравнительно легко. «Приговор этот представить через министра юстиции на высочайшее его императорского величества усмотрение». Царская милость: долгушинцы отправлены в одну из харьковских одиночных центральных каторжных тюрем [1]). Это значит—заживо погребенные.

Первый пал жертвой Иван Гамов; он умер в 1876 году, т.-е. уже два года спустя, как закрылись за ним тяжелые двери одиночной камеры. Вскоре за ним последовал Плотников; но его постигла самая страшная кара. Есть латинская поговорка: кого Юпитер хочет погубить, он отнимает у него разум. У Плотникова отняли разум-сознание, он умер духовно, погасла чистая хрустальная душа. Охваченный страшными галлюцинациями и бредовыми идеями, он оглашает стены камеры диким стоном, ревом, стуком, криком, наводя ужас, отчаяние на рядом сидящих товарищей. Что такое «централка», читатель найдет в брошюре Долгушина «Заживо погребенные». Волосы дыбом становятся. Впоследствии Плотникова перевели на Сабурову дачу в Харькове, в дом для умалишенных, а потом окончательно в казанскую окружную лечебницу, где он и скончался,—когда именно, мне неизвестно.

Вышли из централки Долгушин, Дмоховский и Папин.

---

[1]) В Новобелгородскую. *А.*

С первыми двумя я встретился в 1881 году в красноярской тюрьме, а с последним—в Якутской области, в слободе Амга, где мы вместе и поселились. Удивительно, как сохранились эти три человека. Казалось, что они неразрушимы, но случилось неожиданно иначе.

Летом 1881 года в красноярской тюрьме скопилась большая партия «государственных преступников», около 160—180 человек.

Тут были представители различных политических процессов, начиная с первого в семидесятых годах процесса долгушинцев и кончая террористами—народовольцами (1880 года). Сошлись представители всех фаз революционного движения седьмого десятилетия, все движение того времени в миниатюре. Преобладающий элемент представляли бывшие в заключении в харьковских центральных каторжных тюрьмах и следовавшие—кто на Кару, кто—на поселение. Вся эта «категория государственных преступников» прибыла из мценской пересыльной политической тюрьмы. Назову некоторых: Мышкин, Ковалик, Войнаральский, Рогачев, М. П. Сажин—все по «Большому процессу» («193-х»). По процессу «50-ти»: Зданович, Джабадари, Цицианов. По вооруженному сопротивлению в Одессе: Виташевский, Свитыч и др. По чигиринскому делу: Шеффер и Ю. Круковская. По «Южно-русскому союзу»—Кравченко. По делу Дьякова: Сиряков, Герасимов и Александров. По казанской демонстрации: Чернавский—и, наконец, народовольцы: Зунделевич, Мартыновский, Бух, Грязнова, Е. Н. Фигнер, Цукерман и др., чернопеределец Аптекман, прибывший из вышневолоцкой пересыльной тюрьмы вместе с административно-ссыльным Е. П. Карповым и осужденным на поселение Э. К. Пекарским и др.

Как водится, люди разделились на группы, сообразно личным своим симпатиям и старым связям. Я вошел в грузинскую группу, к старым моим друзьям, М. П. Сажин был неразлучен с Студзинским—по личным симпатиям, и т. д.

Вскоре образовалась группа уже со всеми признаками организованности (с уставом даже) из большинства каторжан, следующих на Кару. Цель кружка — краснокрестовская на первом плане: материальная и духовная поддержка товарищей. В эту группу, однако, не

вошли М. П. Сажин и Мышкин. Первый все время— и в тюрьме в Красноярске, и в пути—держался особняком в стороне от всяких группировок и организаций тюремных, не придавая им, очевидно, никакого практического значения. Второго, как передавал мне Зданович, не пригласили пристать к организации потому, что, по своей индивидуальности, Мышкин не укладывался ни в какие организации, и его звали лишь тогда, когда требовалось какое-либо выступление, как выдающегося агитатора. Меня, вскоре, по прибытии в Красноярск, кооптировали, как административно-ссыльного не столь связанного по рукам и ногам, подобно осужденным по суду, и могущего рассчитывать выйти скоро на свободу. Об этой организации Виташевский более подробно писал в «Былом». Конечно, серьезно смотреть на такую (тюремную) организацию нельзя. Это—суррогат организации,—если позволительно так выразиться: все подобные организации умирают в день их рождения. И эту организацию постигла та же участь.

Жилось в Красноярской тюрьме сравнительно свободно. Некоторым из наших главарей, благодаря их такту, удалось усыпить на время необузданного зверя в Островском, начальнике тюрьмы. Он сделался ручным и предоставил нам всякие льготы в свиданиях и сношениях с ссыльными и знакомыми в Красноярске.

В Красноярске был в административной ссылке старый мой приятель Гласко. Он прислал мне письмо, прося меня убедительно написать ему подробно о причинах раскола в среде общества «Земля и Воля». Этот вопрос вообще тогда сильно занимал всех, особенно же тех, которые провели все это критическое время в неволе. В тюрьме, вскоре после моего прибытия, меня порядочно таки трепали по этому поводу,—как человека, бывшего вполне в курсе этого события. Гласко, имевшего через меня некоторые отношения к «Земле и Воле», само собою, очень интересовал этот раскол. Я ответил ему обстоятельным письмом. Но прежде чем передать ему письмо, последним заинтересовались Зданович и Джабадари, хотя об расколе у нас не раз уже был разговор. Я им дал письмо, а потому уже оно, без ведома моего, пошло циркулировать по рукам в тюрьме. Всем было интересно иметь связное представление о расколе. Письмо читалось,

вызвало живой обмен мыслей. Читал это письмо Долгушин. Он поставил мне вопрос ребром:—«велика ли была первоначальная группа народовольцев»? (замечу в скобках, что буквально такой же вопрос предложил мне Ковалик, о числе «Земли и Воли» до раскола ее на «Народную Волю» и «Черный Передел». Ковалик—математик, привык мыслить математически. Долгушин не математик, но ум у него точный, методический и ему, само собою, надо было точно знать силы народовольцев). Я знал всех, кто пристал к центральной группе «Народной Воли» (ведь там были, по меньшей мере, $^{2}/_{3}$ бывших моих товарищей по «Земле и Воле» да плюс еще те, которые были кооптированы в «Землю и Волю» на Воронежском конгрессе) и сосчитал их, как говорится, по пальцам,—точь в точь, как я это сделал для Ковалика в ответ на его вопрос.

Долгушин задумался. Затем заметил, что бороться с правительством неизбежно, но что без поддержки народа нечего рассчитывать на успех, что общество трусливо, само же правительство вряд ли уступит,—не устрашится... Народ молчит... Спросил меня, что землевольцы успели в народе. Я ответил, что наша работа не поддается точному учету, тем более, что мы недолго работали, да и то с невольными перерывами...

Но все-таки искры брошены, кое-какие связи есть на Поволжье, среди раскольников, в Терской области, в Тамбовской губ. Надо продолжать работу. Долгушин, оставаясь попрежнему сосредоточенным, молча утвердительно кивнул мне в ответ головой. И не один Долгушин, скажу кстати, так смотрел на тогдашнее положение вещей. Были в «партии» скептики, не поддавшиеся общему увлечению террором и народовольчеством, их тревожило молчание народа и скудость наших интеллигентских сил... Вообще же «централисты» (так звали мы бывших в заключении в «централках») произвели на меня впечатление, если не совсем уставших людей, то, во всяком случае, выжидающих, присматривающихся, не разобравшихся еще...

Так проводили мы время, коротали наше вынужденное пребывание в красноярской тюрьме, в ожидании очередной отправки по этапу.

Наконец, наступил день отправления. Все возбуждены.

Началась заковка каторжан в кандалы. Все обошлось благополучно, никаких недоразумений даже с таким зверем, как смотритель тюрьмы Островский. Мы отправились в путь во главе с Дмоховским, который был нашим старостой. В Красноярске остался Долгушин и еще несколько товарищей по болезни. У Долгушина в Красноярске была своя семья: отец, жена и мальчик 7—8 лет. Прекрасное дитя, всеми любимое. Долгушин рассчитывал оставаться в тюрьме до окончания каторжного его положения (осталось немного уже), чтобы потом из Красноярска пойти уже прямо на поселение. Но судьба занесла над ним уж свою руку.

Вскоре после нашего отправления прибыла новая сборная партия, среди них был Малавский, который бежал (вскоре пойман). В тюрьме начались строгости, Островский развернулся. Долгушина, который способствовал побегу Малавского, лишили свидания, Тихонова, тяжело больного, заковали в кандалы. Арестованные были возмущены, собрались в одной камере и решили не расходиться, пока не будут удовлетворены следующие их три требования: 1) свидания Долгушина с женой и ребенком; 2) расковка Тихонова, и 3) удаление Островского. Потребовали губернатора, явился жандармский чин в сопровождении самого Островского. Сначала шло все гладко, но вдруг вмешался Островский, все исковеркал, все представил в другом свете. Негодование арестованных дошло до крайней точки. В это время Долгушин, не говоря ни слова, подходит к Островскому и дает пощечину. Жандармский чин и Островский улетучиваются. Долгушина судят и приговаривают во второй раз к 15-летней каторге. Затем последовало распоряжение отправлять по двое арестантов в места назначения. В это время Ковальская собирается бежать, и Долгушин предлагает ей свои услуги. Вскоре Долгушина отправляют на Кару, где он попадает в накаленную атмосферу. После бывшего там побега Мышкина и других, Долгушина отправляют в Петропавловскую крепость, а затем—в Шлиссельбург, где он скончался в июне 1885 года [1].

Так сошел в могилу один из пионеров «бунтарей-анар-

---

[1]) Пругавин, А. С. „В казематах", стр. 125. О „тюремном бунте" в Красноярске рассказываю со слов Е. Н. Ковальской которая в то время, в 1881 году, находилась там. *А.*

хистов» семидесятых годов, он же—горячий сторонник «религии братства». Реалист на практике и утопист в теории, суровый, беспощадный критик и глубоко верующий[1])...

В то время, когда совершались эти события в красноярской тюрьме, наша партия бодро подвигалась вперед. Благодаря Дмоховскому, все шло у нас гладко: никаких недоразумений и столкновений с этапным начальством ни на дороге, ни на этапах. Дмоховского партия глубоко уважала и сердечно любила за его ровный, спокойный, выдержанный характер, за его братские заботы о товарищах, которых было много. Начальство благоволило к Дмоховскому. И нас встречали на этапах не как арестантов, а как знатных пленников. Как-то, помню, раз мы пришли на этап, промокшие до мозга костей. Вдруг в большую камеру появляется этапный начальник в сопровождении солдат с подносами, а на подносах чай, печения, варенье—всем по порциям, да еще в придачу по рюмочке водки. Чем не идиллия? Мы были тронуты.

А вот еще. Прибыли на этап. Дневка. Опять торопливо вбегает этапный офицер и тревожно спрашивает, не может ли он видеть доктора? Указали на меня. В чем дело? Жена и ребенок очень больны. Я пригласил с собою моего ассистента Джабадари, и мы отправились к больным. Осмотрел, выслушал, прописал, что нужно, дал необходимые указания. Нас не отпускают, угощают на славу, и при прощании мне суют порядочную таки пачку бумажек. Я, само собою, отказываюсь. Вдруг, уж перед вечером, можно сказать, целый поезд с угощениями для товарищей: колбаса, сыр, варенье и проч., и проч. Ну, не мило ли? Так мы проехали полпути, словно у Христа за пазухой, за нашим старостой Дмоховским.

Вздумали устроить побег террориста Мартыновского. Ловко устроили это дело на дневке. Но прошли уже прекрас-

---

[1]) Нужна ли здесь оговорка после того, что я уже говорил о стремлении молодежи к религии и о религиозном чувстве, которыми были проникнуты отдельные лица и все движение семидесятых годов? Скажу, во избежание недоразумений, что под религиозным чувством я, согласно определению Лаврова, разумею отвлечение личности от мелочей жизни и сосредоточение ее на высших интересах мысли и бытия. Это—состояние души, характеризующееся высшим напряжением познания и эмоций, сплавленных воедино. Это, повторяю, переживали многие в то время. Ничего здесь ни мистического, ни вульгарного тем более. Это—переживания высшего порядка, религия сердца. Таким именно в е р у ю щ и м был Долгушин и его товарищи. *А.*

ные дни Аранжуеца. Начались неизбежные строгости, хотели даже наложить наручни на административных. Я стал на дыбы: закона такого нет. Следователь стал на моей стороне. Два дня спустя меня отделили от партии и особо, с жандармами, форсированным маршем отправили в Иркутск. Три или четыре месяца спустя, уже в Якутской области, я узнал, что Дмоховский, заразившись натуральной оспою в Иркутске, умер в госпитале. Это было в 1881 году. Горе было общее. На тюремной могиле его, подавленные несчастьем товарищи его услышали последнее слово, обращенное к погибшему товарищу, сказанное другим товарищем, великомучеником русской революции, И. Мышкиным. Последнее «прости» Мышкина прозвучало призывом к борьбе за великое дело освобождения народа.

Остался от долгушинцев один Ив. Ив. Папин. Познакомился я с Папиным весною 1883 года. Он жил тогда в слободе Амга (Якутской области). Когда меня совершенно неожиданно туда перевели, там с Папиным жили В. Г. Короленко, М. Натансон и рабочий Ромась (последние два временно). Хорошее общество. Папин завел в Амге небольшое хозяйство: занимались хлебопашеством, сенокосом и огородничеством; это было необходимо, потому что надо было кормиться. Хозяйство состояло из надельной пахотной земли 10 или 15 десятин, сенокоса, участка леса, а огород мы нанимали при юрте. Коров и кур мы не держали по соглашенью, ибо последние требовали лишнего ухода, а у нас свободных рук не было. Вообще мы старались не прибегать к наемному труду, но когда не хватало наших сил, прибегали к «помочи» соседей, которым мы, в свою очередь, помогали в случае надобности. Были у нас две хорошие лошади. Во главе хозяйства стоял Ив. Ив. Он каждое утро или накануне распределял все хозяйственные работы. Папин весь ушел в хозяйственные работы, в хозяйственные интересы. Повидимому, это была та среда, в которой ему легче всего дышалось. Увядшее было, от долгого и тяжелого сидения в центральной харьковской тюрьме, молодое тело его ожило и потребовало работы и усиленного движения. И Ив. Ив. весь день проводил на воздухе как летом, так и зимою—круглый год. Я не раз любовался этим молодым, гибким, красивым человеком, дышащим силою и здоровьем.

И этот человек, который столько выстрадал. По внешности—типичный русский добрый молодец. Открытый, добродушный, покладистый, он был всем дорог в общежитии: легко жилось с ним под одной кровлей, свободно дышалось и работалось.... Приходили люди и уходили, волновались, горячились, а Ив. Ив. всегда ровный, спокойный. Редко, почти никогда, не участвовал в теоретических спорах, которые обязательно подымались, когда наши собирались. Не скажу, чтобы он совершенно не интересовался спорами: он нередко слушал, и слушал, что называется, хорошо, но, повидимому, он их не считал сейчас существенными. Да и о прошлом он неохотно говорил. Казалось, что оно для него—сон, далекий, прекрасный сон туманной юности его. Сохранил ли он свои старые убеждения? Трудно сказать: разно оно проявляется у людей. Я бы сказал о нем то же, что Герцен сказал о Вадиме Пассеке: «убеждения свои он сохранил, но он их сохранил, как воин, не выпускающий меча из руки, чувствуя, что сам ранен на вылет». Папин—раненый человек: он уже не может и не будет бороться. Он вышел из строя. Железная «централка» сделала свое дело: она притупила грани его души, смыла, стерла краски ее. Незаметно шла опустошительная эта работа каторжной «централки», капля по капле, изо дня в день. И колоритная, многогранная когда-то индивидуальность превратилась в серую, однотонную, приспособленную лишь к обыденному существованию. Много у нас таких жертв. Жертва русской действительности. Все это так или иначе выбитые из рядов...

Сохранил ли он к кому-либо из прежних товарищей свои симпатии? О, да! И это был Плотников. Только о нем Ив. Ив. нет-нет, да вспомнит, и лицо его в это время делается мягким, нежным, любящим... Прощаясь с В. Г. Короленко, он, т.-е. Папин, обливаясь слезами, сказал: «Знайте, Владимир Галактионович, что после Плотникова я вас больше всех люблю»... Раньше он этого ничем ровно не обнаруживал. И так во всем. У него была прекрасная память, он был хорошо начитан, но он всего этого не показывал—не скрывал, а просто не показывал. Вдруг обратишься к товарищам за какой-нибудь справкой, а Ив. Ив., как бы невзначай, проронит: «там-то, Осип Васильевич».

В 1884 году Папин по манифесту вернулся на родину.

В поселении раз я виделся с Папиным в 1886 году, когда возвращался на родину. Он жил тогда в Тюмени, женился. Встреча была теплая, сердечная, простая. Я погостил у него весь день. Папин прекрасно пел, но его не всегда удавалось уломать. Я попросил его пропеть мне что-нибудь на прощанье. Он запел. Полились божественные звуки. Вспомнили нашу общую жизнь в Амге. Вспомнили о Владимире Галактионовиче. Лицо его сразу просветлело. На прощанье спросил: «Куда, Осип Васильевич, направляете свои стопы? Какие ближайшие планы?» Я ответил, что попытаюсь окончить здесь свое медицинское образование; если же, паче чаяния, здесь не удастся, съезжу за границу. Сказал сочувственно: «Помогай вам, боже»; и крепко обнялись. Больше я его не видел. Были слухи, что в конце 90-х годов он умер. С ним ушел в могилу последний из долгушинцев. Никого, кажется, не осталось,—по крайней мере из тех, которые вместе работали на даче Долгушина, в типографии. Осталась лишь добрая память о маленьком, крепко сплоченном кружке, отдавшем народу свою молодость, свое сердце, свою свободу.

Осталось три литературных произведения, как завет непримиримой борьбы за лучшие идеалы народа, как пример беззаветной преданности идее, как призыв к жертвенности, как выражение неискоренимой веры в справедливость, правду и человеческое счастье.

ГЛАВА IV.

Лавристы.

Кружок Л. С. Гинзбурга. Состав его. Деятельность кружка. Е. С. Семяновский. Судьба его. Личные воспоминания.

Третий кружок революционного авангарда, открывший свою пропагандистскую деятельность еще в 1872 г., известен под названием «Лавристов». «Лавристы» по преимуществу вели дело в университетских городах (Петербурге, Москве и проч.), среди молодежи, распространяли заграничные революционные издания, особенно издания Лаврова. Лавристам, вместе с чайковцами, принадлежит инициатива

в издании за границей центрального органа социально-революционной партии и в выработке предварительной программы органа. От этих двух кружков были посланы делегаты еще в 1872 году к Лаврову для привлечения его к этому делу. И уже 1 августа 1873 года вышел № 1 «Вперед»—непериодический орган «пропагандистов».

Во главе этого кружка стоял тогда студент выпускного курса М.-Х. Академии, Л. С. Гинзбург, человек умный, энергичный, с большой эрудицией. Среди молодежи он пользовался большой популярностью, его можно было встречать на сходках того времени, на которых он всегда выступал, как умный защитник пропаганды социалистических идей в России, как сторонник Лаврова. Он вносил, благодаря своей начитанности и дисциплине мысли, не только оживление в наши горячие споры, но и порядок и толк. Его охотно слушали. Вокруг него группировался небольшой кружок хороших голов с хорошей теоретической подготовкой. В числе их хорошо помню следующие лица: Таксиса, деятельного, блестящего, талантливого пропагандиста (кличка его была «Антошка»); Покровского, Семяновского, А. С. (по кличке «гражданин»); Ильина; часто встречал и Левашева. Других сейчас припомнить не могу. Кроме того, к этому кружку примыкала значительная группа студентов-медиков, в особенности, а также университетских и технологов. В М.-Х. Академии я могу назвать, по меньшей мере, человек двадцать. Они деятельно помогали основному кружку в распространении, продаже, хранении как журнала «Вперед», так и других революционных брошюр, прокламаций и проч. Кружок имел свои склады и немалое число агентов, кроме Петербурга, еще в других крупных центрах. Дальнейшая и окончательная эволюция этого кружка завершилась в 1876—77 годах, когда лавристы исключительно сосредоточили свою деятельность среди городских рабочих, распространяли среди последних идеи марксизма и знакомили их с рабочим движением на Западе, вообще, и социал-демократическим—в частности. На деревню «лавристы» махнули рукой. Россия-де вступила уж и дальше пойдет по пути экономического развития, как и Запад: разовьется капитализм, а с ним и пролетариат. Необходимо заблаговременно заняться выработкой сознательных

элементов для будущей социал-демократической рабочей партии. Отсюда—и пропаганда марксистских и социал-демократических идей среди рабочих лавристами.

Преобладающее же революционное настроение молодежи было тогда народническое, а потому, само собою, взгляды лавристов были встречены, как черная ересь, а тактика их—исключительно пропагандистская—признана устаревшей, изжившей себя. В целом, на лавристов смотрели, как на доктринеров, книжников, лишенных чутья практического, чутья подлинной живой действительности.

В числе членов этого кружка,—по крайней мере, примыкающий к этому кружку, был и Евгений Степанович Семяновский. Я лично знал его мало, но он врезался в моей памяти, как чрезвычайно симпатичный и благородный образ мыслящего человека, вот по какому случаю.

Это было весною 1874 года. Я уже порешил с академией и попал «в народ».

Настроение мое, к слову сказать, было тогда очень приподнятое, при чем специально в религиозном направлении.

Я столкнулся с Семяновским в тесном кругу близких товарищей моих по выпуску. Вскоре между нами завязался горячий спор на вопросы дня: говорили о пропаганде в народе, об ее задачах, о приемах и прочее. Я высказался, между прочим, за желательность вести пропаганду в народе, опираясь на евангелие. Я сослался на недавний опыт свой в этом направлении в Псковской губ.

Семяновский горячо, искренне и вместе с тем резко выступил против меня. Он убеждал меня не поддаваться непосредственному чувству религиозности, а вести дело пропаганды в народе, опираясь исключительно на знание и реальное мышление. В отдельных случаях,—говорил Семяновский,—можно, пожалуй, пользоваться евангелием, как орудием пропаганды, в отдельных случаях такая пропаганда может быть и не безуспешной, а потому и целесообразной, но рекомендовать такой прием, как метод социалистической пропаганды в деревне, никоим образом нельзя: пропаганда должна быть чиста и прозрачна, как хрусталь, она должна прояснять, а не затуманивать народное самосознание. Он говорил так убедительно, горячо и логично, подкрепляя свою аргументацию подходящими ссылками на

исторический опыт европейских народов, что не мог не произвести на меня сильного впечатления. Он тут же коснулся всеобщего исторического значения религиозных народных движений, при чем указал на их весьма подчиненную роль в историческом процессе. Я отстаивал свою точку зрения и указал, между прочим, на раскол в нашей истории, как на своеобразную форму протеста народа против государственного гнета, сослался тут же на Щапова, а именно: на его «Земство и раскол». Семяновский при этом чуть-чуть улыбнулся, и, обратившись ко мне, проговорил мягко:— «Не обращайтесь, друг мой, за справками и поучениями к нашим историкам. Наши историки еще не выработали строго-научных методов исторического исследования. Учитесь у западных историков, те вас научат понимать историю!» Наш спор, помнится, длился очень долго. Но мы не уступали,— теоретический турнир, наоборот, придал нам еще больше бодрости и свежести. Мы расстались, крепко пожав друг другу руки. Это было последнее пожатие. Больше я с Ев. Ст. Семяновским не встречался.

В октябре 1876 года он был привлечен к суду по делу о пропаганде в войсках Спб. военного округа и, в числе других—Богданова, Дьякова, и проч.,—был осужден на каторгу. Вскоре, по прибытии моем в Якутскую область, в 1881 году, до меня дошла печальная весть о самоубийстве Е. С. Семяновского. Ближайшей причиной было гуманное распоряжение благородного представителя «диктатуры сердца», Лориса-Меликова, согласно которому каторжане из вольной команды переведены в тюрьмы. Это было последней каплей, переполнившей чашу его страданий.

В прощальном, предсмертном письме своем к отцу Е. С. Семяновский развертывает пред нами потрясающую драму своей исстрадавшейся души. Письмо это—бессмертная обвинительная речь против «Царя-Освободителя» и «диктатуры сердца». Приводим это письмо целиком.

«Карийские промыслы. Ночь с 31-го декабря 1880 г. на 1-е января 1881 г.»

Дорогой отец! Пишу тебе, только что вернувшись с товарищеского собрания, где мы провожали старый год и встретили новый. Встретили мы этот год в грустной, удру-

чающей обстановке. Ты, вероятно, уже получил письмо жены одного из моих товарищей, которую я просил сообщить тебе, что отныне нам не дозволяется ни с кем переписываться, ни с кем—даже с родителями. Как ни бессмысленно и бесчеловечно это запрещение, но нас ожидает нечто еще худшее, нечто, о чем я ровно ничего не знал, когда писалось то письмо. Дней десять спустя после объявления запрещения писать письма, нам объявили, что все мы возвращаемся назад в тюрьму и должны быть закованы в кандалы[1]. Нас всего девять человек мужчин, а именно: Шишко, Чарушин, Квятковский (Тимофей, брат родной Александра Квятковского. А.), Успенский, Союзов, Богданов, Терентьев, Тефтул и я, и все мы вот уже года два пользовались сравнительной свободой, живя вне тюрьмы.

Уже с самого того дня, когда нам объявили приказ Лориса-Меликова, запрещавший писать письма, мы ждали чего-либо в этом роде, потому что в приказе был пункт, заставивший догадаться, что в покое нас не оставят. Завтра мы должны снова отправиться в тюрьму. Если б не доброе к нам отношение полковника Кононовича, нас бы арестовали и посадили тотчас же после получения приказа, но он доверяет нам и дал нам несколько дней, чтобы устроить свои дела. Мы воспользовались этой льготой, чтоб собраться в последний раз на свободе, проводить старый и встретить новый год. А я воспользуюсь этим еще и для другой цели. Не знаю—составит ли она злоупотребление доверием полковника Кононовича или нет, но если бы и составила—все равно я ее непременно выполню. К т о - н и б у д ь, п р о ч и т а в с л о в а «о н и в о з в р а щ а ю т с я н а з а д в т ю р ь м у», п о д у м а е т о н а с, к а к о б а р а н а х, п о к о р н о п о д с т а в л я ю щ и х г л о т к и п о д н о ж м я с н и к а. Но подобное предположение было бы жестоко неверным. Единственное средство выйти из нашего положения это—бежать, но как бежать при температуре в 35 градусов мороза и без всякой предварительной подготовки побега? Почему мы не готовились к побегу—тебе известно, если ты получил мое августовское письмо. Лично я решил попытаться бежать,

[1]) Циркуляр Лорис-Меликова о переводе каторжан из вольной команды в тюрьмы вышел 15 декабря 1880 года. *А.*

если распоряжение возвратить нас назад в тюрьму получится весною, когда побег был бы возможен, и бежать не под давлением минуты, а серьезно подготовившись. Но случилось иначе. Между тем, я чувствую, что мои физические силы исчезают с каждым днем. Я сознаю, что мое недомогание отразится на моих умственных способностях, и что мне грозит опасность обратиться в полного идиота даже при условии внетюремной жизни. Возникает вопрос: что же станется со мною в тюрьме? Вся моя жизнь держалась на надежде вернуться когда-нибудь в Россию и *служить всеми силами моей души делу правды и справедливости, которым я давно уже всего себя посвятил*; но как возможно такое служение для человека и физически и духовно разбитого? И *когда надежды на подобное служение у меня отняты, что мне остается*? *Личное самооправдание*? Но пока-то еще наступит момент чего-нибудь подобного полному удовлетворению такого желания, меня десять раз подвергнут пытке. *Поэтому я пришел к заключению, что жить более не для чего, и что я, наконец, заслужил право положить предел страданиям, ставшим бесцельными и бесполезными*. Жизнь мне давно уже надоела, смертельно надоела, и только мысль о родине удерживала меня до сих пор от самоуничтожения. Я знаю, что страшно огорчу брата Сашу (Александра Степановича Семяновского («гражданина»). А тебя и всех, кто меня любит, разве вашей любви не хватит на то, чтоб простить самоубийство человеку, измученному до последней степени? Поймите меня, ради бога! За последние годы меня ведь буквально до смерти замучили. Ради всего дорогого вам — простите меня. Вы же знаете, что мои последние мысли вам принадлежат, что, имей я хоть немножко более сил, я бы жизнь отдал, чтоб только сохранить вас от дальнейшей муки: но силы мои истощились. Мне ничего не остается, как либо с ума сойти, либо умереть: и последнее во всяком случае лучше первого. Прощай же навсегда, мой дорогой, добрый, всегда добром поминаемый, мною чтимый отец и друг! Прощай, Саша, и ты, мой младший брат, которого я так мало знаю. *Помните, что лучше умереть даже так, как умираю я, нежели жить, не сознавая*

себя человеком принципа и чести! Еще раз прощайте! Не поминайте лихом вашего несчастного сына и брата, который даже в несчастии находит утешение.

Евгений» [1]).

Письмо это само за себя говорит. Е. С. Семяновский не дрогнул пред смертью:—«Помните, что лучше умереть даже так, как умираю я, нежели жить не сознавая себя человеком принципа и чести!» Накануне перевода из вольной команды в каторжную тюрьму (в 1881 г.) Е. С. Семяновский застрелился.

Много, много воды утекло с того времени, когда я случайно познакомился с Е. С. Семяновским. Полвека. Смутно вырисовывается сейчас образ этого человека; словно через дымку я вижу накуренную комнату студенческую, некоторых товарищей. Но крепко засели в моем мозгу весь наш долгий спор и то глубокое впечатление, которое произвел на меня тогда (и которое потом долго еще сохранялось) этот умный вдумчивый, беззаветно преданный «делу правды и справедливости» ровесник семидесятник!. Борьба жертв требует. Вероятно нужны и такие жертвы: надо «заслужить право положить предел страданиям, ставшим бесцельными и бесполезными»... Е. С. заслужил это право.

ГЛАВА V.

Программы Бакунина и Лаврова.

В 70-х годах за границей, в Швейцарии, жили многие русские эмигранты, бежавшие из России по разным политическим причинам.

Я назову лишь тех, которые имели решающее значение в истории революционного движения того времени, благодаря их огромному влиянию на молодежь. Во главе стоят Бакунин и Лавров.

---

[1]) Заимствовано из „Календаря русской революции". Под общей редакцией В. Л. Бурцева. Издательство „Шиповник". 1917 г. Петроград. Стр. 324—326.

Курсив везде мой. *А.*

Личность Бакунина пользовалась особенным обаянием. Его бурное революционное прошлое, его многолетнее заключение в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, его ссылка в Сибирь, бегство оттуда, его участие в французском коммунальном движении 71 года, наконец, энергичная деятельность его в «Международном обществе рабочих»,—все это окружало личность Бакунина каким-то ореолом полу-сказочного, полу-мифического богатыря былинных времен. Он—современный Святогор, которого русская земля не может снести. Пылкая натура, волевой характер, страстная речь Бакунина—действовали неотразимо. Он, революционер по темпераменту, действовал прежде всего на чувства молодежи, революционизировал ее настроение, побуждал ее волю. Его глубокая непримиримая ненависть к гнету государства, — всякого государства, а русского в особенности,—сделала из него революционера par excellence. Он глубоко верил в революционный путь и в революции видел высший разум (ultima ratio) освободительной борьбы.

Таков был испытанный в боях ветеран революции, Бакунин. Чему же он учил молодежь, когда она, мутящаяся и изболевшая душой, поставила вопрос ребром: что делать?

Бакунин на это ответил:

...«Что может делать наш умственный пролетариат, русская, честная, искренняя, до конца преданная социально-революционная молодежь?

Она должна итти в народ несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных черных масс, нет более ни жизни, ни дела, ни будущности.

Но как и зачем итти в народ?...»

Бакунин знает только один путь, в него он верит и только от него ждет спасения «нашего бедного мученика-народа». Какой же путь?

...«Путь боевой, бунтовской... Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам громадные движения народные под предводительством Стеньки Разина и Пугачева. Эти движения доказывают нам, что в сознании нашего народа живет действительный идеал, к осуществлению которого он стремится...»

Не отрицая пользы частных бунтов, «частных вспышек», вызвать которые «ничего не стоит», так как народ находится в отчаянном состоянии,—Бакунин центр тяжести революционной работы видит во «всенародном восстании».

Чтобы обеспечить успех такого восстания, необходимо прежде всего разбить ту замкнутость, «разъединенность между деревенскими общинами, которые до сих пор парализовали успех народного восстания».

«Надо во что бы то ни стало,—говорит Бакунин,—разбить эту замкнутость и провести между отдельными мирами живой ток революционной мысли, воли и дела. Надо связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей, передовых людей, естественных революционеров из русского крестьянского мира, между собою, и там, где это возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством...

Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьянства, а через них, если не весь народ, то, по крайней мере, значительную и наиболее энергичную часть его, что для целого народа, для всех деревень, волостей и областей в целой России, даже и вне России, существует одна общая беда, а потому и одно общее дело. Надо их убедить, что в народе живет несокрушимая сила, против которой ничто и никто устоять не может; и что если она до сих пор не освободила народа, так это только потому, что она могуча только, когда она собрана и действует одновременно, везде, сообща, за-одно и что до сих пор она не была собрана.

Для того же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, волости, области связались и организовались по одному общему плану и с единой целью всенародного освобождения».

Какая же цель этого всенародного восстания?

Бакунин отвечает: «социальная революция! это в настоящее время всеобщий идеал, ныне во всех народах живущий и действующий».

«Существует-ли такой идеал,—спрашивает сам Бакунин,—в представлении народа русского? Нет сомнения, что существует, и даже нет необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить главные его черты.

Первая и главная черта, это всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собстевнноручным трудом. Вторая, столь же крупная, что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами; третья черта, одинаковой важности с предыдущими, это квази-абсолютная автономия, общинное самоуправление, и, вследствие того, решительно враждебное отношение общины к государству.

Вот три главных черты, которые лежат в основании русского народного идеала. По существу своему они вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролетариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социальной революции, чем страны германские».

Ставя пред русской молодежью такие цели и задачи, Бакунин убеждает ее, что никаким другим путем эти цели и задачи не могут быть достигнуты, как только организацией всеобщего народного восстания.

Всякая же предварительная работа в народе,— будь то чисто культурная или даже пропагандистически-революционная,—все равно, — безусловно отвергается Бакуниным, как непроизводительная трата революционных сил.

.......«Никакой ученый,—говорит по этому поводу Бакунин,—не в состоянии научить народ, не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции. Это определится, во 1-х, положением каждого народа, и, во 2-х, теми стремлениями, которые в них проявятся и будут сильнее действовать, отнюдь же не руководствами и уяснениями сверху, и вообще никакими теориями, выдуманными накануне революции».

Обращаясь затем к народным просветителям, Бакунин спрашивает их: «Чему вы станете учить народ? Не тому ли, что сами не знаете, не можете знать, и чему сами должны прежде всего выучиться у народа?» И далее Бакунин вопрошает опять:

.....«Чему они намереваются учить народ? Хотят-ли они преподать народу рациональную науку? Сколько нам из-

вестно, их цель (Бакунин здесь разумеет искренних адептов просвещения) не такова. Они знают, что правительство остановило бы на первом шагу всякого, кто бы захотел внести науку в народные школы, и знают, кроме того, что самому народу нашему, в его настоящем, слишком бедственном положении, совсем не до науки. Для того, чтобы сделать доступною для него теорию, надо переменить его практику, и прежде всего преобразовать радикально экономические условия его быта, вырвать его из повсеместной и почти поголовной голодной беды...»

В конце своего воззвания к молодежи, Бакунин обращается к ней с следующими многознаменательными словами:—«Скажем только одно: русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своей молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница [1]), повсюду и всегда, во всех народных волнениях как крупных, так и самых мелких.

Надо, чтобы, действуя сама по строго обдуманному и положенному плану, и подвергая в этом отношении все свои действия самой строгой дисциплине, для того, чтобы создать то единодушие, без которого не может быть победы,—она сама воспиталась и воспитала народ не только к отчаянному сопротивлению, но также и «к смелому нападению».

Так говорил Бакунин к молодежи.

Лавров — тоже крупная революционная индивидуальность, но совсем в другом роде.

Философ, кабинетный ученый, публицист, он не столько действовал на настроение молодежи, сколько на ее ум. Молодежь давно его знала и относилась к нему с глубоким уважением, как к «учителю жизни», в полном смысле этого слова.

Если философское миросозерцание Лаврова осталось для молодежи «книгой за семью печатями запечатанной», то этого нельзя было сказать о его социологической концеп-

---

[1]) Курсив везде наш. *О. А.*

ции и всей его многолетней публицистической деятельности, связанной с этой концепцией. Пред молодежью во всеоружии буквально подавляющей эрудиции и величии нравственной красоты выступал этот неутомимый борец за «истину и справедливость»! Его «Исторические письма» были не только настольной книгой молодежи 70-х годов—нет! это была книга жизни, революционное евангелие, философия революции. Она читалась и перечитывалась. Некоторые главы ее—«Личность и Прогресс»—даже списывались. Чтобы понять значение этой книжки для семидесятников, надо было жить в 70-х годах, самому быть семидесятником. Книжка отвечала на самые жгучие «проклятые вопросы», терзавшие тогда совесть молодежи; она гармонировала с ее настроением.

Проблемы этики, личной и общественной, разрешались в этой книге в смысле, наиболее удовлетворявшем молодежь.

Личное поведение и общественная деятельность связываются единым, самосущим их принципом. Этот принцип—«развитие».

Нравственно-развитая личность, это—«критически-мыслящая» личность. Такая личность должна стремиться к воплощению в жизнь—в общественный строй—«идеала истинной справедливости».

В этом заключаются существенные требования этики, в этом заключается и содержание прогресса. Личность должна творить прогресс: это—требование личной и общественной этики.

Социология и этика, как и у Михайловского, друг друга покрывают, поглощаются одна другой.

Но Лавров был известен молодежи не только, как автор «Исторических писем». Молодежь еще знала его, как автора многочисленных статей и работ по психологии, истории, социологии и этике.

Его литературная работа поистине энциклопедична. Молодежь хорошо помнила еще его замечательные статьи в «Отеч. Зап.» по этике («Современные учения о нравственности»), а также ряд статей под названием «Цивилизация и дикие племена». Хотя Лавров писал в разных журналах под псевдонимом, меняя нередко и псевдоним, но молодежь

всегда узнавала своего любимого писателя, заставлявшего ее думать головою.

Все работы Лаврова проникнуты глубоко-захватывающей гуманностью. Светлой нитью проходит чрез них вечно-юное стремление нашего благородного писателя воплотить в них, в этих работах, неумирающие принципы истины и справедливости, к осуществлению которых в жизни он так звал молодежь.

В Швейцарии Лавров тоже пользовался громадным авторитетом. Вокруг него группировался значительный кружок русской молодежи, учившейся в швейцарских высших школах—медики, медички, политехники и проч.

Лавров нередко читал им лекции по истории, социологии и другим интересующим молодежь темам. Влияние его, одним словом—умственное влияние его,—не прекращалось.

Не следует забывать, что в Цюрихе, т.-е. за границей вообще, Лавров предстал пред молодежью еще в новом свете. Он—не только любимый мыслитель и писатель, он—социалист, горячий сторонник социализма, идейный защитник пролетариата и его «Международной ассоциации рабочих».

И молодежь, в то время уже революционно-настроенная, имела право требовать от своего прежнего учителя-философа и от теперешнего Лаврова-социалиста ответа на свой вопрос: что делать?

И Лавров обязан был ответить. И ответ последовал.

В 1873 году вышел в Цюрихе журнал «Вперед», под редакцией П. Л. Лаврова.

Ниже мы подробнее остановимся на оценке значения этого органа для революционной молодежи. Пока же ограничимся только некоторыми, отвечающими на вопрос молодежи цитатами из статьи «Наша программа», помещенной в № 1-м «Вперед».

.....«Социальный вопрос есть для нас вопрос первостепенный [1]). Мы видим в нем самую важную задачу настоящего, единственную возможность лучшего будущего. В союзе большинства рабочих в свободную ассоциацию, в организации этого союза для совокупного и могучего дей-

[1]) Курсив П. Л. Лаврова.

ствия, в торжестве этой организации и в установлении нового общественного строя на развалинах промышленно-легальных государств и сословий настоящего—мы видим единственное средство осуществить это будущее...»

......«Вопрос политический для нас подчинен социальному и в особенности экономическому. (NB. Курсив наш. О. А.). Государства так, как они существуют [1]), враждебны рабочему движению, и все они должны окончательно разложиться, чтобы дать место новому общественному строю, где самая широкая свобода личности не будет препятствовать солидарности между равноправными лицами и обширной кооперации для общей цели...» ...«Для русского социальная почва, на которой может развиться будущность большинства русского населения в том смысле, который указан общими задачами нашего времени,—есть крестьянство с общинным земледелием. Развить общину в смысле общинной обработки земли и общинного пользования ее продуктами, сделать из мирской сходки основной политический элемент русского общественного строя, поглотить в общинной собственности частную [2]), дать крестьянству образование и то понимание его общественных потребностей, без которого оно никогда не сумеет воспользоваться легальными своими правами, как-бы они широки ни были, и никак не выйдет из-под эксплоатаций меньшинства, даже в случае самого удачного переворота,—вот специально-русские цели, которым должен содействовать всякий русский, желающий прогресса своему отечеству».—«Но какими средствами,—спрашивает Лавров,—можно осуществить эти цели?..

На первое место мы ставим положение, что перестройка русского общества должна быть совершена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа».

Лавров решительно высказывается против политических переворотов и всяческих заговоров...

---

[1]) Курсив П. Л. Лаврова.
[2]) Курсив наш. *О. А.*

«Мы не хотим новой насильственной власти!—восклицает Лавров,—тот, кто желает блага народу, должен стремиться не к тому, чтобы стать властью при пособии удачной революции и вести за собою народ к цели, ясной лишь для предводителей, но к тому, чтобы вызвать в народе сознательную постановку целей, сознательное стремление к этим целям и сделаться не более как исполнителем этих общестремлений, когда настанет минута общественного переворота».

Что-же должна делать молодежь? Как может подготовить этот успех интеллигентная личность?

На эти вопросы Лавров отвечает:

— «Человек, принадлежащий к цивилизованному обществу, может, вооружившись основательным знанием и усвоив народные потребности, итти в народ, отказавшись от всякого участия в государственном строе современной России; став в ряды чернорабочих, в ряды страждущих и борющихся за дневное существование, если только он в силах сделать это, он отдаст на народное дело всю свою умственную подготовку и употребит ее на уяснение своим братьям-труженикам, того, на что они имеют п р а в о; того, к чему они о б я з а н ы стремиться во имя своего человеческого достоинства; того, наконец, чего они м о г у т достигнуть, если твердо захотят и сумеют сплотиться для осуществления своей воли»...

Далее Лавров горячо убеждает молодежь в необходимости основательной подготовки к революционной деятельности не путем с п е ц и а л ь н ы х знаний—нет!—а путем выработки реального миросозерцания, критической способности мышления, без которых немыслима правильная постановка с о ц и а л и с т и ч е с к и х вопросов, в которых заключается вся будущность человечества. «Кто воображает,—говорит Лавров,—что может решить угадыванием или инстинктом трудные и сложные задачи, которые представляет установка нового общественного строя, тот приготовляет себе неминуемое поражение в минуту, когда задача станет пред нами со всей своей практической неизбежностью. Он окажется бесполезным деятелем в то самое время, когда его силы будут всего нужнее; он станет игрушкою в руках шарлатанов или эгоистов, которые лучше всего подгото-

вились в области мысли. Если же он проповедует систематически вражду к строгой и основательной подготовке в области мысли, то он готовится вести своих товарищей и союзников на гибель в битве с лучше подготовленными врагами, он готовится вести народ к революции без будущности, мгновенный успех которой неизбежно вызовет подавление, потому что у народной партии не будет доставать знания—единственного орудия возможной победы»...

Рассматривая революцию, как сложный исторический процесс, обусловленный совокупностью закономерно - действующих моментов, Лавров горячо предостерегает молодежь от опасных «попыток» искусственно вызывать народные восстания, потому что вызванные такими попытками общественные потрясения тяжело ложатся именно на самое бедное большинство, которое приносит при этом самые значительные жертвы. Помимо непосредственной опасности этих «попыток» для массы, последние еще нецелесообразны в смысле революционной тактики, ибо искусственно революций вызывать нельзя, и силы, потраченные на такую работу,—потерянные силы революции. Ближайшая цель деятельности,—по мнению Лаврова,—всякого, кто желает блага России, это—«подготовлять успех народной революции, когда она станет необходима, когда будет вызвана течениями исторических событий и действиями правительства». К этому торжественному моменту и зовет Лавров молодежь приготовиться. «Готовьтесь к этой минуте умственным развитием, житейским опытом, выработкою в себе твердого характера. Готовьте к ней народ русский, уясняя ему его истинные потребности, его вечные права, его грозные обязанности, его могучую силу. А затем, когда минута настанет, идите с народом на завоевание этих прав, на исполнение этих обязанностей, на развитие этой силы Идите вперед, чего бы это ни стоило вам, чего бы это ни стоило народу. Какова бы ни была цена этого будущего, оно должно быть завоевано»...

Так учил Лавров молодежь.

ГЛАВА VI.

Что думала молодежь в целом?

Как ни велико было значение революционного авангарда в пропагандистском движении 70-х годов, но авангард все-таки не армия, а армия, т.-е. молодежь в целом, еще не была тогда, в конце 1873 г., сформирована, а тем более мобилизована. Для того и другого необходимо было авторитетное воздействие, необходим был боевой клич, который объединил бы разрозненные силы молодежи и двинул бы их на решительный шаг. И эта санкция, этот лозунг пришли, и пришли они, как мы уже знаем, от сильных и авторитетных людей. Этот лозунг был: «в народ». Электрическим ударом пробежал он по массе молодежи и всколыхнул ее. Молодежь ожила. Не то, чтобы путь, указанный ей ее учителями из-за границы, был нов для нее—нет! Она, молодежь, раньше знала уже, что не миновать ей этого пути. Молодежь всегда тянуло, почти физически тянуло к народу. Страдания народа глубоко трогали молодежь. Народу надо помочь. Это—ее долг, исторический долг, который надо во что бы то ни стало уплатить. Надо, стало-быть, итти в народ. Другого пути нет. Это, повторяю я, знала молодежь и раньше. Что же нового для молодежи было в этом лозунге? Новым было содержание этого лозунга, новой была цель, во имя которой мобилизировали молодежь. Правда, «долгушинцы» первые из ее же рядов поставили пред нею эту цель с поразительной ясностью и силой.

Но «долгушинцы» и другие кружки—лишь капля в общей массе молодежи. Чтобы преодолеть инерцию массы, нужен сильный толчок, а этот толчок могли дать только Бакунин и Лавров, благодаря их авторитету и знаниям, опирающимся на западно-европейский и русский исторический опыт. На Западе развертывали свое красное знамя «международное общество рабочих» и социал-демократия. На Западе только два года тому назад разыгралась величайшая в истории человечества мировая трагедия—Парижская Коммуна. Все это в общей совокупности и дало определенное решение роковому вопросу молодежи: что делать? Итак,

решение найдено. Нет больше сомнений, нет колебаний. Чистое, как хрусталь, настроение, цельное, почти религиозное, чувство охватило молодежь. И, выпрямившись во весь рост, она, добрая, светлая, глубоко-верующая, потянулась к тому,—

„Кто все терпит во имя Христа,
„Чьи не плачут суровые очи,
„Чьи не ропщут немые уста,
„Чьи работают грубые руки,
„Предоставив почтительно нам
„Погружаться в искусства, в науки,
„Предаваться мечтам и страстям!..“

Итти в народ! Что это означало? Это означало не только отдать народу свои силы, свои знания во имя и ради народной революции, но это означало еще—жить его радостями и страданиями, делить с ним его светлые надежды и горькие разочарования! А это опять-таки означало: надо оставить высшие учебные заведения, официальную науку, расстаться с родными и близкими, со всеми привычками и удобствами досужей культурной жизни и, стряхнувши все это с себя, как несправедливое, незаслуженное и вредное, погрузиться на самое дно, в самую гущу многострадальной народной жизни!.. Нужно, стало-быть, раз навсегда сбросить с себя культурную шкуру и предстать пред народом в его грубо-рабочей шкуре.

Таково было тогда настроение молодежи: цельное, оно должно было вылиться в неудержимо-самоотверженный порыв воли. Это было в конце 1873 г. Движение среди молодежи растет, все повышаясь. Я такого движения среди молодежи не припомню в другое время. Новые кружки вырастают в большом числе. Параллельно с этим возникают и развиваются сходки. Это—митинги молодежи того времени. Пора толкований, прений и самоуяснений уже миновала, теперь на очереди жгучие проблемы практической деятельности—революционной практики. Из-за границы получена масса изданий революционного содержания: «Вперед» № 1, «Государственность и анархия» Бакунина, прокламация от революционных обществ русских анархистов, «молодых бакунистов»,—Ралли, Эльсница, Гольштейна и пр. Молодежь с жадностью набросилась на эти издания, как на источник живой воды. Программы во-

жаков революции дебатируются страстно как в кружках, так и на сходках. Живой обмен мыслей приводит к расслоению массы молодежи на две группы: группу «радикалов», решительно занявшую революционную позицию как в идейном, так и в практическом отношении, и группу «сочувствующих» лишь направлению первой группы. «Сочувствующие» активно не вступают в борьбу, а ограничиваются лишь указанием всяческого содействия «радикалам»: снабжают последних материальными средствами, дают приют нуждающимся в этом революционерам, снабжают их адресами и пр. и пр.

Среди самой группы «радикалов» дифференциация далее выразилась образованием двух революционных фракций—фракции «пропагандистов» или «лавровистов» и фракции «бакунистов» или «бунтарей» («вспышкопускателей» тож). Как показывают названия этих фракций, различия в их революционной теории и практике обусловливаются целиком различиями тех программ, представителями которых являются Лавров и Бакунин.

Лавровисты, или пропагандисты, группировались вокруг программы Лаврова, а бакунисты—Бакунина. Мы уже знакомы с программами Лаврова и Бакунина, а потому, не останавливаясь больше на них, отметим лишь их черты сходства и различия. Как лавровистов, так и бакунистов объединяет одна великая цель: это социальная, народная революция, осуществленная не только во имя народа, для народа, но и посредством народа.

Инициатором в этом великом деле должна быть русская революционная молодежь. Это—«неоплатный долг интеллигенции пред народом».

В этом обе фракции революционной молодежи сходятся вполне. Далее идут уже разногласия. Лавровисты, согласно учению Лаврова, требуют мирной, серьезной и продолжительной пропаганды социалистических идей в народе, с тем, чтобы этим «подготовлять успех народной революции, когда она станет необходима, когда она будет вызвана течениями исторических событий и действиями правительства». Бакунисты на это отвечали: «Мы имеем полную веру в инстинкты народных масс и понимаем революцию, как организованный взрыв того,

что называется революционными страстями, и как разрушение того, что на том же буржуазном языке зовется общественным порядком» [1]).

....«Всякий из нас должен понять, — говорили бакунисты,—что в деле революции самый знающий и самый умный человек, даже гений, может дать массам лишь то, что они уже заключают в себе, в своих действительных нуждах, инстинктах и стремлениях; только осмысленную научную формулу того, что они чувствуют и желают. Кто действительно знает народ, тот знает и то, что каждому из нас приходится более получать уроков от народа, чем давать их ему. Всякий из нас должен понять, что время выдающихся личностей прошло. Владычество личностей было совершенно естественным и логичным в политических революциях, так как всякая такая революция имела целью замену одного правительства другим. Оно совершенно неуместно и невозможно в социальной революции, которая, имея единственною целью освобождение масс, должна уничтожить самый принцип власти. В социальной революции может быть место только для коллективной мысли, воли и деятельности.

«Программа эта не наша,—это программа народа, ясно выраженная во всех его стремлениях. Народ всегда и везде шел этим путем; всегда и везде отклоняли его с этого единственного верного пути люди личной инициативы, мечтавшие о возможности учить народ. Только та революция восторжествует, где учителей этих не будет. Поэтому, повторяем, эта программа не есть новая, выдуманная нами, форма, к которой мы хотим приноровить действия народа; это результат изучения народа, народных инстинктов и идеалов, отрицание всякой опеки, всякого руковождения народом». Так формулировали свои взгляды на тактику революционной деятельности в народе обе фракции. Таким образом, лавровисты, стоя на почве «социализма», проповедуют мирную пропаганду. Бакунисты же, наоборот, опираясь на народные инстинкты и интересы, народные стремления и народные иде-

[1]) Курсив везде авторов прокламации „К русским революционерам". Мы цитируем из этой прокламации наиболее характерные и яркие мысли и взгляды бакунистов, особенно молодых.

алы, требуют агитации в народе «действием» — «бунтами», организации в народе «боевых дружин путем объединения лучших крестьян всех деревень, волостей и, по возможности, областей между собой» с целью вызвать всеобщее народное восстание.

Нужно отдать справедливость бакунистам, что они стояли ближе к реальной народной действительности, глубже поняли народную психологию, чем лавровисты. Отсюда и радикальное различие в их взглядах на способы и приемы действия в народе.

Во всю вторую половину 1873 года молодежь была вся поглощена обсуждением этих программ. Никаких споров и разногласий не вызвало требование обеих программ действовать в народе в положении рабочего человека. Это казалось тогда аксиомой,—о чем же тут спорить? Не в пример больше споров и разногласий возбуждал вопрос о размерах необходимой для революционера теоретической подготовки. Лавровисты, как пропагандисты, само собою, стояли за основательную предварительную подготовку: чтобы учить народ, надо самому, прежде всего, многому научиться, многое знать и понимать. Бакунисты же, как агитаторы, сводили эту предварительную подготовку почти на минимум: не нам-де учить народ, а, наоборот, учиться у него, у народа, нам следует,—его опыт богаче нашего, его инстинкты и стремления надежнее, действительнее, чем наше теоретическое знание и руководство. Некоторые в этом отношении хватали через край, совсем отрицали всякую подготовку:—«ну, если хотите, достаточно 4-х правил арифметики и баста!» заявил раз на сходке, при дружном смехе присутствующих, один из бакунистов. Конечно, все это—крайности и преувеличения, вполне возможные в такую горячую пору. Однако, и в этом случае, бакунисты были более искренни и правдивы, чем лавровисты. Охваченные горячей любовью и преданностью народу, они считали всякую проволочку в революционной деятельности преступной. Сколько времени надо употребить на подготовку? Что может служить безошибочным критерием моей подготовленности? Кто будет моим судьею?.. Ведь практически это может свестись на то, что при-

дется сидеть у моря и ждать погоды. «Умственное развитие», «житейский опыт», «выработка твердого характера»,— все это прекрасно, слова нет! Но пока мы будем все это вырабатывать в себе,—рассуждали бакунисты,—«роса очи выест» у народа: вместо того, чтобы скорее способствовать освобождению народа, мы своей критической работой мысли будем только задерживать это освобождение, своим развитием, при существующих условиях, будем только косвенно способствовать его угнетению. Я должен при этом заметить, что молодежь,—по крайней мере, по отношению к этому вопросу,—стояла целиком на стороне бакунистов. Я помню хорошо, как оскорбила молодежь одна статья из «Вперед»,—кажется, № 2,—трактовавшая эту тему слишком уж в докторальном тоне. «Не думает ли редакция «Вперед» открыть приготовительные курсы для революционеров с премией на аттестат революционной зрелости?»—спрашивали мы друг друга огорченные. Во всяком случае, жизнь не удается загнать в испанские сапоги: проповедь «основательной подготовки» не удержала молодежи от охватившего ее страстного стремления двинуться в народ, и уж весной 1874 г. все было готово к походу.

Весною 1874 г. волна революционно-пропагандистского движения в Петербурге достигла своей крайней высоты. Кружки и сходки прекратились. Они теперь уж не нужны. Все вопросы решены. Время уж итти в народ. Надо приготовить все необходимое для этого. Но прежде всего нужно научиться физическому труду. И работа закипела. Одни отправляются на заводы, фабрики, где, с помощью спропагандированных рабочих, устраиваются и приступают к работе. Поступок этих студентов импонирует товарищам, пример их заразителен. Те, которые почему-либо не могут последовать этому, страдают от огорчения. Другие,—таких было, если не ошибаюсь, большинство,—бросаются на изучение ремесл,—сапожного, столярного, слесарного и проч. Этому можно скорей научиться, да и ремесло пригодится в ссылке. Надо быть готовым. Во многих частях Петербурга,—на Выборгской, Петербургской сторонах, в Измайловском полку, на Васильевском острове и проч.—открываются такие мастерские, в которых выучка, под руководством опять-таки рабочего-революционера, идет довольно

успешно. Война, говорят, родит героев. Революционная необходимость научиться ремеслу обнаружила положительно таланты по этой части среди нашей молодежи.

Мастерские, устраивавшиеся молодежью, были все почти на один манер. Мастерские были одновременно и «коммунами». Зайдем в такую мастерскую-коммуну. Небольшой деревянный флигель из трех комнат, с кухней, на Выборгской стороне. Скудная мебель. Спартанские постели. Запах кожи, вара бьет в нос. Это—сапожная мастерская. Трое молодых студентов сосредоточенно работают. Один особенно занят прилаживанием двойной толстой подметки к ботфортам. Под подошву надо спрятать паспорт и деньги — на всякий случай. У окна, согнувшись, вся ушла в работу молодая девушка. Она шьет сорочки, шаровары, кисеты для своих товарищей, собирающихся на-днях итти в народ. Надо торопиться — и иголка так и мелькает в воздухе. Лица—молодые, серьезные, бодрые и ясные. Говорят мало, потому что некогда. Да и о чем разговаривать? Все уже решено, все ясно, как день.

То же самое и при встречах на улицах. Лаконические вопросы: «куда направляетесь? куда едете?..» и такие же ответы: «На Волгу! на Урал! на Дон! на Запорожье!..» И т. д. и т. д. в этом роде.

Крепкие рукопожатия и всяческие благие пожелания. В путь дорогу!..

Эта революционная молодежь, полная веры в народ и в свои собственные силы, охваченная каким-то экстазом, потянулась в далекий неведомый путь. Позади остались дорогие образы родных и близких, вошедшие в кровь и плоть, культурные привычки, высшие учебные заведения, с их «правами и льготами». Все корабли сожжены. Возврата нет.

Пропаганда разлилась по всей России. Она охватила 37 губерний, по официальным данным. Арестовано было больше 1000 чел., все цвет учащейся молодежи. Они томились в крепостях, тюрьмах и казематах. Уж одно число арестованных, сосланных еще до суда, отданных под надзор и пр. указывает на то, что революционное движение молодежи 70-х годов отличалось массовым характером. Уходили в народ небольшими организованными группами—«кружками»—в 15—20 чел. и больше, уходили и в одиночку.

Это—«вольница», лица, предпочитавшие все делать на свой страх и риск, не укладывавшиеся в тесные рамки «кружковщины».

Говорят, что революционное движение 70-х годов было не только массовым, но и стихийным. Мы сами когда-то думали так. Но это не совсем верно. Под стихийным движением разумеют неорганизованное, лишенное всякой планомерности движение. Это — взрыв чувств, накопляющихся годами и выливающихся наружу в судорожной, так сказать, рефлекторной форме.

Так действует бессознательная природа. Движение молодежи не было таковым, хотя эмоциональный элемент в нем несомненно преобладал. Движение молодежи подготовлялось исподволь, под влиянием определенных общественных моментов, постепенно оно созревало, пока не вылилось окончательно в определенную форму. Массовому движению предшествовало движение организованого меньшинства молодежи. Само же массовое движение молодежи отнюдь не было бесформенным, неорганизованным—оно не было централизованным,—это правда!—но неорганизованным его нельзя назвать! Я помню хорошо, как зимою 1873 г., на сходках, а особенно в кружках, самым тщательным образом обсуждался вопрос о выступлении, о походе молодежи: намечались те места, которые, на основании исторических справок, оказывались наиболее благоприятными для революционной деятельности — туда мобилизация молодежи и была направлена. Следовательно, не совсем уж она была так слепа, как думают многие. На излюбленных молодежью местах она устраивалась не зря, а по плану: в ближайшем городе заводился «центр», в котором и сосредоточивались все административные функции кружка: приискание пристанища, завязывание связей, добывание паспортов, денег и различных сведений.

Я не стану здесь перечислять все революционные кружки того времени. Это заведет меня слишком далеко. Я назову еще «московский кружок 50» или, как насмешливо окрестили лавровисты—«кружок цюрихских барышен», кружок Жебуневых, кружок «Киевской коммуны»...

Эти кружки отнюдь не действовали совершенно осо-

бенно: они вступали в федеративные связи с другими кружками, по поводу тех или других услуг, в которых могли нуждаться. Общность целей и стремлений обязывала, помимо формальных договоров, к такой солидарности. И кружки не только друг друга поддерживали, чем могли, в этой общей революционной работе, но и оказывали большую поддержку и одиночкам. Указывают на ошибки и промахи этого движения, роковым образом приведшие его к провалу, как на доказательство его стихийности и неорганизованности. Ошибки и промахи были—слова нет!—но это были неизбежные ошибки новичков в революции, за которыми тогда еще не было ни революционного опыта, ни преемственности, ни традиции. Движение было громадное, порыв был неудержимый. Немудрено было при таких обстоятельствах наделать много промахов и ложных шагов и при наличности даже стройной, строго выдержанной, централизованной организации. Лес рубят, щепки летят...

Оглядываясь теперь назад на путь, пройденный молодежью в 74-м году, мы не можем не видеть той поразительной энергии и предприимчивости, какую сумела развернуть молодежь за это короткое время. Не забудем опять-таки, что это были первые ее шаги, не забудем также того настроения, которое она тогда переживала. Это был порыв, аффект, выражаясь психофизиологическим языком.

Потребность в пропаганде своих идей была так непреодолима, так властна, что революционер не мог не отдаться ей всецело. Немудрено, поэтому, что революционер нередко пускался в воду, не спросивши броду. Я слышал от многих моих товарищей, как глубоко они страдали, когда им почему бы то ни было не удавалось уж в течение 3—5 дней вести пропаганду. Их мучило сознание своей вины перед народом, их мучила ответственность перед товарищами. Это так. И я знаю это—tranchons le mot!—по собственному опыту. Я сам переживал такие моменты. Пример. Еду в 1874 году домой через Харьков. В Харькове встречаюсь с хорошей моей знакомой «радикалкой»—медичкой (ныне женщина-врач) В. П. Иваницкой. Мы с ней пошли в университетский сад. Была чудная летняя ночь. Углубившись в сад, мы вдруг услышали хорошее малороссийское пение. Пели сильные мужские голоса. Нас так и потянуло к ним. Пошли. Скоро

мы натолкнулись на небольшую группу солдат харьковского гарнизона. Это они-то и пели. Поздоровались и попросили позволения слушать пение. Солдаты были польщены просьбой миловидной барышни, и песни полились с новой силой. Незаметно мы завязали разговор,—безразличный, помнится. Но мне уж становилось не по себе: захотелось пропагандировать. И я начал говорить горячо, молодо... Помню, что 4—5 человек солдат из этой группы через некоторое время ушли, тепло распрощавшись с нами; осталось лишь двое. Мы сели на скамейку и пропаганда, уже более интимная, продолжалась. Солдаты слушали нас с интересом. В особенности нас поразил один из них, по фамилии Павлов. Умный, развитой и вдумчивый,—он весь был одно внимание. Беседа продолжалась с час времени. Потом, проводив В. П. на ее квартиру, мы пошли в... кабак. Солдаты захотели выпить, а мне не хотелось оборвать пропаганду. Водка была отвратительная, но я глотал эту гадость, не желая отстать от компании. Это был первый мой опыт пропаганды, и мне казалось, что если я буду пить с теми, которых я пропагандирую, то это меня сблизит с ними. Мы засиделись в кабаке до поздней ночи. При прощании П—ов попросил меня, чтобы я с ним еще раз повидался. Мы условились встретиться на другой день. Мы действительно встретились в условленном месте,—помнится, что это было на Московской улице. Я передал П—ву список книг для чтения, нарочито мною составленный для него, по его просьбе, и повел его к медику Георгию Витте для дальнейшей его обработки. Таков один только факт из моей практики. Само собою, что «благоразумного» в моем поступке ничего не было: ведь я мог легко нарезаться на серьезный скандал, чтобы не сказать больше. Но я иначе тогда поступить не мог. С моей стороны это не было ухарством—к подобным штукам я по натуре своей не способен! Не было это также и легкомыслием... Что же меня все-таки толкнуло на такой рискованный шаг? Одно, и только одно: непреодолимая потребность пропаганды, страстное желание поделиться моими мыслями, стремлениями с людьми, которые показались мне в то время почему-то способными понять меня. Это—прозелитизм, которым я, как и вся революционная молодежь того времени, был схвачен. Как от него освободиться? Он—всесилен: он

толкает на геройские подвиги, но может практически вылиться и в смешную форму, натолкнувшись на житейскую ограниченность, пошлость, может вылиться и в трагическую—встретив подлость, трусость и предательство. Так, как я поступил тогда, поступали десятки, сотни моих современников. Молодежь переживала тогда состояние прозелитизма. Она набрасывалась с горячностью на пропаганду, она не хотела, она не могла ждать.

И рядом с неизбежными, вполне понятными ошибками, она могла совершить в таком настроении также и великие дела. Пропагандисты 70-х годов, к сожалению, не успели вершить их, но подвиг они все-таки совершили! И этот подвиг заключался в той беззаветной решимости, с какой пропагандисты, обрекая себя на гибель, выступили на революционный путь. В этом подвиге заключался залог возможной победы. К сожалению, русская действительность тогда так сложилась, что рассчитывать на такую победу в скорости нельзя было. Мы это почувствовали уже в конце 74 года, когда наше массовое хождение в народ, наше «паломничество» потерпело такое сильное крушение. Разбитые на голову, мы бросились в города, в университетские в особенности, стараясь собрать наши рассеянные легионы. Не все еще, слава богу, заарестованы, не всех еще захватили правительственные ищейки-жандармы и прокуроры. Урон мы получили значительный, но не все еще было потеряно. Молодежь не потеряла головы, но прежнего беззаветного увлечения уже не было.

Жизнь нам дала хороший серьезный урок и заставила нас поразмыслить над тем, что произошло. Она, суровая и безжалостная, заставила нас, увлекающихся, научиться более правильному, более объективному, более реальному пониманию условий и требований действительности. Конечно, это не сразу нам далось, но работа в этом направлении уже началась, т.-е. начался пересмотр наличного идейного революционного содержания — его теории и практики. Мы еще не знали тогда—это было в конце 74 г. и в первую половину 75—к чему мы придем, но перелом уже начался, и элементы ближайшей необходимой эволюции нашего революционного развития уже выкристаллизовывались. Прежде всего от нас отделилась часть

молодежи, втянувшаяся в революционный процесс, в период хождения в народ, под влиянием подражания, внушения—если хотите, психической заразы. Это неизбежно бывает при всяком массовом движении и также имело место и в нашем. Обособившаяся, так. обр., революционная молодежь, хотя тогда не сорганизовалась еще в стройное, согласованное во всех своих частях единое целое, но зато она, так сказать, более резко и определенно отмежевалась от всей массы прочей молодежи. И дальше.

Весной 1874 г. в народ ушли, как оказалось потом, многие отнюдь не с революционными целями: ушли, чтобы узнать народ, испытать свои силы, научиться работать и проч. Многие из этих последних совершенно отстали от общего революционного движения в народ, наметив себе другие пути деятельности; одни, напр., сосредоточили свою работу исключительно в городах, работая среди ремесленного, фабричного и заводского населения. Это, во 1-х, не выбивало их из обычной жизненной колеи, не требовало от них жертв и лишений, неизбежно связанных с работою в народе: студенты, напр., продолжали свои занятия в высших учебных заведениях и жертвовали для пропаганды среди городских рабочих лишь своим досугом. А во 2-х, работа в городе,—что казалось им особенно важным, представлялась и более целесообразною и более производительною. Целесообразною потому, что они считали городских рабочих более восприимчивыми к пропаганде социализма, чем деревенских, а, следовательно, и возможный успех этой пропаганды, при равенстве всех прочих условий, оказывался более обеспеченным, т. е. затраченный на пропаганду труд более производительным.

Сторонники этих взглядов впоследствии сформировались в группу революционной молодежи, известную под именем «марксистов». Впрочем, мы вернемся к ним ниже.

Таким образом, с отпадением от массы революционной молодежи той части ее, которая случайно пристала к ней, а также и городских пропагандистов, осталась еще значительная часть молодежи, до конца верная лозунгу: «в народ!»...

Наш первый революционный опыт в народе—говорили

мы—продолжался слишком короткое время и притом протекал с такой стремительностью и торопливостью, что было бы совершенно непозволительно делать на этом основании какие-либо выводы о своевременности или несвоевременности всеобщего восстания, о трудности или легкости вызвать в народе частный бунт, о том или ином значении пропаганды в деревне, это—во 1-х. А, во 2-х—лучшая пропаганда, которую мы так широко практиковали в 1874 г., оказывается совершенно нецелесообразною, как прием борьбы. Она могла бы иметь значение в том лишь случае, когда революционное настроение массы оказалось бы вполне созревшим, когда слово, следовательно, должно было сыграть роль искры, превращающей в пожар горючий материал народной жизни. Надо, поэтому, говорили мы,—сесть на одном месте, пожить некоторое время в народе, чтобы, согласно указаниям опыта, внести—буде это окажется нужным—те или другие изменения в нашу программу или тактику. И движение в народ не прекращалось. Правда, оно не имело того массового характера, каким оно отличалось весною 1874 г., но зато оно оказалось более определенным и вдумчивым. Подготовлялся поворот к новому направлению в революционном движении. Окончательно же этот поворот определился в ближайшем будущем.

Таковы итоги первого опыта хождения в народ.

ГЛАВА VII.

Первые мои шаги на пути пропаганды.

В то время, когда описываемые мною события 1873—74 гг. все более и более развертывались, я был студентом 5-го курса м.-х. академии и готовился уже к окончательному экзамену. Я был студентом занимающимся, работящим. Товарищи и некоторые профессора считали меня одним из возможных кандидатов, которые ежегодно оставляются при академии для «усовершенствования в науках». Я и сам об этом мечтал.

Моими любимыми занятиями были патологическая анатомия и терапия. Мои первые учителя в этих областях, Руд-

нев и Манасеин, бесповоротно определили мой выбор. Это были самые лучшие наши учителя в академии. Особенно Манасеин не жалел себя: он работал с нами и вечером, по окончании лекций, и рано утром—до начала их. И Руднев, и Манасеин положил прочный фундамент нашим медицинским знаниям: Руднев—по патологической анатомии, Манасеин—по методам клинического исследования. Я много работал по своей специальности. Но это не заглушало во мне потребности к общему развитию, залегшей во мне крепко еще с последних классов гимназии. Тогда Писарев владел мною всецело. Он будил мысль, толкал к развитию.

Во время студенчества кружки продолжали начатое Писаревым. Я тщательно работал над собою, чтобы выработать из себя «критически-мыслящую личность», но, как я уж сказал, не пренебрегал и своей специальностью. Да и не мог, если бы захотел. Специальные занятия давали столько положительного материала для знания, так обогащали ум фактами реального мышления, что не только не тормозили общего развития, но способствовали ему, расширяя и углубляя его. Какое глубокое, помню, впечатление произвела на меня «Целлюлярная Патология» Вирхова, хотя и значительно уже устаревшая в то время! Тут действовали и философское мышление ученого, и научная методология его. Мимоходом замечу, что совершенно тождественное впечатление на меня произвели такие труды, как «Учение о жизни» Биша, «Происхождение человека» Дарвина, «Капитал» К. Маркса, «Очерки политической экономии» Чернышевского и проч., проч.

Мои медицинские занятия и обще-образовательная работа шли параллельно, дополняя друг друга. Начавшееся революционное движение среди молодежи, конечно, захватило и меня. Но я на первых порах долго не поддавался ему. Не то, чтобы я был принципиальным противником его—о, нет: я тогда уже был социалистом. Предшествовавшая работа мысли привела меня роковым образом к социализму.

Меня смущало сильно совсем другое обстоятельство: мне казалось, что преждевременно еще выступать с пропагандою социалистических идей в народе, как это настойчиво требовала молодежь. Русский народ—говорил я,—

недавно только вышел из крепостного состояния, он почти не жил историческою жизнью, он темен и невежествен, робок и забит,—где же ему понять то учение, которое народил многовековой тяжелый исторический опыт на Западе?.. Социализм на Западе куплен дорогой ценою: ему предшествовала Великая Французская Революция, революция 48 года, его создал западно-европейский социальный строй; там это учение имеет свой raison d'être, там оно—учение пролетариата. Мне на это возразили:—«Вы не знаете народа, не знаете русской истории!..»

И то, и другое было правда. Народа я не знал, так как родился в городе, деревни почти что не видал, да, кроме того, я—был чужим этому народу по крови. Русскую историю я тоже плохо знал. Признаться, не любил я ее. Уж очень скучной она мне казалась. И я, такой любознательный и прилежный, прочитавший так много по истории Запада, а особенно по истории революционных движений на Западе, ничего не читал по русской истории. Мне казалось, что она ничего не может сказать ни моему уму, ни моему сердцу. Это, конечно, было заблуждение, обычное заблуждение невежества. Молодежь задала мне за это порядочный нагоняй. Мне указали на целый ряд наших историков, труды которых проливают яркий свет на наше прошлое; мне указали на то, что это прошлое отнюдь не беднее красками, драматизмом событий, содержательностью, чем история западных народов; мне указали, дальше, на то, что история русского народа меня научит понять, уважать и любить народ; что, наконец, из истории русского народа я узнаю, что он отнюдь не так далек от социализма, как я полагаю. Я взялся за русскую историю. Соловьев, Беляев, Аристов, Хлебников, Щапов, Мордовцев, Антонович и др. появились на моем столе и прочитывались от доски до доски. Некоторых книг нельзя было тогда достать в книжных магазинах; приходилось разыскивать их у букинистов. Костомаров, Беляев и Хлебников на меня произвели сильное впечатление. Русская история, действительно, сделалась более понятною мне. Хлебников особенно меня поразил новизною исторического взгляда: я бы сказал теперь, что в свое историческое исследование он внес материалистическое понимание истории. Помнится, что меня тогда

особенно удивил его тщательный анализ экономического состояния различных общественных групп тогдашней России.

Кроме работ по истории, мне предстояло еще познакомиться с исследованиями, касающимися различных сторон современной русской действительности—общины, обычного права, раскола и сектантства и пр. Я со всем этим справился, а остальное доделали товарищи, кружки и сходки. К весне 1874 года я был совершенно готов. Я решил оставить академию и пойти в народ. Предо мною встали некоторые, совершенно специальные для меня затруднения.

Я—еврей. Меня сильно смущало это обстоятельство. Как отнесется народ к моей пропаганде—придаст ли он ей веру или нет? Я высказал свои опасения товарищам. Меня успокоили тем, что из всех народов русский народ менее всего нетерпим в национальном и вероисповедном отношениях,—во-первых, а во-вторых, внешность у меня не типично-еврейская и речь совсем хорошая, а потому стоит-де мне лишь переодеться в рабочий костюм и огрубеть внешним образом—так я сойду за русского человека.

Я решил научиться ремеслу какому-нибудь, так как по слабому моему телосложению в чернорабочие я совершенно не годился. Но все-таки я решил попытаться, и с этой целью написал письмо в Энгельгардту в Смоленскую губ., в котором я изложил ему мои мотивы, по которым я бы желал научиться крестьянской работе. У Энгельгардта в то время—к слову сказать—уж работали интеллигентные люди. Суровый рабочий режим, в который Энгельгардт с самого начала поставил «интеллигентов», казался мне хорошей предварительной школою для будущего пропагандиста. Я долго ждал ответа и когда он, наконец, получился, я был уже по дороге на родину, где мне удалось, благодаря содействию хорошего моего приятеля К. Каца, устроиться в деревне у столяра-хохла, согласившегося за небольшую плату научить меня столярному ремеслу. Попутно несколько слов о моем приятеле Каце.

Он был тогда (в 1874 г.) еще очень молодой человек, но уже прекрасно начитанный, талантливый и энергичный.

Для меня же он просто: «Костя». Ведь я помню его мальчиком 11—12 лет, когда я готовил его в гимназию. Оставил мальчика, а встретил юношу. Среднего роста, но

широкоплечий, гибкий, как тростник, с живым, крайне подвижным лицом и столь же живыми, искрящимися глазами,— он с первого же раза производил весьма благоприятное впечатление. Но как я был поражен, когда этот зеленый, с легким только пушком на верхней губе юноша показал както раз мне свои бицепсы: сталь, а не мышцы! Кац прекрасно гимнастировал и вообще с большой ловкостью проделывал разные телесные кунстштюки. Очевидно, серьезно занимался своим телесным здоровьем. И дышало это молодое тело свежестью, силой, гибкостью. Такою же свежестью, бодростью и оригинальностью отличалась и его духовная индивидуальность. Читал много и с толком. Спенсер, если не ошибаюсь, различает читателя пассивного и активного. Пассивный читатель может усвоить массу сведений, знаний у автора. Но только механически. Разобраться же критически в этих данных, претворить их органически в свою плоть и кровь,—на это способен только активный читатель. Таким именно читателем был Кац. Его духовными восприемниками были Чернышевский, Добролюбов и Писарев. Затем—Лавров и Михайловский. Этим его духовный облик вполне определился. Но, оставаясь верным заветам своих учителей, он сумел так переработать их ценности, что выходили они из его мозга, как продукты его самостоятельного творчества, как оригинальное выражение его умственной деятельности. Он был революционер и ближе стоял к Бакунину, чем к Лаврову. Но в бакунинизме его было что-то свое, индивидуальное, особое.

Инстинкту, как движущей силе революции, он отводил второстепенную, служебную, так сказать, роль, ставя на первый план—сознание. А потому он громадное значение придавал пропаганде идей социализма массам, распространение в массе предварительных социалистических знаний. По конечной цели он был—анархист, а по тактике—лавровист. Готовясь к работе в народе, он начал с того, что стал обучаться кузнечному ремеслу. В первый раз, когда я увидел Каца, покрытого копотью и липким потом, когда увидел, как ловко он орудует молотом, как под ударами его рассыпаются во все стороны снопы искр, как шипит, сплющивается, вытягивается раскаленное до-бела железо,—когда, говорю, я все это в первый раз увидел, меня просто зависть

взяла. Ведь вот работает же Константин! Давно ли он стал работать, а уже какие успехи делает?! Научусь ли я чему нибудь? Выйдет ли прок из меня? Однако, надо и мне попытаться.

Костя переговорил с знакомым столяром, и я и студент Кулажко, товарищ Кости, поступили к столяру. Работаем оба ревностно. От пропаганды пока решили воздержаться. Хотя нет-нет деревенские разговоры, по сущности своей, заставляли нас касаться больных мест деревни и незаметно, невольно переходить в пропаганду.

Помню такую беседу. Приехал к хозяину какой-то заказчик, зажиточный мужик. Поставили самовар, появилась водка, закуска. Пьем—обжигаемся горячим жидким чаем и заливаем его отвратительной сивухой. Пот катится ручьями с лица, в животе горит. В голове зашумело. Разговорились. Не помню уж как, а Кулажко—этот «Вильгельм Молчаливый» —вдруг заговорил. Спокойно, складно, деловито. Говорил о социализме, его задачах и целях. Слушали его с большим вниманием, с видимым уважением.

— А как живется простому человеку в чужих краях?— спросил гость. Кулажко ко мне:

— Ну-ка, А-н, расскажи! Это по твоей части.

Мне этого-то и нужно было только. Слово и так давно уже рвалось наружу, а тут еще выпили, да и компания подходящая,—казалось мне. Рассказал им историю крестьян в Англии, рассказал по Марксу. А! это им понятно, захватывает их, это будто из их жизни. Гость так и впился в меня глазами, хозяин умно, вдумчиво слушал, подперев голову правой рукой, положенной на стол, а добродушный, недалекий работник все ерзал на месте, то-и-дело бил себя ладонями по ляшкам и выкрикивал:

— Ах-ты, господи! Дела-то такие! Как с народом поступили! Окончательно оголили! Ах-ти!...

Окончил. Пауза. Первый заговорил хозяин. Дословно передать не могу, так как это было давно, да к тому же он говорил по-малороссийски. Умно, выразительно говорил. Смысл такой. Обидели там народ. По-миру пустили его. Все это—дело панов. Всю землю себе забрали.

Сила их была. Всеми делами они там правят. И у нас

то же было бы. Да царь не допустил. Насчет земли и у нас-то мало. Курицу некуда выгнать.

Да царь даст. Непременно. Никак нельзя без земли. Кому же подати платить-то? Кто казну наполнит? А без казны, как державу вести? Земля отойдет к нам! Не-пре-е-менно! Вот увидите!..

Начался очень живой разговор, в котором мерцающими огоньками маячили мечты о земле, о прирезке.

Непременно к этому идет. А окончательный вывод: у нас-де за царем куда лучше, чем у других-прочих народов, где паны всем орудуют.

Теперь наступила моя очередь слушать. Слушал с захватывающим интересом. Как своеобразно преломились наши речи, наши понятия в головах мужиков!. Неожиданные—для меня, конечно!—их выводы и сопоставления прямо-таки поразили меня. «У нас за царем куда лучше». Что-то ударило меня в голову, словно гвоздь загнали туда. Что-то заскребло в душе...

Ушел, словно в воду опущенный. Кулажко, по обыкновению молчал.—Не стерпел я и зашипел:

— Вот тебе раз! Плоды пропаганды! Не разрушаем иллюзий, а утверждаем их. Укрепляем старую веру народа в царя.

— Что ты так волнуешься, А-н? Ведь наши мужики констатировали только то, что давным-давно высказали славянофилы, а потом и Герцен. Разве мы не должны радоваться, что нас миновала чаша капитализма и пролетариата? что у нас сохранилась община? что же тебя так задело?

— Ясно—что!.. несокрушимая вера народа в милость царя... наша беспочвенность... взаимное непонимание...

— Ты напрасно придаешь такое большое значение этому обстоятельству. В представлениях народа верховная власть—лишь выборная власть, как старшина, как в старину...

Я запальчиво оборвал его:

— Слышали мы про то! «Древне-русские народоправства», «Государь Великий Новгород», «Казацкие вольности» и т. п.

То было и быльем поросло. А теперь царская власть

для народа на земле, что бог—на небе: его защита, держава. С этим надо считаться, а не закрывать трусливо глаза...

Мы замолчали, шли рядом, каждый думал свое.

А работа наша в столярной, попрежнему, продолжалась. Кулажко успевал, а я не двигался с места. Не давалось мне это ремесло. Мускулы мои, правда, окрепли, на ладонях показались мозоли, работал прилежно, но—увы!—работа у меня не спорилась.

В то время как Кулажко через два месяца уже научился делать веялки, я едва-едва овладел элементарными приемами: струганцем, пилкой и сшиванием досок. Я был в отчаянии. Наш хозяин—умный хохол, хорошо знавший, для какой именно цели я стремлюсь стать ремесленником, как-то завел со мною такой разговор по-душе.

— «Послушайте—серьезно он обратился ко мне:—послушайте, что я вам скажу! Бросьте вы, паныч, это дело! Пусть вот они (кивнул головой в сторону Кулажко) да Кац работают: они способны к этому, а вам, умному и ученому, мой добрый совет—быть доктором лучше всего на свете!»

Когда я на последние слова отрицательно покачал головой, мой хохол, не спуская с меня глаз, спокойно продолжал:

—«Не говорите того! (Я, собственно, ничего не говорил, но он словно читал мои мысли). И доктором будете—еще лучше! Будет вас народ уважать и слушать, ну, хоть бы у нас, в Славянке!..» Я, наконец, заговорил, стал ему возражать, что в положении врача, я, как барин, буду чужой народу, что мне непременно надо сделаться рабочим. Хозяин слушал меня внимательно и, когда я, взволнованный, окончил, он мне спокойно ответил:

— «Нет! нет! не то вы говорите! Не знаете вы простого человека! Это все ваши книги мудрят! Перемудрили! Простому человеку тоже нужен человек с башкой да с правдою—барчук ли, мужик ли—бай дуже!... (Замечу, что хозяин говорил по-малороссийски).

— «Вот что, коли хотите, скажу вам: будьте фершалом, право, добрый это совет! И для вас хорошо, и для вашего дела тоже!..»

Этот совершенно неожиданный совет до того поразил меня, что я не нашелся что ответить. Но мысль моего хо-

зяина крепко засела в моей голове. Мои товарищи, Кац и Кулажко, неоднократно возвращались к ней и высказывали полное сочувствие тону нашего хозяина. Мы продолжали работать. По воскресеньям и престольным праздникам отдыхали. Костя обыкновенно читал вслух, а мы слушали. Читали особенно охотно «Отечест. Записки», любимый орган молодежи. Читали, конечно, и газеты.

В то лето—лето 1874 года—разбиралось первое политическое дело в России—«Долгушинцев». Понятно, с каким напряженным вниманием мы следили за этим делом. Товарищи пали в борьбе. Ну, что-ж? придут другие.—Наше положение в деревне вдруг круто изменилось. Хозяин-столяр избегает нас. Население смущенно, подозрительно. Местное начальство насторожилось.

Недалеко от нашего села, Славянки, арестованы Жебуневы. В наше село явился нежданно-негаданно жадармский унтер-офицер. Расспрашивает, нюхает, выслеживает. Через село проскакали две тройки с жандармами и прокурором.

К тому же вышел такой случай. Приехал в Славянку какой-то арендатор нанимать артель прихожан, рабочих на полевые работы. Не поладил с рабочими. Последние обратились к нам за советом. «Костя» горячо принял сторону рабочих, вошел в их дело, толково разобрал его и написал рабочим контракт, который арендатор, скрежеща, и подписал. Время было «страдное», ждать с уборкой хлеба нельзя было. Пошли про нас слухи—смутные, тревожные. А это хуже всего в деревне. Приехал неожиданно становой, долго шептался с отцом «Кости». В результате: попросили нас, т.-е. Кулажко и меня, уехать. Мы расстались с Костей с тяжелым чувством. Времена тогда были тревожные. Все могло случиться. И действительно. Каца стали преследовать, и он бежал в Румынию в 1875 г. А в 1877 году обманом увезен из Румынии в Петропавловскую крепость, затем административно сослан в Мезень (Архангельской губ.). Из Мезени он морем через Норвегию бежал, благополучно пробрался в Румынию, где он остался навсегда. В Румынии Кац наше новое отечество, которому и отдал свои недюжинные силы. Он известен там под именем Геро-Доброджано, как выдающийся критик-публицист и лидер социал-демократической румынской партии. Кроме массы публицистических

и критических статей, им недавно выпущен классический труд по румынскому аграрному вопросу. Мне передавали, что румынский король послал ему орден за литературную и научную деятельность его. Кац отказался от этой монаршей милости.

Я вернулся в Петербург уже позднею осенью. Я застал молодежь растерянною, но не подавленною. Молодежь, как я уже говорил, собиралась с силами. Кружки и сходки стали возникать, но несколько вяло. Но вот случилось одно обстоятельство, которое послужило сигналом к более интенсивному кружкованию молодежи с одной стороны, и к усиленному распространению сходок—с другой. Я говорю о студенческих беспорядках в м.-х. академии. Ближайшим поводом к ним послужило назначение на кафедру физиологии в академию д-ра Циона. Назначение это последовало, помимо конференции, через военное министерство. Такое грубое нарушение прав конференции глубоко возмутило молодежь. Это—во-первых. А, во-вторых, проф. Цион, хотя несомненно талантливый и знающий свое дело физиолог, однако, с первых шагов его преподавательской деятельности так себя поставил по отношению к студентам, что вызвал всеобщий дружный протест против себя всей академии. Когда открылись лекции, второкурсники устроили ему бурную демонстрацию, требуя от него, чтобы он немедля оставил академию. Второй курс был закрыт по распоряжению академической администрации. По инициативе группы студентов 5-го курса созвана была сходка всех студентов, на которой и было постановлено немедленно прекратить посещение лекций и занятий на всех курсах. Назначено было следствие под председательством, если не ошибаюсь, проф. Юнге, в присутствии представителя от блаженной памяти «третьего отделения». Человек 30—35 были привлечены к суду, в том числе и пишущий эти строки, допрошены и отправлены в Литовский замок.

Беспорядки распространились и на другие высшие учебные заведения—технолог. институт, лесной и отчасти университет. Это были первые беспорядки в высших учебных заведениях в это десятилетие. Они послужили прологом к

целому ряду студенческих беспорядков большей или меньшей силы и интенсивности, не прекращавшихся в течение всего следующего пятилетия 70-х годов. Я отмечаю этот факт потому, что история революционного движения молодежи 70-х годов тесно связана и органически, так сказать, переплетается с судьбами этой же молодежи в высших учебных заведениях. Революционная партия, как известно, рекрутировала свои боевые силы, главным образом, из среды учащейся молодежи; оттуда она непрерывно черпала новые элементы для пополнения выбывших из строя старых (революционеров). Понятно, почему партия так зорко следила за судьбами студенчества и всячески старалась, чтобы этот излюбленный ею с давних времен операционный базис ее революционной деятельности, не был бы вырван из-под ее ног. Особенно партия следила за брожением умов среди студенчества и всячески стремилась использовать его в революционно-освободительном смысле. Всякое студенческое движение вообще создавало благоприятную обстановку для возникновения и развития кружков и сходок, с одной стороны, и для распространения революционной пропаганды — с другой. Так было и в 1874 году. За студенческими беспорядками в м.-х. академии и других учебных заведениях последовало довольно энергичное кружковое движение, а с ним и учащение сходок.

Жизнь молодежи снова забилась ускоренным темпом. Пропагандисты, стоявшие во главе студенческих движений, внесли в эти последние энергию революционной мысли и воли, вывели их из тесных рамок учебных интересов на широкий путь народно-революционных интересов. Пропаганда социалистических идей среди молодежи усилилась, движение в народ возродилось. Как и прежде, ближайшими инстанциями, к которым аппелировала молодежь при обсуждении всех злободневных вопросов пропаганды, были кружки и сходки. Я должен здесь отметить одну характерную черту тогдашних сходок и кружков, это—их солидность, серьезность и вдумчивость. Вопросы не решались теперь таким апломбом, как в предыдущем году, наоборот: молодежь стремится отдать себе ясный отчет во всем, вникает в суть самого дела. Рефераты, которые в то время читались, были положительно превосходны; некоторые из

них, впоследствии, в переработанном виде нашли себе место в наших лучших журналах.

Я с особенным удовольствием припоминаю рефераты о Прудоне и об истории социалистических учений в Европе (последний реферат был составлен, если не ошибаюсь, по Л. Штейну). На меня зима 1874—75 гг. произвела вообще благоприятное впечатление. Некоторые представляют это время унылым, подавленным. Я не могу согласиться с этим. Правда, прежнего порыва и экстаза не было, но зато чувствовалось, что под наружной апатией скрывается что-то новое, мощное и уверенное, что это новое надвигается и уже готово появиться на свет.

Когда студенческие беспорядки в м.-х. академии завершили полный цикл своего развития, т.-е. когда проф. Цион был, по нашему требованию, удален из академии, когда арестованным по этому делу товарищам нашим дали полную амнистию,—я решил тогда окончательно распроститься с академией. Меня тянуло всеми силами в народ. Я решил поселиться где-нибудь в деревне в качестве фельдшера. Друзья мои и товарищи вполне одобрили мой план. Я завел по этому поводу переписку с знакомым врачом. Тем временем я принял приглашение от хорошо известного мне врача, М. М. Симановича, погостить у него некоторое время в д. Бурпгах (Псковской губ.), где он заведывал больницей при общине св. Магдалины. Я торопился уехать из Петербурга, так как опасался административной высылки из столицы за участие в студенческих беспорядках. Помню хорошо последний день, который я пробыл в Петербурге. День выдался на славу, чудесный, солнечный. Морозило. Я и друг детства, впоследствии товарищ по «Земле и Воле», Алекс. Хотинский, сидели в Летнем саду, наблюдая гуляющих. Я был в каком-то мечтательном настроении. Положительный друг мой, заметив это, взглянул на меня лукаво и сказал: «Ну, а что, Осип, если через год или два тебе захочется опять сюда, назад, в культурную среду, подышать культурным воздухом, а?.. полюбоваться вот этими (он кивнул головою по направлению гулявших дам и девиц)?..» Как не неожидан был для меня вопрос моего друга, но я на него сразу совершенно спокойно ответил: «Никогда... Этого не должно быть, Александр!..»—«Значит, сжег все корабли?..» Я

молча кивнул утвердительно головой. На другой день мы расстались: Хотинский уехал в Симбирскую, я—в Псковскую губернию.

Вот уже три месяца, как я в деревне. Каждый день вижу мужика, подлинного, натурального, так сказать, мужика. Не мужика Некрасова и Златовратского, подернутого розовой дымкой, а мужика Псковской губ.: белокурого, с голубыми или серыми глазами, с кудельными волосами и бородой, в сером зипуне и лаптях,—одним словом, серенького, как есть мужичка. Так вот он: этот «интересный незнакомец»!

Вот он: этот «живой памятник всего, чего не упишешь в 26-ти томах истории Соловьева, с добавлением еще всего мучительного, продуманного и прожитого европейской жизнью»[1]). Импонирующего в нем нет. А придет час—развернется он во-всю, развернет все заложенные в нем богатые возможности, выпрямится во весь рост!.. И я любовно глядел на него и пока-что знакомился с ним. Пользуюсь всяким случаем: и в амбулатории, и в больнице, и на улице, и на «супрядках» (посиделках, вечеринках), на которых беззаботно веселится молодежь, и на сходках, и, наконец, у себя на дому.

Сельцо Буриги, где находится Община сестер св. Марии-Магдалины,—место моего временного обиталища,—крошечное, в два лишь «порядка» (улицы), селение. Все—наличо, все—на ладони. Наблюдай, знакомься, изучай! А это надо, непременно надо.

«Все для народа, все через народ!»—был наш лозунг. А это обязывает знать народ. На меня сразу нахлынула масса противоположных, противоречивых (или кажущихся лишь мне, городскому Verstandsmensch'у) новых впечатлений. Совершенно новая жизнь развертывала пред моими глазами совершенно непривычные картины — пеструю ткань взаимоотношений, игру страстей и интересов. То, что с первого взгляда кажется в деревне плоским, монотонным,—при более внимательном отношении оказывается ярким, выпуклым, красочным. Что простым—сложным, спутанным в клубок. Надо было во что бы то ни стало ра-

---

[1]) Слова Гл. Ив. Успенского. *А.*

зобраться в этой действительной, или кажущейся путанице деревенской жизни. Первое, что меня поразило, смутило, прямо-таки в тупик поставило своей непосредственной простотой и наглядностью, это—крайне низкий, почти первобытный уровень народных потребностей.

Можно без натяжки сказать: никаких культурных потребностей—ни физических, ни духовных.

Не бедность, не нужда, не обездоленность—нет! Зажиточные, обеспеченные, богатые и самые бедные одинаково грязны, нечистоплотны—физически, одинаково лишены высших интересов—духовно. Я спрашивал себя: во имя же чего и ради чего народ восстанет? То, что для него представляется «недохваткой»—бесконечно малая с культурной точки зрения ценность.

Он малым удовлетворяется. Второе, что меня с первого раза поразило, что потом объяснило мне многое в житье-бытье мужичком, это—вера его в бога. И, собственно, не вера, как таковая—в бога верует все человечество,—а тот несокрушимый фатализм, которым насквозь пропитана эта вера. «Никто, как бог!» «А все—бог!», «божий промысел», «божье указание», «Предопределение божье». Вот те краткие, выразительные формулы, которыми исчерпываются все отношения мужика к богу. Это—философия жизни, безнадежная, беспросветная. Здесь нет места индивидуальной и коллективной инициативе и ответственности. Ведь все уже предусмотрено, до тонкостей созиждено... Есть навыки, есть быт, но нет личности. Самобытной, самоопределяющейся, самоутверждающей.

Нет своего права сказать: «хочу»! или «не хочу»!

Сам по себе человек, вне связи его с богом—брошенная на ветер мякина. И я опять спрашивал себя: как же мне приступиться к народу с моими идеями? Мое миросозерцание—одно, миросозерцание народа—иное. Два порядка идей, два типа мышления, не только противоположных, но противоречивых, исключающих одно другое. Я скажу: надо утверждать свою жизнь! А мне скажут: «на то божье соизволение!» Я смутился. Как же быть? Остается пока одно: наблюдать, изучать, понимать народ.

Может быть, окажется, что эта философия не проникла вглубь народного сознания, а представляет лишь словес-

ное выражение, от «отцов и дедов» унаследованную манеру говорить.

А логика жизни, «объективный ход вещей» заставит этого фаталиста сбросить с себя маску покорности и резиньяции. Подождем. Посмотрим. С моей стороны требовалось много выдержки, спокойствия для этого,—особенно ввиду моего тогдашнего приподнятого, экзальтированного настроения. С одной стороны, так и подмывало меня скорей пустить в ход пропаганду, бросить в массу наши новые, призванные обновить ветхий мир, идеи.

А с другой—то, что я уже увидел, шептало мне: осторожно! осторожно! Нельзя компрометировать великую идею неосторожными, ошибочными, малопродуманными шагами! Так боролись во мне порыв и настроение с предусмотрительностью и благоразумием. После долгих колебаний я решил не выступать пока-что с открытой пропагандой, а ограничиться лишь тесным кругом людей, хорошо известных мне. На первый план выступило, таким образом, открытое и свободное общение с людьми, открытые собеседования на разные темы и по разному поводу. Собирались обыкновенно у меня 1—2 раза в неделю человек 5—8. О чем говорили? Обо всем. Говорили свободно, ибо поводов не было скрывать свои мысли, или бояться прямо высказывать их.

Я для моих гостей не представлял никакой официальной власти: был для них «гость», приехавший на время к их доктору, гость «не манерный», т.-е. доступный, простой. И речь лилась живая, свободная, порою прерываемая обычным деревенским юмором и здоровым, жизнерадостным смехом. Как во всяком обществе, и здесь были свои импровизированные «ораторы», остряки, оживлявшие общество, вносившие темы для разговоров.

Это был деревенский «клуб», и вместе с тем «осведомительное бюро»: беседуя, люди отдыхали, знакомились с злобами дня. И маленький, крошечный уголок человеческой жизни, затерянный среди болот и лесов, оживал вдруг в наших беседах, обнажался весь—с своими будничными интересами, пустяками, пересудами, в перемежку с подлинными деревенскими радостями и скорбями, надеждами и разочарованиями. Так я скоро узнал всю деревушку и

округу. Иной раз попросят почитать что-нибудь «занятное».

Я захватил с собою порядочный запас всяких книг легального и нелегального содержания. Попросил одновременно гостившую со мною в Буригах известную в 70-х годах анархистку, Н. Н. Смецкую, прочесть что-нибудь вслух из Некрасова. Смецкая была хорошая чтица и избрала на первый раз «Мороз красный нос» и «Коробейники». Каково же было наше удивление, когда Некрасов, любимый наш поэт, встретил у наших слушателей довольно-таки холодный прием! «Муза скорби и печали» не нашла отзвука в душе псковичей! В другой раз Смецкая прочла один из «Очерков» Наумова, очень в то время популярного в нашей среде. И опять то же самое: на лицах недоумение, с явным оттенком недовольства,—дескать, чем только ученые господа не занимаются! И зачем они все об нас пишут? Не то сказка, не то быль, а все-де известное нам.

Мы долго потом со Смецкой говорили об этом. Мы были очень огорчены. Совершенно различные эстетические вкусы, если не противоположные запросы. Попробовали прочесть сказки Пушкина. Эффект поразительный. Восхищены. Все нравится: и форма, и ритм, и содержание. Попросили еще раз прочесть. Стало быть, художественное чутье есть в народе. А вот Некрасов не угодил! Сошелся я в Буригах со старостой Марком Богдановым. Хороший, честный, толковый крестьянин. Он бывал у меня. Коротали вместе за самоваром длинные нудные зимние вечера. Очень был полезен мне Марк. Многое я от него узнал, многому научился. И прежде всего: понять мужика.

Как-то раз застал он меня за чтением обозрения «Отечеств. Записок». Обозреватель писал о наших деревенских кулаках,—как они сосут кровь мужика. Вздумалось мне прочесть Марку вслух это место. Молчит. Смотрю: лицо злое, враждебные искры в глазах. Враг да и только. Молчим. Тяжело это. Вдруг Марк:

— Неправда все это, что тут у вас прописано!.. Неправда! Все это господа... Верно вам говорю!.. Все это они!.. Завидно им, что мужик на поправку пошел, ну и выдумывают про него...—Глубокою ненавистью дышали его слова. Он не говорил, а скрежетал зубами. Когда он успо-

коился, лицо его приняло прежнее, хорошее выражение. Посмотрел на меня и улыбнулся. Вздохнул я свободнее, словно тяжесть свалилась с плеч. Беседа возобновилась. Марк говорил много, словно у него самого являлась потребность высказаться. Он говорил о крепостном праве, которое застал еще; говорил о том, что «господа и теперь не прочь вернуть на старое, да не их воля»... Говорил по поводу статьи: написана она либо совсем незнающим крестьянской жизни, либо «худым барином, который все норовит худое про нас сказать». Говорил он дальше, что не всякий богатый крестьянин—кулак и мироед. Словом, Марк знакомил меня с крестьянством, с крестьянским «миром», вводил меня в курс мирских дел. И, в конце-концов, я его понял. Понял его, как мужика, как «мирского человека», с сильно развитым чувством крестьянской солидарности, крестьянской сословности,—в противоположность «барской», «господской».

Наша беседа на этот раз затянулась за полночь. Распрощались мы хорошо. К слову сказать, Марку я обязан, между прочим, тем, что вскоре познакомился с волостным судом и сделался завсегдатаем его. Вышло это так. Сижу в амбулатории и принимаю больных. Вдруг входит Марк. Перекрестившись на икону, здоровается со мною с обычной славной его улыбкой.

— До вашего здоровья, О. В.!

— Никак заболел, Марк Богданович?

— Помилуй господь!.. Дело до вас есть... Судьи, вишь-ты, просят вас пожаловать к им... тут недалече... в волостную...

Смотрю на Марка широко открытыми глазами. Улыбается.

— Был у вас надысь Фонька Белоусов... из Питера приехавши?..

— Не припоминаю что-то такого...

— В книгу-то свою гляньте-ка!.. там, поди, записано... Со своей молодухой пришедши был... На счет, видишь-ли (понижает голос), «худой болести», что ли? Жена приводила, О. В.!.

Вспомнил. Справился по амбулаторной книге. Верно. С месяц тому назад, приблизительно, в амбулаторию явились молодая чета. Муж—франт, с петербургской выправкой: в пиджаке, сапоги гармоникой, при часах. Жена—деревенская молодуха, цветущая, бойкая, в карман за словом не полезет.

Муж был очень смущен, будто прятался за женою. И подлинно. Выступила жена и прямо попросила меня, чтобы я освидетельствовал на счет «фисилиса» (сифилиса) ее мужа. Осмотрел. Диагноз: заразная форма вторичного сифилиса. Так и объяснил жене. Ставит вопрос ребром,—можно ли ей иметь «грех» с мужем? Объясняю, что заразится она, заразится и ребенок, если забеременеет.

— «И я так думала! То же, господин доктор, говорила!.. Накажите же вы, сделайте божеску милость, ему, чтоб он не смел трогать меня!» Я сделал надлежащее «внушение» мужу, приказал ему лечиться аккуратно, раз'яснив ему, что, при аккуратном только лечении, можно вылечиться. Снабдил их лекарствами и соответственными наставлениями. Перед уходом уже, молодуха остановилась, немного сконфуженная.— Что-нибудь спросить хотите?

— Может быть, г. доктор, вы бы и меня уж осмотрели?

Разумно. Осмотрел. Оказалась здоровой.

Так вот теперь, жена обратилась в суд с жалобой, что ее муж, будучи болен сифилисом, пред'являет, однако, к ней свои супружеские права. Она же просит суд развести их на срок, назначенный врачем, для излечения мужа. Суд выразил желание выслушать меня. Я, конечно, пошел с Марком в суд. Выслушав мое мнение, суд постановил: отправить «молодуху» в дом ее родителей впредь до того времени, пока врач не признает Белоусова здоровым. Я раньше не бывал в крестьянских судах, ничего также не читал о них. И вот в первый раз такой урок! Ведь это Соломонов суд! Что может быть мудрее этого? С того раза я стал посещать волостной суд.

Какой новый мир взглядов, отношений, бытовых явлений открылся передо мною! Сколько поучительного! Поистине, я очутился у самого источника жизни в деревне. Правда, не всегда этот источник отличался хрустальной чистотой. Порою из глубин его подымалась вонючая муть, от которой темнело у меня в глазах... Привычная грубость, зверская жестокость, жадность, глупость, тупое непонимание порою приводили меня в отчаяние... Но в итоге—мужицкая физиономия, мужицкие взгляды и мораль их становились все более и более понятными, близкими мне. Сфинкс разгадан.

А вот еще два случая, которые я забыть не могу.

Входит пара. Мужик невзрачный, с виноватой физионо-

мией, смущенный, подавленный. Жена высокого роста, полная, полнокровная, от нее так и пышет избытком сил и здоровья.

— Почему вы так поздно пришли?—спросил я недовольный.

— Вы уж извините нас, г. д-р!... Дело особое есть... чтобы люди не слышали... разговоры, пересуды всякие пойдут по деревне....

Лицо сделалось пунцовым, голос дрожит.

— Садитесь! поговорим!

— Посоветуйте, научите нас, темных людей, наставьте!... Мы наслышаны много про вас... хороший вы человек... жалеете нас...

— Вы больны или ваш муж?—указал я на стоявшего рядом мужика.

— Муж, муж, г-н д-р, хозяин мой!.. Много уже лет, как поженились... живем хорошо, по закону, в согласии... а бог детей не дает... А тут хвороба и ко мне пристала... и сказать совестно... стыдно!... по ночам все снится мне непригожее... соблазн один только... не выговоришь... Просыпаюсь... голова болить, кружится... шум... сердце колотится, тоска!.. так и наложила бы руку на себя, да грех... грех душу погубить!... не в мототу.... посоветуйте! вы умные люди!..

Муж стоит, поникнув голову, убитый. Жена глубоко вздыхает... Я осмотрел внимательно обоих. Муж—расслабленный, неврастеник, преждевременно одряхлевший. Жена—идеально здоровая. Снова расспрашиваю внимательно, долго. Жена дает ответы толковые, подробные, ничего не утаивая. Семейная драма,—потрясающая. Супруги привязаны друг к другу, живут ладно, согласно, нужды материальной не знают, люди завидуют, ставят их в пример... Жить только надо, а тут—«божье наказание!»... Я задумался. Я усомнился в том, что помогу мужу: я еще неопытен был, новичок в практической медицине, а помочь надо, надо!...

— Вот что, друзья мои! Мужа станем лечить всеми способами... Если поправим его—все пойдет по-хорошему, само собою... Ежели же не пособлю, то мой совет: полюбите вы (обращаюсь к жене) кого-нибудь... здорового, сильного и молодого!...—Пауза.

— А не грех ли?—спрашивает жена хриплым голосом, глотая слезы.

— Никакого тут греха нет!—прервал я ее убежденно — нет греха! сущую правду говорю я вам!.. Грех там, где обман... Вы должны согласиться между собою!.. по совести... по разуму!.. А где согласие—там нету обмана, нету и греха!..

Супруги переглянулись, глубоко вздохнули. Мы еще поговорили некоторое время, и я отпустил их с миром. Ушли от меня будто спокойные, во всяком случае—обнадеженные. Мужа я не вылечил, и я потерял моих пациентов из виду. Как-то раз ко мне явилась женщина с той деревни, где жили мои супруги. Осведомился о том, как живут.—Хорошо живут, дай бог всем!.. ждут ребенка... не нарадуются... на старости бог милость послал!... Просили вам кланяться, г-н доктор.

Значит, последовали моему совету. Я от всей души был рад.

А вот другой случай. Приходит в амбулаторию местный крестьянин, невзрачный мужичонко, Нил Баранов. Приводит жену, буквально изъеденную старым, запущенным сифилисом: местечка здорового нет... язвы, язвы и язвы... Ужас. Начинаю расспрашивать. Оказывается, Баранов овдовел, детей куча, «работницы в доме нет». Надо, стало быть, жениться. Нашлась такая. Сговорились. Дал «задаток трешню» —и по рукам. Вдруг, Нил узнает, что невеста его больна «худой болезнью». Само собою, Нил—на попятный двор. Но «родитель» невесты не соглашается вернуть задаток. И Нил женится на гнилой и мается с ней....

— Да ты бы плюнул на трешню, чем жизнь свою погубить!...

— Правда-то правда! И люди так говорили... да трешни уж очень жаль было... капиталов у нас нет!... Ничего не поделаешь!...—Что это? глупость? тупость? жадность? Даже мудрый Марк и тот не мог мне ничего объяснить. Смеется.

— Всякие у нас люди есть, О. В! Береза на березу не похожа, а уж люди подавно!.. Уж так оно спокон веку заведено... нет семьи без урода... не всех бог хорошему сподобил!...

Так философствовал Марк. Мудрый Марк. А я—мучился.

Вдали от этого мира, совершенно обособленно от него— обособленно не внешне, а исключительно в н у т р е н н о, по

духовным своим интересам, по своему настроению и всему мироощущению,—стояла Община сестер милосердия св. Марии Магдалины, куда я попал, как гость-врач. Я попал в совершенно необычайную для меня обстановку. Больница находилась при общине. В общине господствовал монашеский, крайне ригорический режим. Акафисты утром и вечером. Сестры не только ухаживали за больными, под руководством врача, но должны были вынести на своих плечах всю тяжесть разнообразных работ по большому хозяйству общины. Сестры, старшие и младшие, рекрутировались исключительно из крестьянской среды. Там были сестры не только из Псковской, но и из других губерний. Основательницей этой общины была княжна М. М. Дондукова-Корсакова. Сильная, красочная индивидуальность. Будучи еще молодой девушкой, она, утверждают, пережила какую-то тяжелую душевную драму, из которой вышла, однако, не согнутой, не сломленной, а еще более крепкой и несокрушимой.

...благодатна
Всякая буря душе молодой:
Зреет и крепнет душа под грозой...

Круто оборвала Марья Михайловна с своим прошлым, совлекла с себя ветхие одежды аристократизма и пошла одинокая по своему пути—навстречу всем «обремененным и труждающим».... Средства свои она отдала на благотворительные дела. Построила в своем имении, в Буригах, общину, с хорошо оборудованной больницей. Больница обслуживала окружающее население даром. Сама жила, одевалась более, чем просто. В семидесятых годах, кажется, встречается с английским проповедником Рестоком, который окончательно утвердил ее религиозное миропонимание. Марья Михайловна становится сектанткой, ревностно распространяет свое учение во всех сферах, во всех слоях—среди высшей аристократии Петербурга, с одной стороны, и в трущобах Петербурга и в его тюрьмах—с другой. В Петербурге, вероятно, помнят высокую, немного сутуловатую фигуру княжны М. М. Дондуковой-Корсаковой, бедно одетую, в стоптанных башмаках, бегущую часами, в зной и стужу, в слякоть и непогоду, по Петербургу, показываясь то тут, то там—в тюрьмах, в нищенских трущобах и притонах разврата, со словом веры, любви, мира и утешения. Трудно сказать,

как действовало ее слово. Как это учесть? Может быть, слово ее было лучом света, хоть на миг проникающим в опустошенную душу, освещая ее сумерки?... Кто знает?...

В высшем обществе Дондукова-Корсакова нашла-таки горячего адепта своего учения. Это известный В. А. Пашков. Со второй половины 70-х годов он ведет деятельную пропаганду в среде мелкого петербургского люда—ремесленников, торговцев, извозчиков и проч. В его большом доме на Гагаринской, кажется, происходили довольно многолюдные субботние собрания, пока.... власти не вмешались. От него и пошла секта, известная под именем «Пашковцев». С Дондуковой-Корсаковой я впервые познакомился зимою 1875 года. Это была уже пожилая женщина монашеского облика. Высокая, с крупными чертами лица, орлиным носом и серыми, проницательными, властными глазами. От всей ее фигуры веяло мощью, несокрушимой волей, гордою властью, хотя она и старалась все это прикрывать смирением. Наше знакомство произошло в общине. К сожалению, княжна уже была предупреждена обо мне. В общине ко мне относились почти что с обожанием. И это как бы предуготовило и предрешило мои отношения к самой княжне. Это досадно. Княжна встретила меня не только приветливо, как это обычно у светских людей, а и ласково, почти нежно. Что-то блеснуло в ее глазах, когда, пронизав меня своим острым взглядом, проронила:

— Я много слышала о вас....

Я бы сказал, что это был взгляд хищника, ловца....

Заспорили горячо, словно мы давнишние старые знакомые.

Разошлись резко во всем—в миропонимании, в миросозерцании. И, однако, мы не разошлись чуждыми друг другу: что-то связующее осталось меж нами, внутренне-родственное, духовно-интимное... Жизнеощущение? Настроение? Пафос самоотреченія? Стремление слиться, раствориться в общем,—как бы это общее ни называлось? Может быть На меня Марья Михайловна произвела сильное впечатление. Искренний, чистый, несокрушимо верующий человек. О ней можно было сказать, что «знает одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Эта власть —ее вера. «Верою, исключительно одной верой спасается человек»—учила М. М.

Пафос ее веры так мощен, что и слово ее становится проникновенным, восторженным. Я слышал ее много проповедующей среди сестер общины. Когда она говорит—в аудитории молитвенная тишина, словно присутствующие оторвались от земли и унеслись куда-то высоко, далеко от мира сего....

Большой человек Марья Михайловна. Чаще и чаще, пока она гостила в общине, сходились мы. Спорили, не соглашались, но не уходили друг от друга. Сильнее и крепче замыкалась цепь нашего внутреннего контакта. Это чувствовалось... и опять хищный огонек ловца нет-нет да блеснет в глазах....

Как-то раз сказала:

— Не по той дороге идете, О. В! Вы—социалист... Не осуждать вас хочу я... Мы не имеем права кого-нибудь судить... У нас только один судья: Он над нами, тут, там, везде... Я только свое мнение высказываю. Христианин вы!.. С вашей головой, с вашим сердцем—вам бы миссионером быть... Это—ваш путь... подлинный!... Опять заспорили. И опять: и родные и чужие, и близкие и далекие...

Вскоре княжна уехала. Изредка писали друг другу. И в письмах она та же: верующая. Через год (в 1876 г.) опять встретились. Просил ее похлопотать за старого своего приятеля Н. Литошенко, томившегося в тюрьме. Хлопотала, бегала, но, к сожалению, тщетно. Повидались мы тогда в последний раз. Жизнь разделила наши пути, и не скрестились они уже никогда.

Я попал в совершенно необычайную для меня обстановку. Больница, как я уже упомянул, находилась при Общине сестер милосердия, основанной на средства княжны М. М. Дондуковой-Корсаковой. В общине господствовал монашеский, крайне ригорический режим. Акафисты утром и вечером. Сестры не только ухаживали за больными, под руководством врача, но должны были вынести на своих плечах всю тяжесть разнообразных работ по большому хозяйству общины. Сестры, старшие и младшие, рекрутировались исключительно из крестьянской среды. Там были сестры, не только из Псковской, но и из других губерний.

Чтобы не сидеть, сложа руки, я стал помогать д-ру С—чу по больнице. Работы было очень много, потому что

кроме больницы при общине была еще небольшая больничка на 10—12 кроватей, особо устроенная земством специально для сифилитических женщин и детей. На обязанности врача лежало не только заведывание общей больницей общины, но и сифилитической больницей земства, а равно еще большим врачебным участком. Я вскоре вошел в курс дела и д-р С—ч предоставил мне обе больницы почти в самостоятельное заведывание.

Я энергично взялся за дело, и оно спорилось у меня, да к тому работа эта мне, как новичку еще, доставляла большое удовольствие. Раз или два раза в неделю я еще читал сестрам лекции по анатомии, физиологии и малой хирургии.

Я сказал уже, что в общине господствовал суровый религиозный порядок. Для меня, как еврея и интеллигентного человека, это был совершенно новый мир. Я невольно заинтересовался им. Посещал обедни, был даже на акафистах, начал читать евангелие, которого раньше совсем не знал. В свободное время я беседовал с сестрами на разные темы, но по необходимости, в силу основного тона жизни в общине, наши беседы так или иначе сводились на сложные религиозные проблемы. Между сестрами резко выделялась одна из младших сестер, Прасковья Бухарицина или, как мы все ее проще называли, Параша. Это была чудная девушка. Дочь крестьянина Саратовской губ., она была послана в общину отцом для того, чтобы научиться уходу за больными, чтобы затем эти познания свои применить к своим-же односельчанам. Семья Параши, как я узнал из ее слов, была хорошей интеллигентной зажиточной семьей, в которой все дети были грамотны; там царили согласие и мир и безусловная трезвость (вино не допускалось даже по праздникам). Параша отличалась глубокой религиозностью—не формальной, обрядовою—нет! а деловою, деятельною, толкающей людей на великие подвиги любви и самоотречения. Мистического элемента в ней и помину не было. Цельная, словно выточенная вся из одного куска, она смотрела на мир здраво, реально, как истая дочь русского крестьянина. Но в свой реализм она вносила так много душевной красоты, так много бессознательного величия, что этой простой, скромной на вид де-

вушке удивлялись: она положительно покоряла все сердца, все любили и глубоко уважали ее. Злословие, сплетни, грязь житейская, столь свойственные таким закрытым и замкнутым учреждениям, как община, не коснулись Параши. Она была со всеми, но выше всех. И притом, сама не сознавала всей своей силы, своей душевной красоты. Я не встречал больше в деревне такой красоты, да и в интеллигентной среде такие индивидуальности—большая, очень большая редкость. Я глубоко сожалею, что не обладаю хоть крошечным художественным талантом, чтобы нарисовать чудный образ этой крестьянской девушки.

По внешности она не была красивой. Это была плотная, среднего роста, крепко сложенная девушка, смуглая, с темно-карими умными, добрыми глазами. Ей было, помнится, не более 23 лет. Между мною и ею вскоре установились хорошие отношения, какие устанавливаются обыкновенно между людьми идейными. Я говорю «идейными», потому что Параша была идейный человек. Между моим идейным содержанием и идейным содержанием Параши была, правда, громадная разница:—я социалист, а Параша христианка, но эмоциональная основа у нас была общая; и я тогда не думал о себе, готов был на всевозможные жертвы, а Параша была вся—одно самопожертвование. Наша добрая дружба росла с каждым днем, не вызывая ни в ком ни ревности, ни досады. В свободное от работы время между мною и Парашей происходили длинные беседы. Предметом их был прежде всего социализм. Я стал ее знакомить с сущностью этого учения, с его задачами и целями; рассказал ей о нашем пропагандистском движении, о стремлениях нашей интеллигенции и о жертвах, ею уже принесенных.

Параша слушала меня обыкновенно очень внимательно, напряженно, вдумываясь в каждое мое слово, каждую мою мысль. Вначале она туго поддавалась моему влиянию. Сдержанно, но упорно она отстаивала свои взгляды, свои понятия. Она оперировала исключительно своим здоровым смыслом, прекрасным знанием крестьянского житья-бытья и евангелием, как верховным, нравственно-религиозным критерием всего сущего. Она соглашалась, что положение народа, действительно, тяжелое, но не в такой уже степени,

как мы, молодежь, представляем себе это. Ему лучше, чем в крепостное время, и он благословляет царя за волю. Параша была безусловно против насилия, бунта, и «народ тоже не пойдет на это дело, — говорила она, — народ смирен, боится бога и почитает царя; если бывали бунты, то все это от народной темноты, бунт — несчастие»... И раскрывая евангелие, Параша прочитывала мне те места священного писания, которые требуют смирения, повиновения властям. Мне оставалось одно—вооружиться ее же оружием и направить его против нее же. Я стал не читать только, а изучать евангелие: я читал и перечитывал его один и вместе с Парашей. Я полюбил это учение, но незаметно для себя я стал вносить в него то, что мне было дорого, то, чем я тогда был жив —социализм, и как бывает в подобных случаях, мое собственное же творение объективировалось для меня, как нечто независимое от меня,—и я стал считать евангелие императивом для себя, императивом, которому я должен повиноваться, в силу присущих самому евангелию повелений. Параша торжествовала. Я становился для нее христианином. Но того она не заметила, что евангелие стало в моих руках орудием пропаганды социалистических идей, что само евангелие превратилось в социализм и, отдавшись моему пониманию евангелия, она сама стала социалисткой. Я пошел дальше. Параша отличалась незаурядными умственными запросами, и я решил, по мере возможности, удовлетворить их. Я начал с нею читать. Кроме нелегальных, из которых особенно сильное впечатление на нее произвела брошюра долгушинцев: «Как жить по закону природы и правды»,—я прочел с нею все лучшее, что было у меня под руками из нашей беллетристики и по революционным движениям на Западе.

Параша с каждым днем вырастала. Она решила сократить время пребывания своего в общине—тем более, что под моим руководством она много успела уже, как сестра милосердия—и летом же отправиться к себе на родину, в свое родное село, и там испытать свои силы на революционно-пропагандистском пути. Попрежнему она осталась мирною и признавала только мирную пропаганду, продолжительную и постоянную.

В то время, когда складывались мои отношения к Параше, в больнице лежал крестьянин Ярославской губ., Даниловского уезда, Иван Муращков. Это был разбитной, смышленый, живой и остроумный ярославец-лепщик. Парень, что называется, бывалый: бывал в столицах и во многих городах. Иван—полная противоположность Параше. Иван—экспансивен, подвижен, легко восприимчив, слабохарактерен. Параша—натура глубокая, сдержанная, твердая, как сталь. Иван сильно привязался к нам обоим. Параша смотрела на Ивана сверху вниз, но не без нежности, как старшая сестра, пожалуй, хотя она была много моложе Ивана. Она частенько говорила мне:—«Осип Васильевич, Иван—слабый человек, без вас он сопьется, ему нельзя всего сказать... За ним нужен присмотр... Он бегает по деревне и болтает много... Как бы чего-нибудь не вышло...»

Дело в том, что Иван, по выздоровлении своем, был постоянным соучастником моих бесед и занятий с Парашей и, надо ему отдать справедливость, довольно скоро усвоил суть моего курса по пропаганде. Понявши по-своему мою пропаганду, Иван, ничто же не сумняшеся, пустил ее тут же в обращение среди больных крестьян в лечебнице, во-первых, а потом и среди здорового крестьянства на селе—во-вторых. В голове Ивана социализм преломился,—казалось мне тогда,—совершенно своеобразным образом: он переложил его на язык, так сказать, непосредственных народных требований и понятий. Со свойственным ему природным юмором и живостью, он развертывал перед слушателями яркую картину мужицкой обездоленности; и земли не хватает, и подати большие, и начальство прижимает, и кулак заедает, и подрядчик разоряет и т. д., и т. д.

А потому-де с ними, «кровопивцами», и церемониться нечего: воевать с ними надо, целым миром, не жалеючи живота!.. Речи Ивана действовали сильно: его «словечки» и примеры попадали прямо в цель... К сожалению, Иван любил временами заворачивать в кабак, где и давал волю своему «злому языку». Его по-неволе приходилось попридерживать, дабы «чего не вышло», по словам Параши.

Наступила весна 1875 года. Я получил, наконец, столь желанное место фельдшера в Пензенской губернии. Усло-

вия были вполне подходящие; я за эти 4 месяца работы в Буригах напрактиковался, а потому решил уехать и собрался в путь. Здесь же оставаться дольше не представлялось для меня удобным. Во-первых, потому, что служебное мое положение было здесь неопределенно: студент выпускного курса, работал даром, без жалованья, как-бы мимоходом. Правда, я пользовался в общине большим уважением и авторитетом, но этого все-таки было недостаточно: полицейские власти, пронюхав, что в Буригах живет студент «без определенных занятий», стали наезжать... Пошли темные слухи. На Пасхе Иван разошелся... Приехал исправник, долго шептался с начальницей общины. О чем они толковали—осталось для всех тайною. Но ни меня, ни Ивана пальцем не трогали.

Княжна М. М. Дондукова-Корсакова была слишком важная особа, чтобы посметь в ее общине произвести обыск или арест. Но это, во-вторых, ускорило мой отъезд: лучше самому убраться по добру и здорову, чем бы тебя попросили «пожаловать». Я распрощался с Иваном и Парашей.

Прощание с Иваном потрясло нас—меня и Парашу: он истерически рыдал, обнимая нас. Мы проводили его за околицу и там, при последнем прощании, он совершенно «ослаб», как выразилась Параша: он упал на землю и долго судорожно всхлипывал. С большим трудом мы его успокоили. Он, чужой в этой стороне, батрак, действительно, всей душою привязался к нам. Я направил его в Петербург, снабдил его деньгами и дал ему верный адрес, по которому он должен был бы меня разыскать. Но я больше с ним не встречался. Я писал на родину его, но и оттуда ничего хорошего не получил: «плутает—писал мне какой-то деревенский литератор,—плутает беспутный человек... Семья с голода пухнет»... Пропал, должно быть, «слабый человек»...

Совсем иначе я попрощался с Паращей: сдержанно, спокойно, но трогательно.

Тихим, но твердым голосом она попросила меня, чтобы я летом навестил ее у родных («как рады уж будут наши!» —говорила Параша), при чем самым деловым образом снабдила меня подробным маршрутом туда и дала мне адрес для писем. Община и деревушка тоже сердечно распрощались со мною. Я оставил общину и Буриги бодрый, с

сильно-приподнятым настроением. Эти 4 месяца не пропали для меня даром: я кое-чему научился, я стал доверять моим силам. А прошлое мое мне казалось таким жалким и малым!..

Это была весна моей пропагандистской жизни.

В Петербурге я повидался с моими товарищами, с которыми я поделился моими новыми деревенскими впечатлениями. Товарищи вообще относились хорошо ко мне и раньше, во время моего студенчества (я, к слову сказать, начиная с 3 курса, бессменно состоял членом библиотечной комиссии), а теперь, после того, как я отказался от диплома и ушел в народ, симпатии и уважение ко мне товарищей еще больше возрасли. Мне потом, уже много лет спустя, передал один из врачей, бывших моих товарищей по академии, что выход мой из академии накануне, так сказать, получения мною звания врача, произвел прямо «фурор» среди студентов. Моему примеру последовало несколько товарищей выпускного курса (между ними был и Мошков, талантливый молодой человек, хороший анатом), а равно многие из первых двух курсов.

Товарищи с большим интересом слушали мои сообщения о мужике, о деревне и проч. и сердечно напутствовали меня на дальнейшую работу. Только двое из товарищей, покойные Семяновский и М. Ю. Гольдштейн (последний убит в прошлом году погромщиками в Архангельске), уловили чересчур приподнятое, экзальтированное мое настроение. О разговоре моем с Е. Семяновским я выше говорил, что же касается М. Ю. Гольдштейна, с которым я был в близких отношениях, то он, вполне соглашаясь с моим мнением о значении евангелия в пропаганде, любовно предостерегал меня... от совсем другого:—«Вы, А—н, очень возбуждены! Берегите свои нервы!.. Как бы не наступила тяжелая реакция: упадок энергии и... горькое разочарование?!...»

Я, действительно, тогда был экзальтирован, притом еще и в религиозном отношении. Это было сложное и довольно-таки путанное душевное состояние, в котором рядом уживалось реально-социалистическое миросозерцание с евангелически-христианским.

Может быть, здесь, помимо моей воли, на меня действовала совершенно необычная для меня религиозно-монашеская обстановка общины, может быть, не последнюю роль

здесь играла Параша, может быть, наконец, это было инстинктивное стремление слиться духовно с народом, с тем народом, которому я был чужд по крови и вере, но который примет меня, если я буду одной с ним веры.

И действительно. В Петербурге я решил прежде, чем поехать в деревню, принять православие. Никто из близких и товарищей не знал этого, хотя ужасно удивились, когда раз застали меня погруженным в молитвенник и катехизис. Крещение мое состоялось. И скажу вам: я почувствовал себя тогда словно обновленным. «Я иду в народ—думал я—не евреем уж, а христианином, я приобщился к народу!...»

В Петербурге мне повезло. Перед тем, как совсем уехать, я вдруг неожиданно на улице встретился с Парашей. Какая радость была! Она повела меня к себе,—кажется, по набережной Фонтанки. Параша сообщила мне, что едет домой. Я рассказал ей, что на-днях только я принял крещение,—лицо ее засияло. Мы провели три славных дня вместе. Я таскал к ней всякую нелегальщину, и мы вместе все это прочитывали. В последний день она снова попросила меня, чтобы я приехал к ней в деревню.—«А, может быть, и останетесь у нас доктором (звание «фельдшера» ее коробило), хорошо будет, О. В!...» Я ей ответил, что сейчас я связан словом, но моя жизнь такова, что мне придется блуждать по миру и—кто знает? «может быть, судьба забросит меня к вам, Прасковья Мироновна! Тогда вместе и работать будем,—а пока надо врозь!..» Мы распрощались. Судьба, действительно, бесцеремонно швыряла меня туда и сюда по всей обширной и необъятной России, но ни разу не выбросила она меня на ту пристань, где жила и работала моя первая ученица, Параша!..

Я несколько раз писал ей, но ответы ее не доходили до меня. Так я ее потерял навсегда...

ГЛАВА VIII.

Пензяки. Молокане. Фельдшер С. В. Попов. Итоги.

Я устроился в с. Муратовке, Мокшанск. уезда, Пензенской губ., устроился хорошо. Врач, заведывавший больницей и участком, оставил службу, не поладив с либералом-

председателем. Для допотопного коллеги «либералы», к которым он и меня причислил, представляли собою что-то дьявольски-опасное, от чего надо бежать, не оглядываясь. Я остался один фактически ответственным лицом за больницу и весь медицинский участок, хотя официально считался лишь фельдшером, на жалованье в 15 р. в месяц. Другой фельдшер, способный малый, сорви-голова, тоже вскоре оставил службу. Я, таким образом, остался совершенно один. Тем лучше. Больница была старая, ветхая, совершенно запущенная. В короткое время, благодаря содействию председателя, мне удалось вычистить Авгиевы конюшни и привести их в надлежащий порядок. Больница стала наполняться, амбулатория—расти. Я вскоре сделался популярным, как фельдшер; про меня говорили, что я «бытто коренной» (т.-е. настоящий доктор, а не фельдшер). Моих пациентов очень заинтересовали мои методы исследования (это здесь было тогда совершенно новое явление): выстукивание, выслушивание, термометрия и проч. При исследовании какого-либо больного—на дому ли или в амбулатории—все равно—муратовцы окружали меня и зорко следили за моими действиями, обнаруживая свое удивление порою меткими возгласами:—«Ишь ты—зык (звук) совсем не тот, кровь, видно, привалила!..» Их все интересовало. Муратовцы—бывшие крепостные, народ смирный, добродушный и покорный. Мое простое, гуманное обращение и добросовестность в работе расположили их вскоре ко мне. Отношения установились хорошие. Работалось хорошо, бодро. Моя работа дала мне возможность познакомиться с народом—наблюдать его, изучать его из непосредственного, так сказать, источника. Меня все интересовало. Ведь раньше я совсем не знал народа! И вот и в больнице, и в амбулатории, и на дому у пациентов—между делом—у нас завязывались разговоры, беседы по поводу того или другого события семейного или деревенского. Муратовцы почуяли в моих вопросах, расспросах не пустое любопытство досужего человека, а что-то другое, заставляющее этого человека,—отнюдь не досужего, а работящего,—близко к сердцу принимать их деревенские интересы, их простое житье-бытье. И они сами очень охотно вступали со мною в разговор, предупреждая, так сказать, мои вопросы, мои желания.

Я решил придать нашим случайным беседам более правильный характер, внести в них некоторую систему. И вот, по праздникам, а зимою и по будням, я устраивал при больнице что-то в роде клуба. Местом сборища служила большая палата для выздоравливающих, куда собирались мужики и бабы из села, нередко даже с своими чадами. Здесь происходили наши беседы. На беседах этих, само собою, присутствовали лежащие в этой палате выздоравливающие больные, заходили сюда и выздоравливающие женщины, неотлучно присутствовала здесь также и палатная прислуга. Беседы наши отличались большим разнообразием. То мы просто «калякали», при чем я в таких случаях играл лишь пассивную роль—слушал, о чем говорят мужики и бабы, задавая им порою те или другие вопросы или вставляя то или иное замечание. То дирижирующая роль переходила всецело ко мне—и тогда я рассказывал им, что делается на белом свете, читал им вслух книги, легальные и нелегальные. Мои устные беседы и чтения вообще пришлись по душе моим слушателям и они охотно поддерживали наш клуб. Я имел тогда уж некоторый опыт, а потому без особого труда приспособился к моей аудитории. Я читал им «Сказку о четырех братьях», «Хитрую механику», «Сказку о копейке», «Как надо жить по законам природы и правды», «Емельяна Пугачева», «Историю одного крестьянина» и пр. Прежде чем приступить к чтению этих брошюр, я предварительно сам перечитывал их внимательно, переделывая некоторые места или совсем выключая из них все то, что могло покоробить чувство моих простых слушателей. Этому меня научил мой предыдущий опыт в Екатеринославск. и Псковск. губерниях.

Я замечал, что резкие выходки против царя или религии (последних в брошюрах было вообще мало) действовали крайне неприятно на крестьян; также сильно смущали их энергичные призывы к бунту, восстанию. Вообще, я заметил уж тогда, как чутко народ относится к правде и как его коробит отсутствие чувства меры. Беру наугад несколько примеров. В Пензенской губ. еще живо было тогда предание о пугачевском бунте или, как пензяки выражались, о «Пугаче». Мне называли старуху, которая тогда была еще жива и хорошо помнила

«Пугача», т.-е. не самого Пугачева, а бунт, связанный с именем Пугачева. Казалось бы, что книжка о «Емельяне Пугачеве» должна была произвести впечатление. Ничуть.

Ореол, которым автор окружил Пугачева, остался непонятен мало-культурным пензякам, и только при словесной беседе, когда мне удалось развернуть пред ними картину крестьянской жизни во время царствования Екатерины II, пензяки уяснили себе громадное значение этого народного бунта, совершенно независимо от личности «Пугача». Мои пензяки были страшно поражены, когда узнали, какая масса земель была расхищена казною и подарена «господам». Чтобы их вполне убедить в правде моих слов, я принес Романовича-Славатинского (История русского дворянства), и оттуда вычитал им соответственные места. Объемистая книга, а не тощая книжечка, подействовала на слушателей моих весьма убедительно.

«Сказка о четырех братьях», предварительно процензурованная мною, слушалась вообще очень охотно, но, как «сказка»—и только. С особенным напряженным вниманием слушала меня моя аудитория, когда я им читал «Как надо жить по закону природы и правды». Когда я заявил, что буду читать про «Николу», по палате раздался одобрительный возглас: «Цитай, ну, цитай... Василиц!...» (муратовцы «цокали»).

По мере того как наши «беседы» подвигались вперед, истинный их характер стал само собой все более и более выясняться и, наконец, окончательно определился. Н е л е г а л ь н а я л и т е р а т у р а м а л о-п о-м а л у о т о д в и н у л а с ь н а з а д н и й п л а н, а п о т о м и с о в с е м исчезла и з п р о г р а м м ы н а ш е г о к у р с а п р о п а г а н д ы. Для пропаганды у нас нашлись другие, более действительные способы. Я захватил с собою из Петербурга глобус и небольшую коллекцию картограмм, составленных, если не ошибаюсь, главным штабом. По этим наглядным картам я знакомил моих слушателей с географией, этнографией, с земледельческим и промысловым характером нашей родины. Солидные мужики особенно интересовались этими чтениями и нередко сами обращались ко мне с просьбою читать «по планту», т.-е. по картам. Аграрный вопрос, конечно, более всего захватывал их. С каким напряженным вниманием слу-

шали меня мои муратовцы, когда я им на карте показывал их Пензенскую губ., рассказывал им, сколько в этой губернии всех земель—государственных («казенных»), «господских» и крестьянских; сколько в губернии лесу и других угодьев!...

Помню, как один из больных моих, раньше ничем особенно не обнаруживавший своего интереса, вдруг обратился ко мне с просьбою:—«ты, Василиц, уж будь ласков, запиши все это, цыфирки эти, на грамотку, я это старикам нашим покажу!..» (больной был из другой деревни).

Порою дело не обходилось и без курьезов и совершенно неожиданных суждений, которые, вначале, пока я не привык, смущали и огорчали меня. Как-то раз я был в ударе. С «плантом» в руках я развернул пред моей аудиторией картину будущего социального строя, долженствующего воцариться у нас после народного восстания, когда сам народ сделается хозяином всех земель, лесов и вод. На самом, так сказать, интересном месте меня вдруг прервал один из моих слушателей торжествующим возгласом:—«Вот будет хорошо, как землю-то поделим! Тогда я найму двух работников, да как заживу-то!..» Признаться, в первую минуту этот неожиданный аргумент меня совершенно сбил с толку, и весь мой социалистический пыл разлетелся, словно меня ушатом холодной воды окатили. Но, опомнившись, я указал моему слушателю всю бессмыслицу его суждений, при чем не удержался и впустил ему такую шпильку, что вся аудитория разразилась здоровым дружным смехом. И, однако, я получил урок, хороший урок, о котором я несколько дней подряд думал.

Муратовцы любили слушать не только «науку» (собственное их выражение), но и чтение некоторых наших беллетристов-народников. «Сила солому ломит» Наумова, особенно нравилась им.—«Словно про нас писано, не сказка, а быль», говорили они по поводу этого рассказа. Наумов обыкновенно служил поводом к самому живому обмену мыслей. Разговор незаметно переходил на свои дела, семейные и общественные. Мужики жаловались на малоземелье, «тесноту», тяготу податей, на «барщину» (это слово тогда еще было в ходу у пензяков; этим термином они определяли всяческие свои хозяйственные отношения к помещикам, «гос-

подам»), на прижимки властей, на семейные разделы и т. д. и т. д. Женщины жаловались на свое горькое «бабье житье», на своеволие «старших» в семье («работаешь, работаешь, а младенцу молока жалеют, крицит в истошный голос, а кормить нецем»... и т. д.). На меня эти беседы действовали поразительно освежающим образом. Не я уже учил их, моих учеников, а они меня. Точнее будет сказать: это были «классы взаимного обучения». В своих делах мужики разбираются, можно сказать, артистически. Я от них узнавал много такого, чему меня книги вряд ли научили бы: как, напр., совершаются «переделы», «разверстки тягол», семейные дележки, брачные договоры и пр. и пр.

Предо мною не скрывали ничего, не лукавили со мною, не играли политику, и я, таким образом, мало-по-малу знакомился с тем народом, о котором я раньше почти ничего не знал; узнавал этот народ не из «прекрасного далека», а из самой непосредственной близи. И если раньше я чувствовал к народу симпатию, то это была симпатия только головная, теперь же я с каждым днем все более и более привязывался к нему,—я бы сказал: чисто физической привязанностью. Я просто любил сидеть около него, этого нескладного серого, довольно-таки грязного пензяка. Мне доставляло величайшее удовольствие, когда какой-нибудь большой бородатый мужик при встрече со мной брал мою руку в свою огромную ладонь и, добродушно ухмыляясь, говорил:—«И рука же у тебя, Василиц, крохотная, и сам ты такой цыпленоцек!» Мне все тогда нравилось в народе, мне все любо было. Настроение у меня было бодрое. Я работал много, но устали не знал. Работа меня удовлетворяла. Каждый раз предо мною открывались все новые и привлекательные для меня стороны народного характера, народной психологии. Про великана Антея говорят, что он, при прикосновении к земле, становился с каждым разом все сильнее и сильнее. Я—не Антей, но при прикосновении с мужиком каждый раз чувствовал все больший и больший прилив моральных сил. Там на меня действовала среда крестьянская. Наши «беседы» продолжались своим чередом. Нередко слушатели мои просили меня прочитать что-нибудь про «божественное». Я тогда брался за евангелие. Я сам любил евангелие. Я знал его тогда почти наизусть, и в

моих руках оно превратилось в орудие пропаганды. Противоречия и недомолвки я умел примирять и пополнять. В Царевщинской волости, куда муратовцы принадлежали, было несколько сел, сплошь населенных молоканами. Эти села тоже входили в мой врачебный участок, и молокане охотно лечились у меня. Скажу здесь попутно, что пензенские молокане мне не особенно нравились, я их менее любил, чем православных. Они слишком застыли на своей догме, окаменели, гордясь тем, что обрели якобы «правду» и презрительно относились к окружающему их православному населению. Случалось, что и молокане попадали на наши беседы, тогда наши беседы особенно оживлялись, особенно при чтении евангелия. Между молоканами попадаются знатоки библии и евангелия,—вообще св. писания. Молокане тоже ловкие диалектики; и, понятно, с такими слушателями иметь дело особенно интересно, хотя порою и не так-то легко, как с менее интеллигентными.

Зная все это, я загодя подготовлялся: в свободное время читал и перечитывал библию, пророков, а евангелие, как уже сказал, я и так хорошо знал. А потому, я принимал бой без страха. Когда, бывало, мой горячий оппонент-молоканин опрокидывался на меня тяжелой артиллерией цитат из св. писания, о которых, сознаюсь, я представления не имел, я отпарировал его удары более убедительными ссылками на историю древнего Израиля, историю Рима и проч. Аудитория превращалась тогда в слух. Тишина глубокая, лишь изредка прерываемая бурными возгласами сочувствия по адресу того или другого оппонента. А вопросы поднимались «проклятые»! Как, напр., примирить столь горячо защищаемое мною требование протеста против властей со словами евангелиста: «несть власти аще не от бога»? Как, далее, бунтовать против главы государства, когда сам пророк Самуил помазал Саула в цари и дал его народу иудейскому, с суровым заветом беспрекословного повиновения всем его, Саула, законам? Я даже теперь с удовольствием вспоминаю, как мне всегда удавалось разбивать на голову моего противника при общем сочувствии слушателей. Признаюсь, что иной раз,—в самых критических только моментах,—мне приходилось прибегать к некоторым передержкам. Нередко при чтении евангелия или библии поднимались во-

просы и общественно-этического характера. Как живой стоит предо мной «дедушка», лучший пчеловод в селе, обратившийся ко мне раз совершенно неожиданно с вопросом:—«Может ли,—спрашивал он, глухим голосом,—богатый попасть в царствие небесное?» Не дождавшись моего ответа, «дед» сам же ответил безапелляционно ссылкою на известное место евангелиста. Старцу, очевидно, хотелось хвастнуть знанием единственного евангельского изречения. Я, конечно, согласился с ним, но развил дальше эту мысль, санкционирующую активную борьбу с имущими, как эксплоататорами рабочих масс. Присутствовавший при этом молоканин стал на дабы. Он стал доказывать, что и богатый, если он только добродетельный, может войти в царствие небесное, и в пример привел Иова. Меня взорвало это. Я стал доказывать, что Иов действительно попал в царствие небесное, но после того, как он много перетерпел, т.-е. после того, как потерял детей и все свое богатство. Эффект получился, конечно, поразительный. Приходилось читать даже псалтырь. Я не охотен был до псалмов царя Давида, но как-то раз одному из моих слушателей вздумалось попросить меня почитать вслух псалтырь. Ничего не поделаешь—пришлось уступить. Не припомню теперь, какой именно псалом подвернулся мне. Начал читать. Аудитория настрожилась. Воцарилось молчание,—важное, торжественное. Не прошло несколько минут, как я сам подчинился этому настроению—и чтение полилось тоже торжественное. Слушатели мои остались тоже довольны.

Авторитет мой еще больше возрос в деревне, когда стало известным, что на земском собрании единогласно было постановлено выдать мне 100 руб. в награду за мою «ревностную службу». Это событие наделало тогда в уезде много шума. Гласные—крестьяне из села Лунина (большое торговое село)—настойчиво просили меня к ним переехать. Служебное мое положение, таким образом, вполне утвердилось. В середине зимы ко мне прислали фельдшера, недавно только окончившего пензенскую фельдшерскую школу. Это оказался юноша еще, весьма толковый и даровитый. Между нами скоро установились хорошие отношения. Ему приходилось быть невольным свидетелем моих собеседований с

больными и здоровыми пензяками. Он, помнится, никогда не вмешивался в мой разговор, но, когда мы оставались наедине, он вступал со мною в спор, по поводу моей пропаганды, и убежеденно отстаивал свои, совершенно лойяльные, убеждения. С. В. Попов,—так звали фельдшера,—оказался, таким образом, не только дельным фельдшером, но и искренним, убежденным человеком. С ним надо было считаться. У него были большие умственные запросы, но он был мало развит и мало сведущ. Я и обратил все свое внимание на его развитие, тем более, что мне приходилось только итти на встречу его собственным горячим желаниям. И я начал совместно с ним читать. Нелегальные и легальные «книжки» ничуть не удовлетворяли его. Его ум требовал серьезной работы. Я достал из управской библиотеки несколько серьезных книг по истории, беллетристике и журналистике; Шлоссера («История XVIII столетия») мы прочли от доски до доски все 8 томов. Днем у нас было много работы по больнице, амбулатории и аптеке. Кроме того, по собственному предложению Попова, я проходил с ним практический курс диагностики внутренних болезней, пользуясь тем материалом, который у нас в больнице был под руками. В нашем распоряжении оставались только вечера и их-то мы употребляли на совместное чтение. Чтение пошло весьма удачно, весьма успешно. Юноша точно воскрес. Умная голова его заработала энергично, а натура у него была здоровая, цельная. Такой человек всегда найдет настоящую дорогу. Моя радость была велика, когда я стал замечать, что он стал сам интересоваться теми вопросами, которые так близки были мне.

Я нередко его заставал беседующим с больными по поводу тех же «проклятых вопросов» крестьянства, которые служили и для меня нескончаемой темой для разговоров. Одним словом, в умственной жизни Попова начался тот благодетельный перелом, который мы, интеллигентные люди, сами переживали. Так проходили дни за днями в дружной работе и здоровом отдыхе. Но судьбе угодно было совершенно неожиданно для меня разлучить меня с муратовцами и Поповым.

Во вторую половину 1875 г. в больницу был назначен врач Салтыков. Это был уж очень пожилой человек, вет-

хозаветный и по общественным своим воззрениям, и по медицинским знаниям. Он никак не мог взять со мною настоящего тона: то он обращался со мною, как с товарищем-врачем, предоставив мне полную медицинскую самостоятельность, особенно в тех случаях, в которых ему, по недостатку знаний, не хотелось рисковать, то вдруг третировал меня, как фельдшера. Против последнего я собственно ничего не имел и даже желал этого ради моего товарища Попова. Но он чувствительно задел меня особою ехидной своей манерой. Он знал, что я «красный», «демократ», «либерал»— все это сплелось в клубок в старой голове моего коллеги,— а потому он стал меня частенько отрывать от больницы, амбулатории, т.-е. от непосредственного ухода за мужиками и посылать к помещицам и помещикам—для чего бы, вы думали? не для того, чтобы я их сам, по своему разумению или назначению хотя бы самого Салтыкова лечил— нет! чтобы я им ставил банки, пьявки, клизмы, растирал и пр., потому, что этого именно требуют сами помещики и помещицы. Я протестовал; дело дошло до председателя, который, во избежание недоразумений и столкновений, предложил мне взять самостоятельное место фельдшера в одном из самых запущенных углов Мокшанского уезда.

Я по необходимости согласился и, распрощавшись с Муратовкой, выехал в Мокшаны.

Так неожиданно оборвалась слишком годичная работа моя в Муратовке.

ГЛАВА IX.

Переходный период в истории революционного движения. 1875—1876 годы. Критическая оценка пропагандистской деятельности в народе. Возвращение к «бакунизму». Зарождение «революционного народничества». Образование в конце 1876 года «Северной революционно-народнической группы», или общества «Земля и Воля». Состав ее членов. Устав общества «Земля и Воля». Организация его. Программа его. Первое выступление общества на путь дезорганизации и агитации: освобождение Кропоткина 28 июня 1876 года и «Казанская демонстрация» 6 декабря того же года.

Февраль 1876 года я пробыл в Мокшанах в ожидании дальнейших распоряжений управы. Досуга у меня было достаточно. Досуг же располагает к размышлению. Я оглянулся назад. Я прожил год слишком в Муратовке. Что же я успел? Вопрос этот, правда, и раньше приходил мне

в голову, но за усиленной работой он не вставал предо мною с такой выпуклостью, как теперь на досуге. Что же я успел?—застрял гвоздем в моей голове этот назойливый вопрос.

Я познакомился с народом, с народною средою. Это—несомненный большой плюс в моей работе.

Это—первый шаг, без которого дальнейшая моя работа была бы невозможна. Но что я успел в смысле распространения социалистических идей в народе? Я стал перебирать в моей памяти впечатления последнего года моей пропагандистской работы в народе. Я увидел, как, мало-по-малу, почти незаметно для меня самого, пропаганда социализма в массе стала отодвигаться на задний план и как, наоборот, насущные злободневные вопросы крестьянства выдвигались все более и более на авансцену. Я стал припоминать, как холодно относился народ к социализму, и, наоборот, с какой горячностью и страстностью дебатировались те вопросы, которые касались его неотложных нужд и потребностей, которые не выходили из обычного круга его представлений и понятий о лучшей крестьянской жизни, о лучшей доле. Завеса стала спадать с моих глаз.

Если не считать единичных, успешных случаев пропаганды, то в общем результат ее, пропаганды, в народе почти неуловим. Единственное, что можно сказать с некоторой уверенностью, это то, что пропаганда в значительной мере обострила в народе то брожение умов, которое еще раньше, вследствие других влияний, началось в нем.

Масса слухов и толков о переделе земли и разных других переменах, имеющих в виду интерес народа, стали распространяться в его среде с большим еще упорством, чем прежде. Конечно, влияние это неуловимо, нельзя его ни измерить, ни вычислить, но оно несомненно было.

Само собою, что этого было недостаточно для нас.

Для меня стало ясно, что на пропаганде социализма в народе мы далеко не уедем, что буду ли я один работать, или нас будет работать десятки, сотни и тысячи пропагандистов,—все равно, мы сим не победим народа, с места не сдвинем его..... Наша неудача лежит не в нас самих, не в нашем уменьи и невыдержанности, т.-е. не в индиви-

дуальных наших качествах. Наоборот, между нами были пропагандисты талантливые, умные и производили они впечатление несомненно глубокое. Но что говорили пропагандисты народу? Какие их речи приходились ему больше по душе и раскрывали ее, душу-то народную?

Не социализм и не анархия, конечно, а самые животрепещущие вопросы его повседневной серой жизни: безземелие и тягота податей были всегдашними предметами постоянных и нередко задушевных бесед. Здесь пропагандист был неуязвим: знание, которым он обладал, давало ему возможность обобщить данные частные факты и осветить их более ясным светом.

И чем талантливее был пропагандист, чем ярче была его речь и остроумнее его сопоставления, тем более он овладевал вниманием слушателей. Но стоило только тому же пропагандисту перейти на почву социализма, как все совершенно изменялось.

Не то, чтобы его не хотели слушать («Пошто не послухать?»)—а слушали, как обыкновенно слушают занятную сказку: «не любо не слушай, а лгать—не мешай!». Пропагандисты тогда же почувствовали, что тут кроется что-то неладное, но торопливость, с какой велась пропаганда, не позволяла вдуматься в глубокое значение этого факта, проанализировать его с необходимою серьезностью.

Так писал я о нашей пропагандистский деятельности в народе еще в 1883 году в Якутской области: эти строки я занес тогда в «неизданные мои воспоминания». К этим словам мне теперь ничего не остается прибавить. Скажу только, что когда прошел первый порыв возмутившегося против неудачного нашего похода в народ чувства,—наступила пора раздумья, пора действительного анализа нашего прошлого «с необходимою серьезностью». Это было в начале 1876 года.

Стало ясно, что пропаганда социализма в полном его об'еме не может, при теперешнем развитии народа, иметь успеха; что необходимо считаться как с имеющимися уже в народе живыми стремлениями его, так и с завещенными ему его прошедшею историею взглядами и понятиями; что, далее, соответственно с этим надо изменить и нашу теорию, и нашу практику.

Дело шло, таким образом, если не о радикальном перевороте в революционных воззрениях молодежи, но во всяком разе о решительном повороте фронта, если можно так выразиться. Я выражаюсь так осторожно потому, что новое революционное направление, шедшее уже на смену старому, отнюдь не было новым ни по содержанию, ни по форме.

Бакунин и его молодые последователи основали свою программу именно на реальных потребностях массы, поскольку эти потребности вылились в исторически-данные формы общежития, в определенный уклад жизни этих масс.

Именно Бакунин предвидел возможное наше поражение,—конечно, идейное прежде всего,—и горячо предостерегал нас от всякой, так называемой, ложной идеализации. Молодежь — слова нет! — чуяла, на чьей стороне историческая правда, и примкнула всею своею массою—по крайней мере, теоретически—к Бакунину. Но пропагандистская волна, унесшая такую массу молодежи в народ, перетосовала там, в народе, все направления, уничтожив практически все различия и оттенки революционных фракций: революционеры, словно сговорившись, делали в народе одно дело—пропагандировали идеи социализма. И вышло, что все были тогда пропагандистами: и «бунтари» и «лавровисты».

И только 1½—2 года спустя, когда пропаганда завершила полный цикл своего развития, молодежь, в критической оценке своей пропагандистской деятельности, вернулась к исходному ее пункту,—к бакунизму, возродившемуся в форме «революционного народничества» с лозунгом «Земля и Воля».

Вот почему я назвал новое, нарождающееся направление не «переворотом», а лишь «поворотом фронта».

В то время, когда я готовился уже к отъезду на новый медицинский пункт, ко мне неожиданно из Симбирской губ. приехал Александр Хотинский. Я очень обрадовался приезду моего товарища детства.

Мы не виделись больше года. Что он успел? к каким выводам он пришел? Я мельком взглянул на Хотинского

и был поражен его внешностью: он точно постарел на много лет. Он не был удручен, но он был сильно озабочен. Очевидно, он много пережил и передумал за это время. Я очень дорожил мнением моего положительного, серьезного, вдумчивого и сосредоточенного друга.

После горячих приветствий и обычно следовавших за ними бессвязных вопросов и расспросов, мы, наконец, уселись за самоваром и повели разговор спокойно, положительно. Было о чем говорить старым друзьям, связанным не только интимными узами детства, но и общими деловыми симпатиями. Мы проговорили всю ночь напролет. Мы ничего друг от друга не утаили. Я не буду передавать всего нашего разговора,—не потому, чтобы это было лишено всякого интереса—нет! то, что созрело в головах рядовых революционеров, имело не меньше значения, чем то, что исходило от наших коноводов,—лидеров, как бы мы теперь сказали,—но потому, чтобы не отклониться в сторону.

Скажу, к чему, наконец, мы пришли.

Мы пришли к тому заключению, что пропаганду социализма надо, если не совсем оставить, то ограничить ее определенными рамками, в пределах которых она может иметь еще значение. Это во-первых. А, во-вторых,—и это самое важное,—чтобы опереться на народ, как на твердый операционный базис революционной деятельности, необходимо боевой лозунг социализма заменить другим, более действительным и родственным народу. Таким лозунгом могут быть только народные требования, назревшие и ищущие разрешения. Чтобы разрешить эти треобвания, недостаточно одной пропаганды словом: надо перейти к действию. А такая работа только под силу крепко сплоченной во всех частях централизованной революционной организации. Надо раз навсегда оставить кочевую форму революционной борьбы и заменить ее стройной, планомерной организацией.

В частности, по отношению к нам самим, т.-е. ко мне и Хотинскому, мы решили, что нам следует обязательно пристать к такой организации, что вне ее наша работа, при изменившихся условиях, может оказаться совершенно бесплодной,—сизифовой работой.

Мы решили поэтому, разъехаться: я еду в Петербург, а Хотинский на юг, чтобы и там, и тут завязать необходимые сношения. К слову сказать, в Симбирск. губерн., кажется, Хотинский встретился с Перовскою, от которой он узнал, что в Петербург ожидают М. Натансона, вернувшегося из ссылки еще в 1875 г. Мы надеялись—и не без основания,—что с возвращением такой революционной силы, как М. Натансон, в работе революционной молодежи должен наступить решительный поворот к большей объединенности, планомерности и организованности.

Я взял отпуск и поехал в Петербург, куда прибыл в конце февраля 1876 г. Началась обычная беготня: надо у одних побывать, с другими повидаться, расспросить, что делается на белом свете, — одним словом, позондировать почву. Оказалось, что Натансона еще нет в Петербурге, что ему пока временно разрешили жить в Воронеже. Какая досада! Снова неудача!

Помню, что в 71 году я также пошел к нему, чтобы познакомиться, а он неожиданно исчез с горизонта—был выслан в Архангельск. Побывал, конечно, и на сходках.

Удивительно живучи эти студенческие кружки и сходки: разрушаются одни, возникают другие, одни идеи сходят со сцены, а на их место появляются другие, одни вожаки погибают, нарождаются новые!... Сходка была на Петербургской стороне. Я сразу уловил, какой крутой перелом совершился тогда в воззрениях революционной молодежи.

Старые вопросы о «хождении в народ», «знании и революции», пропаганде и агитации и т. п., занимавшие в предыдущие два года молодые умы, отошли уж в область преданий.

Довлеет дневи злоба его. А злобою дня был тогда радикальный пересмотр программы и тактики.

В города съезжались тогда пропагандисты из разных концов России, словно сговорились. Всех мучили одни и те же вопросы, все искали выхода из этого переходного состояния. Я очень обрадовался, когда убедился воочию, что то, что меня и Хотинского изгнало на время из деревни, привело сюда и многих моих товарищей-пропагандистов.

Произошел, конечно, живой обмен впечатлений и мнений.

Поразительно, как быстро схватывались известные идеи и формулировались в общие концепции, словно эти идеи раньше носились, как зародыши, в воздухе, и, упавши на благоприятную почву, дали обильную жатву. Не сговариваясь, люди пришли к одним и тем же выводам, а это уж одно говорило за их жизненность, реальность и осуществимость.

Надо изменить революционную деятельность в народе в смысле агитации и организации. Надо для этого создать в самой интеллигенции «сильную власть», т.-е. крепкую, объемлющую организацию. Этими двумя положениями исчерпывается суть всех горячих дебатов и окончательный вывод из них. Это сама жизнь продиктовала нам эти два положения. Разногласий не было. Правда, и тогда раздавались голоса против агитации, но это были одинокие голоса бывших «лавристов», переименовавшихся теперь почему-то в «марксистов». Люди этого направления не пользовались тогда авторитетом среди молодежи; они и раньше уклонялись от революционной деятельности в народе и сосредоточили свою работу исключительно почти в Петербурге среди фабричных и заводских рабочих.

Чтобы больше не возвращаться к ним, приведу здесь кстати лучшую, самую об'ективную, по-моему, характеристику «лавристов», данную Г. В. Плехановым.

«Люди этого направления,—говорит Плеханов в своем «Русском рабочем в революционном движении»,—были тогда в меньшинстве и сходили со сцены.

Но надо им отдать справедливость: их пропаганда, вероятно, была разумнее нашей. Правда, и они, подобно нам, отрицали «буржуазную» политическую свободу, и они,— по крайней мере, многие из них,—готовы были трепетать за участь «устоев». В их взглядах было тоже много непоследовательности, но их непоследовательность имела одну счастливую особенность: отрицая «политику», они с величайшим сочувствием относились к немецкой социальной демократии. Нельзя быть высокого мнения о логичности человека, отрицающего «политику» и в то же время сочувствующего названной мною политической рабочей пар-

тии. Но своими рассказами о ней такой человек может заронить семя здоровых понятий в другие головы, которые, при благоприятных обстоятельствах, сумеют вполне усвоить социал-демократическую программу, или хоть приблизиться к ней в большей или меньшей степени. В таком случае за ним останется все-таки не малая заслуга.

Именно такую заслугу и надо признать за «лавристами».

И далее....... «Если в программе образовавшегося зимою 78—79 года «Северно-Русского Рабочего Союза» сильно слышалась социал-демократическая нота, то это, кажется, в значительной степени нужно приписать влиянию «лавристов».

Нам остается только подписаться под этой характеристикой Г. В. Плеханова.

«Лавристы» в то время действительно «занимались с рабочими»: читали им лекции о «рабочем дне» по Марксу, а равно и другие лекции обще-образовательного характера—«о каменном периоде или о планетах небесных», по насмешливому выражению того же Плеханова. Этим и исчерпывается значение группы «лавристов». Однако, на сходках как при теоретической постановке вопросов, так особенно при практическом их решении, «лавристы» то-и-дело становились на дороге вновь зарождающемуся революционному течению—«революционному народничеству».

Попытки их не удавались, конечно, но они очень характерны для «лавристов», как отмирающей группы.

Ниже мы увидим примеры этому.

Кроме «лавристов», старавшихся всячески подставить ножку революционерам-народникам, в Петербурге тогда была еще одна довольно разношерстная группа из интеллигентов, в которую входили отдельные лица из бывших «пропагандистов» и «сочувствующих», тогда уже занявшие «общественное положение» («разодетые в соболи», по насмешливому выражению молодежи). Вот эта именно группа «сытых» старалась усыпить революционную мысль молодежи чтением лекций на разные темы по психологии, социологии и философии и проч. Во главе лекторов стоял,—говорили мне,—доктор Оршанский (ныне профессор) и, если не ошибаюсь, также Я. И. Ковальский. Последний, кроме лек-

ций по космографии, которые читал хорошо, взял на себя неблагодарную задачу затуманивать головы своих молодых слушателей лекциями по философии эволюции. Очень туманные это были лекции и, помнится, на одну из таких я случайно попал уж позже, зимою 1877 года. Я заношу эти факты на страницы этих «воспоминаний» не потому, чтобы они были уж очень важны, а потому, что они все-таки довольно характерны: все эти люди, в том числе и «лавристы», были положительно мертвые люди, но, умирая, они не давали жить нам, народникам-революционерам. Le mort saisit le vif!..

Я собрался было оставить Петербург, имея в виду отправиться на юг, как в Петербурге неожиданно случилось одно событие, приостановившее мой отъезд на несколько дней. Я говорю о демонстрации при похоронах Чернышева, имевшей место 3 марта 1876 года.

Студент Чернышев просидел без малого 3 года в Доме предварительного заключения. Он нажил там себе легочную чахотку. Я видел его за несколько дней до его смерти в клинике. Это был уже труп. Вот его-то и решили, в виде протеста, похоронить с триумфом. Насколько мне помнится, к этой демонстрации были причастны и «лавристы». На мой вопрос, как это вяжется с их взлядами, безусловно отрицающими всякого рода публичные протесты, агитации и проч.,—я получил довольно-таки странный ответ: «Мы враги всяких публичных манифестаций, кроме, однако, устройства манифестаций в роде похорон, панихид и проч.».

Почему? Мудрый Эдип, разреши! Во всяком случае, «лавристы» участвовали в этой манифестации, которая вышла очень внушительной. Гроб был усыпан цветами. Тысячная толпа, с обнаженными головами, шла за ним. В числе демонстрантов были и люди из общества: профессора, военные, адвокаты и проч. Пред Домом предвар. заключения, на Литейном, процессия остановилась. Дюжие руки молодежи высоко приподняли гроб, и в воздухе раздалось импонирующее пение сильных молодых голосов: «Вечная память, вечная память!».

К демонстрантам пристала уличная толпа. Полиция была захвачена врасплох. Процессия торжественно двинулась вперед по Литейному, пересекла Невский и дальше пошла,

все возрастая на пути, по Владимирской и т. д. до кладбища.

Случилось, впрочем, одно курьезное обстоятельство.

Священник, сопровождавший покойника, сообразил, наконец, в чем дело и, воспользовавшись остановкой пред Дом. предв. закл., улизнул. Похоронная процессия осталась без духовного лица. Решили хоронить без священника. Ничего не поделаешь. Процессия двинулась в путь. По мере того, как процессия подходила к предместьям Петербурга, число любопытных из «простого» народа все возростало. Что это за процессия? Без попов, а масса венков, тысячная толпа. Со всех сторон посыпались вопросы. Мы условились давать, по возможности, подробные объяснения, чтобы, таким образом, сделать похороны более демонстративными и популярными.—«Кого это хоронят,—скажите?» — «Молодого человека замучили в тюрьме, за правду стоял, за народ!..» Таковы были стереотипные ответы на любопытные вопросы толпы. Не скажу, чтобы наши ответы производили впечатление: я только видел глупые лица и моргающие глаза. Мне это опротивело, и я больше никаких об'яснений не давал. На могиле было произнесено несколько речей, приличных данному случаю.

Появились жандармы, встревоженные полицейские, и толпа демонстрантов, разбившись на группы, рассеялась. Арестов в тот момент не было, но несколько дней спустя был арестован студент-медик Бельский и выслан на север. По своему характеру Чернышевскую демонстрацию следовало бы скорее отнести к следующему народническому периоду революционного движения.

Это была первая публичная демонстрация социалистов (и, пожалуй, всего общества, так как все ей сочувствовали) против правительственных безобразий.

1876 год начался демонстрацией. Это—знамение времени.

Он и кончился демонстрациею, но совершенно иного уж характера,—демонстрациею на Казанской площади 6-го декабря. Об ней речь будет ниже.

Демонстрация лично мне дорого стоила. Я простудился, схватил серьезный бронхит и слег в постель. Мне

настойчиво посоветовали уехать на юг и основательно отдохнуть. Я так и поступил.

Мой вынужденный Монрепо́ не лишил меня, однако, возможности быть в курсе дела. Мне писали, что М. Натансон не зевает, что в Петербурге уже образовалось довольно крепкое ядро революционной организации из уцелевших старых «чайковцев» и приставших к ним как отдельных групп, так и лиц одинакового революционного направления. Ядру этому суждено было сделаться центром тяготения для всех разбросанных по России революционных сил. Уже летом 1876 года этот кружок,—назовем его пока кружком Натансона, Оболешева и Ал. Михайлова,—заявил себя весьма крупным в смысле революционной техники, фактом—освобождением из Николаевского военного госпиталя самого выдающегося из чайковцев, П. Кропоткина.

Лакомый кусок как-раз во-время был вырван из рук петербургского правительства и вырван артистически. Не буду описывать подробностей этого дела, так как они уже достаточно хорошо известны публике. Не могу, однако, без удовольствия не вспоминать эпического рассказа М. Натансона о том, как им удалось ловко околпачить постовых городовых, как раз в тот момент, когда наш милый «Варвар» несся стрелою с дорогой своей добычей по самым людным улицам Петербурга. В этот критический момент как-раз не оказалось ни одного городового на посту: один любезно давал какие-то справки какому-то важному господину и невольно прозевал «Варвара», другого «ловкий малый» соблазнил пивною, куда блюститель порядка завернул на минутку, чтобы с «хорошим человеком» испить одну-другую бутылочку. И т. д., и т. д.

В августе я настолько отдохнул и окреп, что мог уже взяться за дело. Я уехал в Харьков. В Харькове я застал некоторых членов харьковско-ростовского кружка. Я сошелся с ними и был принят в кружок. Это в своем роде замечательный кружок. Он много поработал на пропагандистском пути, исколесил вдоль и поперек Новороссийский край, землю Войска Донского, Кубанскую область и часть Уральской. Кружок этот не богат был материальными средствами, но зато умственными и моральными он прямо-таки выдавался. Что ни член кружка, то если

не крупная, то во всяком разе своеобразная индивидуальность!

Приблизительно в конце ноября получилось известие от Валериана Осинского из Петербурга о том, что переговоры с кружком Натансона уже закончены, но что необходимо, чтобы туда выехало еще несколько членов нашего кружка для выработки устава и программы общества. Намечены были «Титыч», Мощенко и я. Нам также писали, что в общество вступил Дмитрий Лизогуб. Это было очень важное известие, так как в лице Дмитрия Лизогуба наше общество приобрело очень серьезного, беззаветно преданного революции, товарища, отдавшего, кроме того, обществу свои довольно значительные материальные средства.

Пока мы ждали нашего отъезда из Харькова, в Петербурге случилась «казанская демонстрация». Как всякое новое явление, оно не было понято и вызвало толки вкривь и вкось. «Либеральное» общество оплевало нас. Но о нем и не стоит говорить. «Лавристы», и те всячески злословили.

Лавристы или марксисты прямо-таки заявили urbi et orbi, что «казанская демонстрация»—последний вздох «троглодитов» (революционеров-народников).

Между тем, казанская демонстрация была первый и очень важный опыт революционеров-народников на пути «агитации делом». «Северная революционно-народническая группа» заявила тогда впервые о своем существовании демонстративно.

Много воды утекло с того времени. Мы можем теперь к этой демонстрации отнестись более спокойно—sine ira. Когда в январе 1877 г. я и мои товарищи, «Титыч» и Никандр Мощенко, прибыли в Петербург, то, по поводу этой демонстрации, нам наговорили буквально в три короба всякой ерунды. Только Валериану Осинскому и Марку Натансону удалось рассеять наши сомнения, и демонстрация была представлена в настоящем ее свете. «Оратора», т. е. Плеханова, мы тогда не застали в Петербурге: он на время, по тактическим соображениям, исчез с горизонта—выехал временно за границу. Зато мы имеем теперь возможность, на основании собственных воспоминаний самого Плеханова,

дать совершенно объективную характеристику этой в свое время столь нашумевшей демонстрации.

Вот что пишет Г. В. Плеханов [1]):

«Уже к концу 1876 г., когда землевольцы только еще приступали к устройству революционных «поселений в народе», пропаганда между рабочими приняла довольно широкие размеры как в Петербурге (в Галерной гавани, на Васильевском острове, на Петербургской и Выборгской сторонах, на Обводном канале, за Невской и Нарвской заставами), так и в его окрестностях (в Колпине, на Александровской мануфактуре, в Кронштадте и т. д.). Но я уже сказал, что «бунтари» не довольствовались пропагандою и во что бы ни стало хотели агитировать [2]). Наше направление увлекло, наконец, и рабочих. В то время у всех была в памяти демонстрация, ознаменовавшая весною 1876 г. похороны убитого тюрьмою студента Чернышева, который был арестован по делу 193. Она произвела очень сильное впечатление на всю интеллигенцию, и все лето того года мы, что называется, бредили демонстрациями. Но в чернышевской демонстрации рабочие не принимали участия, так как произошла она в будни, да и подготовители ее как-то не вспомнили о рабочих: Чернышева хоронила «интеллигенция». И вот рабочим захотелось сделать свою демонстрацию, и притом такую, которая своим резко-революционным характером совершенно затмила бы демонстрацию «интеллигентов». Они уверяли нас, что если хорошо взяться за дело и выбрать для демонстрации праздничный день, то на нее соберется до 2.000 рабочих. Мы сомневались в этом, но бунтарская жилка заговорила в каждом из нас, и мы сдались. Так произошла известная казанская демонстрация 6 декабря 1876 года». Дальнейшие подробности этой демонстрации читатель найдет в брошюре «Русский рабочий в революционном движении». Я хочу отметить здесь лишь существенную черту этой демонстрации: это была по замыслу исключительно рабочая демонстрация («и вот рабочим захотелось сделать свою демонстрацию...»), интеллигенция пристала к этой демонстрации сама собою,

---

[1]) «Русский рабочий в революционном движении», стр. 18 и след. Издание 2-е. 1902 г.

[2]) Курсив везде автора воспоминаний (Плеханова).

об интеллигенции организаторы демонстрации мало думали: «придет, мол, и без зова, а не придет—беда не велика, пожалуй, даже лучше будет, выйдет чисто-рабочая демонстрация» («Русский рабочий в революционном движении»).

Тем не менее, утром 6 декабря у Казанского собора собралось много учащейся молодежи, так что, сравнительно с рабочими, молодежь, вопреки первоначальным расчетам организаторов, оказалась в большинстве. Рабочих пришло немного: 200—250 человек.

Как отнеслась «интеллигенция» к демонстрации—мы уже знаем. Совершенно прав Плеханов, говоря, что «для «интеллигенции» цель демонстрации так и осталась невыясненной, вероятно, потому, что в ее подпотовлении «интеллигенция» принимала участие только в лице немногих «землевольцев», действовавших в редких кварталах Петебурга. Понятно, далее, почему «одни осуждали, другие превозносили ее, хотя очень часто и те, и другие имели о ней совершенно ошибочное понятие».

Любопытно отношение народа к этой демонстрации. Г. В. Плеханов по этому поводу отмечает: «Но именно народу-то, по крайней мере, столичному народу, она и оказалась непонятной (здесь речь идет о знамени «Земля и Воля»).

— Как-же это так,—рассуждали потом на некоторых фабриках,—они хотели земли и воли? Земля-то это так, земли точно надо бы дать крестьянам, а воля-то ведь уж дана. В чем же тут дело?—Вышло, что с девизом «Земля и Воля», мы опоздали, по меньшей мере, на пятнадцать лет. Впрочем, местами в крестьянстве слышались на этот счет другие отзывы. Живший в Малороссии товарищ рассказывал мне, что раз при нем зашла речь о казанской демонстрации. «Они хорошего хотели, заметил один старик, этого все хотят, нам всем нужна земля и воля».

Тот же старик никак не хотел поверить, что революционеров могут преследовать за столь справедливые требования.—«Ничего им не было, утверждал он, просто царь призвал их к себе и сказал: подождите, хлопцы, будет вам и земля и воля, только не надо об этом кричать на улицах». Вообще, о казанской демонстрации так или иначе заговорила вся Россия.

В заключение своего описания казанской демонстрации Плеханов говорит следующие знаменательные слова:—«Казанская демонстрация была первою попыткою практического применения наших понятий об *агитации* [1]).

Понятия эти были в то время еще *слишком отвлеченны*, и уже по одному этому не могло быть удачным их практическое применение. Казанская демонстрация наглядно показала, что мы всегда будем оставаться одни, если в своей революционной деятельности будем руководствоваться лишь своим отвлеченным пристрастием к «агитации», а не существующим настроением и данными насущными нуждами той среды, в которой собираемся агитировать».

Наконец, в конце января 1877 года, мы, т.-е., я, «Титыч» и Мощенко выехали в Петербург; я с «Титычем» вместе, Мощенко—особо.

В Петербурге остановились на конспиративной квартире, кажется, на Басейной. Квартира состояла из 2-х комнат: одной большой и светлой и маленького кабинета. На этой именно квартире я познакомился с М. Натансоном. Несколько дней спустя по прибытии нашем в Петербург конспиративную нашу квартиру посетил господин выше среднего роста, шатен, с живыми, проницательными карими глазами. Он вошел в комнату, где нас тогда было несколько человек, торопливо поздоровался и шмыгнул в кабинет, где долго оставался, тихо разговаривая о чем-то с Мельгуновым.—Кто это?—спросил я живо у «Титыча».—Марк Натансон, он же: «Петр Иванович»! был ответ.

Переговорив с М—овым, Натансон вышел к нам и присоединился к нашему разговору. Не помню теперь, о чем мы тогда говорили, но помню хорошо, что первое впечатление было не особенно благоприятное.—«Уж очень он щупает глазами своего собеседника»,—подумал я тогда, немного разочарованный. Конечно, о произведенном на меня Натансоном впечатлении я никому ничего не сказал. Пред уходом Натансон пригласил меня, Тищенко и «Титыча» к себе на блины. Мы отправились к Натансону спустя 2—3 дня.

---

[1]) Курсив Плеханова (везде).

Хозяева, Марк и Ольга Натансоны, приняли нас очень душевно. Вскоре пришел Валериан, и наша беседа сильно оживилась. Говорили, конечно, о bête noire того времени— о «казанской демонстрации», при этом Валериан попутно сообщил нам весьма пикантный анекдот о тогдашнем начальнике III отделения, Колышкине. Но гвоздем нашего разговора была наша предстоящая революционная деятельность, наша программа.

Мы согласились через несколько дней снова собраться и выслушать доклад о программе одного из членов нашего общества «Андреева».

В этот раз,—скажу попутно,—М. Натансон произвел на меня сильное впечатление. Через несколько дней, как условились, мы собрались: я, «Титыч», Мощенко, как представители «харьковско-ростовского» кружка, М. и О. Натансоны и «Андреев» (он же «Сергей Андреев») Харизоменов—как представители «Северной революционно-народнической группы». В моей памяти хорошо врезалась обстановка этого вечернего заседания: небольшой, но уютный кабинет, зажженная лампа на столе, пред столом в кресле молодой плотный господин, с крупными, неправильными чертами лица и отчетливой, уверенной речью. Это был «Андреев». Мы, харьковцы, разместились рядком на диване, против нас на стульях—Натансоны. «Андреев» начал читать программу.

Чтение продолжалось довольно-таки долго, так как докладчику приходилось останавливаться, то давая объяснения по поводу того или другого тут же возникшего вопроса, то внося те или другие, предложенные слушателями, поправки. Справедливость требует сказать, что первая народническая программа была прекрасно и толково написана, особенно ее догматическая и тактическая части. Конечно, ничего оригинального в этой программе не было. Это была, прежде всего, программа Бакунина, только более полно обоснованная историческими данными и фактами современной действительности. Отношение программы к социализму было вполне определенное. Социализм, как доктрина, социалистический строй, как конечный идеал, признается и этой программой.

Но, в применении к русской действительности, социа-

лизм, по необходимости, пришлось урезать,—так сказать, окорнать: взять из него только то, что не противоречит исконным народным идеалам, воззрениям и требованиям, вылившимся в определенные формы уклада народной жизни. Получился, таким образом, компромисс между идеалами социализма, с одной стороны, и народными идеалами — с другой. Это—характерная черта нашей революционно-народнической программы. Таковою она по существу оставалась все время. Дальнейшая эволюция не внесла в эту программу ничего существенного. Когда, спустя год, согласно уставу общества, был поставлен на очереди вопрос о пересмотре программы, то, за исключением нескольких дополнительных пунктов о деятельности в народе, в самой программе, в ее целом никаких изменений не было сделано.

Программа была принята.

Мне, как летописцу того времени, следовало бы, может быть, изложить здесь народничество в первоначальной его редакции, в той форме, в какой оно вышло из-под пера землевольцев.

К сожалению, в этой именно форме я его не помню, а в другой, во избежание недоразумений, я не желаю излагать его, тем более, что в настоящее время (писано в 1883 году) основные начала народничества, полагаю, достаточно хорошо уже известны всем. Замечу лишь здесь попутно, что наша программа в начале 1878 г. была в сохранности в нашем архиве. Я слышал это от Ольги Натансон, Оболешева и Адриана Михайлова.

Конечно, очень жаль, что этой первоначальной нашей программы в настоящее время у нас нет под руками. Ниже я коснусь эволюции нашей программы в последний год существования общества «Земли и Воли», а пока ограничусь лишь изложением практической, точнее—тактической, части нашей программы, которая осталась неизменной в течение первых двух лет существования нашего общества. «Практическая» программа трактует о способах и приемах борьбы.

Исходя из того положения, что только экономическая революция снизу, при посредстве самого народа, может привести к окончательному разрушению современного

общественного строя и к осуществлению более справедливой, согласной с народными идеалами, общественной организации,—землевольцы считают необходимым, чтобы операционным базисом их революционной деятельности была обязательно народная масса.

А потому задачи их в народе сводятся, главным образом, к следующему:

1) Организационная деятельность. Необходимость этой деятельности оправдывалась как современным положением вещей, так и историческим опытом. История учит нас,—говорили землевольцы,—что раз в обществе существуют глубокие противоречия, раз эти противоречия не удалены заблаговременно, то они должны неизбежно разрешиться революционным путем. И, смотря потому, какие социальные группы вовлечены в борьбу, революционный путь может выразиться двояко: либо стихийно, либо сознательно. Если на арену борьбы выступает масса, то движение имеет характер почти естественно-исторический: сознание в нем мало участвует, плана и организации нет. А потому такое движение в громадном большинстве случаев почти неизбежно кончается поражением. Сознательно, планомерно бывает лишь движение тогда, когда руководителями его становятся несколько лиц или группа лиц с ясною критикой существующего и с определенным планом боевой организации. И здесь, конечно, возможны неудачи, но они обусловливаются случайностями, а не вытекают, как необходимость, из характера самого движения. А потому, жизненной задачей всякой народнически-революционной партии должна быть — организация в народе такой боевой дружины, которая, концентрируя в себе все материальные и духовные орудия борьбы, сумела бы, в благоприятный момент, либо сама вызвать всеобщее восстание, либо же, в случае самопроизвольного его зарождения, утилизировать его,—по крайней мере, для народных целей.

Но такого рода деятельность предполагает целый ряд подготовительных работ. Нельзя приступить к организации в народе, не имея или не создавши для этого благоприятной обстановки, а потому—

2) Агитационная деятельность является необходимым предварительным условием, при помощи которого такая обстановка создается. Агитация, смотря по обстоятельствам, может быть двоякая: пассивная (подача прошений, посылка ходоков, забастовки, отказ от платежа податей и проч.) и активная (бунты и восстания).

3) Установление правильных сношений с имеющимися уже готовыми в народе организациями (раскольничьими и сектантскими).

4) Пропаганда народнически-революционных идей в среде общества, молодежи и городских рабочих, с целью увеличить число «критически-мыслящих», сознательно-действующих поборников народа. Этими четырьмя пунктами исчерпывается суть «практической» (тактической) землевольской программы.

Одновременно с программой был выработан и устав организации общества. Устав имел лишь временный, так сказать, провизорный характер: спустя год он должен был быть измененным или дополненным согласно с указанием опыта. Это очень интересный документ.

К сожалению, я не могу воспроизвести его целиком, а ограничусь лишь общей его характеристикой и приведением некоторых частных положений, сохранившихся в моей памяти, о правах и обязанностях членов общества и об организации самого общества.

В основу устава был положен строго и систематически проведенный принцип централизации, с вытекающей из него конспиративностью. Этого требовало:

Цель общества — объединение и сплочение разрозненных революционных сил молодежи в прочное, согласованное во всех частях своих единое целое.

Центральное место общества занимает «основной кружок», в руках которого находятся, так сказать, «все корни и нити» прочих революционных организаций.

Существование «основного кружка» сохраняется в тайне.

В члены «основного кружка» принимается всякий революционер-народник по рекомендации не менее трех членов «основного кружка».

Поступая в члены «основного кружка», вновь принятый член этим самым берет на себя обязательство подчиняться всем его распоряжениям.

Член кружка, осуществляя на практике цель и программу общества, организуя новые секции, по образу и подобию «основного кружка», обязан отдавать отчет о своей деятельности «основному кружку».

Новые секции, образованные усилиями члена или членов «основного кружка», сохраняют полную автономию в своих внутренних делах.

В виду возможной убыли членов «основного кружка», основателю (или основателям) секций предоставляется право привлекать к кружку тех или других членов (секций), согласно уставу.

Организация «основного кружка» была такова:

а) Администрация («центр»). Она, как название ее показывает, ведала все дела общества. Местопребыванием администрации обязательно должна была быть столица,—Петербург. Состав ее меняется и члены ее выбираются по большинству голосов. Это была самая деятельная группа при основании общества. Работа была самая египетская. Помимо того, что группа управляла всеми делами общества, она еще служила бюро для всевозможных справок посторонним лицам. В руках администрации была и «небесная канцелярия» (паспортное отделение, фабрикация паспортов), а это одно поглощало много времени, особенно впоследствии, когда запрос на паспорта увеличился до-нельзя. Это вынудило администрацию образовать особую паспортную группу, с ее подразделениями. Как ни велико было значение администрации, но она не могла сделать серьезного шага, не испросивши разрешения «Совета», а в очень важных случаях и согласия всех членов общества. «Совет» собственно не составлял отдельной группы, с определенными обязанностями. Да и состав его крайне изменялся. В него,

со включением администрации, входили те члены общества, которые постоянно или временно находились в Петербурге по своим делам. Когда предстояло дело, не терпящее отлагательства, то администрация обыкновенно обращалась за советами и указаниями ко всем находящимся в наличности членам общества. Практика закрепила этот обычай, и «Совет» стал существовать фактически, как очень полезная пружина в общем механизме управления.

b) Интеллигентная группа. Пропаганда, агитация и организация в среде учащейся молодежи, особенно высших учебных заведений.

c) Рабочая группа. То же, в среде рабочих.

d) «Деревенщина». Самая многочисленная группа, операционным базисом деятельности которой была деревня вообще.

e) Дезорганизаторская группа. Характер деятельности этой группы, те широкие полномочия, которые она получила от общества, сразу поставили ее в исключительное положение. Дезорганизаторская деятельность, в широком смысле этого слова, имела целью рядом разнообразных действий и положений ослабить правительственный механизм, внося в него элементы вражды и разложения. Членам этой группы вменялось, между прочим, в обязанность завязывать сношения с разнообразными лицами правительственных сфер, с тем, чтобы, при помощи этих последних, открывалась возможность к занятию важных для революционных целей должностей.

В специальном смысле дезорганизаторская деятельность преследовала следующие цели: 1) освобождение из-под ареста товарищей; 2) защита от правительственного произвола. Уже тогда было известно, что правительственные лица, особенно в тюрьмах, позволяют себе возмутительные поступки с заключенными, чтобы вынудить у них нужные им показания. В виду этого, общество «Земля и Воля», не задаваясь непосредственною целью борьбы с правительством, сочло, тем не менее, нужным создать группу для специальных случаев такой борьбы, когда этого, например, требовала честь революционной партии.

3) Самозащита. Случаи измены уже были в то вре-

мя, а в виду расширяющегося изо-дня в день революционного движения их следовало, естественно, ждать и в будущем. Поэтому общество возложило на дезорганизаторскую группу обязанность, в случае несомненно доказанной измены того или другого лица, «изъять это последнее из обращения», т.-е. убить. Необходимость и возможность этой меры доказаны впоследствии опытом. По уставу общества дезорганизаторской группе были предоставлены широкие полномочия и значительные материальные средства. Дезорганизаторская группа имеет право образовать секции, с таким же направлением везде, где, по обстоятельствам, она найдет это нужным. Все предприятия дезорганизационного свойства должны вестись строго конспиративно. Администрация или Совет должны лишь знать в самых общих чертах о предполагаемом дезорганизаторском поступке, всякие же детали остаются в глубокой тайне.

Было бы, однако, ошибочно думать, что группы, на которые наше общество поделилось, представляли собою что-то замкнутое и обособленное. Нет! члены, входящие в состав этих групп, могли свободно переходить из одной группы в другую, сообразно своим наклонностям и природным способностям. Признавая принцип строгой централизованности в структуре нашего общества, мы, тем не менее, избегали всякого давления на личность наших товарищей; мы не позволяли себе загонять эту личность в тесные рамки делового формализма, памятуя твердо, что только свободное и полное проявление скрытых в каждом из нас потенциальных революционных сил гарантирует вполне жизнедеятельность нашей организации.

Мы поделились на группы, так как этого требовал принцип разделения труда, но, разделившись, мы все, во всей совокупности наших групп, были объединены одной идеей, одной целью, одним революционным порывом. Мы, таким образом, организацией общества «Земля и Воля» реализовали на практике, поскольку это было возможно, принцип единства в многообразии, т.-е., по возможности, осуществили самый совершенный тип организации революционных сил.

С принятием устава и программы завершилось формально присоединение «харьковско-ростовского» кружка к

кружку петербургских «революционеров-народников». Так образовалась «Северная революционно-народническая» группа, известная уж со второй половины 1878 года под именем общества «Земля и Воля».

Членами-учредителями общества «Земля и Воля» были следующие лица: 1) Марк Андреевич Натансон, 2) Ольга Александровна Шлейснер-Натансон, 3) Алексей Оболешев («Лешка»), 4) Адриан Михайлов, 5) Александр Михайлов («Дворник»), 6) Дмитрий Лизогуб («Дмитро»), 7) Г. В. Плеханов («Жорж», «Оратор»), 8) Валериан Осинский, 9) Александр Квятковский, 10) С. А. Хоризоменов («Сергей Андреев»), 11) М. Р. Попов («Родионыч»), 12) Е. Преображенский («Юрист»), 13) В. Трощанский («Мартышка»), 14) Аарон Зунделевич («Мойша», «Аркадий»), 15) С. Баранников («Сенька»), 16) Ю. Тищенко («Титыч»), 17) Леонид Буланов, 18) О. Е. Николаев («Егорыч», «Юла»), 19) Александр Хотинский, 20) Никандр Мощенко («Хохол», «Мазныця»), 21) О. Аптекман («Осип»), 22) В. Игнатов, 23) Бердников, 24) Сергеев, 25) Тулисов. Все названные лица образовали «основную группу».

В эту «основную группу» были в разное время кооптированы следующие в хронологическом порядке лица в 1877 году: 26 Н. Короткевич, учитель саратовской землевольческой группы, 27) Н. С. Тютчев, рабоче-дезорганизаторской группы Петербурга, 28) В. Н. Фигнер (зимою 1877—78 г.) и летом 1878 г.: 29) М. Фроленко, 30) С. Перовская, 31) С. Кравчинский, 32) Д. Клеменц, 33) Л. Тихомиров, 34) Н. А. Морозов. А на Воронежском съезде: 35) А. Желябов, 36) С. Ширяев, 37) М. Н. Ошанина, 38) Сергеева, 39) Колоткевич, 40) Стефанович, 41) Дейч, 42) В. Засулич, 43) Б. Аксельрод. После Воронежского съезда—44) О. Любатович.

Если к членам «основного кружка» прибавить членов филлиальных отделений, а именно: 45) Севастьянова, 46) Буракова, 47) Александру Богомаз, 48) М. Брещинскую, 49) Новицкого, 50) Новицкую, 51) Хоризоменову, 52) Никольского, 53) Архангельского, 54) Девеля, 55) Гартмана, 56) Федорова,

57) Пекарского, 58) Петерсона, 59) Егорова, 60) Корсака и 61) Николая—слесаря. Итого 61. Примыкало молодежи и рабочих не менее 150 человек.

Таковы наличные силы землевольцев. Скорей их было несколько больше, чем меньше. Я называю исключительно действовавших тогда членов-землевольцев, а не фиктивных, формально только числившихся. Говорю к тому, что в книге «Среди книг» Н. А. Рубакина, среди землевольцев числятся: Ковалик, Войнаральский, Рогачев и Брешко-Брешковская и другие еще. Повидимому, они были кооптированы в крепости на случай их выхода на волю. Но они—увы,—как невольники, остались прикованными к галерам. Все это—«мертвые души», а потому я не считаю их.

Работа предстояла громадная. В виду тех целей, которые себе поставила «Земля и Воля», необходимо было завязать широкие сношения как в обществе, так и среди молодой интеллигенции; необходимо было установить определенные отношения к революционно-народническим группам юга России («южанам») и прочим революционным группам («уральской» группы Н. Н. Смецкой); необходимо было, наконец, привести в известность массу «одиночек»—революционеров такого же народнического направления, как и само общество «Земля и Воля», и так или иначе приобщить первых к последнему. Вся эта работа почти целиком лежала на Марке, и он выполнил ее, по правде сказать, прекрасно.

Весною 1877 года общество «Земля и Воля» уже стояло наготове, во всеоружии, так сказать, чтобы выступить на новый путь революционной деятельности в народе. Общество мобилизирует своих членов для организаций «поселений» в Поволжье и на Дону. Наша организация была еще юная, наша программа новая, наш путь—не проторенный еще путь. Конечно, не мало препятствия еще предстояло нам преодолеть, но мы шли бодро: мы знали, чего мы хотим и куда мы идем. На первых порах нас встретили с недоверием, но это куда ни шло! Это вполне естественно: не слепо же отдаваться новому направлению! Но горько было видеть и слышать, как на нас обрушилась косность мысли, инертность чувств и воли!

В этом отношении первую скрипку играли «лавристы» или, как они стали тогда важно называть себя, «марксисты». Нас насмешливо назвали «троглодитами», обобщая единичные, индивидуальные черты какого-нибудь оригинала из членов «Земли и Воли» в общую характеристику всех членов организации, всей группы. Казанская демонстрация, как я уже выше упомянул, дала еще более обильную пищу всякого рода недоразумениям и всяческим кривотолкам. Целая легенда была создана о нас, и отклики этой легенды слышны были еще много лет спустя.

Но нас это ничуть не смущало. Пусть люди говорят, что хотят, а мы пойдем своей дорогой! Если мы ошибаемся, если заблуждаемся, то это неизбежно: в борьбе мы обретем и возможную истину, и верный путь.

Нас очень обрадовало тогда, когда узнали, что наш маститый социалист, П. Л. Лавров, в это же время выступил с программой, весьма близкой к нашей. Программа эта обнародована в № 48 газеты «Вперед» за 1876 г. Один пункт этой программы настолько характерен, что не могу себе отказать в удовольствии привести его дословно: «Социальная революция,—говорит Петр Лаврович,—должна быть подготовлена тайной организацией революционных сил, действующих путем пропаганды и агитации, пока они не будут достаточно велики для производства обширного революционного взрыва».

Понятно, почему лавристы отказались от своего учителя и переименовали себя в «марксистов»: лавризм в теперешней его эволюции обязывал их работать в деревне, марксизм же открывал им возможность... оставаться в городах.

ГЛАВА X.

Силуэты землевольцев.

1. Марк Андреевич Натансон (он же «Петр Иванович») [1].

Родился Натансон в Вильне, в зажиточной интеллигентской семье, в 1849 году. Родители обожали своего недюжинного даровитого «Макса». Воспитанный на литературе 60-х годов, страстный поклонник Чернышевского, а в особенности Добролюбова (о последнем много мне рассказывал Марк Андреевич уже в Якутской обл., когда мы втроем, Марк с своей женой, Варварой Ивановной Александровой, и я, порой коротали свои бесконечно длинные ночи, вспоминая прошлое), он дал клятву всю свою жизнь следовать великим заветам своих учителей. 19 лет от роду, в 1869 году, поступает в Медико-Хирургическую Академию. И сразу становится центральной фигурой, как лидер студенческих движений и как организатор всяких студенческих учреждений.

По его инициативе и при ближайшем деятельном участии устраивается студенческая библиотека, сыгравшая впоследствии громадную культурно-революционную роль в жизни «медиков».

В то же время он выступал публично на сходках, с резкой, горячей, непримиримой филиппикой против Нечаева и «нечаевщины». Успех имел большой: «нечаевщина» была отвергнута учащейся молодежью.

Как лично Натансон передал мне, Нечаев не замедлил отомстить ему. Как? Я об этом уже рассказал в II главе (со слов же Натансона), а потому не буду повторяться. Напомню лишь, что Нечаев, «нечаевщина» дали непосредственный толчок к организованному строительству петербургской молодежи, сплотившейся тогда в кружок, известный под названием кружка «чайковцев». В этом кружке М. А. Натансон впервые выдвигается, как организатор, строитель, выдающийся практик. Но не только практик. Он— идейный его вдохновитель. Деятельно работает в орга-

[1]) Первоначально этот очерк появился в «Былом», № 16, 1921 г. Здесь, за исключением некоторых,—несущественных, впрочем,—изменений он появляется вторично—как один из привходящих силуэтов картинной галлереи.

низации «Книжного дела», зорко следит за духовными ценностями этого дела. «Азбука социальных наук», наприм., не только проходит через санкцию кружка, но Натансон лично еще вкладывает в «Азбуку» много времени и труда, ведя тщательную корректуру этой в свое время знаменитой книги. За эту «Азбуку» Натансон заплатил так же дорого, как и друг его Флеровский: в 1872 году Натансон был выслан в Шенкурск (Архангельской губ.). За ним добровольно последовала его жена-товарищ, Ольга Александровна Шлейснер. В ссылке Натансон прежде всего занялся пополнением своих знаний. Временами посылал товарищам своим письма, в которых сильно и выпукло вырисовывалось его тогдашнее мироощущение и миропонимание. Он готовится высоко держать знамя революционной борьбы, он зовет к этому товарищей.

Он страстно ищет законченного синтеза теоретического и практического мышления,—по тогдашнему это значило — доктрины, концепции, по настоящему — идеологии. Это настоятельно необходимо, без этого немыслим широкий розмах революционного движения, немыслимо теоретическое и практическое углубление его. «Азбука социальных наук» не удовлетворяет его. Не такая книга нужна. Настоятельно необходима революционная этика, которая санкционировала бы революционное действие,—революцию—как «теоретический и практический разум». Мы читали письма Натансона с восхищением, они были для нас memento vivere, а жить—значило для нас—бороться.

Вернулся Натансон из ссылки,—это была первая его ссылка,—в 1875 году. В виде «опыта» он сначала был переведен в г. Бобров (Воронежской губ.), а потом, благодаря настойчивым ходатайствам тестя его, поручика Шлейснера, Натансона переводят в Финляндию «под строжайший надзор полиции» и за поручительством его тестя. Это собственно было продолжение ссылки, но в смягченной форме. Любопытная черта тогдашних административных порядков. Финляндские власти, получив предписание 3-го Отделения строго следить за Натансоном, чтобы он никуда без ведома и разрешения властей не отлучался, наотрез отказались было принять Натансона: с этим «опасным»-де человеком только неприятности наживешь. Но Натансон

все-таки был «водворен». Но удержи-ка орла в клетке! Натансон исчез скоро—и след его простыл. Его ищут с тревогой власти по всем весям и городам нашей необъятной русской земли, его нет, как нет. А он тем временем делал генеральный смотр всем нашим революционным силам, уцелевшим после разгрома 1874 года, собирал эти силы, сплачивал их и построил в зиму 1876—77 года «Общество Северных народников», принявшее в 1878 году название общества «Земля и Воля». И это была кульминационная точка практического творчества Натансона. Выше этого он, по крайнему моему разумению, не подымался уже. Правда, он продолжал неутомимо работать и строить, но это уже были рутина, навыки, направляемые опытной рукой. В это именно время, т.-е. в 1876—77 годах, я и познакомился лично с Натансоном. В числе делегатов, посланных в Петербург от ростовско-харьковского кружка, находился и я.

На другой день нашего приезда в Петербург Натансон посетил нас на нашей конспиративной квартире, на Бассейной. Вошел мужчина выше среднего роста, шатен, небольшая шелковистая борода, высокий лоб, карие, живые, умные, проницательные глаза, в общем—фигура импонирующая. Впрочем, первое произведенное на меня впечатление было не совсем благоприятное: коробило меня, что слишком уж щупает глазами своего собеседника. Но это впечатление как рукою сняло, как только присмотрелся к нему, и мы обменялись несколькими словами. На прощаньи он пригласил меня, Тищенко и Мощенко к себе:—«Прошу на учредительное совещание. Работы много, много.....». Он сказал это таким тоном, словно мы уже сговорились и приходится лишь все закрепить делом. Вечером мы собрались. Передаю лишь окончательный результат того ночного совещания—учредительного. Принята программа и тактика. Принят устав Общества и форма строения его—строго централизованная. Утвержден, наконец, заранее выработанный уже план ближайших работ и распределения функций между членами общества. Общество конструировалось. Мы крепко пожали друг другу руки—как бы этой внешней формою закрепляя заключение товарищеского союза. Разошлись за полночь—бодрые, полные надежд.

Я задержался в Петербурге еще на некоторое время и переселился на квартиру Натансона, в Лештуковом пер. Натансон работал буквально день и ночь. Он не знал устали. Таким я узнал Натансона в 1877 году. И меня он завоевал,—как завоевал и всех нас, товарищей его. И делалось это само собою. Он обладал удивительным чутьем организатора: тонко улавливал мнения и настроения окружающих и перевоплощал их в живое дело. Собственное его идейное творчество, как таковое, являлось лишь синтезом коллективной мысли его товарищей в частности и окружающих его единомышленников—в целом.

В итоге: он был глашатай и зодчий революционных стремлений, идей и революционных заданий данного момента. Но слепой судьбе было угодно, чтобы как раз в тот момент, когда наше общество твердо стало уже на ноги, Натансон был вырван из нашей среды, брошен в Петропавловскую крепость, где просидел 2½ года,—с мая 1877 года до ноября 1879 года,—когда его перевезли в В.-Волочек, а оттуда он пошел в ссылку в Восточную Сибирь, в г. Верхоленск, где и был водворен. Но и в Верхоленске «божьей милостью, III Отделение не давало Натансону покоя: он переведен был в конце 1881 г. в Якутскую область, в самый отдаленный и гиблый улус,—в Багаянтайский, Якутского округа. Вернулся он в Россию лишь в 1889 году. Около 12 лет подневольного прозябания! 12 годов самой лучшей поры жизни вырзано у Натансона!... В Багаятанском улусе—передавал мне Натансон—ему жилось в первое время так безвыходно тоскливо, что он, этот железный человек, впал было в отчаяние.... Но это была лишь временная, скоротечная аберация светлого крепкого духа. Он встрепенулся и скоро нашел себя. Его удивительная способность ориентироваться в среде новых обстоятельств и окружающих людей вынесла его из мрака на великий простор жизни. Он быстро научился говорить по-якутски, что, само собою, сблизило его с якутами. Он вошел в личные и общественные их интересы, при случае помогал им своими советами и, таким образом, его стражники превратились в самых преданных ему людей. Они открывают ему, что в одном тоже диком и забытом богом и добрыми людьми «наслеге» (это—часть улуса, как деревня—часть волости) живет та-

кой же «нюча» (русский), как он, Натансон, что за этим «нючи» тоже приказано строго-настрого смотреть. Если «улахан тайон» (большой господин), т.-е. Натансон, желает, то они готовы привести «нючу». И вот во едину от суббот к Натансону привезли «нючу». Какая радость! «Нюча» оказался рабочим Алексеем Петерсоном,—старым товарищем Натансона еще по кружку чайковцев. Петерсон погостил у него некоторое время, а потом и совсем переселился к нему. И в темную, как склеп, жизнь Натансона блеснул луч света.

Через полгода, приблизительно, Натансона переводят в Батуруский улус. Там уже «жили-были» многие хорошие товарищи—и административные и бывшие каторжане. Между прочим, там были землевольцы Н. С. Тютчев и И. Л. Линев .Натансона поселили в наслеге в 25—30 верстах от слободы Амга, где уже жили административные, В. Г. Короленко, рабочий Ромась и ссыльно-поселенец долгушинец И. И. Папин. Целую зиму и часть весны Натансон прожил не в своем наслеге, а на Чуропче, где в близости жили Тютчев и Линев и некоторые каракозовцы. Вскоре на Чуропчу добровольно прибыла В. И. Александрова (по процессу «50»), с которой Натансон и обвенчался. Вслед за этим Натансоны перебрались в свой наслег. Я же в то время жил в Усть-Майском, в 200 верстах от Амгинской слободы. Неожиданно получаю записку:—«Дорогой Осип! не тужи! скоро увидимся.... Обнимает тебя твой Марк». Я вскочил: Марк! Марк! это его характерный размашистый почерк. Я все время не находил себе места от радости. Вся прожитая мною в «Земле и Воле» жизнь моя—лучшая полоса моей жизни,—ожила в моей памяти, ожила так выпукло и ярко, словно грезы на яву или галлюцинация.... Ждал с нетерпением дальнейших разъяснений. Но Натансон был скуп на писанье и, вместо письма от него, в одно прекрасное весеннее утро является нарочный из Якутска с «гумагой» (бумагой) от губернатора: перевести меня немедленно в слободу Амгу. Я—в Амге. Меня первый встретил Натансон. Горячая встреча. Посмотрел на него любовно: полуголый, точеный череп, большая посеребренная голова, мужественная осанка, те же неотразимо прекрасные глаза. Тот же, но возмужалый, окрепший, утвердившийся окон-

чательно и физически и духовно. Опускаю интимные наши разговоры о дорогих нам тенях—о Софье Перовской, Ольге Натансон, Лизогубе, Осинском, Квятковском... Я расскажу здесь о том, что особенно меня занимало: о революционных взглядах Натансона—как они постепенно развертывались передо мною, не только из интимных наших бесед с глаза на глаз, но и публично—из обмена мыслей с нашими товарищами по ссылке, приезжавшими к нам в Амгу, куда впоследствии окончательно переселились Натансоны. Скажу уже попутно, что Натансоны попали в Амгу после того, как они просидели в Якутской тюрьме с полгода за попытку бежать (собирались бежать Натансоны, Тютчев, рабочий Федоров и я). Попытка не удалась, вследствие болтливости и небрежности уголовного поселенца, предложившего нам свои услуги. Поселенец, чтобы искупить свою тяжелую вину перед нами, поджег здание, где хранилось следственное дело со многими вещественными уликами. Благодаря этому, дело о побеге было «прекращено производством»—и Натансоны отправлены были в Амгу. Вот с этого-то времени и потянулись к нам товарищи беспрерывно,—кто в одиночку и парами, а то группами, в 10—15 человек. Гостили у нас по нескольку дней под ряд. Эти периодические съезды имели для нас, ссыльных, громадное революционно-воспитательное значение; они отвлекали нас от серых, докучливых будень и сосредоточивали наше внимание на высших интересах.

Эти «асамблеи» заменяли нам семью: тут мы находили отдых, мир, отраду душе; тут мы делились своими мыслями, чаяниями и стремлениями, проверяя себя, черпая силу, поддержку в предстоящей многим из нас долгой еще жизни в неволе. Тут же выступали мы с первыми своими литературными опытами. Короленко прочел нам «Сон Макара» и «Соколинца», Серашевский—свои первые якутские очерки, Виташевский познакомил нас с своими интересными записками по обычному праву. Я читал свои «Воспоминания» об обществе «Земля и Воля».

Натансон дополнял их своими важными указаниями. Среди нас Натансон был живым хранителем революционных традиций, живым аккумулятором революционных настроений, дел и предприятий. В старину были такие певцы, тру-

бадуры, баяны и мудрые старики, воспевавшие и передававшие от поколения к поколению подвиги «героев». Натансона слушали с большим интересом, ибо он знал то, чего другие или совсем не знали, или знали лишь из вторых рук. Он все освещал с определенной точки зрения: слышалась прямота, не знающая уступок, слышалась твердость, не терпящая уклонений в сторону. От частных вопросов, как водится, переходили к общим: поднимались вопросы «идеологии», «программы и тактики» (тогда мы этих терминов не употребляли еще, а говорили: «доктрина», «учение», «методы и приемы борьбы»). Много времени было потрачено, много копий поломано о роли и значении в революционной борьбе сектантства, современной общины, капитализма у нас в России. Ведь по всем этим вопросам появились тогда капитальные исследования. Но особенно дебатировались злободневные, так сказать, вопросы: вопрос о терроре, систематическом терроре и о политической борьбе, в самом широком объеме этого слова. Ведь она, эта политическая борьба, выдвинута тогда, как реальный элемент, на первый план революционного действия. Думаю, что буду совершенно объективным, если формулирую окончательный вывод из нашего многократного обмена мыслей так: в нашей старой, народнической, бунтарской и аполитической идеологии произошел решительный сдвиг в сторону народовольчества, с неизбежными в таких случаях отклонениями и оттенками,—не существенного, впрочем, характера. Это относится исключительно к «старикам»: Натансону, Тютчеву, Линеву, пишущему эти строки и некоторым каракозовцам и многим, многим другим. «Молодые» же, которые только что появились в Якутии, как, например, Подбельский, Коган-Бернштейн, Рубинок и проч. пылали, само собою, чистым, ничем не прикрашенным, идеальным народовольчеством. Они не нуждались ни в каких сдвигах и высоко держали знамя народовольчества.—В 1889 году Натансон вернулся из второй своей ссылки. Поселился он в Саратове, нашем излюбленном, по революционным традициям, городе. Я вернулся тогда из-за границы, выдержал экзамен на практического врача и получил место в Саратовском уездном земстве. Здесь Натансон взялся за старое

свое привычное дело: за стягивание, собирание и сплачивание революционных сил. В Саратове оказались для этого подходящие силы: вернулись из ссылки братья Степановы, А. Л. Блёк, оказались местные, хорошо подготовленные революционные элементы. Приезжал в Саратов и Н. С. Тютчев. Тут-то и созрела мысль о построении нового революционного общества, тут-то и сказался наглядно тот сдвиг в «стариках», о котором только что говорил. Общество имелось в виду построить на широкой **общественной** базе, с привлечением к этому делу оппозиционно настроенных элементов широких общественных кругов. Подготовительная работа была уже сделана наличными саратовскими революционными силами в 1892 году. Само же общество «Народное Право» конструировалось в 1893 году. Во главу угла программы этого общества поставлена **политическая** свобода и борьба за добывание ее [1]). Общество «Народное Право» не долго жило, ни в чем не успело проявиться: оно пало под ударами Д. Г. П. и быстро сошло со сцены. Натансон снова попадает под крепкий запор, а в начале 1896 года отправляется по торной дороге—в ссылку, в Восточную Сибирь на пять лет. Я переписывался с ним изредка, исполняя личные и общественные его поручения. Встретились мы, после 13-летней разлуки, в Берне (Швейцария), в 1907 году. Предо мною предстал патриарх, белый, как лунь, с большой окладистой, седой бородой, с тусклыми глазами и загадочной улыбкой—не то горечи, недоверия и презрения. Орел, с подбитыми крыльями. Натансон стал хворать. Он лечился в санатории проф. Салли от язвенного катарра желудка. Некоторое время спустя, не оправившись еще от желудочной своей болезни, он заболел тяжелым недутом, требовавшим хирургического вмешательства. Врачи почему-то все откладывали хирургическое вмешательство—и Натансон буквально превратился в мученика болезни. Он переселился в Лозанну, и мы часто видались. Нередко он неделями, в мучительных страданиях, был прикован к постели. Но, изнемогающий и страдающий, Натансон не сходил с своего боевого поста: как представи-

---

[1]) Более подробно говорю об этом в статье моей «Партия Народного Права», Былое, № 7, 1907 г. *А.*

тель заграничного Центрального Комитета партии социалистов-революционеров, он с неустанной энергией направлял товарищей-эмигрантов и в то же время следил за работой других социалистических партий как русских, так и западно-европейских. В Лозанне, где окончательно обосновался Натансон, дом его стал центром тяготения для многочисленных эмигрантов, различных направлений и фракций. И всегда было так, куда бы судьба ни забрасывала Натансона. И в почти перманентной ссылке, и в сравнительно короткие промежутки на воле,—он всегда являлся центральной фигурой, вокруг которой группировались, сплачивались, организовывались революционные и оппозиционные элементы. Связи были у него обширные, прочные, влияние его было неотразимо. Он—прирожденный организатор. Недаром прозвали его «собирателем русской земли», а в Лозанне—«Королем Лозанны»—не в шутку, а всерьез. — В августе 1919 года телеграф принес печальную весть из-за границы, что Марк Андреевич Натансон скончался. Ушел от нас навсегда один из самых ярких и выдающихся представителей революционного движения в России,—человек огромной энергии, железной воли и крупных организаторских способностей, всю долгую жизнь свою,—с юношеских годов до глубокой старости,—отдававший делу революционной борьбы за народное освобождение. Не сломали его тюрьма и ссылка, ссылка и тюрьма, изгнание, а свалил его медленно подкрадывавшийся злой недуг. Около пяти лет тяжко болел Натансон... Натансон и революционная борьба—синонимы: он не мог жить без революционной борьбы. Пятьдесят ровно лет стоял он стойко на славном посту. Он совершил, повидимому, полный цикл своего революционного бытия. Он ушел во-время.

Но он вписал свое имя в историю революционного движения в России, он отдал революции свою жизнь. И красивая то была жизнь.

---

2. **Ольга Александровна Натансон**, урожденная **Шлейснер**.

Родилась в шведской дворянской семье. Это была хорошая, дружная, с благородными традициями, семья. Отец ее—военный, вышел в отставку в чине капитана. Брат ее,

Виктор, артеллерист, состоял в кружке братьев Богдановичей и, в качестве пропагандиста, работал на их ферме и в кузнице, совместно с Оболещевым, Адрианом, Михайловым, Е. Карповым и другими.

Сестра ее, Шлейснер—Лаур, тоже близко примыкала к пропагандистской молодежи. Молодой еще девушкой, Ольга Александровна вступает в кружок сестер Корниловых, С. Перовской и др. и вместе с ними проходит ту суровую школу самоутверждения, наложившую впоследствии такую характерную печать на развившуюся из этой маленькой женской ячейки организацию чайковцев. В этой-то организации Ольга Александровна и получила свою революционную закалку, свою административную выучку, революционную выдержку и такт. И эти золотые для организации способности сочетались у нее с удивительной душевной красотой и сердечностью, притягивающими неотразимо к ней окружающих. Ее не только нежно любили, но и глубоко уважали. Впервые я познакомился с Ольгой Александровной зимою 1876—77 года, когда начала строиться народническая организация «Земля и Воля». То было вечером в квартире Натансонов, во время учредительного совещания. Неправильные черты лица, большой открытый лоб, с зачесанными назад остриженными каштанового цвета, волосами, два чудных искрясящихся глаза. На щеках два ярких пятна. Она сосредоточенно слушает чтение программы, зорко следит за прениями. Ее присутствие в нашем совещании не бросается в глаза, но оно, тем не менее, ощущается нами, как крепкое единство, как неотразимая спайка. Ни следа позы.—«Пафос позы не есть принадлежность величия; кому нужны вообще позы, тот лжив... Берегитесь всех живописных людей!» Так говорит Ничше в Ессе Hommo. Ольга Александровна не была «живописна».

На совещании, между прочим, было решено, в Саратове устроить административный «центр» для народнического поселения в губернии, и на Ольгу Александровну была возложена миссия заняться организацией этого центра. Миссия ответственная. Саратовский центр формируется, люди по нему стягиваются, поселение закладывается, необходимые в городе связи устанавливаются. Но недолго Ольга Александровна остается в Саратове: арест Марка Андре-

евича Натансона экстренно вызывает ее в Петербург, где она незаменима, так как в ее руках многие важные связи. В Петербурге, в качестве члена «центра», Ольга Александровна вполне развернула свои организаторские, объединительные способности.

Тесным кольцом окружают ее Сабуров-Оболешев, Адриан Михайлов, Александр Квятковский, Г. В. Плеханов, Зунделевич, Буланов и другие.

Еще при самом возникновении организации «Земля и Воля», А. Д. Михайлов был поражен организаторскими дарованиями Ольги Александровны. В своей «Автобиографии» он, между прочим, говорит:—Я был счастлив, что стоял на желанной дороге, я уважал и высоко ценил своих новых товарищей. Но и в новой среде я, Оболешев и Ольга Натансон выделялись горячим отношением к организационным задачам». И действительно. «Организационные задачи» становятся во главу угла административной работы петебургского «центра». И Ольга Александровна становится душою этой работы. Уже зимою 1877 года работает «Вольная Русская типография»—детище исключительно Зунделевича. Энергично делаются все необходимые приготовления к изданию своего центрального литературного органа. Я хорошо помню наши совещания на счет того, как назвать будущий орган. Решено дать ему имя «Земля и Воля». Намечены уже редакторы, вызываются для этого из-за границы Кравчинский и Клеменц. Зиму 1877—78 года я, по независящим от меня причинам, пробыл 1½—2 месяца в Петербурге, и я изо-дня-в-день видел, какую большую работу делала Ольга Александровна со своими товарищами по «центру». Тихо и безшумно делала она наше общее дело. Тиха была ее речь, когда она высказывала заветные желания, свои сокровенные думы. Тихие речи—буревестники: диктует их сильная, глубокая, сосредоточенная эмоция... И родит эта эмоция дело, за которое люди готовы отдать свою жизнь. Ольга Натансон знала *такую* страсть, она делала *такое* дело. Но вот все текущие дела исполнены. Ольга Александровна отдыхает. Говорят, что по делам познается человек. А я прибавлю:—а также по тому, как он отдыхает. В отдыхе раскрывалась другая, обыкновенно глубоко сокрытая сто-

рона красивой душевной жизни Ольги Натансон: неистощимый источник ее жизнерадостности, полнота ее ощущений и переживаний, яркая игра ее душевных движений, ее гордо утверждающую жизнь воля. Я не видел еще такого человека, который бы так умел смеяться, школьничать, дурачиться, как это делала наша Ольга Александровна. Она увлекала за собою сурового Оболешева, Квятковского, Зунделевича и меня. Заражала нас своим здоровым смехом. И мы дурачились, смеялись, переворачивали вверх дном нашу комнату. Много содействовало нашему товарищескому веселью присутствие прекрасного ребенка Квятковского. Мы все няньчили его по очереди, забывая на время наши суровые обязанности. Ольга же была в эти минуты—воплощенная доброта: сердце, великое сердце! Много светлых, чистых часов я переживал в те 1½—2 месяца зимы 1877—78 г., когда я имел возможность близко узнать нашу Ольгу Александровну и весь наш «центр».

Было холодное, раннее февральское утро. Густой, желтый туман застилал глаза. Я пробирался в то время в 5-й этаж Знаменской гостиницы, где занимал комнату Оболешев. Я застал у него Ольгу и Зунделевича. Прощальное утро. Я через час уезжаю в деревню. Не говорится что-то, точнее: говорится о пустяках. Ольга Александровна сидела печальная. Как мать глядела она на меня, словно похороны, словно на век прощаемся... И то—«последнее прости!»... Как мы распрощались!.. Никогда не забуду...—Осенью 1878 года наш «центр» разгромлен: Ольга Натансон арестована и заточена в Петропавловскую крепость. Здесь злой недуг доканал ее: таяла, таяла быстро, как свеча...

В начале 1880 года и я попал в крепость. На другой день пребывания моего в крепости, Ольга шлет мне привет: —«не грусти, Осип!» О себе—ни слова, о других все думает... Не перестукивается,—говорили мне товарищи,—не перестукивается, устает, еле-еле дышет... Судил ее, почти умирающую, петербургский военно-окружный суд 14 мая 1880 года. Присудил ее к лишению всех прав и состояния и ссылка в каторжные работы на заводах на шесть лет. «Диктатура сердца», в лице Лориса-Меликова, утвердил этот приговор военного суда. Но по «Высочайшему повелению», каторга заменена «поселением в отдаленнейших местах Во-

сточной Сибири». После суда Ольгу Натансон, после 2-х лет и 7 месяцев предварительного заключения в крепости, переводят в дом предварительного заключения. 5 июня 1880 года тюремный врач свидетельствует Ольгу Натансон и находит, что она не вынесет тяжелого пути в Сибирь. Ее оставляют в маленькой душной камере Д. П. З. и помещают в ее камеру душевно-больную Малиновскую, дважды уже, почти на глазах Ольги Натансон, покушавшуюся на самоубийство. Можно себе представить, что переживала страдалица Ольга! Тюремное начальство и то нашло невозможным дальнейшее сожительство больной Ольги Натансон с душевно-больной. 13 августа 1880 года Ольгу Натансон вторично свидетельствует комиссия, во главе с столичным инспектором врачебной управы. Комиссия приходит к заключению, что болезнь Ольги Натансон до того ухудшилась, что дальнейшее пребывание ее в Д. П. З. причиняет ей невероятные страдания. 1-го сентября 1880 года ее переводят в больницу женского отделения петербургского тюремного замка. Ольга Натансон тает, тает... Отец бьет челом, чтобы облегчить ее участь: просит заменить поселение «в отдаленнейшие места», ссылкой в Иркутскую губ., где ее муж, Марк Натансон. Просьба уважена. Но как ее отправить? Ведь она чуть жива, на ладан дышет... Сестра ее, Лаур-Шлейснер, настойчиво подает прошение за прошением Лорису-Меликову, умоляя его отдать ей сестру на попечение. К ее просьбе присоединяется председательница попечительного общества о тюрьмах, принцесса Ольденбургская, рисуя душуразрывающую картину страданий Ольги Натансон. Это было уже в начале января 1881 года. Лорис-Меликов сухо отвечает отказом: Лаур-Шлейснер политически-де неблагонадежная, хотя и родная сестра Ольги Натансон (ответ датируется 16 февраля 1881 года). Наконец, является великодушный действительный статский советник, согласившийся взять Ольгу Натансон на поруки. 25 февраля 1881 года «повелено Высочайше дозволить Ольге Натансон жить в пределах Орловской губ. впредь до выздоровления за поручительством Д. С. С. Савватова». 16 марта 1881 г. Ольга Натансон умерла на руках родных... Угасла красивая жизнь. Навсегда ушла от нас Ольга—душа «Земли и Воли»...

3. Александр Дмитриевич Михайлов.

Если Марк и Ольга Натансоны были строителями общества «Земля и Воля», Марк—головой этого общества, Ольга—сердцем его, то Александр Дмитриевич Михайлов был, по справедливости—щитом, бронею общества, все время, вплоть до того рокового момента, когда общество «Земля и Воля» не умерло естественной смертью. Александр Дмитриевич был катоном-цензором нашего Общества, оберегал его от распада примером собственной «дисциплины воли», которую он так горячо защищал среди своих товарищей-землевольцев, и беззаветной преданностью своей революционному делу. Ясная, последовательная мысль. Не разбрасывалась она по сторонам, не уходила в мелочи, а всегда схватывала суть вопроса, общее и единое в массе конкретных, частных явлений. Как мыслил, так и действовал. Зорко следя за тем, чтобы строго выполнялись членами организации все частные дробные функции, возложенные на них, он, вместе с тем, ни на минуту не упускал из виду общей направляющей идеи и системы всего дела, во всей его совокупности. И никогда он не отступал от этого. В виду недостаточности сил в организации, в виду строгого подбора их, он настойчиво требовал от товарищей развивать в себе не только специальные функции, необходимые для организации, но и навыки строительные, организационные, объединяющие и согласующие общую работу организации,—без чего и нормальное бытие организации невозможно. На практике это значит: будь готов во всякое время заменить почему-либо выбывшего из рядов товарища! будь готов во всякое время, когда тебя призовут! будь готов, ибо ты не только часть целого, но и живое воплощение всего целого!

Считая себя самого только частью целого, он, тем не менее, так проникнут этим целым—его идеей, системой и практикой,—что не может даже представить себе, как можно ограничить себя одной только дробной функцией. Он настойчиво, упорно и долго работал в этом направлении и достиг-таки своего—выработал из себя отменного организатора и администратора. Требуя этого от себя, он беспо-

щаден и к другим. «Ты должен, а потому ты можешь!» — был категорический императив А. Д. Михайлова. Как-то раз в Саратове Михайлов обратился ко мне и к Плеханову с предложением прочесть вместе какую-то диковинную раскольничью книгу, которую он выкопал у своей столетней реликвии—старушки-раскольницы в Саратове. Я взглянул на Плеханова: насмешливые искорки запрыгали в его глазах, а я прямо завопил: есть у меня более важное и неотложное, что надо прочитать... Куда! Михайлов на дыбы:— «Не хотите? так пусть нас рассудит ближайшее собрание товарищей!»... Ничего не поделаешь, и мы готовились было уж страдать. К счастью, нас выручил случай: Михайлова экстренно вызвали его раскольники в деревню. И Михайлов был безусловно прав—и с формальной стороны, и по существу. С формальной — это было согласно с уставом организации, по существу—это вытекало из основоначал нашей программы: последняя работу среди раскольников считала столь же необходимой и важной, как и всякую другую работу в деревне (агитацию, напр., на почве народных требований и т. п.). Значит, при наличности наших сил, каждый член организации должен был изучать раскол не только теоретически (что и делалось), но, по возможности, и практически, чтобы, в случае надобности, быть на этом посту. А. Д. Михайлов этого именно и добивался в строгих своих требованиях, предъявляемых им товарищам по «Земле и Воле». Надо использовать все силы нашей организации в самом разнообразном направлении: в этом залог ее крепости, роста и успешности ее работы. И он первый подавал пример этому: он и в администрации, он в то же время ведет разнообразные сношения с представителями различных групп молодежи и широких кругов общества, он незаменимый и постоянный член редакционной коллегии, он деятельно, живым своим участием, поддерживает и обеспечивает успех стачечного движения на заводах и фабриках Петербурга осенью 78 года, а особенно весною 1879. И т. д., и т. д. Он, одним словом, неутомим, неистощим, вездесущь и всеведущь, — можно сказать. Он—«Петр» нашей организации, «камень», на котором покоилось общество «Земля и Воля». Недаром же товарищи глубоко уважали его, а иные, более близкие,

крепко любили. Уважали, любили и... побаивались... Таким я знал А. Д. Михайлова, таким он оставался неизменно все время, пока был за революционной работой. Верховным критерием этой работы было — торжество революционного дела. «Централизация и дисциплина воли» (любимое выражение Михайлова)—орудия, при помощи которых это торжество достигалось.—«Если вы приняли программу кружка, если вы сделались членом организации, то в основных пунктах у вас не может быть разногласий с большинством членов. Вы можете разойтись с ними во взглядах на уместность и своевременность поручаемого вам предприятия, но в этом случае вы должны подчиниться большинству членов. Что касается меня, то я сделаю все, что потребует организация. Если бы меня заставили писать стихи, я не отказался бы от этого, хотя и знал бы наперед, что стихи выйдут невозможные. Личность должна подчиниться организации» [1]).

В этих словах А. Д. Михайлов — весь, как на ладони. Не думая и не гадая об этом, он дал исчерпывающую собственную характеристику свою.

Он не может работать один, хотя он золотой работник в своем деле. Ему нужна система, согласованная во всех ее частях, нужна, словом, организация, превращающая единичную, индивидуальную волю—в коллективную. Он не может думать один на один: он силен и неуязвим общей только думой, соборной мыслью.

Его стихия—сплоченная, объединенная мысль и воля. Тут он на своем месте, тут только развертываются все организующие силы его, все строительные дарования его. И А. Д. Михайлов доказал это на деле, показал это за работой своей на недолгом своем революционном поприще, запечатлел это своим самоотверженным ригоризмом, беззаветностью—как член общества «Земли и Воли», так и партии «Народной Воли». И там и тут он остался верен самому себе. И я закончу мою слабую характеристику А. Д. Михайлова (Дворника», как мы, землевольцы, называли его) прекрасными заключительными словами Плеха-

---

[1]) Воспоминачия об А. Д. Михайлове. Сочинения Г. В. Плеханова, стр. 115—116 т. I. Библиотека научного социализма. Женева. 1905 г.

нова: — «...подобно Лермонтовскому Мцыри «знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть: этой думой было счастье родины, этой страстью была борьба за ее освобождение» [1]).

4. Георгий Валентинович Плеханов.

Он был самый молодой среди нас. Но уже и тогда он выделялся своей эрудицией, гибким острым умом, живым, с огоньком, словом.

За это последнее мы его прозвали «оратором». Под этой же кличкой он выступил 6-го декабря 1876 года во время «Казанской демонстрации». Познакомился я с ним в первый раз в 1875 году, в Петербурге.

Как-то встречаю на улице гимназического своего товарища, Успенского. Зовет к себе, с ним сейчас живет интересный юноша, студент Горного Института. Ладно!—ответил я. Действительно, интересный юноша. Типичный по внешности студент. Среднего роста, стройный, небольшая темнорусая, лопатой, бородка, каштанового цвета волосы на голове, мягкими прядями падающие назад, белый, как мрамор, высокий лоб, карие, слегка минаделовидные глаза. Лицо в общем приятное, оригинальное. Особенно—живые, острые, порою насмешливые глаза. Разговорились. Как водится, подняли спор. Не помню сейчас всех подробностей нашего спора, но фигурировала здесь,—и это я помню хорошо,—статья Михайловского «О счастьи». И опять прекрасное впечатление. Что-то свое, вызывающее, горячее. Чуется талант, способность к самостоятельному мышлению. Чувствуется темперамент. Славный юноша. Повидимому, много работает по своей специальности: комната вся уставлена химическими снарядами, ретортами, колбами, банками и прочими химическими принадлежностями. На полках и на столе книги. Много книг. И не только по естествознанию, но и общеобразовательных, серьезных книг много. Очевидно, читает много. Встретились мы опять, но уже как товарищи по «Земле и Воле», в Саратове, где в 1877 году осела порядочная колония землевольцев для организации деревенских поселений в губернии. Это было наше ближай-

[1]) Там же. *А.*

шее задание от нашего «центра» в Петербурге. «Жорж» (Плеханов) остался в г. Саратове и выступал в кружках молодежи и рабочих. И очень удачно. Рабочие были прямо в восхищении от него, высоко ценили, гордились им. По моей просьбе Плеханов написал основные положения народничества. Надо было передать в один кружок местной молодежи. В один присест написал программу—быстро, листки так и летели, писал на-бело. Написано ясно, сжато, выразительно. Вот эту-то программу Плеханов пропагандировал рабочим и молодежи. Молодежь он также быстро завоевывал, но порою также скоро и терял. Завоевывал своей эрудицией, даром слова, темпераментом. Терял же, благодаря своему задору, своей своеобразной полемике,—этому жалу, которым он тогда уже умел чувствительно ранить своего противника. Уже тогда он был не в меру резок и нетерпим. В Саратове он все порывался в деревню, «в народ». Но обстоятельства так неблагоприятно складывались для него, что все попытки его в этом направлении терпели неудачу. Я был решительно против поселения Плеханова в деревне. Я говорил: деревня не его стихия. Он бы только завял там. Его арена—город, с его широкими общественными запросами, с его умственным движением. Да и в самом Саратове он был незаменим. В Саратове уже в то время были кружки учащейся молодежи, и зарождались ячейки среди рабочих. Стало быть, почву под ногами имел в Саратове Плеханов,—значит, ему работы не занимать стать. Но случился провал всей нашей группы в Саратове. И Плеханов, как и многие другие, бежал в Петербург. Здесь-то он стал развертываться и выпрямился во весь рост, во всем блеске творческих молодых сил: и как пропагандист-агитатор среди молодежи и рабочих, и как литератор. Зимою 1877 года, под влиянием «Казанской демонстрации», продолжавшей еще тревожить молодежь, а, главным образом, под влиянием неокончившегося еще тогда «процесса 193», выстрела В. Засулич—молодежь сильно волновалась.

Наш «центр» решил использовать это волнение. Вести агитации среди молодежи поручено было Плеханову, Попову, Преображенскому и пишущему эти строки. Предполагалось устроить внушительную демонстрацию с подачей адреса министру юстиции, Палену. Адрес был написан Плехано-

вым—сжато, сильно. Напечатан в землевольской «вольной типографии» и пущен предварительно в обращение среди молодежи. Демонстрация не удалась, но агитация не прошла бесследно. Плеханов неутомимо агитировал, пропагандировал народническую программу. Я был тогда неразлучен с Плехановым. Мы ютились у студентов, то у одних, то у других,—своего угла не имели. Это нас, впрочем, не особенно тяготило: мы как-то умудрялись, сидя по углам, работать. Плеханов тогда много читал и с выбором. Поразительная у него была память. Он не нуждался ни в заметках, ни в извлечениях. Нужна ему какая-нибудь справка, он подходит к полке, берет нужную ему книгу, раскрывает ее на той именно странице, где нужная справка имеется. И замечательно—память его с годами ничуть не ослабевала. Немудрено, что работа его отличалась такой высокой производительностью. Я никогда не видел его праздным, мечтающим, в состоянии dolce far niente. Не любил он пустых разговоров, не выносил он фразы, красивых жестов. Беседовать—значило для него мыслить вслух, сообща, при чем эта беседа была обворожительна как по содержанию, так и по форме. Сколько чудных таких разговоров, с глазу на глаз, переживал я с ним! Сколько оригинальных мыслей, метких сопоставлений порою проникнутых неподражаемым юмором, высказывал он! Помню—это было в начале 1879 года—появились статьи А. Ефименко «Трудовое начало в воззрениях народа» (точно заглавия не помню).—Мне они, эти статьи, очень понравились, я предложил их Плеханову для прочтения. Плеханов прочел их и, к изумлению моему, не пришел в такой восторг, как я.

«Почему, Осип,—обратился он ко мне с насмешливым огоньком в глазах,—так увлекли тебя эти статьи? Слова нет, кое-что интересное есть в них, но основная их мысль—трудовое начало—не социалистический принцип, а типично буржуазный. Трудовое начало—уже результат начавшегося распада первобытного коммунизма, когда экономическое расчленение в общине пошло уже далеко. Раньше не трудовое начало регулировало взаимные отношения в общине, а коллективизм, если хочешь—коллективное трудовое начало, а не индивидуальное. Наш идеал, как окончательный синтез социально-экономического процесса, имен-

но коллективизм. К нему нас зовет научный социализм, к нему мы должны аппелировать каждый раз при оценке удельного веса того или другого факта в области теоретического знания». Признаюсь, я был поражен этой совершенно неожиданной для меня аргументацией Плеханова, своеобразной способностью его вскрывать Pudelskern всякого сложного вопроса. Богато одаренная натура, Плеханов не мог, само собою, удовлетвориться исключительно познавательной, идейной работой: натура боевая, он страстно искал практической деятельности, арены, трибуны... И в агитации он развертывался и выростал. А наша тогдашняя русская действительность давала ему для этого достаточно стимулов: взрыв на Васильеостровском патронном заводе (1877 г.), ряд рабочих стачек в Петербурге в 1878—79 годах. Не один, конечно, Плеханов работал тут: агитировали с ним и другие товарищи-землевольцы, бывшие тогда в Петербурге, и привлеченные к этому делу передовые элементы рабочих и молодежи, но первую скрипку, по справедливости, всегда играл Плеханов.

Агитация его среди рабочих описана им самим просто и правдиво в его «Русском Рабочем в революционном движении».

Весною 1879 г. Плеханов и я читали лекции петербургским рабочим по русской истории. Вступительную лекцию прочел Плеханов.

Тема—русские народные движения: бунты Разина, Пугачева и Булавина. Лекция его построена была красиво и прочтена была с большим подъемом. К сожалению, «вихрь злобы и бешенства» ураганом понесся по нашей безответной родине, особенно после 2-го апреля (покушения Соловьева на Александра II) и разметал все наши начинания: массовые аресты и высылки, разгромлен «Северно-русский рабочий союз», разгромлена и наша рабочая конспиративная квартира. Мы едва спаслись. Лекции прекращены.

В 1878 году мы видим уже Плеханова в рядах редакции «Земли и Воли». Ему принадлежат две руководящие статьи в №№ 3 и 4, под заглавием: «Закон экономического развития и задачи социализма в России». В этих двух статьях центрального землевольческого органа Плеханов уж готов, как литератор, с определенной яркой писательской ин-

дивидуальностью. Это, по-моему, лучшее, самое содержательное, что было написано в подпольи по вопросу о революционном народничестве.

Статьи его в «Черном Переделе» представляют лишь дальнейшее развитие основных предпосылок названных статей в «Земле и Воле». «Диалектическое мышление»—дает уже себя чувствовать. «Тощее», но содержательное красноречие,—в противоположность «жирному» большинства подпольных изданий [1]). Плеханов—готов, окристаллизировался, как законченная духовная личность. Жизнь, работа мысли обогатят его ум знанием, но ничего не прибавят к особенностям его духовной организации: его своеобразный познавательный аппарат, с его своеобразными приемами познавания, усвоения и диалектики, был уже тогда, когда он был землевольцем и чернопередельцем, совершенно готов.

Я мог бы, оставаясь близким к истине, дать такую характеристику духовной индивидуальности Плеханова: по п о з н а в а т е л ь н ы м своим наклонностям он — исследователь, ученый, философ; по темпераменту—публицист, воин, трибун. Создаваемые им—самостоятельно или несамостоятельно, все равно—ценности становятся интегральной частью его духовного бытия, сплавляются с его духовной личностью, а потому становятся для него не только объективной, но и субъективной ценностью, за целостность и сохранность которых он готов душу положить. И будет он те ценности оборонять от врагов своих всеми мерами sans trêve ni merci. Таков уже был Плеханов в юные и молодые годы, таким остался он и в зрелые. Не знает он половинчатости в сфере познания, чужд и отвратителен ему всякий эклектум, а потому так суров, жесток он ко всякой теоретической мешанине, беспощаден в своей полемике к вилляниям, в роде «с одной стороны нельзя не сознаться, но с другой стороны — должно признаться». И потому-то Плеханов так непримиримо, зло, саркастически борется с товарищами по редакции «Земли и Воли», а затем с товарищами-землевольцами на Воронежском съезде, на котором он оказался таким одиноким, чуждым, что вышел из

[1]) Древнис различали два типа красноречия: «тощий» и «жирный». «Тощий» — кра ок категоричен, содержателен. «Жирный» — расплывчат многословен содержание конфузно, нередко и сумбурно. *А.*

организации, когда убедился, что товарищи его свернули старое знамя,—не свернули, а только пока спустили. Так же страстно впоследствии боролся он с народничеством и с субъективной философией в социологии, с одной стороны, и бернштейнианством и ревизионизмом—с другой. Можно восставать против некоторых специфических приемов его полемики, но нельзя отрицать его глубоко честной мысли, его несокрушимого убеждения в истинности своей идеологии. Он может с правом сказать: hier stehe ich und kann nicht anders—на этом стою я и не могу иначе...

В 1879 году Плеханов впервые выступает в легальной литературе: он помещает статью в народническом журнале «Устои», редактируемом известным беллетристом-народником Златовратским. К большому сожалению, я никак не могу припомнить заглавия его статьи. Помню только, что была написана по поводу нашумевшего тогда в литературном мире «Сборника статистических сведений по Московской губернии».

Статья Плеханова так понравилась Златовратскому, что последний предложил «начинающему» только писателю стать постоянным сотрудником журнала.

Зима 1879 года была, думается мне, самая тяжелая пора в жизни Плеханова. Не нытик был «Жорж» по натуре своей, и помину не было в нем этих разных «надрывов», «гамлетовщины», бесплодных и бессильных исканий—ковыряний в собственной душе... Он был тогда, словно яблочко наливное, полон кипучей энергии и ищущих приложений, духовных и душевных сил. А выпало на его долю—трижды проклятое «безвременье»: как чернопеределец, он был не ко двору, а сдаваться не хотел, не мог: крепко держало его еще в руках отмирающее уже народничество. И он настойчиво, энергично работал еще в этом направлении, выбиваясь из всех сил, чтобы как ни как заклепать это растрескивающееся по всем швам изношенное суденышко.

Мы работали вместе. Готовили первый № «Черного Передела». Изредка перебрасывались несколькими словами. Плеханов работал поразительно быстро, не успеешь оглянуться, а у него уже целых ворох исписанных листочков на столе. Вскакивает быстро, кинет ласково-смеющийся взгляд

в мою сторону—и за чтение. В то время вышел целый ряд капитальных работ по исследованию народного быта. Выше я упомянул о московском «Сборнике», посвященном крестьянскому землевладению и крестьянской поземельной общине. Одновременно с этим появилось в свет исследование об общине Посникова, об обычном праве Ильи Оршанского и многое другое, что сейчас не могу припомнить. Ходила также у нас по рукам «Zur Kritik» Маркса, «Квинт эссенция социализма» Шеффле на немецком языке. Плеханов приставал ко мне, чтобы вместе проштудировали последние две книги. Я читал вслух и переводил, а Плеханов ловил все это на лету и крепко на крепко запечатлевал все это в своей умной голове. Бывало, споткнусь я на момент в передаче перевода, как Плеханов, сверкнув на меня, опять-таки ласково-насмешливо, своими миндалевидными глазами, проронит:—не робей, не робей, Осип, знай переводи!— и тут же, как бы невзначай, бросает искомое меткое выражение, и чтение продолжается до положенного времени. Так коротали мы с ним, в передышку между делом, наше унылое чернопередельческое существование.

Как-то раз он пришел ко мне, заметно взволнованный.

— Осип, ты ничего не будешь иметь против того, если на две недели уеду в Киев? Получил письмо от Розы (Роза Марковна Боград, жена Плеханова. А.), зовет..., что-то хворает...

— Надо спросить товарищей, Жорж!

— Меня интересует твое мнение, твое!.. (налег на подчеркнутые мною слова).

Я посмотрел на «Жоржа»: беспокойные, тревожные огоньки в глазах, взволнованно-озабоченное лицо.

— Я рад буду, если хоть на время уберешься из этого Вавилона... но боюсь я Киева тоже... там головорезов слишком много....

Весело-бодро сверкнул глазами, пожали друг другу руки,—и он укатил в Киев, вернувшись, однако, целехонький, к назначенному сроку. Молодец!

Наступили декабрьские петербургские дни 1879 года. Густой, пронизывающий до мозга костей, желтый туман. Туман в голове, холодно на сердце. Если бы не Плеханов, совсем ошалел бы: он то-и-дело доставляет мне умствен-

ный праздник, дает духовный уют и, поскольку он может, и душевный.

Каждый день он проводит у меня несколько часов. Если он не приходит, начинаю тревожиться: не случилось ли с ним чего-либо? III Отделение его ревностно розыскивает. Раз уже, другой удалось ему улизнуть, а в третий раз, пожалуй, влопается. Не хочу я этого. Я за это время крепко полюбил Плеханова—за ум его большой, за дарования богатые. Сидя рядом с ним, глядя на него, слушая его, беседуя и работая с ним, я думаю только одно: «Жоржу» надо уехать немедля за границу, «Жоржа» надо непременно сохранить! За границей он не затеряется, не растратит по пустякам своих сил, а напротив: усугубит свои дары, углубит их. Долго ли, короткое ли время пробудет он там, он время даром не потеряет. Умственная работа для него—физиологическая потребность, а такая именно работа за границей, так сказать, предуготовлена для него. Швейцария ли, Париж или Лондон—все это умственные центры, черпай из их сокровищниц знания самые высокие их ценности!.. Мысль эта совершенно овладела мною и я решил в ближайшее же заседание Совета внести предложение о неотложности выезда за границу Плеханова. Промелькнула мысль о том, не предложит ли также и Стефановича, Засулич и Дейча. Но предварительно я решил переговорить об этом с Плехановым. Что он скажет? Как отнесется? И такой разговор имел место в ближайшие дни. Долгий, хороший, сердечный разговор. Мои соображения, главным образом, сводились к следующему: на отъезд Плеханова я смотрю не как на акт эмиграции его, а лишь — как на отпуск за границу, более или менее продолжительный. Полагаю, однако, скорее последнее. Почему? Борьба народовольцев с правительством приняла теперь такой характер, что—либо пан, либо пропал, какой-нибудь одной из сторон. Предусмотреть трудно все, но общественное возбуждение и негодование все наростает и наростает... Может быть, и родится какая-либо сила, которая заставит правительство капитулировать—на тех или других условиях. И тогда положение вещей в России может, пожалуй, измениться в направлении, более благоприятном для нашей работы в деревне. «Мы оживем, а то мы теперь двигаемся, как осен-

ние мухи—не то живы, не то мертвы. Нет сил больше терпеть! Уезжай, Жорж, уезжай!.. В путь-дорогу!.. И да живет в тебе моя вера в тебе!.. Так-то, милый мой, родич Белинского!»...[1]).

Я, очевидно, попал «в самую настоящую точку», говоря языком «неизлечимого» дьякона Г. Успенского [2]). Плеханов слушал меня сосредоточенно-молча, темная тень легла на его лицо, глаза его уж не смеялись насмешливо, а глядели вдумчиво-печально. Он сказал:—«Ты прав, прав, Осип!... но почему бы и тебе не поехать со мной?.. поедем вместе!.. поедем!.. не пропадать же тебе здесь одному!»...

Помню, как горячо и решительно я отклонял его предложение, и как, в конце концов, он согласился со мною, что иначе мне и поступить нельзя... Спустя несколько дней я внес в чернопередельческий Совет мое предложение. Предложение мое принято было единогласно: Плеханова, Дейча, Засулич и Стефановича Совет отпустил на время за границу [3]). Плеханов, помню, уехал первым.

Тяжело мне было с ним расстаться: остался не только без необходимого товарища, но интимно духовно-родственного друга-человека. А в душе я ликовал: Плеханов спасен, сохранен. Сорок три года прошло с того времени. И сейчас, когда вспоминаю об этом, я говорю себе: Осип, ты хорошо сделал, что настоял на отъезде Плеханова за границу!.. Может быть, это лучшее, что ты сделал в своей жизни...

1888 год. Прошло 9 лет. Я в Мюнхене, изучаю опять медицину. Наступили летние ферии (вакации). Надо и мне отдохнуть, надо на время совсем забыть медицину, надо куда-нибудь проехаться. Куда же, если не к старым товарищам? Еду в Цюрих и Женеву. О самом главном и новом для меня я был уже раньше осведомлен из писем Плеханова ко мне: я говорю об организации Группы Освобождения Труда. Я познакомился еще до отъезда моего в

---

1) Плеханов не раз мне говорил, что наш бессмертный В. Белинский приходится ему родственным—кажется, с материнской стороны. *А.*

2) Сочинения Гл. Успенского. Том первый. 4-е изд. Ф. Павленкова. Очерк «Неизлечимый». С.-Петербург. 1896.

3) Мое предложение на Совете выступило в расширенном виде: к Плеханову я присоединил и Стефановича, Дейча и В. Засулич, ибо они буквально висели, что называется, на волоске—вот-вот их сцапают... *А.*

Швейцарию с программой и объяснительным к ней предисловием (я говорю о программе, составленной Группой Освобождения Труда в 1885 г.), и остался весьма доволен: ясно, сильно, убедительно, никакой декламации, ни следа революционной фразы. Люди выступили во всеоружии марксизма, в сознании огромной важности поставленной ими цели и выдвинутых ими очередных задач русской действительности.

У меня под руками в Мюнхене оказались лишь две брошюры Плеханова: «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». Это—краеугольные камни, положенные в основу русской социал-демократической литературы. Этими двумя брошюрами Плеханов открыл выход из того тупика, в который русская революционная мысль уперлась после крушения народничества и «Народной Воли»—выход на широкую европейскую дорогу во всеоружии опыта и критики марксизма.

Завидно стало... А мы у себя дома, на родине, бились, бились, блуждали по закоулкам и проселкам, сбивались и падали, подымались и снова шли, пока не угодили... в тупик. Надо было уйти из родины, подальше отойти от мрачно-безнадежной картины русской действительности, чтобы на расстоянии лучше рассмотреть ее детальные черты, ее штрихи, краски и оттенки,—чтобы установить надлежащую перспективу. Меня охватило сильное желание скорей повидать старых товарищей, а особенно, особенно Плеханова. Я уехал в Цюрих, а затем, погостив два дня у Аксельрода, я вместе с ним отправился в Морнэ (за Женевой) к Плеханову.

В Цюрихе,—скажу попутно, много говорили с П. Б. Аксельродом о Плеханове («Жорже»). Говорил П. Б. о нем с нежной любовью. Слышались неподдельные, восторженные ноты.

«Жорж»-де сейчас написал критический очерк о Гл. Успенском. Это «сделает эпоху» в нашей критической литературе, может быть поставлено рядом с «Классовой борьбой во Франции» Маркса.

— Вот поедем к Жоржу, и он почитает ее. Мы тебя только с этим ждем, Осип! Гениальное применение марксистского метода к литературной критике. Ничего подобного у нас не было.

Я слушал П. Б. и радовался: Плеханов, значит, нашел себя,—я раньше был в этом уверен. Я торопил П. Б. с отъездом: так сильно, сильно хотелось мне его скорей увидеть!..

Из Женевы мы поехали в Мернэ на трамвае, поднялись на горку, по направлению к шалэ, красиво приютившееся на самой верхушке. Там жил Плеханов. Когда мы подошли уже к шалэ (хижинке), в одном из его окон промелькнула стройная фигура молодого человека. То «Жорж» увидел нас в окно и выходит навстречу. Слышны были быстро спускавшиеся по лестнице шаги, и на пороге показался Плеханов.

Я залюбовался на него: бледное, матовое лицо, в рамке темнорусой, лопатой, бороды; высокий, точно выточенный из слоновой кости, лоб; запавшие, холодные, сосредоточенно-вдумчивые глаза. Окреп, возмужал и... нашел себя. Крепко обнял меня и позвал нас обоих в садик. Сели. Глядит и обливает меня потоком насмешливо-ласковых искорок. Я хорошо знал эти искорки, любы они мне всегда были. Это—он, он, «Жорж»—злой насмешник!..

Сразу же приступил к делу.

— Павел писал мне, что ты, Осип, одобряешь нашу программу, но не решаешься все пристать к нам. В чем препятствие, друг любезный?

Я высказался от полноты моего сердца. Программу одобряю и принимаю, принимаю и одобряю в особенности теоретические к ней предпосылки; но в программе есть слабые места и места, совсем не приемлемые.

Плеханов меня слушал очень внимательно.

— Ты, вижу я,—возразил мне горячо Плеханов,—марксизма совсем не знаешь, а потому... возводишь на него поклеп, да! поклеп! Ты познакомься с марксизмом, да не со вторых рук, из первых источников, и ты увидишь, как безнадежно ты заблуждаешься: на все проклятые вопросы ты получишь ответ прямой!..

Конечно, Плеханов был совершенно прав. Наша беседа была неожиданно прервана возвращением из университета Розы Марковны. Пошли обедать. Обед прошел оживленно. Плеханов был в ударе, а когда он в ударе, он прямо обворожителен: неистощим в юморе и ярких характеристиках. Вспоминали, конечно, старое.

Плеханов—не сантиментален, но о нашем землевольческом «Дворнике» (А. Д. Михайлове) он проронил несколько слов, хотя и приправленных перцом его насмещек, но чуялось в них глубокое уважение и симпатия к тени товарища... Я убежден, если Плеханов питал подлинную симпатию к кому-либо из бывших наших товарищей по «Земле и Воле», то это были, несомненно,—Александр Дмит. Михайлов и пишущий эти строки. Почему такой странный, почти парадоксальный выбор? А. Д. Михайлов и я—антиподы по духовной и душевной индивидуальности. Не иначе, что в каждом из нас он нашел то, что особенно было для него душевно ценно. Я смотрел на него, как институтка, влюбленными глазами, вместе с тем, я боялся, что вот-вот опять пустит в меня одну из своих отравленных насмешкой стрел. В ушах моих еще звучали слова его, которыми он встретил Розу Марковну, при неожиданном ее появлении в садике:—«Кого пробираю? Вот кого! (указывая на меня искрящимися глазами). Посмотри-ка на него, Розочка!... настоящий немец... Все говорит: социал-демократическую программу приемлю, а марксизм—нет!... Ну, вот толкуй больной с подлекарем!»...—После обеда сделали с Плехановым небольшой променад, а это для меня значит—остаться без ног и принять турецкую баню. Вернулись с прогулки уж поздно —и прямо в постель. Я долго, как малое дитя, не мог уснуть: слишком много впечатлений. Ворочаюсь в постели и тревожу «Жоржа» разными вопросами. Надоел ему—и он пустил в меня чувствительную стрелу. Я угомонился. В его спальне было так холодно (Морнэ—высокое место), что зуб на зубе не мог удержать (окна были раскрыты, по предписанию врачей), а Плеханов спал, как зарезанный. Когда проснулся утром, Плеханов уж был в садике и читал. Я спустился к нему, сел рядом на скамейке, полюбопытствовал, что читает: Гегеля в подлиннике. Вернул книгу и посмотрел на него—должно быть, глупое в моих глазах было выражение. Насмешливо сверкнул своими глазами.

— Что ты?... Воротит меня от твоего Гегеля...

— Чудак!... необразованность одна!.. великолепная книга!.. Жил бы ты у нас, я бы засадил тебя за Гегеля... Без Гегеля и марксистом не станешь...—И пошел, пошел. Я слушал его с захватывающим интересом. Все было для меня новое, сильное, глубокое.

О Гегеле я ни малейшего представления не имел, пробавлялся больше Кантом, Ланге. Плеханов мастерски познакомил меня с сущностью философии Гегеля, «поставленной на ноги» Марксом и Энгельсом. Опять — н о в о е, о чем и не думал, и не гадал. Так побеседовали мы,—т.-е., вернее: поучал меня Плеханов,—до прихода П. Б. Аксельрода. Как условились накануне, Плеханов немедленно приступил к чтению своей статьи о Гл. Успенском. Читал Плеханов, не торопясь, иной раз перечитывал то или другое место, по просьбе кого-либо из слушателей. Статья прекрасная, оригинальная, талантливая. Но чтобы она «делала эпоху», как отозвался об этой статье Аксельрод,—я тогда этого не мог сказать. А тем более мне показалось гиперболой сравнить эту статью с «Классовой борьбой во Франции» К. Маркса. Да оно и понятно. Я тогда не сбросил с себя еще окончательно ветхих одежд народничества, они клочьями висели на мне, не опадая. Сейчас же,—скажу мимоходом,—я вполне согласен с П. Б. Аксельродом: эта статья действительно «делает эпоху» в русской м а р к с и с т с к о й критической литературе, и, в этом смысле, она может быть сравнена либо с «Классовой борьбою во Франции», либо с «18-е Брюмера Луи Наполеона». Продолжаю. Начался спор и долго тянулся. Плеханов защищал свою точку зрения, я—свою. И надо отдать справедливость Плеханову: он стоял на высоте своей задачи.

Больше скажу. Никогда еще я не видал Плеханова таким идейно-сильным, непоколебимо убежденным и душевно-прекрасным, как в ту запечатлевшуюся в моей памяти беседу в садике в Морнэ. Он не полемизировал, не стрелял в меня своими ласково-насмешливыми искорками (з л ы е, о с т р ы е огоньки он приберегал для своих подлинных противников)—нет! он находился в тот момент в высшей сфере мысли и практики: и с т и н а—вот что поглощала его целиком, истина, озаренная светом марксистской философии, с вершин которой он у ж е узрел зарю нового дня нашей обездоленной, богом обиженной родины,—зарю собирания, сплочения и выступления русского п р о л е т а р и а т а. Он, можно сказать, слышал уже приближающиеся шаги его, чутким ухом улавливал уже мощное дыхание его,—в то время, как другие были еще глухи. Повторяю, т а к и м я Плеха-

нова ни раньше никогда, ни потом никогда не видал. Мастерская постановка вопросов, неотразимая аргументация и страстная убежденность, подлинный пафос,—вот что меня тогда очаровало. Не забудем, ведь Плеханов был тогда еще неофитом в марксизме, а стало быть, всецело переживал всю силу захватывающей идеи, всю полноту связанных с этой идеей эмоций, всю красоту целостного жизнеощущения.—Я, однако, не хотел уступать ему, я оборонялся, как мог, хватаясь и за соломенку: внутри себя я чувствовал, что моему ветхому миросозерцанию нанесен чувствительный удар, затрещала моя твердыня... Плеханов и Аксельрод, повидимому, уловили это и значительно переглянулись... Взгляд их ясно говорил:—«Осип—идеалист, но будет время и он придет к нам».—Два дня спустя, я попрощался с Плехановым. Я уехал не один: меня всю дорогу до Мюнхена неотступно не оставляла одна мысль: Осип, ты побежден, ты побежден! Признайся самому себе!.. В Мюнхене я признался и утешился тем, что такое поражение на самом деле—не поражение, а противоположность его—победа! Быть побежденным галлилеянином—не значит быть пораженным.

Сорок без малого лет пробыл Плеханов за границей[1]). Там он, наконец, нашел себя, нашел свою цель жизни, свою миссию. Он стал идеологом пролетариата, вообще, и русского—в особенности. Далеко была от него родина, но близкой и родной она оставалась для него всегда. Умом и сердцем своим он всецело принадлежал ей. Он зорко из чужбины следил, можно сказать, за каждым ее движением, за самомалейшими переменами, совершающимися в ее складе жизни и мысли. С проницательностью недюжинного ума, с выдающейся силой творческой мысли, он сумел уловить существенное, не запутываясь в мелочах того сложного процесса развития, по которому пошла родина. И ни одно крупное

---

[1]) Плеханов жил в Швейцарии; изгнанный по настоянию царского правительства из Швейцарии, он перебрался в Париж, где терпел жестокую нужду, потом перебрался в Лондон, где много работал в лондонском музее. Книгохранилище этого музея, говорил он мне, главным образом, и обогатила его знания. Англичане удивлялись его работоспособности, культурная хозяйка его ходила за ним, как за родным сыном. Много интересного, вообще, мне рассказывал он об Джоне Буле. А.

явление в области мысли и практики не заставало его врасплох. Он тут, как тут: выступает во всеоружии марксистской философии, разрушает и созидает, отторгает и строит. И не из головы своей он это все выдумывает, а головой своей,—светлой и сильной, обогащенной знанием, строгим научно-философским методом. Он беспощадно критикует и отвергает архаические формы бытия и мысли нашего общественного уклада и вскрывает новые ее формы, идущие на смену и в отмену старых, изжитых уже, но еще окончательно не отошедших. Прочь с дороги утопическая социалистическая идеология! ширь и простор новой идеологии—пролетарской! Непримиримый противник субъективного идеализма, он ему противополагает—философский материализм,—не наивный, рассматривающий явления в их неподвижности и постоянстве, а в их вечном становлении, непрерывном движении и отрицании. Кардинальными заданиями его, с того момента, как он, овладев оружием марксизма и сбросив с себя лохмотья народничества, стал во главе Группы Освобождения Труда, были таковы: каким образом, в виду развивающегося уже в России капитализма, с одной стороны, наличности социалистической интеллигенции, с другой, и вооруженный критикой и учением научного социализма—с третьей,—каким образом достигнуть, чтобы, еще до приобретения политической свободы, рабочий класс представил в России самостоятельную силу и чтобы он, рабочий класс, борясь, как это было на Западе, вместе с буржуазией за свободу, не подпадал, по примеру своих европейских собратьев, под влияние этой буржуазии? Эта основная задача стала с разных сторон разрабатываться дружно Группой Освобождения Труда. Плеханову в этой общей работе принадлежит, по справедливости, первая роль. Он вдохновлял Группу силою своего творчества, непреклонностью своих убеждений, талантом своего слова, обширными своими познаниями. Работа была трудная, ответственная, особенно на первых порах. Бывшие товарищи и единомышленники недоумевали, не признавали новой идеологии, не понимали Плеханова, отрицали его слово и дело. Но уже ближайшее будущее, начиная с начала 90-х годов—с 1892—1896—показали, как дальновиден был Плеханов. Пошла, как известно, полоса заба-

стовок, охвативших обширные промышленные центры России, начиная с Петербурга. Промышленный кризис одним, так сказать, ударом вывел рабочую массу из покоя предыдущих годов. А с этим вместе—открыл широкое поле деятельности для социал-демократических организаций: период первоначальной «кустарной» работы социал-демократических организаций, период выработки, путем пропаганды, сознательных элементов социал-демократизма среди небольших ячеек и групп рабочих, заменяется сразу приобщением к делу более уже широких слоев рабочей массы. Закладывается фундамент рабочей социал-демократической партии. Русский пролетариат, наконец, вышел на большую дорогу. Отныне поступательное его движение, как класса, обеспечено. Предвидение Плеханова, таким образом, блестяще оправдалось. Он во-время выступил с пропагандой марксизма и социал-демократизма в России. Он сделал, по-истине, большое дело.

В 1917 году, после 38-летнего пребывания за границей, Плеханов вернулся, наконец, на родину. Он бежал из родины почти юношей, вернулся на родину почти стариком, немощным, по болезни, телом, но крепкий духом. Он бежал из порабощенной родины, а вернулся—в освобожденную. Родина ожидала от него еще больших дел: он не сказал еще своего последнего слова, он не завершил еще своего славного большого дела... Но беспощадная Парка перерезала своими ножницами нить его жизни—и он, год уже спустя, 30 мая 1918 года, ушел от нас. Ушел один из выдающихся умов не только России, но и Запада, человек с огромной разносторонней эрудицией в разных областях знания: естествоведения, истории, экономики, социологии, литературы, искусства и культуры. Знаток гегелевской философии и французской материалистической философии XVIII века. Глубокий знаток марксистской философии и самый талантливый истолкователь и популяризатор ее. Мыслитель, всю жизнь положивший на то, чтобы выработать в своих современниках твердое ясное понимание окружавшей их действительности. Но он не только был теоретик-мыслитель,—он был ярким борцом словом и делом: выдающийся

публицист, оратор, основоположник Р. С.-Д. Р. П., член Бюро Второго Интернационала. Он ушел от нас, но оставил нам богатое идейное наследие, которым долго еще будут жить поколения мыслящих и действующих людей. Он похоронен на Волковом кладбище, недалеко, по его просьбе, от своего родича В. Белинского. Там место его мертвым останкам. Все же, что было в нем вечное и нетленное—будет жить с нами и в нас, как живут Радищев, Белинский и Чернышевский. Смертью смерть попрал.

---

5. Валериан Осинский.

В первый раз я с Валерианом Осинским познакомился зимою 1877 года на конспиративной нашей квартире на Бассейной, в Петербурге, куда я и другие мои товарищи Ростовско-Харьковского кружка—Тищенко и Мощенко — приехали, для окончательных переговоров с натансоновцами. Этот живой, экспансивный, изящный молодой человек сразу завоевал мои симпатии. В живой остроумной речи он познакомил нас с положением вещей и тут же по пути выложил перед нами целую кучу новостей из петербургского радикального мира. Непоседа—Валериан, живой, как ртуть, не знал покоя; для нас Валериан служил ходячей газетой, неугомонным репортером, проникающим повсюду и из всего извлекающим какую-нибудь пользу для кружка. Целый день Валериан в бегах, весь Петербург исколесит вдоль и поперек, к вечеру только возвращается, физически усталый, но душевно бодрый и живой. Он буквально нагружен новостями и торопится поделиться с нами. Много ценного передает вам Валериан, обычно перемешанного и пересыпанного с пикантным и романически-сказочным.... Это своего рода Wahrheiten und Dichtungen, но чисто в валериановском духе.... Крайне впечатлительный и восприимчивый, он легко отдается охватившему его чувству, легко заражается окружающим его настроением. Это не значит, что у Валериана ничего не было с в о е г о, что он, как губка, жадно вбирал в себя воду и также легко, при нажиме, отдавал ее. О, нет! у Валериана было свое, и весьма крепкое и ценное; это—прирожденное ему чувство живой действительности,—о б щ е с т-

венно-политической действительности. Он на-лету, можно сказать, схватывал назревающее лишь общественное умонастроение и, благодаря своей восприимчивости, быстро перевоплощал его в свои собственные мысли и настроения. Да и он, по роду своей службы, и раньше вращался в широких кругах общества и хорошо знал его—его навыки, мысли, стремления, преобладающие течения. К прирожденной, таким образом, чуткости, присоединились и «уроки жизни».

Когда я с ним только что познакомился—в 1877 г.—он тогда еще не вполне развернулся. Тесные рамки пропаганды,—пропаганды среди молодежи и в обществе,—не дали выхода его кипучей, но «скрытой» еще энергии. Год спустя, зимою 1877—78 г., Валериан предстал предо мною уже в другом виде. Вместе с Дмитрием Лизогубом, М. Фроленко, Попко, Волошенко и Чубаровым он прибыл с юга с специальной миссией, возложенной на него обществом «Земля и Воля»—покончить с Треповым. Валериан был тогда в сильно приподнятом настроении, носился с целой массою планов и предположений, которые и вносил в наш Совет. Я тогда каждый день видался с ним, подолгу приходилось спорить с ним, порою наши споры доходили до красного каления. Казалось, что вот-вот вцепимся друг другу в волосы, а расходились еще более близкими, более милыми друг другу. Что-то притягательное, неотразимо обаятельное было в нем, в нашем «романтике», как охарактеризовал Валериана Александр Михайлов.... Да, он был романтик в лучшем смысле этого слова!—Как-то раз Александр Михайлов пожаловался нам всем на Валериана:—«Посудите сами! этот неисправимый романтик все ищет опасностей! Дайте мне, говорит, поручение, в котором бы больше опасностей было! Чудак!... словно мы и так не подвергаемся разным опасностям!... Его, по-моему, надо на юг сослать—там ему место, а не у нас!...—заключил при общем смехе Михайлов. И милый Валериан, склонный-таки к сильным ощущениям, весною 1878 года, таки переселился на юг, словно чуял, что там он развернется во-всю. И он, действительно, там показал себя, выпрямился во весь рост: там-то, на юге, он создал свой Исполнительный Комитет, то-и-дело тревоживший, в течение 1878—79 годов, прави-

тельство своими смелыми выступлениями. Зима 1877—78 г. навсегда осталась в моей памяти. По разным причинам, в Петербург съехалось большое число землевольцев. Импровизированный конгресс, во всяком случае Большой Совет. Это было весьма кстати.

Накопилось немало текущих вопросов и в числе их особенно важный—пересмотр народнической програмы. В этот-то именно Совет Валериан внес целый ряд предложений не только жгучего, но, так сказать, черно-еретического характера. Так: он предложил внести элемент **политической** борьбы с правительством в нашу программу, усилить дезорганизаторскую деятельность, попытаться возобновить опыт революционной организации в народе в духе Стефановича и т. д., и т. д. Предложения нашего милого «романтика» не прошли в Большом Совете, благодаря энергичному противодействию правоверных народников, во главе с М. Р. Поповым, Г. В. Плехановым и пишущим эти строки. Но эти совещания были и очень содержательны, и очень важны,—как симптом уже зародившегося **нового** течения в недрах народнического Общества. Одна ласточка, правда, весны еще не делает, но весна, ведь, должна притти, а с ней—и ласточки. О, как разрывался наш Валериан! Как он был неистов и прелестен в своем неистовстве! Жаль, что не было Александра Михайлова тогда в Петербурге,—вот-то была бы баталия! Ольга же Натансон, Оболешев, Зунделевич, Адриан Михайлов и Квятковский были сдержанны—присматривались, выжидали, сглаживали резкости, притупляли, так сказать, острые углы споров.—Окончились наши совещания, «деревенщина» стала снова собираться к «шатрам» своим—в деревню. Я, конечно, в числе ее, т.-е. «деревенщины». Накануне моего отъезда, я никак не мог поймать Валериана, чтобы попрощаться с ним. Утром, стоя уже на площадке вагона 3-го класса, я вдруг увидел зорко оглядывающегося по сторонам Валериана. Ах, «непокорный Коронат»! Ведь, это было против наших правил устраивать проводы! Но я был так рад, так тронут, когда увидел его, что язык прилип к моему небу и ни слова упрека не сорвалось с моих уст. Валериан же, не говоря ни слова (раздался уже 3-й звонок), бросился ко мне и, казалось, хотел задушить меня в своих объятиях. Это было

последнее наше свидание. Больше мне не пришлось уже увидеть нашего милого, дорогого, незабвенного «эллина»!.. Так я его окрестил. Да, эллин! «Романтик»-реалист. Мечтатель-практик... Верный, любящий товарищ, беззаветный революционер. В мае 1879 года (7 числа) Валериан приговорен к смертной казни, он оставил своим друзьям-товарищам трогательное письмо-завещание. Последний привет от Валериана от 14 апреля 1879 года. Последний привет из Киевской тюрьмы на пороге уж смерти. 14 мая 1879 г. Валериан сложил свою буйну головушку на плахе...

---

6. Михаил Родионович Попов.

Я знал его, когда он еще был на 2-м курсе Медико-Хирургической Академии. Выше среднего роста, стройный, тонкий юноша, точеное лицо, чуть покрытое растительностью, большие карие глаза, холодные, порою насмешливые. Смотрит твердо. Прямой, смелый нос. Держится прямо, по-военному. Откуда у него, семинариста, эта военная выправка? Думаю, что сам выработал он ее, и вошла она у него в привычку. Раз сослужила ему она, эта выправка, большую услугу. Было это летом 1879 года в Воронеже. В квартире землевольца Тулисова обыск. Совершенно не кстати является Попов. Высоко держит голову, грудь вперед, важная осанка, важный голос. Назвался инженером и подает жандармскому офицеру карточку свою. Импонирует, и отпускают его с извенением. Но в Киеве эта же «генеральская» осанка сыграла с ним плохую штуку: по этой осанке жандармы впервые почуяли в нем «генерала от революции» и не упускали уже его из виду. — М. Р. Попов—натура цельная, из одного куска высеченная, но без тонкой отделки и шлифовки. Не многогранная. Ясный, практический ум, не любящий копаться в мелочах. Решение быстро и верно проводится в исполнение. Умственная подготовка не разносторонняя, но определенный, необходимый круг знаний, все, что обязательно надо знать социалисту-народнику —все это усвоено им солидно и прочно. Много раз я присутствовал, когда он защищал землевольческую программу среди молодежи—в кружках ли, в беседах tête à tête—все равно,

он всегда развивал свои положения твердо, категорично, опираясь уверенно и на теорию и на практику. Слышалось такое непоколебимое убеждение, такая суровость,—я бы сказал даже жестокость,—в его манере говорить, в его тяжелых словах, в его в это время чуть налитых кровью, сурово-напряженных глазах,—словом, во всей его фигуре,—что слушающий поддавался его влиянию, может быть, помимо воли своей, подчинялся ему. «Родионыч» (так мы его называли)—не апостол, не трибун, не жжет он сердца, но полоняет ум, как догматик-учитель, начетчик-раскольник, гипнотизирует мысль, связывает чувства и покоряет волю, направляя их в желательном ему направлении.

Я видел не раз, как слушающий Родионыча юноша, после беседы, совершенно выглядывал обалделым: он согласен, согласен, он сделает все, что от него требуется! Мало Родионычу: он сурово смотрит на меня (он чувствовал ко мне нежную привязанность, тем не менее): почему-де ты, Осип, молчишь? Не потому, что ему нужна моя помощь, но я не должен молчать, когда идет дело о пропаганде программы и о привлечении сторонников. Я должен это чем-нибудь выразить — свою также лепту внести, вплести нитку, чтобы можно было крепче затянуть петлю, в которую должна попасться жертва пропаганды. М. Р. Попов имел успех. За ним шли, охотно слушали его, работали с ним. На него можно было опереться: верный он человек, что скажет, то и сделает. Товарища из огня вытащит, врага—собственными руками задушит. Товарища, нужного ему для дела, он никому не уступит—проси, не проси! Зимою 1877—78 года в Петербург, как я уже упомянул выше, наехали головорезы—южане. С некоторыми из них я близко сошелся. Кто-то из них обратился к нашему «центру» с предложением откомандировать меня,—или, по тяжелому выражению «Родионыча», «отдать меня,—в их распоряжение». Просьба была очень настоятельная, «центр» готов был уступить, но М. Р. Попов решительно наложил свое veto:— «Осипа мы ни за что не отдадим!» (буквальные слова Михаила Родиновича). Я ничего об этом долго не знал, но вот раз, как бы случайно, М. Р. Попов кратко, но грубовато-ласково сообщил мне об этом. Я был и удивлен и огорчен.— «Как же так, не спрашивая, продают меня, словно Иосифа

Прекрасного, египтянам?»—Засмеялся.—«Полюбился ты им... Откуда-де вы взяли такого?»

— На какое же собственно дело они звали меня?

— Да, ну их!... пустили бы тебя сначала в Киеве или Одессе, а потом пхнули бы в какой-либо шинок или постоялый двор!... Нет, руки коротки!—сказал я,—и кончен бал!.. Меня знаешь, брат!»...

Да! я хорошо уже знал Михаила Родионовича тогда, знал, раз надо что-нибудь сделать—без колебаний, он это сделает. Как выйдет—по джентельменски ли, грубо ли, жестоко ли,—это по обстоятельствам глядя.

Помню еще такой, характерный для М. Р. Попова случай.

На Васильеостровском патронном заводе произошел взрыв пороха. Были жертвы: шесть человек убито, нескольких страшно изуродовало. Рабочие-товарищи решили устроить манифестанцию на похоронах убитых. Пригласили и землевольцев. Вызвались пойти Плеханов, Попов, Осинский и южане Попко, Волошенко и Чубаров. Все были хорошо вооружены. Я было тоже собрался с ними. Ждем прихода Попова, чтобы отправиться нам всем вместе (со мною в одной комнате жили Фроленко и Волошенко). Сборным пунктом назначена была моя комната. Пришел, наконец, «Родионыч». Увидев меня уже собравшимся, он, не говоря ни слова, берет меня крепко за плечи, чуть приподнимает и усаживает в кресло со словами:—«Сиди, голубчик, дома!... не рыпайся, тебя могут задавить!» И никаких больше разговоров, несмотря на энергический протест Плеханова, Осинского и других. Я успел только бросить ему в догонку слова:—«Ты думаешь, если ты большой, то очень умен!.. Бугай больше тебя, а—дубина стоеросовая!» Взрыв хохота, в котором с видимым удовольствием участвовал сам мой палач. Я остался, конечно, дома. Но зато вечером уже «Родионыч» с грубоватой нежностью мне первому передал все подробности похоронной манифестации на Смоленском кладбище.

А вот еще штрих к портрету «Родионыча». Мы в Тамбове, в ожидании решения вопроса, где быть нашему конгрессу—в Тамбове ли, или—Воронеже. Собрались случайно у Девеля: М. Попов, Е. Н. Фигнер, я и сам хозяин квар-

тиры—Девель. Прохлаждаемся чаепитием и беседуем попросту. Е. Н. была хорошая певица: сильный, но необработанный еще голос. Я завел на эту тему разговор. Высказал то, что всегда меня огорчало очень: нецелесообразная, прямо преступная растрата наших дарований некоторых, приносимых в жертву Моллоху—революции. С горьким упреком обратился к Ев. Ник.—«Вам не в деревне работать, а поступить надо в консерваторию!... Губите свой талант... Кто же светильник свой ставит под спуд?»..

Е. Н. порозовела и смущенно глядела на меня, чуть-чуть улыбаясь. Девель внимательно слушал, что-то мотая себе на ус. А Мих. Род., словно ужаленный, вдруг вскочил со стула и, багровый, с налитыми глазами, сжимая кулаки, набросился на меня:—«Ох, уж эти мне Лассали!... как у них все хорошо выходит!... Не можешь ты так говорить!...» А я спокойно:—Ведь, Е. Н. певицей может нас в один вечер обогатить.... посуди сам!... что она, как фельдшерица, а как певица—клад для революции!...—«Молчи, Осип!.. не слушайте его, Ев. Ник!.. ведь он у нас—чистый Прудон: сейчас вас посылает в консерваторию, а завтра сам же будет горячо звать вас в деревню... Там-де и обсерватория, и высшие курсы и всякие земные и небесные блага.... Поверьте слову!»... Ум у «Родионыча» был, говоря языком Щапова, «реально-сенсуальный», романтизма не было в нем и следа, а он, старовер-народник, усмотрел в моих словах—чуть ли не все семь смертных грехов!... Я ждал с его стороны полной поддержки, а он—на дыбы!...

Таким я помню М. Р. Попова, таким он запечатлелся в моей памяти—грубовато-нежным другом-товарищем, беспощадным и жестоким—к противникам и врагам. Весною 1879 года мы узнали, что рабочий Рейнштейн, один из популярнейших и выдающихся рабочих—провокатор. Он готовится нанести нам решительный удар. Он знал некоторых из наших товарищей и только искал случая ударить в самый «центр» наш.... Решено было «изъять его из обращения». Нельзя было медлить. М. Р. Попов взялся это дело исполнить. Не дрогнула рука. Правда, после расправы на него напало удушье, едва-едва добрался до ближайшей улицы, чтобы передохнуть... Но это—уж позднейшая реакция. Во время же подготовления дела и свершения его оставался

непроницаемо невозмутимым и грозно-жестоким... Он мне как-то вскоре после этого передал все подробности убийства и последующего за этим душевного его состояния... Рассказывая мне об этом, он стал пунцовым: лицо красное, глаза налиты кровью, вот-вот брызнет алая кровь... Жутко стало. И только. Он не страдал—ничуть!..—М. Р. Попов—один из учредителей общества «Земля и Воля». Оставался в нем до момента разделения его на две фракции. Он из первых, еще весною 1879 г., забил тревогу, когда увидел, что «Земля и Воля», в лице ее дирижирующего «Центра», все более и более, незаметно и непроизвольно, уклоняется в сторону политического террора. Он, конечно, как и все, согласные с ним, а равно также и инакодействующие, не предвидели тогда всех последствий этой решительной тактики «центра». Он опасался только за участь деревенской работы, опасался, если линия поведения наших «террористов» не изменится, то нам грозит решительная фактическая ликвидация народнического дела. И он всячески борется с своими противниками по «Земле и Воле». По его инициативе собирается в Воронеже, 20 июня 1879 г., конгресс землевольцев для улаживания всех дел Общества и пересмотра программы и тактики. По настоянию Попова, между прочим, вносится в программу пункт об аграрном терроре,—если не как противовес политическому городскому террору, то как корректив к нему.

М. Р. Попову же, главным образом, обязана группа «Черного Передела» ее построением,—после того, как произошел окончательный раскол, в августе 1879 г., в обществе «Земля и Воля». М. Р. все стремился в деревню, он остался верным лозунгу: все для народа, все через народ! Но актуально он вынужден был работать в городе. Центром своей работы он избрал Киев, где пытается пропагандировать землевольческую программу, но тактическая линия его поведения оказывается, по иронии истории—чисто-террористически-политической. И он, «объективным ходом вещей», мало-по-малу, вовлекается в эту работу. Он готов воссоединиться с народовольцами, ведет, по этому поводу, переговоры с Стефановичем и Дейчем. Соглашения не происходит, и он сам, на свой страх и риск, вступает в «блок» с народовольцами. Его скоро арестуют. Политическая

карьера его этим завершается. Его судят, приговаривают к смертной казни. Смертная казнь заменяется вечной каторгой. Попадает сначала на Кару, а потом его за-живо погребают в Шлиссельбургскую крепость. Четверть века пробыл М. Р. Попов в Шлиссельбургской крепости. Вышел оттуда в 1906 году. Уцелел физически и духовно. Поделился с нами в печати своими революционными переживаниями, своей бурной революционной жизнью. Все написанное им правдиво и колоритно. Ничто не предвещало, что над ним повисла уже... смерть. Не могла с ним справиться Шлиссельбургская крепость, подкосила его коварная болезнь—рак печени. В 1910 году он скончался от этой болезни в Петербурге, в больнице. А он собирался все за границу, порою посылал мне туда свои приветы. Тригони за границей передавал мне, что Михаил Родионович много-много раз говорил с ним обо мне, в Шлиссельбурге вспоминал тепло, сердечно... Он был—человек. Черноземная сила. Русская целина.

---

7. Алексей Дмитриевич Оболешев.

Каждый раз, когда я вспоминаю Ольгу Натансон и Александра Михайлова, перед мною тут же встает милый, дорогой моему сердцу образ Алексея Дмитриева Оболешева—так неразрывно связаны эти три товарища между собою. Если Ольга Натансон была сердцем общества «Земля и Воля», Александр Михайлов — ее Катоном-цензором, то Алексей Оболешев («Лешка», попросту называли мы его) был бдительным, зорким стражем организации. И как он оберегал ее! Как-то раз, помню, я сообщил Оболешеву, что в наш саратовский землевольческий кружок затесался товарищ с явными лавровистскими симпатиями. Вскипел Алексей, накинулся на меня:

— Как же ты, Осип, мог допустить?

— В душу не влезешь!.. Шут его знает!..

— Надо, надо проникать в душу!.. — не унимался «Лешка», при чем большие чудные глаза сделались еще больше, пылали гневом и негодованием, пронизывая меня.— Надо смотреть в оба!.. надо быть осмотрительным!.. ведь

так можно все испортить!..—«Лешка» долго не мог успокоиться. Наконец, спросил:—да кто же он такой, этот лаврист?

Я его назвал.—«Ах, этот!.. Он был у нас... про Хотинского всякий вздор нагородил... Но мы его сразу раскусили... ушел от нас не солоно хлебавши.... Да уж и не вернется... будь спокоен!... Так-то лучше!.. И другой раз. Сидим мы, вечером, в квартире Квятковского: Оболешев, Ольга Натансон, я и Александр Квятковский. Входит неожиданно жена Александра Квятковского и передает последнему письмо. Распечатывает его, быстро пробегает и, видимо, встревоженный, молча передает Оболешеву. Тот прочитывает внимательно и буквально приходит в ярость:— «Паскудники!.. ротозеи!.. губошлепы!.. изгадили такое чудное место!.. изволь-ка снова заводить знакомство!»...

В чем дело? Оказывается, что 1½—2 месяца тому назад в Колпино послан юноша, повел-было дело ладно, да сорвался: пустил в обращение «хитрую механику»—и влопался... У нас было решено вести пропаганду только устно, не пуская в ход подпольных книжек. Конечно, это промах большой: сам человек провалился, да и начинание испортил с первоначала же. Нам с трудом удалось успокоить его. Оболешев был прав.

Суров, беспощаден, требователен был «Лешка». Подобно многим и многим семидесятникам первого, так сказать, призыва, и он пережил бурный период паломничества в народ, со всеми его неизбежными ошибками и тяжелыми поранениями. Раны души его, хотя и зажили, но временами, при прикосновении к ним, сочились кровью. И эти суровые «уроки жизни» выработали из него непоколебимого ригориста революционного действования, фанатика организованности и революционной дисциплины. Он сумел преодолеть свой собственный страстный темперамент, свою буйную стихию. С первого взгляда он производил впечатление сухого педанта, формалиста, застывшего в догмах сектанта, но стоило только пожить с ним одну-другую неделю, видеть его за работой, работать с ним,—чтобы не только освободиться от этого впечатления, но невольно быть захваченным, так сказать, целиной этого чудного человека, преданного товарища и, что важнее — беззаветного

борца за революционное дело, народное дело. Как живой стоит он сейчас передо мною: среднего роста, сухощавый, с впалой грудью, темный шатен, небольшая бородка, мягкие кудри, обрамляющие белый высокий лоб. Он, можно сказать, был красив, но красота вся его—в его больших чудных, глубоких глазах. В этих глазах он, «Лешка» — весь: проникновенный. Всю недолгую жизнь свою он стремился к проникновению в глубь явлений, в их сущность. Вглядывался в самого себя—внутрь, вглядывался во вне— в окружающее. Когда он говорил или слушал,—что чаще было,—он глубоко всматривался в глаза своего собеседника, словно проникал в его душу. Не всякий,—я это не раз видел,—выдерживал этот глубокий, испытующий, вопрошающий взгляд. Не мастер слова, он не охотник говорить: больше слушает, прислушивается, зорко наблюдает, а скажет—слово его веско, солидно, продумано. На долю его, после ареста, весною 1877 г., Марка Натансона, выпала самая тяжелая и ответственная обязанность в молодой, неокрепшей еще тогда организации «Земля и Воля»: он попал, вместе с Ольгой Натансон, в самый «центр» организации. И на этом посту он оставался до 1878 года, когда, в октябре 15 числа, он одновременно был арестован с Ольгою Натансон, Адрианом Михайловым и другими землевольцами. «Лешка» работал, не жалея себя. Он вел сношения с землевольской типографией, вел паспортное бюро («небесную канцелярию»), переписывался с товарищами в провинции и т. д., и т. д. Я, помню, получил от него два письма. Одно лаконически извещавшее меня об аресте Марка Натансона, а другое, в котором он, от имени товарищей, просит меня перебраться в Саратов, где землевольцы завели свое деревенское поселение. Какой почерк! Красивые, стройные, твердые буквы. Ровный, отчетливый, неторопливый почерк. Это пишет человек, владеющий своим настроением: твердо ложатся слова на бумагу, прочно сшиваются они в строчки,— и отчетливо выступает вся форма письма. Красивое по внешности, письмо также красиво по содержанию: ничего лишнего. Это—отражение самой духовной индивидуальности Оболешева: красота и цельность.

Я прямо залюбовался этим последним письмом, хотя лично я тогда еще не знал Оболешева. Познакомился я

с Алексеем Дмитриевичем только зимою 1877—78 года. Каждый день я видался с ним, много было передумано сообща вслух, много было переговорено и пережито. Я теперь, слишком полвека спустя, когда вспоминаю то время, я говорю себе: то была самая лучшая, самая радостная, светлая пора пребывания моего в обществе «Земля и Воля». Я с каждым днем все более и более убеждался, что спайкой нашей организации были «Лешка» и О. Натансон.

Они оба неотлучно были в администрации (другие наши товарищи, по делам организации, не всегда были на сторожевом посту), зорко следили за общим ходом дела, вносили уверенность и веру, твердость и сплоченность, в сочетании с товарищеской сердечностью и братской привязанностью. То была единая, революционно-трудовая семья, —высшая форма революционного сотрудничества для того времени. Чего было тогда большого желать? И только теперь я ясно понимаю, почему наш первый «центр» держался сравнительно так долго, не смотря на то, что все время был, так сказать, под огнем царской власти (да и разгром этот, о котором я выше упомянул, как теперь доподлинно стало известно из дел бывшего III Отделения, явился вследствие особого анонимного доноса на имя Александра II, а отнюдь не вследствие ловкости «его императорского величества Особой Канцелярии»)[1].

В крепости Оболешев вел непрерывную борьбу с крепостным начальством, приводил это начальство, можно сказать, во остервенение. Прокурорскому надзору не пожелал назвать настоящей своей фамилии, не давал никаких показаний, не позволял фотографировать себя. Словом—везде и повсюду был в первых рядах протестующих.

Мы, товарищи его на воле, порою обсуждали это прямолинейно непримиримое поведение его с начальством, это постоянное бунтование. Некоторые высказались, что такая борьба растрачивает только непроизводительно силы протестующих по мелочам. Иные же были осмотрительнее: говорили, что на воле вообще трудно быть судьей в таком поведении, что в заключении чувство обороны человече-

---

[1]) Н. С. Тютчев. „Разгром «Земли и Воли» в 1878 г.“. Дело Мезенцова. „Былое“, февраль 1918 г. 1.

ского достоинства и чести сильно обостряется, что, далее, не всегда легко сохранить меру... И т. д. Но, несомненно, одно, Оболешева эта непрекращающаяся война с начальством, капля по капле, подтачивала... Слабогрудый, он стал покашливать. После суда (его-было приговорили к смертной казни, в уверенности, что он—Кравчинский,—убийца Мезенцова. Эта мысль пришла в голову Александру II, который и внушил ее III Отделению и суду), когда он был переведен на испытуемо-каторжный режим, он сразу сломился... Бугорчатка приняла скоротечный характер. Пока сил хватало еще, он перестукивался с соседом своим по крепости, Веймаром. Но мало-по-малу силы стали его покидать, перестукивание крайне утомляло его,—и он замолчал. Только резкий, отрывистый, мучительный кашель, слышный за стеной, говорил о том, что Оболешев еще жив... Наконец, и кашель замер... «Началось суетливое хождение в его камере Лесника (смотрителя Трубецкого бастиона) с жандармами-присяжными (надзирателями); после одного из вторжений в камеру, слышен был в камере жирный голос д-ра Вильмса, и затем звук группы шаркающих по мату людей, что-то общими усилиями несущих. Но ни единого звука голоса Оболешева... Уносили его тело» (то было в один из вечеров конца июля или начала августа 1881 года; точно сам Веймар, давший эти сведения, не помнит. А.) [1]). Так завершилась мученическая жизнь одного из крупных учредителей общества «Земля и Воля»,—человека кристаллически-чистой души, отменного работника, в крепких руках своих, в течение без малого двух лет, державшего всю организацию, вверенную его стойкости, революционной дисциплине и зоркости. Ушел, или, вернее, загнан в цвете лет в гроб, верный друг народа, верный друг-товарищ по народному делу...

---

8. Юрий Макарович Тищенко.

Он был известен у нас под кличкой «Титыч». Настоящую фамилию его очень немногие знали. Высокий, стройный, как тополь, юноша. Смелое, выразительное лицо. Тем-

---

[1]) Там же, стр. 176. *А.*

но-серые, то холодные, как сталь, то мечущие искры тепла и жизни, глаза. Юноша и силач. Самый выдающийся из членов харьковско-ростовского кружка,—выдающийся по уму и характеру. Удивительно богато одарен от природы. Художник-сапожник, художник-резчик, художник-рисовальщик. Землевольческая «небесная канцелярия» (паспортное бюро) обязана была ему лучшими образцами печатей и всяких оттисков.

— Хочешь,—говорил он мне, смеясь,—я сделаю тебя профессором любого русского или иностранного университета, инженером любой железной дороги, техником любой фабрики и т. д.?—За что ни брался—удача. Заинтересовался физиологией—и изучал ее по лучшим тогдашним учебникам. Появились у него Брюкке, Сеченов, Функе и Цион. Заинтересовался психологией—и Спенсер, и Тен, и Льюис, и Вундт появляются на сцену. С Марксом не расставался. Он был из немногих, действительно знавших его. Громадные умственные запросы. Даже на пропаганду отправляется он с неразлучными своими друзьями—Марксом, Спенсером, Васильчиковым, Жиро-Тулоном и друг. Он находит время читать после 15-часового тяжелого физического труда. Горячий спорщик он, напролет всю ночь может проспорить. Помню хорошо эти споры со мною, с Плехановым, Булановым и другими интересовавшимися теоретическими вопросами товарищами. Голос у него был резкий, говорил, словно топором рубил. Не выносил «пустых» слов, незначащих определений, понятий. И тут же прибавлял:

....Wo die Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zu rechte Zeit sich ein.

Любил спорить, но не ради спора. Его беспокойный ум вечно вопрошал, горел. Пытливый, он метался во все стороны, пока не находил ответа. Эта глубокая честность его мысли прямо-таки очаровательна. И она находила прекрасное выражение в его языке. Язык его был ясен, определенен, точен. К его языку прямо применимы слова Герцена:— «Высшая честность языка не токмо бежит лжи, но тех неопределенных, полузакрытых выражений, которые какбудто скрывают вовсе не то, что ими выражается». По философским своим воззрениям он был материалист. И я хорошо

помню, как он стремился свой материализм применять как к экономике, так и истории. Революционное движение захватило Тищенко всецело. Он, барчук по рождению, он, высокоинтеллигентный, порывает круто все свои связи со «старым миром». Он оставался в рядах революции вплоть до конца 1879 года, т.-е. до того момента, когда для вдумчивого наблюдателя было очевидно, что движение идет к упадку. В пропагандистский период, он в качестве то чернорабочего, то ремесленника-сапожника, исколесил половину России. Стоически он переносил голод, стужу, продолжительный труд и всяческие лишения. В землевольческую организацию он вступил в конце 1876 года и оставался в ней вплоть до разделения «Земли и Воли» на «Народную Волю» и «Черный Передел».

На Воронежском съезде он был несменяемым председателем, вошел, по окончании съезда, в администрацию «Земли и Воли»—в противовес исключительно террористически-политическим тенденциям некоторых членов «Земли и Воли».—Тищенко пользовался глубоким уважением среди товарищей, как крупная во всех отношениях индивидуальность.—В последние 1½ года революционной жизни, его природный скептицизм, под влиянием ряда неудач, постигших революционную партию, все более и более обострялся и становился почти болезненным... Светлый ум его не мог не предвидеть полного нашего крушения... В конце 1879 года (или в начале 1880 г.) «Титыч» уезжает за границу. В 1882 году он вернулся в Россию, был арестован и потом сослан в Кокчетав (Акмолинской обл.), где пробыл, если не ошибаюсь, четыре года.—В памяти моей сохранился такой характерный для «Титыча» случай. Приезжаем вместе в Петербург, для окончательных переговоров с кружком Натансоновцев. Поселились вместе на Бассейной, в конспиративной квартире, состоявшей из двух комнат. Большую комнату заняли мы вдвоем, а в маленькой устроился Мельгунов,—загадочный для меня субъект, но которого хорошо знал Марк Натансон, да и Тищенко, повидимому, недалек был от него. Меня, как и других, предупредили, что без предварительного уведомления не входить в его комнату. «Титыч», лукаво улыбаясь, говорил мне, что он, т.-е. Мельгунов, может и застрелить, если зайти к нему,

не спросясь. Познакомил меня, спустя несколько дней, «Титыч» с этим Мельгуновым. Уж пожилой человек, помятый, слинявший. Не понравился мне. На столе книги в роде Пинкертона, Кенана-Дойла—все о сыщиках и подобной мерзости. Что за чорт? Зачем это ему нужно? Не распрашиваю. Не принято это было у нас. А раньше прямо-таки уже чертовщина. Вздумал Мельгунов показать мне свое сокровище. Подвел к платяному шкафу и распахнул дверцы его. Весь шкаф был увешен разного рода оружием: револьверы, кинжалы, финские ножи, ятаганы, ружья. И т. д. Арсенал, да и только.

— Это для чего?—сорвалось у меня. Скривил рот, т.-е. улыбнулся, Мельгунов. И только. Стало-быть—конспирация: знать не знаю, видеть не видел. Так вот у этого-то Мельгунова, у этого-то карбонара, сидим мы раз с «Титычем» и беседуем, т.-е. перекидываемся словечками. Вздумалось «Титычу» почистить свой Смит и Вессон. А Мельгунов:

— Вы посмотрите, Титыч, не заряжен ли он у вас? Да по осторожнее...

— Да нет же!.. мне не впервые...

Вдруг что-то грянуло у самого моего уха. «Титыч» и Мельгунов одновременно вскочили на ноги. Я же безучастно продолжал сидеть.

Встревоженная вбежала хозяйка (хозяйка была с в о я, преданная нам).

— Что случилось, батюшки мои?

— «Титыч» совершенно спокойно объясняет, что, желая поднять кресло (оно было очень тяжелое. А.) за ножку, уронил его. Покачала хозяйка головой, смерила нас всех тревожным взглядом, потянула носом и бормоча:—«На смерть пугаете добрых людей!.. С вами беду наживешь!..» —исчезла.

Посмотрел я на «Титыча»: чуть-чуть бледнее обыкновенного, окаменело лицо, словно не человек живой, а изваяние из мрамора, только из глаз его льется на меня что-то теплое, чуть ли не горячее...

— Вот оказия!.. Чуть не убил парня!—сказал, что отрубил.

— А куда бы мы его дели?—деловито справляется Мельгунов.

— На день припрятали бы в шкафу, а ночью—в мешок, да и в Неву... Не подвести же конспиративную квартиру? не сгубить же всех?..

Не раз вспоминал я эту «оказию». Вспоминал спокойное, мраморное лицо «Титыча», и как он глядел на меня. Спрятать бы он меня спрятал—и концы в воду. Но, что с ним потом было бы? Ведь он горячо меня любил! Не знаю, может быть, и пулю пустил бы себе в лоб...

Вообще, я должен сказать, большой оригинал был «Титыч».

Возвращается он уже с ссылки буквально с пустым карманом и чудным ребенком-дочуркой на руках. Попадает в Тифлис. Жара несносная. Одет в каком-то самодельном пиджаке из арестантского халата. Ищет работы. Какой-то солдат указал ему на «доброго генерала».

Ззвонит смело к генералу. Последний приглашает странника, с живой красивой ношей, в свой изящный, просторный «ученый» кабинет.

— Чем могу служить?

— Ищу работы!

— Какую должность можете вы занять?

— От начальника дистанции до железнодорожного стрелочника включительно...

Генерал таращит глаза.

— Очень растяжимые пределы!—восклицает, наконец, генерал.

В конце-концов «Титыч» получает заказ нарисовать гроздь винограда тут же на тарелке, находящейся на столе генерала.

Заказ выполнен художественно и долго сохранялся у генерала.

И еще пример. Приезжает «Титыч» в Баку—опять-таки искать работы. «Норд» возмутительный. Настроение—хоть повеситься! Работа не наклевывается, связей никаких, рекомендаций нет. А «Титыч» привык все добывать своим горбом. Заходит в редакцию «Каспия».

— Чем могу служить?—спрашивает редактор (кажется, Соколинский).

— Нет ли какой работы в газете?

Редактор рассматривает с головы до ног энергичную,

сильную фигру претендента на работу. Впечатление благоприятное.

— Писали ли вы раньше?

— Нет! Но можно попробовать!..

Редактор широко раскрывает глаза и встречает холодные, чуть-чуть улыбающиеся глаза «начинающего писателя».

— Хорошо!.. Напишите передовую статью... (указал на злободневный вопрос. А.). «Титыч» кивком головы соглашается.

На другой день «передовица» представлена редактору. Редактор доволен статьей и оставляет «Титыча» в качестве секретаря при редакции. Спустя 2—3 месяца, Тищенко делается фактическим редактором «Каспия». Заброшенный провинциальный орган радикально меняет свою физиономию. «Литературные обозрения» Тищенко сделали бы честь и столичной газете. Орган стоит на страже местных общественных интересов. Тищенко становится популярным в Баку, получает вскоре место управляющего советом съездов нефтепромышленников. Организаторски - промышленный талант его развертывается здесь во всей его мощи. Он становится капиталистом в ярко западно-европейском смысле: он—сам изобретатель, он—и выдающийся строитель.

Вместе с тем, он самый просвещенный культуртрегер. По политическим своим убеждениям, он — демократ-республиканец, типа Клемансо. Он сочувствует левым кадетам, хотя официально к их партии не принадлежит. Порвал ли он окончательно с старым? С революционно-социалистической идеологией—да! Но личные дружеские отношения сохранил с некоторыми из старых товарищей по «Земле и Воле», напр., с пишущим эти строки. В Баку он на службу к себе предпочтительно принимал политически ссыльных и отзывался симпатично о них: «Одно скажу—честны они и работают»—говорил он мне.

---

9. Александр Абрамович Хотинский.

Друг-товарищ гимназических и академических годов, друг-товарищ по «Земле и Воле». Оригинальная физионо-

мия: смесь семитического и монгольского. Прошел ту же тяжелую школу личного самоутверждения, тот же тяжелый путь упорных исканий и устремлений, что сверстники его, семидесятники. Математик выдающийся, он с логической последовательностью искал выхода из охватившего идейного Sturm'а u Drang'а, искал упорно, последовательно, не останавливаясь пред логическими последствиями своих исканий. Искал—и нашел. Тот же путь, что и его сверстники—путь жертвенности во имя народа, для народа. Никто бы, не знавший его, не подумал, что этот апатичный, сонный по внешности Хотинский, молчаливый, более погруженный в математику и физиологические опыты,—никто бы, говорю я, не подумал, что этот молодой студент пережил драму мысли, драму жизни. А то была подлинная драма. По наклонностям ученый, исследователь, по дарованиям—математик, он мечтал об ученой карьере, а упорная работа мысли привела его к революционной работе. И он оставляет Медико-хирургическую Академию, выходит из 4-го курса, оставляет физиологический кабинет, лаборатории, с которыми он так сжился, и заменяет их косой, серпом, топором и киркою. Он не говорит много, не волнуется, не кипит, не спорит, а слушает внимательно, сосредоточенно, порою сурово, вдумываясь в слышанное и сказанное. Красивым словом, жестом, пафосом—его не проберешь: он даже морщится от этого и становится еще более сосредоточенным и замкнутым. Ему нужны—логически развитая мысль, твердость убеждений, от сердца исходящие слова. Он чуток к малейшей фальши, он улавливает эту фальшь не только своим чутким, музыкальным ухом (он очень любил музыку), но и сердцем своим.

„Нет, сердце тем не убедится,
Что не от сердца говорится",—

можно было всегда легко прочесть на лице Хотинского, когда вокруг раздавалась очень горячая речь, но в которой он улавливал лишь «пленной мысли раздраженье» и кипение в «действии пустом»...

И в таком случае он становился сумрачным, старым, и некрасивое лицо его становилось еще более некрасивым, растерянным... Математический ум его искал твердости, устоя. Не выносил он иллюзий и «душу возвышающих обма-

нов»... Когда он пришел к заключению, что надо оставить науку, он сделал это просто, без шуму... Надо было ему одно время исчезнуть и, к несчастью, другого для него исхода не было, как поступить в лакеи к врачу (к знакомому, конечно). И Хотинский вынес этот искус, как следует. Мало того. В участке этого врача не хватало фельдшеров, и врач, ничто же сумняшеся, поместил своего лакея на фельдшерскую должность,—дескать, малый смышленый, набил руку в уходе за больными у врача,—и сошло великолепно. Этого-то именно и добивался Хотинский, не имея никаких соответствующих для этой службы документов. Когда я узнал об этом от самого Хотинского, я вознегодовал на него. Est modus in rebus. Но Хотинский спокойно охладил мой порыв:—для революционера нет и не может быть унизительного положения,—раз этого требуют интересы дела. Для Хотинского революция—ubtima ratio. О чем же тут можно еще спорить? Могут ли быть колебания? На народ он смотрел трезво, без «ложной идеализации». Надо работать в народе, потому что для нас иного пути нет. Может быть, нашей работой прежде всего воспользуется буржуазия—нужды мало!—мы должны идти своей дорогой. Он очень любил Успенского—за его правду о народе, за его любовь к народу. Златовратского плохо переваривал, называл его писания «некрасовщиной»... Из всех товарищей-землевольцев Хотинский с особенной симпатией и восторженностью относился к Перовской и Кравчинскому. Метко он охарактеризовал Перовскую:—«кремень, холодный он, а ударишь по нем—искры сыпятся». Он видел ее на работе в деревне, видел отношения к ней крестьян: одна красота. Кравчинский же—его «герой», он преклоняется пред ним. «Художник он: художник слова и дела. Говорит—камень завопит, сделает — смелость и изящество»... Он решил-де убить Мезенцова. Как? Среди белого дня, и удар нанести прямо, открыто, непременно спереди. Сзади не убивают-де своего врага: только наемные убийцы способны на такое предательство. Я очень любил беседовать с глазу на глаз с Хотинским. Беседы эти были очень содержательны и для обоих полезны. Вместе мы решили оставить Академию, решили согласно и другой кардинальный вопрос—действовать ли пока самостоятельно, на свой

страх и риск, или же пристать немедленно к какой-либо организации (ячейке или кружку)? И мы решили, что и для нас и для дела полезнее будет не связываться до поры и времени кружковой обязательностью. Надо самому все испытать, самому окрепнуть, утвердиться, а потом уже действовать организационно. Мы так и поступили.—Вспыхнуло Герцеговинское восстание. Хотинский, не говоря никому ни слова, отправляется в Сербию в качестве санитара, возвращается оттуда в конце 1876 года, награжденный орденом за «примерно-отличную службу и храбрость». Вскоре пристает к обществу «Земля и Воля», в котором оставался все время, вплоть до раскола общества. Летом 1878 г., 16 апреля, он вместе с Квятковским отбил Преснякова на пути с допроса в тюрьму. Вот как, со слов Хотинского, было дело. Квятковский (кучер) и Хотинский (седок) условились с Пресняковым ждать его невдалеке от подъезда участка

В условленный час «Варвар» (наш рысак) был наготове и нетерпеливо, словно чуя славную добычу, перебирал ногами в названном месте. При выходе, Пресняков, заметив пролетку с «Варваром», ловким движением бросил в глаза сопровождавшим его городовым по порядочной порсти нюхательного табака. Городвые (их было двое) совершенно опешили, а этим временем Пресняков вскочил на пролетку. «Варвар» тронул. Но тут-то случилось неожиданное совершенно обстоятельство. Один из городовых, пришедши в себя, бросился к пролетке и повис на Преснякове. Завязалась борьба между Пресняковым, Хотинским и городовым. Хотинский готовился уже нанести удар городовому по голове кастетом, как пролетка наклонилась на бок и все трое—Пресняков, Хотинский и городовой,—повалились на мостовую. К счастью, Квятковский во время спохватился, осадил лошадь, повернул назад и захватил своих товарищей, которым, наконец, удалось смять городового. Наш ретивый «Варвар» понесся стрелой, унося дорогих наших товарищей; около дома Яковлева Хотинский и Пресняков высадились,— и исчезли в нем без следа. На воронежский съезд Хотинский, заваленный срочной работой, не поехал. Когда съезд окончился, я заехал к нему в его фельдшерский участок (в Кирсановском уезде, Там-

бовской губ.). Результаты съезда не удовлетворили Хотинского. Это-де лишь отстрочка раскола; раскол же неизбежен и даже целесообразен: господином положения станет та фракция за которую будет «объективный ход вещей».

— Народничество,—с грустью сказал Хотинский,—спело свою песеньку... Новые настроения, новые течения... Не думаешь ли, Осип, до поры до времени, уехать за границу?—Я ответил отрицательно.—А я в принципе решил уехать... Тяжело!.. невыносимо!.. Мой друг был сильно удручен, он точно постарел на много лет, лицо серое, словно пеплом посыпанное. Он опять-было вернулся к вопросу о поездке за границу, убеждал меня следовать его примеру, но я решительно заявил, что останусь до конца.

Поговорили еще с час времени и распрощались. Навсегда. В Швейцарии, куда Хотинский эмигрировал вскоре после раскола общества, он, в 1884 году, скончался от скоротечной бугорчатки. Товарищи, особенно Кравчинский, нежно ходили за ним. Он умер не одиноким, а окруженный товарищами.

Похоронен на кладбище в Кларане.

---

10. Николай Павлович Архангельский.

Он собственно не принадлежал к нашей центральной организации, но вполне примыкал к нам, к землевольцам, к нашей идеологии и программе. В начале 1874 г. он оставил Медико-хир. Академию (вышел из 4 курса), чтоб отправиться «в народ». Тяжелый опыт он проделал: слабогрудый, он надрывался над работой. И это дорого стоило ему: эта тяжелая работа, батраком на одном хуторе в Тамбовской губ., окончательно подорвала его силы. Не хотел он долго оставить этот непосильный для него труд, все крепился, надеялся, что втянется рано или поздно в работу, но, в конце-концов, должен был отказаться. Полуживого его с работ доставили к родным. Долго хворал, а как только стал на ноги, решил отправиться на работу. Но уж рабочим он не мог быть. Стал фельдшером. Я как раз в это время фельдшерствовал в Тамбовском уезде, в соседнем участке Архангельского. Я знал его еще в Академии, но тут в деревне, живя почти бок-о-бок, я близко

с ним сошелся. Это был удивительно хороший человек. Мирный, типичный пропагандист, каким он остался навсегда. Он сочувственно отнесся к революционно-народническому направлению, но лично для себя все-таки оставил чистую пропаганду, поскольку последняя допускалась и землевольческой программой. Он глубоко верил в силу слова и живой пример деятельной личности. Он не был теоретиком, избегал теоретических споров, но то, что он усвоил себе, как социально-революционное credo, глубоко срослось со всем его существом. Он отдал себя служению народа,—и отдал бесповоротно и без остатка. Он легко мог вернуться обратно в культурную среду, завоевать себе почетное и обеспеченное в обществе положение, но ему это и в голову не приходило. Жить с народом, служить ему, работать для него—сделалось для Архангельского второй натурой. И он работал, пропагандируя между делом, не жалея своих сил. Легко выходила у него эта работа, не мог он без этого, как птичка не может не петь. Он не доедает, не досыпает, силы его с каждым днем все более и более угасают, а он, полный самоотвержения, не видит этого!... Сотни больных чуть ли не каждый день толпятся в его амбулатории, его беспощадно прямо рвут на части,—и днем, и ночью, а он, Николай Павлович, и не ропщет!... Спокойно, ровно, просто делает он свое дело. Народная обездоленность, народное невежество и тупая, благодаря этому невежеству, жестокость вырывают порою стоны из наболевшей души Архангельского. Я помню такую сцену. Приводит раз в амбулаторию мать свою дочь, всю избитую ее обезумевшим от нужды и водки мужем. Архангельский приступает к осмотру истязуемой. Но что с ним делается? Он, обыкновенно ровный и деловитый, дрожит, как в лихорадке, глаза горят, руки ходуном ходят, из груди вылетают какие-то сдавленные звуки....

— Николай Павлович, дайте я перевяжу больную—отдохните!—обратился я к моему товарищу, полагая, что это у него от переутомления.

— Да нет же, О. В., я совсем не устал!... но я **этого** (он кивнул дрожащей головой в сторону избитой) не могу выносить!... Когда это, наконец, кончится?... До чего довели народ?...

И Архангельский бессильно опустился на рядом стоявшую тут скамейку. Я взглянул на амбулаторию—человек 30 взрослых, мужчин и женщин. Как они впились глазами в Архангельского! Эти глаза ясно говорили, что эти люди хорошо понимали своего Николая Павловича, этого «чудесного человека», как они его заочно называли. Я работал с Архангельским почти два года и могу сказать: он не имел соперника в деревне. Народ глубоко уважал его, высоко ценил и сердечно любил.—«Чудесный человек!» Этими двумя словами народ формулировал свои отношения к Архангельскому. И Архангельский отдал народу все, что он имел: свою благородную мысль, свое золотое сердце. Архангельский умер в Тамбове в 1880 году, совершенно одиноким. Чахотка рано загнала его в могилу. Никто не произнес «слова» на его могиле, никто не нарвал цветов, чтобы украсить им прах скромного, но верного друга народа. Оставил ли он память о себе? Там, где он работал, народ долго помнил его. Оставил ли он след? Несколько обращенных им человек, свято хранивших не только память о нем, но и выполнявших его заветы.

В начале июля 1877 года я получил письмо от «Лешки» (Оболешева), в котором он просил меня от имени товарищей оставить Тамбовскую губернию и переехать в Саратовскую. В Саратовской губернии организуются деревенские поселения, силы уж стягиваются.

Решено концентрировать силы, а потому-де предлагают мне вступить в ряды саратовцев, тем более, что я с самого начала уже был намечен, как желательный член в саратовскую колонию. Я подчинился, конечно, этому решению товарищей, тем более, что оно вполне согласовалось с моими взглядами: нельзя же в самом деле дробить свои революционные силы! Я знал, что в Саратов, в котором должен был основаться «центр» для деревенских поселений, на место Ольги Натансон и Трощанского, вызванных в Петербург после ареста Марка Натансона, выехали члены основного кружка, Александр Михайлов и Георгий Плеханов.

Я собрал свои пожитки и, попрощавшись с Архангельским и Троицким, выехал в Саратов.

О саратовском поселении скажу после, а пока считаю нужным дать общую характеристику наших деревенских поселений.

Как известно, верховными принципами нашей тактики в народе были агитация и организация. Агитация, опираясь на насущные народные требования, имела ближайшей своей целью создание в народе постоянной оппозиционной атмосферы. Агитируя в народе, мы воспитываем в нем непрестанно дух неповиновения, дух отрицания и протеста против существующих отношений. Дремлющее в народе смутное чувство недовольства, путем разумной и систематической агитации, превращается в ясно сознанное чувство протеста: правосознание народное проясняется, революционизируется.

А революционное настроение и революционное правосознание являются самыми благоприятными условиями для организации в народе боевых сил, боевых дружин, с целью объединения их в народно-революционную партию, призванную в известный момент осуществить народную революцию.

Такая постановка задач и целей в народе потребовала, само собою, от общества «Земля и Воля» строгой организованности, планомерности и согласованности в действиях. Для этой цели создается на первом плане «Землею и Волею» деревенская группа—«деревенщина», долженствующая оперировать в деревне. Но как? Предыдущий опыт нас научил, что кочевая летучая форма революционной деятельности в народе—пропагандистская или агитационная,—все равно, не достигает своей цели, а потому ее надо совсем оставить. Наша предстоящая работа в народе обязательно требует, чтобы мы, наоборот, солидно утвердились в деревне, крепко засели в ней. Это привело к устройству революционных «поселений» в народе.

И весною 1877 года мы начали форсированным маршем мобилизировать наши наличные силы в деревню. Мы двинули, прежде всего, с этой целью членов «основного кружка», как организаторов поселений, приобщив также к этому движению многих лиц из местных кружков и групп революционеров-народников, вошедших в органи-

зацию «Земли и Воли». Операционным базисом наших поселений, в силу исторических традиций, послужили опять-таки Поволжье, Дон и Кубань.

Явились поселения в Саратовской, Самарской, Нижегородской и Астраханской губерниях, на Дону и Кубани. Все эти поселения устроились приблизительно по одному плану, а именно: в ближайшем городе облюбованной землевольцами для поселений местности устраивался «центр», заведывавший делами местной группы.

Каждая из местных групп представляла собою как бы копию или сколок с основного петербургского кружка: та же структура, те же функции. Местные группы не были обособлены, а, смотря по надобности, непосредственно сносились между собою. Так Саратовская и Астраханская группы непосредственно сносились с членами кружка, жившими в Донской области, и проч.

Над всеми группами, в качестве согласующего и направляющего центра, главенствовал петербургский «основной кружок» общества «Земля и Воля». Какое положение занимали народники-революционеры в деревне? «Прежнее догматическое утверждение, требовавшее, чтобы революционер отправлялся в народ в качестве чернорабочего, потеряло свою безусловную силу. Положение человека физического труда признавалось попрежнему весьма желательным и целесообразным, но безусловно отрицалось положение бездомного батрака, ибо они никоим образом не могло внушить уважения и доверия крестьянству, привыкшему почитать материальную личную самостоятельность, домовитость и хозяйственность. А потому настоятельной необходимостью считалось занять такое положение, в котором революционеру, при полной материальной самостоятельности, открывалась бы широкая возможность прийти в наибольшее соприкосновение с жителями данной местности, входить в их интересы и пользоваться влиянием на их общественные дела.

В силу этого люди устраивались хозяйственным образом в положении всякого рода мастеровых, заводили фермы, мельницы, маслобойни, лавочки, занимали должности сельских и волостных писарей, учителей, фельдшеров, врачей и проч. Особенно желательным считалось, чтобы в

среде поселенцев был, по крайней мере, хоть один человек из уроженцев данной местности».

К этим словам моим, написанным еще в 1883—84 г. в неизданных моих воспоминаниях, я должен еще прибавить, что в круг обязанностей деревенщины входила еще деятельность среди раскольников и сектантов, на которых мы в то время возлагали большие надежды. В нашей программе раскол и сектантство чуть ли не стояли во главе угла.

Особенно Марк Натансон горячо защищал необходимость серьезной организации среди раскольников и сектантов. Но на первых порах у нас свободных для этого сил не было, и за это дело взялись лишь пока два члена основного кружка, Александр Михайлов и «Сергей Андреев»,—вполне подходящие для этой работы люди. Таким образом, весною 1877 года общество «Земля и Воля» уже крепко стало на ноги. Согласно своей программе, оно прочно обосновывается в деревнях при посредстве целого ряда «поселений»,—деревенских организаций, связанных между собою единством цели и плана. Деревенские поселения размещаются в местах, так сказать, наименьшего сопротивления — loci minoris resistentiae, говоря медицинским языком. Это значит: в местностях, в которых традиции протеста, борьбы еще не заглохли в массе. Так мы, по крайней мере, тогда думали. Мы верили и надеялись, что там, где 200 и 100 лет тому назад разыгрались величайшие исторические драмы народной жизни,—бунты Стеньки Разина и Пугачева,—где гуляли вольные «ушкуйники» и «ватажки», держа в страхе угнетателей народа, где вольное казачество развернуло и развило в полном блеске свои свободные формы жизни, выработало и создало свои исконные устои,—что там нам удастся создать в народе революционную рать, призванную осуществить народную революцию. Мы думали и верили, что это нам удастся, и двинули в народ все наличные наши силы, оставив в городах лишь самое незначительное число работников.

Если мы теперь вникнем в то дело, которое задумало общество «Земля и Воля», если примем во внимание все те приготовления, которые общество сделало, чтобы осуществить свое дело,—то единственно правильный вывод, ко-

торый можно сделать из данных фактических посылок, будет такой: общество «Земля и Воля» ясно сознавало, куда оно идет; оно не обманывало себя никакими иллюзиями; оно знало, что его ждет серьезная, упорная и продолжительная работа. И работа началась. Как деревенщина справилась с своей работой, каких результатов она добилась, что посеяло и что пожало—об этом сейчас.

Я застал в Саратове довольно значительную группу землевольцев. Из членов петербургского основного кружка там уже находились Александр Михайлов, Плеханов, Мощенко и «Егорыч». Группа устроилась по вышеописанному уже плану. В «центр», кроме членов основного кружка, вошла еще М. А. Брещинская, очень симпатичная и дельная личность. Она приобрела большую популярность в населении Тверской губернии, где она служила, как фельдшерица-акушерка. Весною 1877 года она пристала к землевольцам, переехала в Саратов, где примкнула к местной организации. Некоторые из членов саратовской организации уже успели к тому времени, когда я приехал в Саратов—к началу июля, устроиться в деревне: кто в качестве мастерового (Новицкий), кто в положении сельского учителя или писаря [1]), народного учителя, торговца и проч.: Сергеев, Короткевич, «Егорыч», «Яшка», «Андреев» с женою, Федоров («Петро») и другие. Я должен сказать, что устраиваться не так-то легко было. Солидных связей у нас тогда в Саратове не было.

Ольга Натансон и Трощанский пробыли здесь слишком короткое время и не успели еще завязать необходимых знакомств. Приходилось добывать себе место собственными усилиями, энергией и настойчивостью. Некоторым из наших товарищей приходилось пешком исколесить нередко пол-уезда, прежде чем удавалось им найти что-нибудь подходящее.

Большинство товарищей,—громадное большинство их,—

---

[1]) Не надо смешивать сельских учителей и писарей с народными: первые служат непосредственно от сельского общества и от него получают прямо жалованье, вторые—от земства и волости.

обыкновенно жило с фальшивыми паспортами. Это потому, что многие уже тогда были «нелегальными», — во-первых; а, во-вторых,—даже некоторые легальные предпочитали тогда пользоваться фальшивыми именами, оставляя свое легальное звание, как последний ресурс, на крайний случай. И это соображение не лишено было практического значения, и в некоторых чрезвычайных обстоятельствах действительно выручало нас. Необходимость жить под чужим именем ограничила, однако, на практике возможность широкого выбора мест, должностей и положений, требуемых для широкого революционного воздействия в деревне. Правда, наша «небесная канцелярия» стояла на высоте своего положения: наши паспорты и документы были своего рода шедеврами. Мы не только фабриковали крестьянские, мещанские и другие документы на жительство, но из нашей канцелярии выходили прекрасные аттестаты, дипломы и свидетельства на звание фельдшеров (фельдшериц), акушерок, учителей и пр., пр. Конечно, документами последней категории можно было пользоваться лишь с большой осторожностью, так как обнаружить их подделку, при малейшем подозрении, не представляло уж никаких затруднений.

Совсем иное дело документы первой категории — они сходили у нас очень хорошо. Проверка их систематически началась лишь в последние годы революционной борьбы,—в период террора,—и то лишь в столицах и некоторых крупных городских центрах. Вот почему наши деревенщики устраивались предпочтительнее в положении сельских учителей и писарей: образовательный ценз, свидетельство политической благонадежности здесь не требуется. Да и кто обратит особое внимание на каких-то жалких крестьянских «наемников», получающих 8—10 рублей в месяц максимум и кормящихся поочередно по неделям или месяцам у того или другого домохозяина? Кто вздумает контролировать их, шпионить за ними? В то время с этой стороны, по крайней мере, в деревне не предвиделось опасностей да их фактически не было. Это—во-первых. А во-вторых,—многие из наших товарищей облюбовали это положение еще потому, что оно-де давало им возможность погрузиться, так сказать, в самую гущу народной жизни. Живет себе невидимо сельский учитель или писец где-то в

щелях глухой, а порой и убогой деревушки и делает свое дело «без шума»... Уверенность,—изволите ли видеть,—была тогда еще велика среди нас, уверенность в свои силы, выдержку—не на год и два, а и на более продолжительное время,—á la longue, как говорят французы! Стремление итти в народ, поселиться в деревне—было в то время, замечу мимоходом, господствующим. Рвались туда даже такие наши товарищи, как Плеханов. Наш самый молодой тогда «оратор» выдавался уже своей талантливостью и начитанностью, и на его долю выпала работа среди интеллигенции и городских рабочих. Здесь он был незаменим. И вот вдруг, в один прекрасный день, наш «оратор» заявляет, что решил поселиться в деревне в качестве народного учителя (от земства). Никто из нас не только не опротестовал этого решения Плеханова, но все мы отнеслись очень сочувственно к нему. Да как же иначе? Ведь работа в деревне у нас тогда стояла во главе угла, город же, со своими нуждами, может подождать: здесь работа имеет лишь служебное, подчиненное значение! Ну, мы и благословили Плеханова в путь дорогу!

Но Плеханов был уж тогда нелегален, подходящего же документа по министерству народного просвещения у нас под руками тогда не было,—да и подвергать новому риску нашего «оратора», недавно только вырванного из когтей правительственных ищеек, мы, само собою, не могли допустить. Тут выручил нас «Дворник», т.-е. Александр Михайлов. Он предложил Плеханову воспользоваться его, кажется, гимназическим аттестатом, тогда еще «чистым», не скомпрометированным в политическом отношении. Сказано —сделано. Плеханов отправляется с этим документом и прошением в Аткарск в училищный совет. Председатель училищного совета, приняв прошение от Плеханова, попросил его подождать ответа в приемной. В это время случился курьез, который, если бы Плеханов не совладал с собою, мог бы окончиться и печально. Дело вот в чем. Священник, член училищного совета, ознакомившись с бумагами Плеханова, вдруг заорал во все горло: «Да это сын Дмитрия Михайлова, моего большого приятеля, как же— Дмитрий Михайлов почтенный человек!» Восхищенный своим открытием, «батюшка» выскочил в приемную с криком:

«Михайлов! Михайлов! Где же этот Михайлов?» «Оратор» встрепенулся было, но быстро овладел собою, спокойно отозвался: «я—Михайлов!» «Батюшка» удивился, как он вырос и возмужал, «молодцом стал»; он, «батюшка», его «мальчиком»-де помнит, и стал его расспращивать с неподдельным, живым интересом о родителях, общих знакомых и разных прочих курских делах. Посыпались живые вопросы о том, как, мол, поживает Марья Петровна, Олимпиада Ивановна, и проч., и про. Наш «оратор», не моргнув глазом, давал экспансивному «батюшке» все нужные сведения. «Ладно, ладно, молодой человек, буду за вас хлопотать!» И ринулся в училищный совет. К сожалению, хлопоты доброжелательного батюшки не увенчались успехом, и все его уверения, что Михайлов-отец «прекрасный человек», «лучший его приятель», разбивались об упорство исправника, твердившего одно: «Ну, так что—что̀ знакомый? что хороший человек? Отец-то хорош, а сын, может быть, и—пропагандист!?» И уперся исправник, как бык: «Не согласен, и не согласен!» Так и уехал Плеханов из Аткарска ни с чем. И он снова взялся за временно прерванную работу в среде интеллигенции местной и рабочих.

Ближайшими помощниками Плеханова в пропаганде его среди городских рабочих в Саратове были трое наших петербургских рабочих, которых нам удалось склонить к переезду в Саратовскую губернию.

Я скажу об них несколько слов и кстати отмечу одно очень характерное явление. «Это были испытанные люди, искренно преданные народным идеалам и глубоко проникнутые народническими взглядами. Но попытки их устроиться в деревне не привели ни к чему. Побродив по деревням, с целью высмотреть подходящее место для своего поселения (при чем некоторые из них были приняты за немцев), они махнули рукой на это дело и кончили тем, что вернулись в Саратов, где завели сношения с местными рабочими. Как ни удивляла нас эта отчужденность от «народа» его городских детей, но факт был налицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении рабочих к собственно крестьянскому делу» [1]).

---

[1]) „Русский рабочий в революционном движении". Г. Плеханова, издание второе, стр. 7.

Мне остается только подписаться под этими словами Плеханова и вместе с ним констатировать, что наши рабочие отлынивали-таки от работы в деревне. Это—факт. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, если хорошенько поразмыслить. Наши рабочие,—Николай-слесарь (фамилию его, к сожалению, не могу припомнить), Иван Егоров и Корсак были заводские рабочие, получавшие сравнительно хороший заработок и привыкшие уже в некоторой степени к культурной обстановке. Что бы, например, делал в саратовской деревне Иван-котельщик, этот архангельский белый медведь? Правда, несколько месяцев спустя, уж после саратовского разгрома, Иван Егоров буквально со слезами на глазах просился у меня, чтобы его отпустили в деревню, но в свою, архангельскую.

И мы, конечно, отпустили его. Это, к слову сказать, тот именно Иван Егоров, о котором в своем «Рабочем в русском революционном движении» упоминает Плеханов под литерами «И. Е.» и который так, бывало, зачитывался «Основами биологии» Спенсера и другими серьезными книгами. Как-то раз Плеханов, не стерпев, намекнул было Ивану Егорову, что для него-де было бы полезнее взяться за что-нибудь полегче, чем Спенсер, на что получил от Егорова сердитую отповедь: «что это вы думаете, что уж мы, рабочие,—совсем дураки!?»

Что касается Николая-слесаря, то он бы, по своему ремеслу, мог устроиться в каком-либо большом селе. Но, к сожалению, это был человек крайне взвинченный, с обнаженными нервами, весь издерганный. Интеллигентный, он своей манерой держаться, говорить действительно напоминал собою, если не «немца», то во всяком случае студента. Он говорил недурно, любил речь свою уснащать иностранными словами и книжными оборотами. Он любил также теоретические споры и принимал в них участие. Разрешал он все вопросы—от самых сложных до простейших—самым упрощенным способом: «все это, дескать, происходит от ненормального социального строя». Это был для него какой-то passe-partout, при помощи которого он, словно с отмычкою в руках, открывал самые запутанные ходы событий нашей современности. Его детство и отроческие годы, пока он был в «выучке», полны лишений, горьких обид и мучи-

тельства. Его всячески били, колотили чем попало, секли до обморока, из иссеченной и гноившейся целыми неделями спины ему приходилось вытаскивать пучки заноз, измочалившихся об его тело розог. Николай был глубоко предан народу, но жить с ним, жить в деревне не хватало у него сил. Проснувшееся в нем сознание человеческого достоинства, крайняя чуткая нервная организация его, с ее неожиданными колебаниями, приливами и отливами в настроении, гнали его вон из деревни, с ее жесткой суровой действительностью. Николай-слесарь, одним словом, был человек города, и здесь он вполне был на месте. Рабочие относились к нему с уважением и слушали его охотно. Его с самого начала не для чего было посылать в деревню, хотя бы во имя такого-то и такого пункта нашей программы!

Совершенную противоположность с Николаем-слесарем представляет третий наш рабочий-народник, Корсак. Это был тверяк-корелл Бежецкого уезда, Тверской губ. Среднего роста, плотный, коренастый, белобрысый, с широким, открытым лицом и светло-голубыми, ясными, как у младенца, глазами. Спокойный, уравновешенный, бодрый и жизнерадостный, он годился для деревни. И я думаю, что мы сами виноваты, что он так долго не устраивался: его следовало бы толкнуть, пришпорить. В нем было что-то инертное, но раз мы бы вывели его из этого состояния инерции, то он бы работал, как вол, работал бы толково и со смыслом. Корсак был арестован во время осеннего разгрома в Саратове.

К несчастью, наша попытка (в этой попытке, если не ошибаюсь, принимал участие, между прочим, и Михаил Фроленко) освободить Корсака на пути следования его в пересыльную тюрьму почему-то потерпела неудачу. Где он теперь, что с ним стало, а равно с другими нашими саратовскими рабочими,—мне лично неизвестно. Другие наши товарищи, ближе меня стоявшие к рабочему делу, могут, я думаю, на этот счет дать нужные сведения.

Так-то никто из рабочих-народников не попал в деревню, и всю тяжесть этой работы volens-nolens пришлось вынести исключительно интеллигенции. И в нашей деревенской тактике с самого начала, таким образом, образовалась щель...

Между тем наша интеллигенция энергично готовилась в деревню; многие уже успели разместиться по деревням.

Во главе всех в этом отношении стоял незабвенный Александр Михайлов, наш «Дворник». Он основательно тогда готовился к своей миссии—поселиться среди раскольников и начать там свою работу. Этот период в революционно-народнической жизни Михайлова так полно и прекрасно описан Плехановым в его «Воспоминании об А. Д. Михайлове» [1]), что мне ровно ничего не остается прибавить к этому. Все это также происходило на моих глазах, и я только удивлялся железной энергии и настойчивости «Дворника», но и преклонялся перед этой цельной, словно выточенной из одного куска мрамора, фигурой этой прекрасной индивидуальности. Да, Михайлов был вполне цельной личностью!

В Петербурге как зимою 1876 года, так и весною 1877 я не успел еще узнать и сойтись с «Дворником». Я узнал его хорошо в Саратове, где я прожил, помнится, около трех месяцев. «Дворник» жил особо, в семье раскольника-«спасовца», а я на общей квартире, в «коммуне» на Камышинской улице. Редко проходил день, чтобы мы не видались.

На этой квартире встречались и другие товарищи в свободное от текущей работы время. На этой же квартире обсуждались разнообразные вопросы местной организации. Помню я одно такое собрание приблизительно в первых числах августа. Мы получили известие о том позорном истязании, которому был подвергнут «Андреевич» (Боголюбов-Емельянов) в Доме Предв. Заключения и о последующем затем избиении политических заключенных. Партии был нанесен страшный удар, тяжкое оскорбление.

Стон раздался в партии, словно из сердца ее вырвали кусок живого мяса. Крик: «месть! месть! смерть опричнику!» разнесся в партии. Это был единодушный крик гнева и негодования, вырвавшийся одновременно из сотен истерзанных грудей!..

Наша колония была тоже глубоко потрясена. М. А. Брещинская сидела совершенно убитая, низко опустивши голову. «Мазныця», Мощенко был мрачен, как могила, его черные, как уголь, глаза сделались еще темнее. Всегда мол-

[1]) „На родине“ № 3, перепечатано в „Сочинениях“ Г. Плеханова. Т. I, чч. 1 и 2, 1905 г. Издание Библиотеки Научного Социализма. Женева.

чаливый и сосредоточенный, он на этот раз словно совсем онемел. Плеханов был бледнее обыкновенного, в глазах его то-и-дело загорались огоньки, зловещие, боевые; он тоже молчал. «Дворник» казался спокойнее всех, только манера, с которой он закручивал свои усы и дергал свою шелковистую бороду, выдавала его волнение, да и заикаться он стал несколько сильнее обыкновенного.

— Неужели мы будем молчать?—вырвался у меня крик отчаяния посреди этого тяжелого напряженного молчания.

— Ответ будет, Осип! непременно будет: это уж решено!—сильно заикаясь, заговорил «Дворник». Он решительно приподнялся с места и, бросив всем лаконическое «до свидания!», быстро вышел из комнаты. Его, повидимому, тяготило настроение окружающих. На другой день «Дворник» передал мне и другим членам «основного кружка», что петербургский «центр» поручил дезорганизаторской группе выработать план убийства Трепова, что с такими полномочиями Валериан Осинский выехал на юг. Мы все, конечно, отнеслись к этому весьма сочувственно. Этого требовала честь всей революционной партии.

Пережитое нами только-что острое горе, конечно, не приостановило нашей работы: поселения образовывались, хотя несколько и туго. Некоторым положительно не везло. Так, несмотря на все мои старания и обещания, данные мне земскою управою, я места еще не получил. Жизнь в «коммуне» стала меня тяготить, хотя я время не проводил праздно. В это время наша «коммуна» возрасла численно: с юга и Кубани к нам прибыли новые члены «Земли и Воли», с целью заселения саратовского края. Положение наше осложнялось: жаждущих и ищущих мест много, но предуготовленных—мало, спрос велик, а предложение мало. Это, вопервых. А во вторых,—сильное приращение нашей «коммуны» обратило на себя внимание как наших хозяев, так и соседей. Сначала было просто любопытство возбуждено, а потом появились в той стороне и тревоги и опасения: то хозяин, то хозяйка стали к нам заглядывать, по тому или другому поводу, на квартиру.

Вокруг нас стала создаваться какая-то затхлая атмосфера шопота кумушек и неприязненной подозрительности обывательщины.

Что мы за люди? не фальшивые ли монетчики?—так и читалось в глазах соседей. Наконец, в одно прекрасное утро мы заметили, что как раз против нашей квартиры, против наших окон, устроили себе пост два шпиона. Наше положение становилось рискованным. Надо было поторопиться принять соответственные меры. К сожалению, наши материальные ресурсы в то время значительно оскудели и произвести форсированного разрежения «коммуны», как мы этого хотели, нам не удалось. Правда, некоторые из наших членов выселились из общей квартиры, но этого было недостаточно. «Дворник» стал хмуриться, тревожиться. Собственные, усиленные приготовления его к собственной своей работе среди раскольников не оторвали его от общих работ секции по организации поселений. Он выработал подробную программу или проект организации поселений, с указанием на карте Саратовской губернии тех пунктов, которые должны быть по возможности заселены. При этом он дает самые детальные указания, по какому тракту поиски мест должны совершаться, по какому тракту должны следовать обратно поселенцы, на тот случай, если бы, по тактическим или иным конспиративным причинам, требовалось «замести следы искателей мест».

Он настойчиво требовал от поселенцев, чтобы они на практике дополнили его предварительные указания собственными, из опыта почерпнутыми соображениями. «Дворник», таким образом, стремился выработать полный план организаций поселений по губернии, чтобы облегчить возможность дальнейшей работы грядущим поселенцам. «Во едину от суббот», «Дворник» обратился ко мне и Мощенко с предложением, собраться и обсудить его проект организации поселений и вместе с тем тут же рассмотреть предложение его относительно приема в центральный «основной кружок» некоторых членов здешней секции. Мы сошлись втроем в условленном месте и отправились в какой-то трактир, который выбрать мог только «Дворник».

Надо полагать, что ему указали этот трактир его «спасовцы».

«Дворник» был одет в поддевку, на голове картуз, обут в высоких сапогах.—«Экий чуйка!»—блеснуло у меня в голове при виде «Дворника».

Мощенко выглядел форменным сапожником, как оно и подобало ему (он у нас считался лучшим сапожником). Я напоминал собою самого заурядного мещанинишку. На наш приход присутствующие не обратили внимания, и мы заняли далекий угол грязного трактира. «Дворник» потребовал две порции чаю и кренделей. Ну, уж и крендели! Мы насмешливо переглянулись с «хохлом». «Дворник» прежде всего начал с того, что дела его с раскольниками подвинулись вперед, и он надеется вскоре с их помощью пристроиться в качестве «своего» учителя, т.-е. учителя, нанятого **самими** раскольниками. Мы, конечно, пожелали ему всякого успеха.

Потом «Дворник» предложил учителя, Н. А. Кор—вича в члены «основного кружка». Я его не знал, а потому и воздержался от подачи голоса; Мощенко же хорошо знал его, и он присоединился к мнению «Дворника». Кор—вич был принят, и решено было известить об этом наш петербургский «основной кружок».

Что касается «Николки» (Бых—ева), то, в виду открытого тяготения его к «лавризму», решено было выждать некоторое время, т.-е. подвергнуть его некоторым образом карантину. Мы решили с этой целью передать его Плеханову, который, по возвращении его из рекогносцировки, сумеет обработать его надлежащим образом. Наконец, мы перешли к обсуждению проекта организации поселений. «Хохол», со свойственной ему трезвостью, указал «Дворнику» на то, что его проект в полном объеме не может быть приемлем, при наличности наших революционных сил, что в его списке нет многих крупных населенных пунктов, что, далее, для этой цели можно воспользоваться «списками населенных местностей», имеющимися при некоторых земских управах. Но в конце концов проект Михайлова, как **схема**, был принят нами, и мы высказались за передачу его на обсуждение совета членов саратовской секции.

В то время, когда наши «поселенцы», худо-ли, хорошо-ли, но уже стали работать в деревне: знакомились с населением, входили в его интересы, и т. д., и т. д.,—наши горожане, члены коммуны, переживали тяжелый кризис. Они всеми силами стремились в деревню, а деревня не дава-

лась им в руки. Не так-то просто создать себе мало-мальски прочное положение—а мы именно э т о г о-т о и хотели—в деревне!

Чтобы открыть, например, лавочку, трактир или заезжий двор, нужно иметь некоторую наличность средств, нужны некоторые связи и знакомства на м е с т а х, а то с в о и деревенские дельцы могут легко ножку подставить «чужому» или, еще хуже, какую-либо пакость причинить..... Кто знает нашу деревню, тот поймет, что легко сказка сказывается, да не так скоро дело делается: в деревне нередко возникают серьезные недоразумения и замешательства, совершенно неожиданного характера, кроющиеся в бытовых условиях, в особенностях деревенского уклада жизни. От наших искателей «поселений» вы бы могли услышать не мало поучительного и интересного в этом отношении.

Вот, напр., какой траги-комический случай был с нашим «Егорычем». Ищет, рыщет «Егорыч» («Юла»—тож, «Юлою» прозвали его за крайнюю подвижность его: он не мог усидеть на одном месте; словно ртуть, он растекался во все стороны) по Саратовскому уезду—поселения добивается, но никак не удается.

Возвращается он в Саратов и на пути, за околицей какой-то деревушки лег отдохнуть на пригорке. «Егорыч»—мужчина видный, среднего роста, плотный, широкоплечий, с огромною до самого пояса бородою. Настоящий Черномор в Руслане и Людмиле. Костюм на нем был изрядно поношенный. Этот «прохлаждающийся» в рабочую пору (это было как раз в «страду») «чужой», естественно, обратил на себя внимание деревенских обывателей.

«Егорыч» же этим временем, обвеваемый холодком, вздремнул. Вдруг он слышить приближающиеся шаги, топот людей, говор—и пред изумленными его глазами стала разношерстная толпа мужиков и баб. «Егорыч», как каучуковый, вскакивает с своего ложа.—«Что за человек? чьи будете?—посыпались на него вопросы. Короче: попросили раба божьего в «расправу».

Там «Егорыч», уже совершенно овладевший собою, предъявил старосте свой паспорт, дал кое-какие объяснения, вполне удовлетворившие испуганных домохозяев, принявших «Егорыча» за конокрада, и в заключение всех перего-

воров и толков совершенно неожиданный финал: «Егорыч» остается в этой деревне одновременно и сельским писарем и учителем, с жалованьем 8—10 р. в месяц, с харчами на счет домохозяев. «Егорыч» просвистел и пропел: «Гром победы раздавайся»! Но оно могло окончиться и хуже, если бы подвернулся какой-нибудь более ревностный «блюститель порядка».

Но, повторяю, не всем так «потрафило», как «Егорычу» и другим нашим товарищам. Особенно не повезло вновь прибывшим в «коммуну»: денег не было, связи не устанавливались. Где тонко, там рвется. М. А. Брешинская, так хорошо устроившаяся в городской (губернской) больнице, совершенно неожиданно потеряла место, благодаря самодурству смотрителя больницы. Несмотря на то, что ей протежировал старший врач больницы, она, выдающаяся работница в больнице, все-таки была изгнана.

В «коммуне» все более и более сгущалась атмосфера тревоги и недовольства.... Было ясно, что за коммуной зорко следят, и что провал неизбежен. Решено было созвать общее собрание всех живущих в Саратове членов секции для принятия решительных мер. На собрании выяснилось, что некоторым нашим членам надо обязательно совсем уехать из Саратова. Мне и Мощенко предложили уехать в Москву, где в то время был Михайлов по случаю отбывания им воинской повинности. Помнится, что у нас в Москве было какое-то дело к покойному К. А. Вернеру и К°.

Вслед за нами должны были выехать Хотинский и Плеханов. Последний был безусловно нужен в Петербурге и его настоятельно звали туда. Вместе с тем было постановлено упразднить по мере возможности скорей «коммуну», предупредив об этом заблаговременно иногородних и деревенских товарищей.

Я уехал из Саратова с тяжелым чувством.

Опасения наши сбылись. Не успели мы доехать до Петербурга (в Москве мы получили от наших товарищей по «основному кружка» письмо, поторопиться приездом нашим в Петербург), как пришло известие о полном провале нашей саратовской «коммуны». Арестованы: Богомаз, хозяйка квартиры, А. Н. Новицкая, Бураков, «Николка»,—постоянные жильцы этой квартиры. Далее заарестованы пришедшие на

эту квартиру: Брещинская, Хотинский и Корсак. Очевидно, что не приняты были никакие меры, чтобы предупредить об опасности приходящих товарищей.

Плеханов был арестован на квартире Брещинской, где была устроена засада. В сопровождении двух городовых его повели в участок. В кармане у Плеханова было два паспорта, один—его, а другой—запасной. По пути Плеханов незаметно выронил запасной паспорт, но, как на зло, проходивший мимо него господин заметил упавшую на землю бумажку, поднял ее и любезно передал ее Плеханову со словами: «Господин, это вы изволили уронить?»

В участке Плеханов пробыл почти весь день, при чем воспользовался подходящим моментом, чтобы окончательно отделаться от лишнего паспорта.

Помощник пристава, соскучившись держать Плеханова в участке (день был воскресный и пристав, должно быть, загулял), отправился с Плехановым на его квартиру, осмотрел ее бегло и взял с него подписку явиться в участок на следующий день. Отделавшись так счастливо от ареста, Плеханов принял все меры, чтобы, так сказать локализировать погром: он предупредил всех товарищей как городских, так и деревенских о постигшем нас несчастьи. И никаких больше жертв не последовало. Что касается участи арестованных товарищей, то все, за исключением Новицкой и Корсака, были вскоре совершенно освобождены за отсутствием какого бы то ни было состава преступления.

Корсака собирались отправить, если не ошибаюсь, этапным порядком на родину. Только одну Новицкую продержали еще некоторое время в тюрьме, пока ее не взяла на поруки мать ее, нарочито вызванная в Саратов. В марте 78 года, если не ошибаюсь, Новицкую судили с присяжными за «проживательство под вымышленным именем с фальшивым паспортом».

Присяжные оправдали ее.

В окончательном итоге последствия саратовского погрома оказались таковыми: «центр» был совершенно дезорганизован, поселения остались, таким образом, без головы, войско—без штаба. А это, само собою, не могло не отра-

зиться на судьбах наших поселений. В самом деле, какое же революционное значение мог иметь десяток-другой землевольцев, разбросанных на обширной территории и не связанных между собою единою дирижирующею волею? Не только революционная, но и осмысленная культурная работа едва ли могла бы рассчитывать, пр иподобных обстоятельствах, на какой-либо успех. И это именно вскоре и сказалось. Вслед за Новицким, спустя некоторое время, стали выползать из деревень и другие «деревенщики» и разбрелись врозь; осталась в деревне лишь небольшая кучка твердых и непоколебимых. Так распалось саратовское поселение, не просуществовав и года, как единое и цельное. Задуманное основательно, составленное из лиц надежных и опытных, оно, это поселение, сулило нам успех. Что же случилось? Как же это вышло, что достаточно было одного лишь удара—и даже не удара, а щелчка только—правительственного, чтобы все наше здание разнести в щепки, как карточный домик? Почему же «центр» не был восстановлен во-время? Ведь деревенские поселения не затронуты были непосредственно правительственным погромом? Дело в том, что после разгрома «центра» и городских организаций между товарищами начался разлад, пошли раздоры. Это—печальный факт, который затушевывать не следует. Брещинская, Сергеев, Богомаз и Новицкие совершенно разошлись. Образовались, как это повсюду и всегда бывает, партии: одни стояли на стороне Брещинской и Сергеева, другие—на стороне Богомаза и Новицких. Чего они между собою не поделили—нельзя было еще и тогда разобраться в этом, а тем более теперь. Но факт остается налицо и его надо признать. Из этих разрозненных элементов уж трудно было тогда составить что-нибудь прочное и согласованное, если бы даже за это взялся бы человек с семью пядями во лбу. Но и такого человека, к несчастью, в то время не оказалось налицо. Единственный сильный человек, оставшийся в Саратовской губернии—«Дворник» (Михайлов)—забрался куда-то далеко в самую глушь спасовского мира и ушел весь в этот мир. «Правда, Александр Дмитриевич никогда не мог увлечься каким-нибудь специальным делом до забвения, хотя бы и временного, других отраслей революционного дела. Каждое отдельное предприя-

тие имело для него смысл лишь в том случае, когда он видел, понимал и, если можно так выразиться, осязал связь его со всеми остальными функциями общества «Земля и Воля»[1]). Но что помешало тогда нашему «Катону-цензору», Михайлову, вернуться из деревни в Саратов и забрать в руки бразды правления—мы не можем с определенностью сказать. Но, очевидно, были какие-то непреодолимые препятствия на первых порах, против которых итти не мог даже «Дворник». Время, между тем, уходило, а с этим и возможные шансы быстрого реставрирования нашего саратовского «центра». Так прошло несколько месяцев—самое золотое время. А уже в начале апреля 1878 г. Михайлов сам мчится в Петербург, привлекаемый туда тогдашними бурными событиями. А логика этих бурных событий, как ниже увидим, оказалась сильнее твердого, как кремень, Михайлова: помимо своей воли, вопреки своим желаниям, под давлением требований большинства членов петербургского «основного кружка», он все более и более вовлекается в самый водоворот тогдашних событий—и Петербург теперь поглощает совсем эту мощную личность, навсегда уже потерянную для деревни.

Таким образом, lest no least—саратовское поселение лишилось последнего своего организатора, и без средств и связей, предоставленное самому себе, оно, само собою, должно было неизбежно сесть на мель. И оно, действительно, село. Правительственный разгром послужил лишь толчком для дальнейшего, так сказать, самопроизвольного крушения или разрушения саратовских поселений.

Правительственные гонения это—общая основная причина.

Разрушительная сила ее велика—слов нет! Но с нею еще можно было бороться, если бы были в наличности организующие, творческие силы, материальные средства и связи. Недостаток материальных средств и важных связей еще при возникновении наших поселений стали нам на дороге: они затормазили расселения землевольцев по деревням,—во-первых, они этим вызвали скопление

[1]) Сочинения Г. В. Плеханова. „Воспоминания об Ал. Дм. Михайлове". стр 149.

избыточных сил в городе,—во-вторых, а это последнее, наконец,—в-третьих, в свою очередь обострило бдительность властей и обусловило неизбежный погром городских организаций.

Такова судьба саратовского поселения, нашего первого крупного поселения. Оно не просуществовало и года.

Я останавливался так долго на этом поселении, потому что считаю его типичным селением. Я постарался выяснить как общие, так и специальные причины его преждевременного упадка.

Почти одновременно с погромом саратовских поселений, подверглись также «потоку и разграблению», т.-е. крушению и прочие наши землевольские, а равно и другие революционно-народнические поселения. Погибли нижегородское (землевольское поселение, во главе которого стояли Александр Квятковский и Иван Логинович Линев) и самарское (кружок братьев Богдановичей, Соловьева и И—чина-П—ева). Я не знаю, к сожалению, всех подробностей, сопровождавших разгром названных поселений, а потому не могу сказать, в какой мере основной причине всех погромов—политическому гнету, с его атмосферою бесправия, беззакония, произвола, подозрительности и шпионства и т. д.,—принадлежит здесь решающее значение. Только по отношению к самарскому поселению у меня имеются под руками некоторые данные, ясно указывающие на то, что ближайшим поводом к провалу этого поселения послужил наш, так сказать, первородный грех—«наша широкая русская натура», говоря словами Александра Михайлова, т.-е., говоря опять-таки словами Михайлова, «наша распущенность, недостаток ежеминутной осмотрительности, рассеянность». Как известно, «причиною одновременного и внезапного бегства членов самарского поселения послужило то обстоятельство, что в Самаре по телеграфу получено ими известие об аресте 18-го декабря в Петербурге Чепурновой, отправлявшейся в Самару, при которой найдены были письма к самарским поселенцам, не оставлявшие никакого сомнения в существовании в Самаре противозаконного сообщества с революционными целями, во главе которого стояли Юрий Богданович и Лебединцев и к которому принадлежали все

вышепоименованные лица» [1]). Этот случай глубоко поучителен и демонстративен по его реальной наготе: случайный арест одного лица, снабженного компрометирующими письмами, убивает наповал одно из лучших наших революционно-народнических поселений!

Подводя итог первому году деятельности наших землевольских и прочих революционно-народнических поселений, я должен с глубоким прискорбием констатировать, что крушение названных поселений не только вызвано политическим гнетом, — преследованиями и правительственными репрессиями,—но и в значительной степени обязано некоторым глубоким дефектам в нашей собственной организации и на первом плане, помимо недостатка в материальных средствах,—отсутствию в нас выдержки и дисциплины. Я глубоко убежден в том, что, если бы мы, тогда еще бодрые, свежие, вполне готовые и способные для деятельности в деревне, хорошо подтянули себя, то мы бы были вполне в состоянии противопоставить с успехом репрессивно-правительственной силе свою конспиративно-революционную.

В то время, когда землевольцы и другие народники-революционеры—назовем их северянами—заводили в деревнях поселения, завязывали знакомства и связи с народом, служили ему в разнообразных видах и положениях, подготовляя этим почву для возможной революционной агитации и организации в его среде,—в то же время южные народники-революционеры сочли возможным решительно выступить фронтом против существующего порядка: они прямо приступили к организации заговоров среди крестьян, с целью вызвать восстание. Южане в этом отношении были счастливее северян, и опыт революционной организации южан в народе, несмотря на его эпизодический характер, представляет, тем не менее, большой исторический интерес. Я говорю о революционных попытках Дебагория-Мокриевича и К° в Каневском уезде, Киевской губернии, с одной стороны, и Стефановича и К° в Чигиринском уезде той же губернии—с другой.

[1]) Общество „Земля и Воля". Е. А. Серебряков. Лондон. Типография „Жизнь". 1902 г. Стр. 20.

В Каневском уезде сохранились живые традиции о гайдамачине, настроение крестьян было не только оппозиционное, но и революционное. В эту-то среду, уж стихийным историческим процессом подготовленную к восстаниям, принесли Дебагорий-Мокриевич, Фроленко, Дробязгин и другие свою сознательную революционную агитацию. Они разселились по всему уезду в разнообразных положениях: завели трактиры, лавочки в селах, торговали лошадьми, чтобы, в случае восстания, иметь возможность доставить их в большом количестве; при этом они уже запаслись оружием и прочими боевыми принадлежностями.

Одновременно с этим они пустили в обращение среди крестьян массу брошюр агитационно-революционного характера. Агитация имела успех. Старики деревенские ставят вопрос ребром:—«Чего же вы собственно хотите?»—«Мы хотим поднять вас, вызвать бунт!» был ответ агитаторов.—«Мы готовы! В других деревнях идет то же самое, приходите на следующей неделе!» Агитаторы так и сделали. В назначенный день в одной избе собралось больше 20 крестьян, которые стали обсуждать вопрос, как им добыть свою землю. Они порешили организоваться в группы и поручили присутствовавшим агитаторам доставить им оружие и револьверы. Затем было решено устроить кассу и был выбран кассир. На собрании присутствовал бывший волостной писарь; он был очень обижен, что его не выбрали в руководители, и в пьяном виде разболтал обо всем разговоре. Организация не просуществовала и полгода, как уже правительство знало о ней. Крестьяне, заранее предупрежденные, успели, однако, уничтожить все бумаги, и полиция не нашла у них ничего компрометирующего [1]). Дело каневских агитаторов, к сожалению, не было доведено до конца. Но попытка их во всяким случае—не шутка: они, южане, взялись за дело прямо, как и подобает настоящим бунтарям-народникам,—через народ, при помощи народа вызвать восстание, чтобы с оружием в руках завоевать себе экономическую независимость, т.-е. раздобыть землю.

Совершенно иначе действовал Стефанович с товарищами, добиваясь тех же целей, в Чигиринском уезде. Во многих волостях Черниговского уезда возникли неудо-

---

[1]) См. Тун. История революционного движения в России, стр. 87.

вольствия между крестьянами, особенно усилившиеся вследствие споров из-за форм землевладения. Хозяева с малыми семьями хотели сохранить прежнее подворное владение; семьи с большим количеством душ стояли за введение великорусского общинного землевладения и, следовательно, за передел земли по душам. Под влиянием различных слухов они пошли дальше и требовали перехода к крестьянам всей помещичьей земли. Ходоки, посланные к царю от семи волостей, были схвачены и возвращены полицией на родину; это только подтвердило мнение крестьян, что чиновники обманывают царя. Когда затем они отказались еще от уплаты податей, то в 1875 году дело дошло до экзекуции, при чем двое крестьян были засечены до смерти. Имущество крестьян было продано, чтобы покрыть недоимки.

В 1876 году бунтовавшая волость Шабельники была наказана военным постоем и совершенно разорена; около ста крестьян были заключены в тюрьму, что, однако, не заставило их принять подворное владение. Несмотря на все это, крестьяне не теряли мужества и верили слухам, что сам царь к ним приедет»[1]).

Вот эти-то деревни, разоренные вконец правительственными «правежниками», задавленные приказно-полицейской мертвой петлей, деморализованные страхом, опутанные тонкой сетью двойного шпионства—царских «ушей и глаз», с одной стороны, и своих же односельчан-добровольцев, сторонников подворного владения, с другой, — вот эти-то деревни и выбрал Стефанович операционным базисом своей революционной деятельности; в эту-то темную среду, с ее тупым протестом, и задал себе целью Стефанович внести сознательный, целесообразный протест революционной тактики. Но тут-то нашла коса на камень. Пред Стефановичем стояла масса, насквозь пропитанная всякого рода историческими иллюзиями и недоразумениями, и на первом плане—глубокая вера в царя. Чигиринцы готовы были все вынести, но чисто пассивно: они уперлись лбами в неплатеж податей и в отказ принять подворное владение. Раздор, нищета, голод, всяческие физические истязания и нравственные муки им нипочем: будут терпеть,—вот приедет

[1]) Там же, стр. 18.

барин,—барин их рассудит! Одна надежда на царя, ею они живут: царь сам их рассудит!

Стефановичу осталось лишь одно: их же оружием победить их.

Много организаторского ума обнаружил здесь Стефанович, много выдержки и воли, но добился-таки своего. Как,—я отсылаю читателя к самим Стефановичем описанной Одиссее его, которую читатель найдет в приложении к «Истории революционного движения в России» Туна с предисловием Г. В. Плеханова. Я ограничусь здесь лишь сутью.

После многократных переговоров и бесед с заключенными в тюрьме чигиринцами, Стефанович, наконец явился к ним с хорошей вестью: он-де прямо пришел от царя, он—царский комиссар; царь-де приказал ему передать своим чигиринцам, что он сам им помочь не может, так как на пути его стоят господа и чиновники, но он благословляет их на бунт, на народное восстание; когда они подымутся, он сам тогда пойдет с ними, станет во главе их. В доказательство своих слов Стефанович представляет чигиринцам два замечательных документа: «царскую грамоту» и «устав тайной дружины». «Царская грамота»—великолепно отпечатанный высочайший указ, в котором от имени царя приказывается крестьянам соединяться в тайные дружины, чтобы поднять восстание против дворян, чиновников, попов и великих князей, которые с 1861 года мешают ему, царю, дать своим верным крестьянам, кроме свободы, еще и землю. «Устав тайной дружины»—образцово составленный устав организации дружины, с приложением к уставу образца «священной клятвы», которую крестьяне должны принять, вступая в организацию. Долго колебались чигиринцы,—наконец, сдались. Они присягнули сами и заставили также Стефановича, как «царского комиссара», торжественно присягнуть. И работа закипела. В сравнительно короткое время—не более 5 месяцев—число всех «дружинников» дошло до тысячи человек. Тип организации военно-казацкий: десятки, сотни и т. д. Над всеми главенствовал «комиссар», т.-е. сам Стефанович, ему-де поручено самим царем руководить дружиной и в случае смерти последнего довести до конца освобождение крестьян. Та-

кова «тайная дружина», боевая народная организация, созданная умом и энергией Стефановича. К сожалению, она не долго просуществовала. Благодаря доносу, она, спустя полгода, была совершенно разбита: масса «дружинников», в том числе и сам Стефанович с товарищами, Дейчем и Бохановским, были арестованы. И никто в этом неповинен, никто из деятелей. Трудно удержать à la longue донельзя напряженную массу в конспиративной организации: всегда можно ожидать какого-нибудь непредвиденного ложного шага, болтливости, распущенности, а равно и прямого предательства.

Опыт народно-революционной организации Стефановича произвел громадное впечатление в революционной среде.

Землевольцев «Чигиринское дело» совершенно ослепило. Не говорю уже о нашем неисправимом романтике Осинском, но даже более спокойные из землевольцев, как, напр., Адриан Михайлов, увлеклись этим делом, можно сказать, до самозабвения. Ниже я более подробно расскажу о том бурном заседании нашем зимою 1877—78 года, на котором, по предложению Вал. Осинского, было поставлено на очередь обсуждение «Чигиринского дела». Здесь только замечу, что, благодаря лишь энергичному протесту Плеханова и пишущего эти строки, «авторитетный принцип»,—как мы тогда охарактеризовали принцип, положенный Стефановичем в основу его организации,—несмотря на явное сочувствие к нему многих членов Совета, не прошел, отвергнут Советом, и предложение Валериана провалилось.

Чтобы покончить с «Чигиринским делом», как обычно называли тогда революционно-народническую организацию Стефановича, скажу пару слов по поводу одного места в «Истории революционного движения в России» Туна, которым Тун заканчивает свое изложение «Чигиринского дела». Он говорит: «говорят, что крестьяне были вне себя от ярости, когда пред ними раскрылась мистификация «царского комиссара», особенно они были возмущены священной клятвой, которую он заставил их принести и ложной присягой, которую он сам принес»[1]).

---

[1]) А. Тун. „История революционного движения в России", стр. 92.

Вероятно, Тун имел основательные данные для такого категорического утверждения. Я здесь кстати хочу привести мнение о Стефановиче трех крестьян-чигиринцев, которых я застал в 1881 году в Тюмени, в центральной пересыльной тюрьме. Я, к сожалению, сейчас не могу припомнить их фамилий. Из Тюмени мы вместе шли с чигиринцами до Томска в одной «партии». В дороге мы частенько вступали с чигиринцами в беседу. Чигиринцы не чуждались нас, интеллигентов: они охотно вступали с нами в разговор. Мне приходилось неоднократно говорить с ними о Стефановиче. В отзывах чигиринцев о Стефановиче мне ни разу не удалось уловить какое-либо осуждение, неодобрение последнему или просто досаду на него. С совершенно эпическим спокойствием чигиринцы формулировали свой взгляд на действия Стефановича следующими (почти буквально) словами: «Мы Стефановича не виним: он нам добра желал! А что касается его присяги, то Бог ему судья!»

ГЛАВА XI.

„Большой процесс“ или процесс „193-х“ зимою 1877—78 гг. Впечатление произведенное им на общество и молодежь. Выстрел Веры Засулич 24-го апреля 1878 г. Вооруженное сопротивление Ковальского с товарищами в Одессе 31-го января 1878 г. Общественное настроение. Движение среди молодежи высших учебных заведений. Деятельная пропаганда землевольцами революционно-народнической программы среди молодежи и рабочих Петербурга. Агитация землевольцев среди интеллигенции и рабочих в Петербурге зимою 1877—78 гг. Попытка организации уличной демонстрации, с подачей адреса министру Палену, среди учащейся молодежи. Демонстрация, устроенная землевольцами среди рабочих Васильеостровского патронного завода в начале зимы 1878 г. Деятельное участие землевольцев в стачечном движении петербургских рабочих в 1878 году: в стачке на Новой бумагопрядильне в марте 1878 года и в стачке на бумагопрядильной фабрике Кенига в конце того же года. С'езд землевольцев зимою 1877—78 гг. Предложения Валериана Осинского. Дебаты по поводу этих предложений, и окончательные постановления с'езда—Большого Совета. Пересмотр программы общества „Земля и Воля“ и устава организации его. Привлечение новых членов в общество. Тесные федеративные связи с революционно-народническим кружком В. Н. Фигнер. Новые землевольские поселения: ново-саратовское, тамбовское и воронежское. Типографская и издательская группы землевольцев. Землевольская тайная типография „Вольная русская типография“, переименованная в конце 1878 г. в „Петербургскую вольную типографию“. Ее подпольные издания и ее организатор—Аарон Зунделевич.

Зима 1877—78 гг. ознаменовалась целым рядом капитальной важности событий, предвещавших, если неполное и решительное перераспределение революцион-

ных сил, то, во всяком случае, накопление и концентрацию их в определенном, отклоняющемся от основной тенденции общества «Земля и Воля», направлении.

В Петербурге тогда шел так называемый «Большой процесс» или процесс «193-х»,—этот, по выражению Плеханова, «долгий поединок между правительством и революционной партией».

Общественное возбуждение, достаточно уже подготовленное «процессом 50», достигло теперь значительной высоты. Пред обществом предстали теперь новые герои, новые мученики. Жестокий правительственный гнет выступил теперь во всей его ужасающей наготе. Усилиями прокуратуры и жандармерии создано «громадное дело»: 3800 человек (считая в том числе и всех свидетелей) привлекается к нему; число обвиняемых—193. Четыре года подготовляется оно, это убийственное дело; четыре года томятся обвиняемые в предварительном заключении; в продолжении этих четырёх лет умирает около 70 человек. Наконец, суд настал.

Пред изумленной публикой проходят уж теперь не «лучезарные фигуры девушек, которые с спокойным взором и детски-безмятежной улыбкой на устах идут туда, откуда нет возврата»[1]), а мощные, стальные фигуры борцов за свободу—фигуры Мышкина, Ковалика, Рогачева, Войнаральского, Брешковской и пр.! Они—неподсудимые, а грозные обвинители: они требуют народного суда, а не суда «подлых, холопствующих из-за чинов и крупных окладов, торгующих чужою жизнью, истиной и справедливостью... чиновников» (слова Мышкина на суде). Страстная, боевая речь Мышкина прозвучала смертным приговором существующему общественно-государственному строю. Этот бесстрашный, гордый внутренней своей силой, революционер, начертал тогда на стенах «скорого и милостивого» суда роковые слова:—«Факел, Мани, Фарес» современным идолам. Речь Мышкина потрясла всех присутствующих. Бессильный в своем гневе суд пускает в ход жандармские кулаки, которые обрушиваются на Мышкина и

---

[1]) Слова С. Кравчинского о подсудимых девушках по „Московскому процессу 50-ти“.

ближайших его товарищей. В зале суда подымается оглушительный шум, начинается свалка, слышны рыдания, падают в обморок; публика удаляется силою. Суд убегает. В ответ на эту возмутительную судебную необузданность последовал со стороны обвиняемых окончательный отказ принимать участие в судебном процессе.

Весть о происшедшем на суде мигом облетела весь Петербург.

Все негодуют: и общество, и молодежь в особенности.

Но это еще цветочки, а ягодки еще впереди.

«Наступали первые дни 1878 года [1]). Процесс 193-х кончился. «Снисходительный» приговор, после тяжелого многолетнего заключения, был давно представлен на утверждение императора. Наши товарищи, сидя в казематах петропавловской крепости, уже строили планы новой жизни, всецело посвященной служению свободе и родному краю. Дни шли за днями; заключенные мало-по-малу сживались с мыслью о воле; эта мысль сделалась, наконец, неотъемлемой частью всех их помыслов и мечтаний. Но вот сначала тихо, а потом все громче и громче стала разноситься по городу невероятная новость: вследствие настояний Палена и Мезенцева, государь отверг ходатайство сената о замене для осужденных каторги ссылкой на поселение. Двенадцать наших товарищей были осуждены на медленную смерть в одной из центральных тюрем»...

В числе осужденных на каторгу и не помилованных были следующие лица: И. Мышкин, Пор. Войнаральский, С. Ковалик, Дм. Рогачев, Мит. Муравский, Мих. Сажин, Т. Квятковский, Л. Шишко, Ек. Брешковская, А. Лукашевич, Н. Чарушин и И. Союзов (И. Добровольский бежал после объявления приговора за границу).

Это произвело на всех потрясающее впечатление. Особенно сильно волновалась молодежь. А между тем события шли своим чередом. 24 января 1878 года совершенно неожиданно, словно гром среди ясного дня, раздался исторический выстрел Веры Засулич: ранен Трепов. Оскорбление, нанесенное Боголюбову и партии, смыто кровью

---

[1]) Из фельетона „Земля и Воля“ № 4. См. „Революционная журналистика 70-х годов“, стр. 337. Изд. Базилевского, 1905 г.

гнусного оскорбителя. А шесть дней спустя—30 января—снова раздаются выстрелы. Это—Ковальский и его товарищи в Одессе отбиваются с оружием в руках от устроивших на них облаву полицейских и жандармских чинов.

Описанные события следовали одно за другим с такою неожиданностью и стремительностью, что совершенно переполошили всех—и общество, и молодежь, и правительство. Чувствовалось, что в общественной, так сказать, атмосфере все более и более накопляются и сгущаются оппозиционные настроения, и что эти настроения становятся все более и более напряженными. Казалось, что все благоприятствовало этой надвигающейся со всех сторон конденсации общественного протеста.

Только-что окончившаяся бесславно «освободительная война» за братьев-славян, полное дипломатическое поражение нашей официальной «великой державы», крайнее хозяйственное истощение страны, как финал этой войны, с неизбежными спутниками этого истощения—голодовками, вот что предстало во всей наготе пред глазами общества в итоге 1877 года. И апатичное, инертное общество, после почти 10-летнего непробудного сна, зашевелилось наконец. Оно сознало, что дальше спать преступно, что преступно умывать, как Пилат, руки в то время, когда рядом с ним, бок-о-бок с ним, ведут вот уже четыре года неустанную борьбу с правительством его же дети,—молодая, революционная Россия.

Последние два процесса—«процесс 50» и «процесс 193-х»—словно раскрыли обществу глаза.

С одной стороны—мученики, апостолы освобождения народа, а с другой—тупое насилие темной правительственной реакции. «Времена апостольские возвращаются!» в глубоком душевном умилении говорили одни, выходя из залы заседания.

«Новая сила нарождается!»—говорили другие.

И симпатии общества, по крайней мере, лучшей его части,—бесповоротно перешли на сторону революционной молодежи. А симпатии к революционерам, сочувствие им, означало теперь решительную оппозицию правительству, полное осуждение всей его политики, возможное в ближайшем будущем более активное содействие его, общества,

революционной борьбе молодежи, если не самостоятельное деятельное выступление его.

Таково было настроение больших кругов общества под влиянием описанных событий зимы 1877—78 годов.

Я в то время как раз был в Петербурге и воочию видел это приподнятое настроение общества. В либеральных кругах то-и-дело были разговоры о конституции: одни надеялись, что сам государь, вернувшийся с поля битвы в благодушном настроении, будет «венчать здание»; другие полагали, что, для достижения этой цели, необходимо некоторое общественное давление, в форме общественных петиций или адресов, обращенных на Высочайшее имя; наконец, третьи, более скептически настроенные, ратовали за организацию, прежде всего, подпольного революционно-конституционного органа, с целью распространения в широких слоях публики идей политической свободы и созидания в них соответственного освободительного настроения. Последние то-и-дело пытались сблизиться на тех же основаниях с революционерами вообще, а в частности—с нами, землевольцами. О такой попытке одной из киевских либеральных групп скажу здесь попутно два слова.

В январе 1878 года, одновременно с Валерианом Осинским прибыл в Петербург депутат от киевской группы конституционалистов, если не ошибаюсь, Ювеналиев, с предложением нам, землевольцам, совместно издавать революционный орган. Предложение это внес в совет Валериан; оно, конечно, провалилось с треском: литературный блок этот ни в ком из землевольцев не встретил никакого сочувствия, да и сам Валериан Осинский, внесший это предложение, занял в этом вопросе несколько колеблющуюся позицию. Зато более решительно было другое предложение, внесенное также Валерианом от имени вышеупомянутого киевского депутата, а именно: напечатать в нашей «вольной типографии» прокламацию киевских конституционалистов к русскому обществу.

Гвоздем этой прокламации, помнится, была конституция или Земский Собор. Начались дебаты, мнения разделились. Правоверные народники—Преображенский, «Родионыч» (М. Р. Попов), Мощенко и пишущий эти строки

—высказались безусловно против напечатания в землевольской типографии таких воззваний и литературных произведений, которые идут вразрез с основными социально-политическими воззрениями общества «Земля и Воля». К ним присоединились и другие «деревенщики». Валериан горячо отстаивал свое предложение. «Наша типография,—говорил Осинский,—вольная типография, и она должна таковой быть не только по имени: каждое вольное, протестующее слово должно найти в ней место. Отказываясь напечатать это воззвание, мы подрываем собственную основу, святую святых нашего революционного credo — право свободы слова. Наша типография—единственная вольная типография в России, откуда исходит свободное слово. Дадим же через нашу типографию и другим возможность сказать тоже свое вольное слово!» Валериана поддерживали Оболешев-Сабуров, Зунделевич, Ольга Натансон. Дебаты затягивались, страсти разгорались. В пылу спора, пишущий эти строки заявил категорически, что если, паче чаяния, это воззвание будет отпечатано, то он, с своей стороны, примет все меры, чтобы изъять оное из обращения, что за медико-хирургическую академию он вполне ручается, что во всяком случае в среду молодежи оно не будет допущено. Поднялся шум. В конце-концов кто-то предложил такой компромисс: воззвание конституционалистов отпечатать, но с оговоркою от общества «Земля и Воля», что отпечатание этой прокламации отнюдь не выражает солидарности «общества» с политическими взглядами, высказанными в ней, что это сделано лишь ради, так сказать, политического убежища свободному слову вообще, гонимому в России. На этом все и согласились. Сейчас не могу сказать, было ли действительно напечатано упомянутое воззвание у нас или нет: у меня под руками сейчас нет никаких вообще землевольских прокламаций и изданий.

Возбуждение общества, между тем, возрастало.

В исторический день 31 марта 1878 года,—в день оправдания Веры Засулич,—общественное брожение достигло своего апогея. «В этот день,—говорит конституционный «Летучий Листок» [1]),—общество, «избранное общество», по со-

[1]) „Летучий листок“ № 1-й. Апрель 78 г. „Революционная журналистика 70-х годов“. Издание Базилевского, 1895 г. Paris. 111—113.

знанию «Москов. Ведом.», впервые оценило героизм молодежи, гибнувшей в тюрьмах и на каторге.

Оно услышало возмутительные подробности генеральского издевательства над человеческим достоинством, узнало прошлое самой Засулич, заглянуло в ее чистую душу и не только вынесло ей, в лице присяжных, юридическое оправдание, но признало ее воплощением русской совести и мысли.

...«Мы знали, конечно, и прежде, где мы живем, но на этот раз страшная истина, позорная, предстала во всей наготе, и мы почувствовали, до какой степени бессловесна и бессудна наша родина.

Наша пресса, измученная и погребенная под бременем бессудности, славословила освобождение славян и молчала о рабстве России.

Общественное мнение тоже не смело наказать башибузукского генерала. И нас охватили негодование и жгучий стыд. С тех пор между правительством и обществом открылась пропасть и в нынешнее же лето, от оправдания Засулич первое, царствование же Александра II двадцать четвертое, факт передачи общественных дел в общественные руки должен обратиться в принцип».

....«Мы не смеем жертвовать теми честными лицами, которым «тяжело поднять руку на человека» (слова Веры Засулич на суде), и не можем отдаваться на жертву мясникам, которым это легко. Нужен выход. Его указывает самое положение вещей. Само правительство инстинктивно вовлекается в водоворот».

....«Таковы факты. Разрозненные, беспорядочные, они должны быть возведены в принцип. Принцип этот называется: к о н с т и т у ц и я, з е м с к и й с о б о р». (Курсив автора «Летучего Листка». О. А.) [1]).

Раз начавшееся общественное брожение не улеглось.

Дальнейшие факты русской действительности 1878 года, как нарочито, развертывались с такой железной последовательностью, что не давали уже уснуть взбудораженному русскому обществу; они, эти событня, подобно осам и шме-

---

[1]) Автором этого „Листка", оказывается, был покойный Н. К. Михайловский. *А.*

лям дантовского «преддверия в ад», не давали покоя своим жалом этому обществу. Заговорили, наконец,—правда, полусвободным только языком,—даже такие глухонемые, как профессора высших учебных заведений.

Я имею в виду докладную записку совета харьковского университета от 16 декабря 1878 года, поданную на имя министра народного просвещения. В докладной записке своей совет университета резко протестует против избиения студентов казаками 14 декабря 78 года.—«Образ действий военных и гражданских властей г. Харькова 14 декабря[1]),—говорится, между прочим, в докладной записке,—возбуждает во всех нас чувство неодолимого негодования»... ....«Протестуя искренне и сознательно против мер, наносящих удар достоинству университета и внутреннему благу дорогого нашего отечества, мы обращаемся теперь к заступничеству Вашему пред Государем Императором, как верховным покровителем всех русских университетов. Вместе с этим мы просим Ваше Сиятельство о правосудии в настоящем деле для охраны достоинства, нравственного влияния и полезной в обществе роли Императорского Харьковского Университета».

Нельзя сказать, чтобы это был язык свободных людей!

Более уж свободным языком заговорили почти в то же время харьковские земцы. На циркулярное обращение правительства к земствам оказать ему содействие в борьбе с революционной гидрой, с которой оно само, правительство, не может справиться,—последовал ответный «адрес» с просьбою дать «конституцию», т.-е. по меньшей мере,—дать право так или иначе обсуждать политические вопросы. За этот фортель Гордеенко, автор адреса, был награжден административной высылкой. Харьковское «требование конституции» было не единственное в этом роде.

Подобные же попытки были и в Орле, и в Полтаве, но они, по «независящим обстоятельствам», не успели вылиться в определенную форму.

Познакомившись с настроением общества в 1878 году, обратимся теперь к нашей учащейся молодежи.

---

[1]) „Земля и Воля“ № 4. Отдел: „Документы“. Приведено у В. Базилевского „Революционная журналистика 70-х годов“.

Как известно, самым чувствительным барометром нашего, так сказать, политического давления была всегда и есть наша учащаяся молодежь. В описываемое нами время, т.-е. в зиму 1877—78 годов, она, под влиянием вышеупомянутых событий, показала себя в лучшем виде. Она буквально рвалась в бой—куда бы ее ни повели. «Жажда деятельности и борьбы,—рассказывает Плеханов в своем «Рабочем в русской революции» (стр. 31),—пробуждалась в самых мирных людях. И не было революционного предприятия, для исполнения которого не нашлось бы многих и многих охотников». Необходимо было воспользоваться этим бурным настроением молодежи, необходимо было оформить ее идейное содержание и дать определенное направление, и выход ее накопившейся энергии—революционной воли ее.

И за это дело взялось общество «Земля и Воля». Куй железо, пока горячо!

Как раз в это время в Петербург съехалось много землевольцев по тем или другим причинам: одних изгнало из провинции крушение их деревенских поселений, других Петербург привлек по специальным делам,—по соображениям чисто дезорганизаторского характера. В Петербурге, таким образом, оказалось много членов из «деревенщины» —саратовского, нижегородского и донского поселений—и лиц дезорганизаторской группы. Вместе с администрацией и специальными петербургскими группами приехавшие землевольцы образовали тогда Большой Совет. В составе его (конечно, временном: Большой Совет не составлял отдельной группы, с раз навсегда определенными функциями— он собирался совершенно случайно, вызванный к жизни исключительной комбинацией обстоятельств) тогда оказались следующие лица: Ольга Натансон, Оболещев, Зунделевич, Адриан Михайлов, Буланов, М. Р. Попов, Преображенский, Трощанский, Мощенко, Хотинский, Квятковский, Осинский, Плеханов (прибывший позже других,—если не ошибаюсь, в конце декабря 1877 года), Лизогуб, Баранников, Тулисов и Аптекман.

Одновременно почти прибыли в Петербург В. Н. Фигнер с ее друзьями и южане-народники: М. Фроленко, Поп-

ко, Волошенко и Чубаров. Кроме того, были еще многие одиночки-народники, в числе их особенно близко к нам стояла С. Н. Лаврова, личный друг Ольги Натансон, одна из выдающихся могиканок пропагандистского периода революционного движения.

Таким образом, в Петербурге собралась-таки довольно значительная группа революционеров, так или иначе тяготевших к обществу «Земля и Воля». Само собою, возник вопрос, как использовать наличные силы, особенно в виду переживаемого момента общественного возбуждения и подъема энергии в среде молодежи. Кроме того, предстояли еще неотложные дела самой организации «Земля и Воля», а потому присутствие многих членов «основного кружка» общества было тогда весьма кстати.

На очереди стояли следующие вопросы:

Во-первых, пересмотр, как это требовалось уставом общества, программы и самого устава.

Во-вторых, окончательная организация типографской и издательской групп. Типография уже существовала под именем «Вольной русской типографии» и уже начала функционировать.

В-третьих, организация в ближайшем будущем издания центрального литературного органа общества «Земля и Воля».

В-четвертых, привлечение новых членов в общество.

В-пятых, пропаганда и агитация, в виду общего возбуждения умов, в среде молодежи, рабочих и общества.

Последние два вопроса были тесно связаны между собою, так как пора оживленной пропаганды и агитации есть вместе с тем и пора наиболее энергичного рекрутирования свежих революционных сил.

В-шестых, приведение в окончательный порядок уже имевшегося у нас фонда революционного, так называемого, фонда Лизогуба и приискание новых источников дохода.

Этим, поскольку могу припомнить, исчерпывается содержание тех очередных вопросов, которые подлежали ре-

шению Большого Совета. Конечно, по пути возникала еще масса других второстепенных или же совершенно случайных вопросов,—и эти тоже решались тут же на Совете. Предварительно все вопросы рассматривались и обсуждались на Малом Совете, а потом, после того, как эти вопросы значительно выяснились уже и достаточно, так сказать, провентилировались, они представлялись на окончательное рассмотрение Большого Совета.

Центральное место (в) нашей работе, само собою, занимала тогда наша программа. На ней покоилось наше общество, да и не только наше: революционно-народническое направление было тогда достоянием не только землевольцев, но и многих других революционных кружков.

Программа была нашим боевым орудием, при помощи которого мы, народники-революционеры, пропагандируя и агитируя, приобретали себе сторонников, набирали новых членов, пополняли свои ряды. Понятное дело, что это орудие надо было хорошенько отточить, чтобы с его помощью не только уметь побеждать, но и уметь удерживать плоды победы. Попрежнему, главным операционным базисом нашей пропаганды,—пропаганды народнических идей,—была опять-таки молодежь, молодая интеллигенция.—«Сама же молодежь находилась в нерешительном положении. Два, если не полярных, то, во всяком случае, различных течения проходили пред ее глазами: марксизм и народничество. Куда пристать? Марксизм (социализм) имел за собою обаяние научной доктрины, блистательную традицию великих поборников в западно-европейском движении, многомиллионную массу рабочего класса... Но народничество—что оно такое? Где его прошлое и что сулило оно в будущем? Молодежь имела право задавать такие вопросы, и пропаганда народничества была необходима и своевременна. Дело в том, повторяю, что народничество в то время было для массы молодежи совершенно новым явлением как теоретически, так и практически. Было необходимо прежде всего установить начала народничества, которые послужили бы критерием как для решения частных вопросов теоретического свойства, так и всех вопросов практического. Во-вторых, необходимо было, чтобы эти начала крепко уяснили и усвоили себе сами народники, так как нередко случалось,

к величайшему недоумению посторонних, что сами народники не понимали друг друга, особенно в вопросах практических. Были народники-анархисты, были народники-якобинцы, были и такие, в голове которых мирно укладывался самый крайний экономический радикализм с самым несносным политическим консерватизмом. Такой важный общественный фактор, как политическая организация, сознательно и систематически игнорировался. Значение и роль его сводилась просто на-нет. Одни наивно думали, что народ, предоставленный самому себе, сумеет на другой день революции создать прекрасный из прекраснейших порядков: «создать вольный союз вольных общин». Другие, наоборот, считали это возможным только при помощи сильной диктатуры. Недоумениям, недоразумениям всякого рода, предрассудкам не было конца. Среди самих землевольцев была масса разногласий и главным образом по поводу практических вопросов» (из моих неизданных воспоминаний 1883—1884 годы).

Понятно, почему с самого начала внимание землевольцев было сосредоточено на программе.

Потребность в стройной, выдержанной во всех частях программе была тогда всеобщей потребностью: это было повелительное требование тогдашней русской действительности. Я хорошо припоминаю те предварительные наши небольшие совещания, которые почти ежедневно по вечерам происходили на квартире Квятковского и на которых обсуждалась наша программа. На этих совещаниях почти постоянно присутствовали Ольга Натансон, Оболешев, М. Попов, Адриан Михайлов, Зунделевич, когда он не бывал в разъездах; нередко на эти собрания приходил и Преображенский (Плеханов позже, по возвращении из Саратова, присоединился к нашим совещаниям). Эти собрания наши глубоко врезались в моей памяти по тому живому интересу и той глубокой серьезности, с какими пункт за пунктом рассматривалась программа. Особенно политическому элементу программы посвящалось много времени. Ольга Натансон и Оболешев уже тогда стояли за введение политического элемента в нашу программу, но оба они высказывались очень осторожно, словно щупали еще почву, про-

веряли себя, сопоставляя свои взгляды со взглядами других товарищей, особенно «деревенщиков».

Оболешев раз мне прямо поставил вопрос: «Отчего вы, Осип, против конституции?»

Я стал горячо говорить. Сущность всей моей аргументации может быть формулирована так: политическая свобода без экономического равенства—фикция, вредная фикция: исторически, на Западе, она привела лишь к более тяжкому порабощению рабочих масс. И у нас будет то же: господство буржуазии да еще азиатски-невежественной и византийски-ограниченной.

— Мы будем тогда бороться против этого, Осип! Что нам помешает?—возразил «Лешка».

— Нет! бороться будет труднее: буржуазия успеет сорганизоваться, — во-первых; а во-вторых, — обманчивая буржуазная политическая свобода отвлечет от нас много молодых сил—и в последнем счете мы опять-таки окажемся в проигрыше!

Наши беседы затягивались порою за полночь. В результате наших бесед появилась статья Адриана Михайлова, послужившая как бы объяснением к нашей программе. Статья, помню, всем очень понравилась. Написанная хорошим литературным языком, она последовательно развивала основные начала нашей народнической программы.

Верховный критерий остался тот же: экономическое освобождение народа при посредстве самого народа, как необходимое условие реализации политической свободы.

Не помню, была ли напечатана статья Михайлова: она должна была появиться или отдельным изданием (в виде брошюры) или в имевшем скоро появиться в свет нашем органе.

С прибытием Осинского, а потом и Плеханова обсуждение нашей программы пошло еще более оживленно. Особенно горячие споры вызывала наша тактика,—тут-то сказалась наша разногласица. Валериан явился очень горячим сторонником той народно-революционной организации, которую создал Стефанович с своими товарищами в Чигиринском уезде.

Выше я уже упомянул о том, что это предложение, к которому сочувственно отнеслось чуть ли ни большинство Совета, встретило, тем не менее, сильный отпор со стороны Плеханова и пишущего эти строки, что, в конце концов, после живого обмена мыслей, это предложение Валериана было окончательно отвергнуто.

«Авторитарный принцип», положенный Стефановичем в основу «Чигиринского дела», раз навсегда, таким образом, был изгнан из нашей программы. Кстати, замечу в скобках, сам Стефанович отказался от этого принципа, он не раз об этом мне лично заявлял. В 1879 году, вступив в организацию «Черного Передела», он пытался возобновить свой опыт, но совсем на иных началах. Это—факт.

Но генеральное, так сказать, сражение дал Валериан своим товарищам при обсуждении самого кардинального вопроса программы—политического вопроса. Еще на предыдущих собраниях Валериан попытался было под флагом конкретных предложений, внесенных им от киевских конституционалистов, провести постановления чисто политического характера, но, как мы уже знаем, провалился. Теперь им был смело и открыто поставлен вопрос о политической борьбе ребром,—принципиально. В связи с принципиальной постановкой вопроса о политике, Валериан также поставил вопрос об усилении дезорганизаторской деятельности, как одного из приемов борьбы, способствующих реализации политической свободы.—«Деревенщики резко протестовали против этого предложения; ссылались на устав, в котором точно обозначены границы дезорганизаторской деятельности; предостерегали от излишнего увлечения этим скользким и опасным путем, который может сделаться источником весьма серьезных замешательств. Прения по этому поводу были очень продолжительны и горячи. Но деревенщина еще была тогда в силе. Преобладающее настроение общества было строго-народническое. И предложение Валериана было отвергнуто громадным большинством.

Еще до совещания, Валериан в разговоре со мною заметил вскользь, что если его предложения не пройдут, то он выйдет из общества, что для него в этом особой потери не предвидится, что, наконец, предлагаемые им меры вполне

своевременны и находят сочувствие у южан, к которым он и пристанет:

Возражения мои в существенном был такие, какие давала ему на собрании «деревенщина», при чем в заключение прибавил, что потеря такого товарища, как он, будет, конечно, чувствительна для общества, но еще чувствительнее и опаснее тот прецедент, который он выходом своим создает в нашем обществе.

На Совете Валериан хотя и энергично отстаивал свои предложения, но о выходе своем из общества не заикнулся даже» (Из неизданных моих воспоминаний 1883—1884 гг. О. А.).

В окончательном итоге пересмотра Советом нашей программы получилось следующее: догматическая часть программы осталась без изменения; в тактической части были лишь более точно формулированы и подчеркнуты те положения, которые касались собственно агитации в деревне. «Деревенщина» указала на то, что в этом отношении нам незачем лукаво мудрствовать: сам народ, многолетним своим историческим опытом, выработал уж целую систему излюбленных им форм протестов—как пассивных (подача прошений, посылка ходоков, отказ от исполнения незаконных начальнических распоряжений, отказ от платежа податей и проч.), так и активных («красный петух», убийство вредных и опасных эксплуататоров и насильников, бунты и проч.). Нам следует только воспользоваться этими, готовыми уже формами протеста, как популярным орудием, с тем, чтобы, при благоприятных условиях, внести в них, в эти протесты, критическую и обобщающую силу революционной мысли и воли. И тогда организация народно-революционной партии, как боевой партии, готовой вступить в решительную борьбу с современным государственно-сословным строем, окажется вполне осуществимой.

Когда пересмотр программы был закончен, Совет решил пустить ее в обращение как в широкую публику, так и в среду учащейся молодежи и рабочих. С этой целью были усилены уже ранее функционировавшие группы—интеллигентная и рабочая—притоком новых землевольцев, временно находившихся тогда в Петербурге. На преобразован-

ные таким образом группы возложена была миссия энергично начать вербовку новых членов в общество, путем пропаганды и агитации. Обсуждение и решение других вопросов подвинулось теперь быстро. Решено было приступить к изданию центрального органа под названием «Земля и Воля»; намечены были редакторами следующие лица: Кравчинский, Клеменс, Адриан Михайлов и Плеханов. Так как Кравчинский и Клеменс были за границей, то решено было списаться с ним насчет этого. Типографская группа, как я уже упомянул, уже фактически была организована, и организована образцово, вполне конспиративно.

С какими трудностями было сопряжено устройство в России подпольной типографии и как жгуче в то время ощущалась потребность в местной подпольной печати, видно из следующих слов автора «Подпольной России» (стр. 127 и след.), С. Кравчинского:—«Потребность в местной подпольной печати[1]), которая бы могла немедленно отвечать на всякие злобы дня, делалас ьвсе более и более настоятельной..... Но, казалось, какой-то злой рок тяготеет над попытками подобного рода: все они оказывались крайне недолговечными..... После многочисленных попыток, потерпевших одна за другой жестокую неудачу, устройство тайной типографии всеми было признано делом не только трудным, но и прямо невозможным, праздной мечтой, ведущей лишь к безцельной трате денег и гибели лучших сил. Мысль о тайной типографии была отброшена окончательно. Люди «серьезные» просто не хотели больше об этом слушать. Нашелся, однако, мечтатель, фантазер, который ни за что не соглашался признать непреложность общепринятого мнения и с жаром доказывал, что даже в самом Петербурге можно устроить типографию, и он ее устроит, если его только снабдят необходимыми средствами.

Мечтателя этого звали Аароном Зунделевичем.....

После многих усилий Зунделевичу удалось побороть недоверие товарищей и получить на свою затею около 4.000 рублей. С этими деньгами он отправился за границу,

[1]) Цитировано в „Материалах для истории русского социально-революционного движения", X, в статье П. Л. Лаврова: „Народники-пропагандисты", стр. 263.

закупил там и доставил в Петербург все необходимое и, наконец, научившись набирать сам и преподав это искусство еще четверым из своих друзей, он устроил с ними в 1877 году в Петербурге тайную типографию, первую, которая была достойна этого имени, так как она правильно работала и выпускала в свет довольно порядочные брошюрки, а впоследствии и газету. План Зунделевича был так прост, естественен и умен, что целые четыре года, несмотря на упорнейшие розыски, полиция не могла напасть на след типографии, которая была открыта, благодаря глупой случайности».

Да, много энергии, труда и предприимчивости положил на это дело Зунделевич. Типография—целиком дело его рук. Зунделевич был своего рода министром иностранных дел, так как на его обязанности лежало установление сношений с заграничным миром в разнообразных формах: устройство пути для доставки из-за границы в Россию подпольных изданий, типографских принадлежностей и проч., для переправы из-за границы и обратно революционеров, для разнообразных переговоров и сношений с эмигрантами и проч., и проч.

В среде пограничной стражи и контрабандистов он был свой человек. По роду своей деятельности он был вечно в разъездах.

На вопрос одного из наших товарищей, где живет Зунделевич? получился ответ: «В вагоне 3-го класса!» И действительно. Он всегда был в работе,—энергичный, живой, неуловимый и глубоко-симпатичный «Мойша»! В те короткие моменты, когда он бывал в Петербурге, он неразлучно был с своими товарищами.

Гуманный, сердечный, уравновешенный, он вносил теплоту и братство в наши отношения. Услужить товарищу чем-нибудь было для «Мойши» великою радостью. Да и кто может купить и лучше, и дешевле, чем «Мойша?» До сих пор я храню, как дорогую память о землевольцах, серебряные часы, купленные для меня «Мойшей», по просьбе Ольги и «Лешки», еще в 1878 году.

Зунделевич был единственным, кажется, из землевольцев, который с самого начала признавал необходимость политической борьбы. Когда землевольская организация рас-

палась, Зунделевич пристал, конечно, к народовольцам, оставаясь, тем не менее, в самых дружественных отношениях с чернопередельцами и оказывая им посильную помощь своими практическими советами.

В Петропавловской крепости мы сидели рядом, внизу, в равелине Трубецкого. Снова увиделись мы в 1881 году в тюрьме, в Томске, где нас, шедших из Вышняго Волочка, соединили с террористами, шедшими из Петербурга. Мы шли вместе от Томска до полпути до Иркутска, где меня отделили от партии и отправили форсированным маршем в Якутск.

Здесь, в пути, я мог только вполне оценить золотое сердце Зунделевича!

Типография наша работала весьма успешно. Вот список изданий [1]), вышедших из нашей типографии в течение 1878—79 гг. (приблизительно): «Приказ исправникам»; «Русские отцы к русским матерям, к русскому обществу» (прокламация); «Приказ по войскам Одесского военного округа»; прокламация об убийстве шпиона Никонова; прокламация о покушении на Котляревского; «Два заседания комитета министров»; «Прибавление к приказу С.-Петербургского градоначальника»; «Записка Палена»; «К рабочим патронного завода от интеллигенции» (прокламация); «К рабочим всех фабрик и заводов» (прокламация); «Выигрыш последней войны» (Драгоманова), перепечатка заграничной брошюры его: «До чего довоевались?»; «К студентам высших учебных заведений», «Заживо погребенный», «Убийство Мезенцева» (Кравчинского); «Ко всем честным людям» (по поводу В. И. Засулич); «К русскому обществу» (по тому же поводу Г. В. Плеханова (?); «Покушение на жизнь Трепова» и брошюра «13 июля и 24 января»; «Отчеты о заседаниях Особого Присутствия Правительственного Сената по делу революционной пропаганды в Империи» (книжка), «Речь Мышкина» (брошюра); «Адрес Палену от петербургской учащейся молодежи» (Плеханова); «Адрес Палену от московской учащейся молодежи»; «Воззвание к славному Войску Донскому»; «Земля и Воля» №№ 1—5;

---

[1]) Список этот позаимствован почти исключительно из известного труда В. Л. Бурцева „З а с т о л е т“ (последнее издание заграничное).

«Листок Земли и Воли» №№ 1—5. Помещение типографии было известно исключительно типографской группе: Ольге Натансон, Оболешеву и Зунделевичу. Сношения с типографией совершались только через кого-либо одного из членов типографской или, впоследствии, редакторской группы. Режим типографии был строжайший. Но так как за это дело взялись идейные вполне люди, то эти тяжелые лишения переносились легко, как нужное и должное.

Только раз мне—к слову сказать—пришлось услышать жалобу от одного из типографских о невыносимости такого режима. Это был Бураков. Замечательно выдержанный и дисциплинированный работник, он, тем не менее, порою переживал тяжелые минуты.

— Право же, Осип,—жаловался Бураков, — словно в тюрьме сидишь! Пожалуй, что придется отказаться от этой работы! Он, действительно, скоро вышел на «волю» из типографии, но тут же попал в «неволю»—был весною 1879 г. после 2-го апреля, схвачен и сослан, если не ошибаюсь, куда-то на север.

Последний очередной вопрос, который подлежал обсуждению, был вопрос о наших средствах. Лизогуб заявил, что он отсюда прямо едет в свое имение, где приведет все в порядок, и надеется, что вперед поступления средств в нашу кассу будут совершаться более аккуратно. Имением управляет-де свой человек и на него вполне можно положиться[1]). Оболешев при этом заметил, что раз наше издательство пойдет хорошо,—а на это вполне можно рассчитывать, особенно после выхода нашего органа,—то типография и орган не только себя окупят, но и дадут порядочный доход. Вопрос этот казался исчерпанным, и хотя наше положение пока оказалось не особенно блестящим, но мы чувствовали себя вообще довольно бодрыми и готовились уже разойтись. Но тут неожиданно случилось одно обстоятельство, которое переполошило всех.

«Романтик» Осинский никак не мог помириться с перспективою такого черезчур уж скромного материального существования Общества. На этом-де далеко не уедешь, а

---

[1]) Управляющим был Дриго, оказавшийся впоследствии предателем. О. А.

события, между тем, предвещают интенсивную деятельность как в деревне, так и в городе. Нужны будут, может быть, большие средства. Где их взять? И Валериан, ничто же сумнящеся, предлагает внести в функцию дезорганизаторской группы еще новую функцию—экспроприацию государственных, общественных, а в крайнем случае, и частных имуществ. На этот раз Валериан совершенно промахнулся: предложение его было единогласно отвергнуто.

Пересмотр устава, насколько припоминаю, не потребовал от нас много времени: мы все согласились, что нет пока крайней необходимости внести в него какие-либо существенные изменения,—и устав остался неизмененным.

Но уже в начале лета 1878 года, когда Михайлов Александр вернулся в Петербург и засел там, он снова поднял вопрос о пересмотре устава и поставил вопрос ребром. Меня тогда не было в Петербурге, а потому я расскажу, как произошло это дело, со слов Плеханова, участвовавшего в совещании о пересмотре устава.

Вот что Плеханов рассказывает в своем «Воспоминании об А. Д. Михайлове» (стр. 115—116, «сочинения» Плеханова).—«Михайлов требовал радикального изменения устава в смысле большей централизации революционных сил и большей зависимости местных групп от центра.

После многих споров почти все его предложения были приняты и ему поручено было написать проект нового устава.

При обсуждении приготовленного им проекта же малую оппозицию встретил параграф, по которому член «основного кружка» обязывался исполнять всякое распоряжение большинства своих товарищей, хотя бы оно и не вполне соответствовала его личным воззрениям. Михайлов даже не мог понять точки зрения своих оппонентов.—«Если вы приняли программу кружка, если вы сделались членами организации, то в основных пунктах у вас не может быть разногласий с большинством ее членов»,—повторял он с досадой.

«Вы можете разойтись с ними во взглядах на уместность и своевременность порученного вам предприятия, но в этом случае вы должны подчиниться большинству голосов. Что касается меня, то я сделаю все, что потребует от меня

организация. Если бы меня заставили писать стихи, я не отказался бы и от этого, хотя и знал бы наперед, что стихи выйдут невозможные. Личность должна подчиниться организации!»

В конце концов был принят и этот параграф, с тем, однако, добавлением, что организация должна, по возможности, принимать в соображение личные наклонности различных ее членов».

Таким образом, Михайлову удалось, наконец-то, добиться хоть формально признания его верховного принципа всякой организации—централизации и дисциплины воли.

Не могу здесь по пути не отметить одного весьма характерного для нашего «Дворника» (Михайлова) факта. В начале весны **1879** года нашей редакторской группе был нанесен значительный урон: арестован Д. А. Клеменс. В редакции остались лишь Тихомиров и Морозов. Плеханов хотя тогда уже близко стоял к редакции, но, так сказать, ответственным (пред партией) редактором он не считался еще. Как-то в один прекрасный день является к Плеханову Михайлов с следующим категорическим предложением: «Слушай, Жорж, ты можешь писать, а потому войди в редакцию! Это необходимо теперь!» Плеханов возразил ему, что он не чувствует себя достаточно подготовленным для такой ответственной работы и что он имеет в виду еще поработать над собою. Михайлов резко возразил: «Если ты отказываешься, то я начну писать в «Земле и Воле», но знай, что я хуже тебя буду писать!» Против такого аргумента Плеханов не устоял и вступил в редакцию. Плеханов и теперь утверждает, что если бы не «Петр Иванович» (т.-е. Александр Михайлов), то он бы, быть может, и не сделался бы литератором.

Согласно постановлению Большого Совета, землевольцы приступили к энергичной пропаганде своей программы. В медико-хир. академии работали М. Р. Попов и Л. Буланов со своим кружком молодых народников из учащейся молодежи, студентами Козловским, Шмеманом и друг.

Молодые оказались дельными, хорошими головами, готовыми к работе в своей среде.

В помощь к названному кружку пристал временно и пишущий эти строки,—больше, впрочем, в качестве агитатора, чем пропагандиста. В университете и других высших учебных заведениях деятельную пропаганду и агитацию вел Преображенский с своим кружком «молодых». Пропаганда велась при помощи уже выработанных предшествующим опытом молодежи способов—при помощи кружков и сходок. И тех и других зимою 1877—78 г. было много. Время для этого было тогда весьма благоприятное: все задвигались, охваченные широкими общественными стремлениями и задачами.

Я здесь расскажу лишь о том, что я сам видел и слышал в течение тех 2½ месяцев зимы 1877—78 гг., которые, по независящим от меня обстоятельствам, пробыл в Петербурге.

На тогдашних сходках читались рефераты по преимуществу на народнические темы—об общине, расколе, сектантстве и проч. Довлеет дневи злоба его. Покойный Каблиц-Юзов (он же «Око». Его так прозвали потому, что один глаз у него был искусственный) выступил уж тогда с своей попыткой философского или социологического обоснования народничества. Он читал, помнится, реферат: «Ум и чувство, как факторы прогресса». Сходка была многочисленная: была молодежь, были и старики. О самом реферате скажу лишь два слова: тошнотворное было это произведение ума, как и все позднейшее,—в том числе и «Основы народничества»,—вышедшее из-под пера этого социолога-народника из «Недели». Однако, справедливость требует сказать, что на молодые умы, страстно искавшие тогда «основ» и «обобщающих» «концепций», эта псевдо-научная, псевдо-философская стряпня все-таки производила впечатление. Да и не только на молодых: я и от некоторых стариков,—напр., доктора Шапиро, развитого и умного человека,—слышал сочувственные отзывы о литературных опытах Каблица-Юзова. Но не о реферате я хочу говорить: интерес был возбужден не столько рефератом, как таковым, сколько теми прениями, горячими и страстными, которые велись по поводу этого реферата. Землевольцы и другие народники имели на сходке и своих представителей. Со стороны землевольцев были тогда, помнится, следующие лица: Л. Буланов, Преображен-

ский, М. Попов и пишущий эти строки. Со стороны кружка В. Н. Фигнер, был, кажется, И—чин-П—рев. От южных народников-революционеров присутствовал Волошенко («Петро»).

На сцену выступили капитальной важности проблемы социологии об относительной роли чувства и ума в социологическом процессе.

Незаметно перешли к частному вопросу народничества—какому из двух названных «психологических факторов прогресса» суждено сыграть решающую роль в революционно-народном движении нашей крестьянской массы: эмоциям или идеям массы?

И далее совершенно незаметно, как это и бывает в подобных спорах, выплыл вопрос—в какой форме может или должна вылиться ближайшая народная революция: проявится ли она в форме анархизма или государственности? Л. Буланов, помнится, на это очень определенно ответил: —«Мы не предрешаем никаких вопросов, мы это предоставляем самому народу: если народ подымется, скажем, во имя князька какого-нибудь или даже царя—мы за ним, за народом пойдем! Мы не можем итти против народа!» У Каблица засверкал единственный его глаз и он, обращаясь к аудитории, воскликнул: «Да ведь они—якобинцы!» Ему вторили его сторонники: «Они—якобинцы, якобинцы!» Поднялся неслыханный шум, в котором ничего разобрать нельзя было. Когда шум утих и страсти улеглись, «слова» попросили землевольцы.

Землевольцы горячо поддерживали своего товарища, Буланова.

В его взглядах они-де ничего еретического не видят: народный князь или царь—не современный глава государства: народный царь—выборный, подобно казацкому атаману, такой царь—полное воплощение народной воли, такого царя нечего опасаться нам. Те, которые боятся народного царя, боятся и не доверяют самому народу, те—не народники, а доктринеры и метафизики.

На этой сходке с особой силой логики и убеждения выступил Волошенко. Пальма первенства в полемике принадлежала ему. Волошенко—к слову сказать—одна из самых умных и светлых голов среди революционеров. Недаром

один из профессоров истории—не то Леонтович, не то Антонович—заявил на суде, что в лице обвиняемого Волошенко русская наука теряет выдающегося ученого. Волошенко оказывал тогда нам, землевольцам, незабвенную услугу: он редко пропускал серьезные сходки, всегда выступал в защиту народнических идей и защищал он их не только умно, но и талантливо.

Как-то раз нас собралось несколько человек на квартире М. Н. Ошаниной,—на квартире «централисток», как мы тогда называли кружок Ошаниной [1]). Мы, землевольцы, говоря мимоходом, частенько-таки бывали у этой умной, сильной Ошаниной, несмотря на принципиальные наши разногласия. Бывал на этой квартире (на Набережной Невки, кажется) и Волошенко.

Вот на этой-то квартире и обратился к нам раз Волошенко, встревоженный, с упреком, отчего мы не принимаем мер против помрачения умов молодежи, практикуемого здесь некоторыми противниками революционного движения вообще и народнического—в частности. Он при этом указал на лекции учителя Я. И. Ковальского, «развращающего,—по выражению Волошенко,—молодежь своей философией». Волошенко в заключение посоветовал землевольцам отрядить кого-нибудь на эти лекции, но, не дожидаясь наших действий, стал сам посещать устроенные Ковальским сходки, выступая на них сильным и оригинальным оппонентом. Крупные умственные и полемические способности Волошенко обнаружились еще,—рассказывали мне,—в Одессе, где он выступал с поразительным успехом в диспутах его с штундистами. Во все время пребывания Волошенко в Петербурге, он деятельно помогал землевольцам распространять народническую программу среди молодежи. И результаты этой усиленной и совместной работы я позволю себе резюмировать следующими, занесенными в мою записную книжку еще в 1883—84 году, словами:—«Пропаганда революционно-народнических идей продолжалась весьма ревностно всеми народниками-революционерами и, несмотря на то, что это дело велось не всегда особенно умело и толково, народничеству в конце-концов удалось завоевать

[1]) „Централистками" мы их прозвали за приверженность их к якобинистически-централистическим воззрениям.

себе право гражданства и стать достоянием не только революционной молодежи, но и мирной интеллигенции».

И в этом ничего удивительного не было. Землевольцы и другие народники-революционеры представляли собою единственную, вышедшую из общества, группу, активно выступавшую на борьбу с современным крепостнически-приказным государственным строем во имя народных интересов—интересов «Земли и Воли».

Много ли их было или мало, хорошо ли или худо они делали свое дело,—но они неустанно двигали его вперед: они отдавали народу свою мысль и чувство, отдавали свою свободу и жизнь... И молодежь, чуткая к правде, инстинктивно тянулась, как подсолнечник к свету, к тем, которые сами эту правду искали и стремились воплотить ее в жизнь. И она, т.-е. учащаяся молодежь, пристала к действующим, борющимся и стремящимся организовать народ для дальнейшей борьбы. Это—во-первых. А во-вторых, — хотя народничество, как социально-политическая доктрина, во многих отношениях было еще несовершенно и незаконченно, оно, тем не менее, вполне соответствовало тому историческому моменту, который тогда переживала Россия, — Россия деревенская, мужицкая. Так мы, семидесятники, тогда думали, да и не мы одни. Старшее поколение—экономисты, статистики, а особенно наши любимцы-беллетристы, Успенский и Златовратский, развернули пред нами яркую и разительную картину современной нам деревенской действительности. Они воочию показали нам, что на нашу деревню надвигается страшная грозная сила, готовая разнести в прах старые формы ее. Это нас глубоко тревожило и огорчало. Это—правда. Но мы, вместе с нашими учителями, наблюдая этот двойственный процесс разрушения и созидания деревни, видели, чувствовали, так сказать, осязали лишь первый,—процесс разрушения.

Его мы выдвигали на первый план. Вместе с тем мы стали искать причины, вызвавшей этот разрушительный процесс, а равно и средств, способов, при помощи которых мы бы могли либо нейтрализовать эту разрушительную силу, либо совсем изъять ее из круга действия ее на деревню. Мы нашли эту причину

единственно в современном нам крепостнически-приказном государственном строе. Это оно, государство, своим многовековым гнетом, разрушало и разрушает, как внешняя враждебная сила, наши деревенские «устои». А потому и ближайшей нашей целью было—бороться не наживот, а насмерть с этим государством. Мы рассуждали так: если тем или другим способом мы уничтожим, устраним это государство, то тогда спадут тяжелые цепи, тормозившие до сих пор нормальное и поступательное развитие «исконных начал» нашей деревни. «Капитализму» вообще, а деревенскому—в частности, мы тогда ни малейшего значения,—ни положительного, ни отрицательного,—не придавали. Мы считали его тепличным растением, возращенным лишь заботливым уходом экономической политики нашего правительства. Сам по себе, думали мы, капитализм не имеет у нас никаких шансов на жизнь: освобожденные творческие силы нашей деревни, помимо других влияний,—международно-экономических и проч.,—сумеют во-время подсечь в самом корне дальнейший рост его.

Вообще, мы тогда третировали наш нарождающийся капитализм, как quantitè negligeable.

Теперь, когда нас отделяет от того времени промежуток в 25 л., такого рода понятия нам кажутся, по меньшей мере, странными. Но тогда мы не могли иначе думать.

Мы все,—и старые, и молодые народолюбцы,—глубоко верили в то, что нас, русских, минует эта горькая чаша —капиталистическое производство. Мы верили, что пойдем своим путем, что Россия «не напала еще на след естественного закона своего развития», а потому, покуда это еще не случилось, она, Россия, может миновать капиталистическую фазу экономического развития. Раз такая предпосылка была допущена, то все остальное—наша теория и практика, наша, говоря современной терминологией, идеология («народничество»)—была лишь логическим последствием этой предпосылки. Оно так и было. И собственный наш исторический опыт, и авторитет западно-европейского научного социализма только укрепили

наше убеждение и веру в истинности «народничества». Вот почему, повторяю, мы тогда и думать и действовать иначе не могли. Вот почему наше народничество,—каково оно было,—вполне удовлетворяло как нас, так и приставшую к нам молодую интеллигенцию. Наша программа, будучи впоследствии разработанной и обоснованной мирными деятелями, явилась уже, как система идей, как социологическое построение. Такою именно она явилась под названием легального народничества в 80-х годах. Представителями его были Каблиц-Юзов, В. В. и Николай—он.

Я указал на то, что мы зимою 1877—78 гг. действовали в качестве пропагандистов среди молодежи. Но мы не только пропагандировали, мы занимались также и агитацией. Я позволю себе рассказать эту сторону нашей деятельности, как она записана была мною еще в 1883—84 г. в неизданных моих воспоминаниях: «Землевольцам хорошо было известно возбужденное настроение молодежи, и они решили еще на Большом Совете воспользоваться этим для агитационных целей. В адресе, составленном на имя графа Палена [1]), указывалось именно на вопиющие злоупотребления и насилия, против которых готовы были протестовать все хорошие люди. Указывалось на непрерывно производимые обыски, аресты, высылки, на ничем немотивированное продолжительное предварительное заключение, на пристрастие суда, на систему oubliet'ок, которую начало практиковать правительство, и на прочие возмутительные репрессии, тяготевшие над обществом. Адрес был отпечатан в «вольной русской типографии» и пущен в общество и в среду молодежи. За несколько дней пред тем, как была решена на Большом Совете «паленская демонстрация», в м.-х. академии случилось маленькое событие, вызвавшее в ее стенах манифестацию со стороны студентов против академического начальства. Манифестация эта была вызвана следующим обстоятельством. Ожидали в то время приезда Александра II с места военных действий. По этому поводу город решил устроить торжественную встречу, на которой должны были присутствовать представители города, земства, ученых корпораций и всех учебных заведений. Ака-

---

[1]) Адрес написан Г. В. Плехановым.

демическое начальство позволило себе при этом случае весьма неблаговидные приемы. Оно хорошо знало настроение своего студенчества, а потому оно решило поступать по собственному благоусмотрению. Пригласило к себе нескольких студентов, заведомо известных ему за благонадежных, и предложило им отправиться в качестве депутатов, при чем оно прозрачно посулило им денежное вознаграждение. Это стало известно в тот же день и, конечно, вызвало взрыв негодования. Находившийся в то время в библиотеке академии землеволец (пишущий эти строки) решил этим воспользоваться. При помощи нескольких горячих голов созвана была на скорую руку сходка в библиотеке, и было решено немедленно вызвать начальника академии Быкова для объяснений. Сказано—сделано. Несколько человек отправились за ним и почти насильно привели его в библиотеку. Быков был сконфужен этой совершенно неожиданной и необычайной (это было поздно вечером) сходкой, но особенно обнаружением его проделки. Студенты резко, почти грубо нападали на него, обличая его неблаговидный поступок. Быков защищался, но очень слабо. Студенты потребовали, чтобы самозванные студенты лишены были их полномочий, при чем заявили, что никаких депутатов они при этом случае посылать не намерены. Насколько мне помнится, так действительно и было: «на торжественной встрече» депутатов от академического студенчества не было.

Одновременно с этим случилось другое событие, окончательно возбудившее молодежь. В клинике умер Жилинский, три года содержавшийся в тюрьме. Молодежь решила устроить из его похорон демонстрацию, но полиция выкрала на рассвете труп Жилинского. Раздраженная толпа студентов отправилась в академическую библиотеку. Землевольцы решили ковать железо, пока горячо. Пущены были листки уж отпечатанного адреса и предложено было отправиться с этим адресом к Палену. Предложение было принято сочувственно, но так как присутствующих было всего около 200 человек, то было решено предварительно вступить в переговоры со всеми высшими учебными заведениями (Петербурга) и привлечь их к демонстрации. В последующие за этим дни происходили во всех почти учеб-

ных заведениях многочисленные и бурные сходки. Наконец, в назначенный для демонстрации день в библиотеке м.-х. академии собралось до 80 человек.

Землевольцы выступили в защиту своего предложения, и дело это наверно бы выгорело, если бы тут не вмешались лавристы, которые ставили в вину землевольцам, что они, называя себя народниками, устраивают протесты политического характера. Землевольцы оправдывались тем, что это протест не столько политический, сколько гуманитарный, к которому должна примкнуть всякая сознающая свое достоинство личность. Завязался горячий спор. Каждая сторона приводила исторические доказательства в пользу своих мнений. А время уходило. Наконец, землевольцы спохватились и, воспользовавшись небольшой передышкой, поставили несколько вопросов на голосование:

1) Следует ли вообще протестовать?

2) Если следует,—то в какой форме и когда? Большинство высказалось опять в пользу предложения землевольцев.

К сожалению, наступил вечер и потому решили устроить демонстрацию на следующий день. На другой день толпа собралась столь малочисленная, что демонстрация теряла всякий смысл. Впрочем, землевольцы очень мало потеряли от этой неудачи. Отчасти они даже достигли своей цели: им удалось за это время привлечь на свою сторону значительное число лиц из молодежи и, таким образом, надолго удержать за собою почву в высших учебных заведениях».

Брожение в учащейся молодежи петербургских высших учебных заведений и готовившаяся «паленская демонстрация» быстро дошли до Москвы. И студенты московского университета тоже заволновались; в Петербург прибыли делегаты от московского студенчества,—в том числе, если не ошибаюсь, М—ов, в настоящее время известный общественный деятель и педагог,—для окончательных переговоров с петербургским студенчеством, с целью установления единообразия в действиях.

Делегаты по социальным своим убеждениям были все —народники. Землевольцы снабдили их прокламацией «Адрес Палену от московской учащейся молодежи»,—на-

сколько могу припомнить,—вполне тождественный с петербургским адресом молодежи к Палену.

Январское волнение петербургских студентов послужило лишь прологом к целому ряду волнений в студенчестве, возникавших в течение 1878 года то в одном, то в другом высшем учебном заведении и обобщившихся, наконец, осенью и зимою этого года во всероссийское студенческое волнение: даже петербургские путейцы, всегда корректные и лойяльные, решились примкнуть к общему движению.

Движение началось на этот раз с провинции—с харьковского ветеринарного института,—быстро распространилось на столичные высшие учебные заведения, особенно петербургские.

В м.-х. академии волнения выразились демонстративной подачей «скопом» петиции наследнику. Студенты «просили» права сходок, права устройства касс и библиотек; просили в заключение заступничества наследника за харьковских товарищей.

Одним словом, петиция эта представляла собою образец скромнейшего из скромных прошений.

Беспощадные репрессии: массовые аресты и ссылки студентов в северные губернии и Восточную Сибирь, жестокое избиение—таков был прямой ответ правительства. Избиение молодежи [1] было совершено с такою наглостью и жестокостью, что вызвало протест даже со стороны советов харьковского и петербургского университетов. Последний подал тщательно мотивированную записку министру народного просвещения. В числе причин, вызывающих волнения в высших учебных заведениях, выставляется общее неудовлетворительное состояние России и преследования студентов позорной памяти III Отделением. Мерами к прекращению волнений университет считает восстановление своей автономии и права защиты студенческих интересов в столкновениях с полицией, восстановление студенческих учреждений, уничтоженных после 1863 года.

---

[1]) Еще раньше, в апреле, московская полиция натравила на студентов охотнорядцев, которые учинили над ними жестокую кулачную расправу.

Это—прямое воздействие правительства на молодежь.

Землевольцы горячо откликнулись на студенческие движения и всячески нравственно поддерживали молодежь в неравной борьбе ее с совершенно разнуздавшимся тогда правительством. Общество «Земля и Воля» выпустило тогда прокламацию: «К студентам высших учебных заведений».

В центральном своем органе «Земля и Воля» редакция уделяет много места студенческим волнениям: помещает подробные о них корреспонденции, ведет мартиролог студенчества, обнародывает многие интересные официальные документы, касающиеся судеб студенчества,—одним словом, держит и общество и молодежь в курсе студенческих дел. Орган зовет студенчество на борьбу с правительством,—борьбу неустанную, упорную и объединенную за свои права.

«Не правы ли мы были,—говорит «Земля и Воля» в № 3,—когда в воззвании «Ко всем, кому ведать надлежит» (воззвание принадлежит перу Клеменса) предрекали, что скоро будут душить и резать студентов на улицах? Не правы ли мы были, когда сравнивали студентов с лишенными всех прав и состояния каторжниками? Спросим мы теперь, какой ответ возможен со стороны молодежи на эту травлю пьяными казаками и жандармами?

Имеет ли она право своим судом вешать на осину таких бешеных собак, как Зуровы и Мартенсы [1]) или ей остается следовать совету харьковских профессоров и «заняться наукой» в ожидании нового избиения? Кстати, позволяем себе усомниться в искренности этого «искреннего слова» харьковских профессоров к студентам, не говоря уже о его бестактности. Чтобы сказал любой из них, если бы ему дали оплеуху и, в виде утешения, посоветовали бы углубиться в изучение своей специальности?

Наш совет студентам, как и всегда,—продолжайте раз начатое дело, не останавливайтесь на полдороге, не создавайте в своей молодости подлого прецедента отречения от своей цели при первой возможности.

Справедливости, правды и суда от правительства не ждите Оно наградит генералами от-кавалерии своих башибузуков, а вас угонит в Восточную Сибирь.

---

[1]) Курсив мой. О. А.

Если вы бросите теперь ваше дело—все жертвы рискуют теперь пропасть даром, а, между тем, при настойчивости можно добиться кой-каких результатов».

Так говорил наш орган с учащейся молодежью.

Нам хочется здесь попутно подчеркнуть некоторые штрихи в этом обращении хроникера «Земли и Воли» к студентам, да не только в этом обращении, а во всей хронике: кое-где прорываются угрожающие нотки, слышен прямой призыв к борьбе с правительством: «имеет ли она теперь право своим судом вешать на осину таких бешеных собак, как Зуровы и Мартенсы?...» Или (в заключении сообщения об аресте Дубровина и Бобохова, оказавших вооруженное сопротивление): «и так уже многие жертвы ждут своего отмщения, много злодеев избежало суда. Дальше так продолжаться не может!».

Одновременно с пропагандою и агитацией среди интеллигенции началась энергичная деятельность и среди петербургских рабочих. Во главе стоял Плеханов, который и раньше имел порядочные связи среди рабочих. Он привлек к себе несколько свежих сил из молодежи и восстановил, таким образом, вполне «рабочую группу».

Задачи и цели, которые землевольцы преследовали среди рабочих, были такие же, как и среди интеллигенции, т.-е. пропаганда народнических идей и агитация на почве непосредственных интересов городской рабочей массы.

Как велась у нас пропаганда среди рабочих?

Мы расскажем это лучше всего словами самого Плеханова.

«В сношениях с рабочими [1]) землевольцы всегда держались следующих приемов. Те члены организации, которым поручалось ведение «рабочего дела» (их всегда было немного,—самое большее: 4—5 чел.), обязаны были составить кружки из молодых «интеллигентов». Кружки эти, собственно говоря, не принадлежали к обществу «Земля и Воля», но, действуя под руководством его членов, они не могли работать иначе, как в духе его программы.

---

[1]) „Русский рабочий в революционном движении". Г. В. Плеханов. Издание второе, исправленное и дополненное, 1902 г., стр. 17—18.

Вот эти-то кружки и вступали в сношения с рабочими.

Так как, благодаря пропаганде 73—74 гг., в петербургской рабочей среде было довольно много революционеров, то задача «землевольцев» и их молодых помощников свелась прежде всего к организации этих готовых сил. «Старые», по большей части уже испытанные, революционеры-рабочие, присоединив к себе некоторых надежных новичков, составили ядро петербургской рабочей организации, с которыми и сносилась главным образом «интеллигенция».

На этих людей мы вполне могли положиться: нелепо было бояться, что они нас выдадут. Тем не менее, помня, что кашу маслом не портят, и что в тайном революционном деле осторожность обязательна даже тогда, когда кажется совершенно излишней, землевольцы и этим испытанным рабочим не сообщали ни своих адресов, ни своих имен (т.-е. тех имен, под которыми они были прописаны в участке). Прибавлю, что так они поступали не с одними рабочими: адрес землевольца и то, по большей части вымышленное, имя, под которым проживал он, в самой организации знали обыкновенно только очень немногие члены, занимавшиеся вместе с ним и одною и тою же отраслью революционного дела; остальные, занятые другими революционными специальностями, должны были довольствоваться встречами с ними на «конспиративной» квартире, где происходили общие кружковые собрания.

На обязанности центральной, отборной рабочей группы лежало руководство местными рабочими кружками, возникавшими в той или другой части Петербурга. Интеллигенция не вмешивалась в дела этих местных кружков, ограничиваясь доставлением им книг, помощью при заведении тайных квартир для собраний и т. п.

Каждый местный кружок должен был собственными силами привлекать к себе новых членов, которым сообщали, что существуют и другие подобные кружки в Петербурге, но где и какие именно, это было известно только членам центрального рабочего ядра, каждое воскресенье сходившимся на общее собрание.

Революционеры-интеллигенты являлись с целью пропаганды и на собрания местных кружков. Но так как там они были известны под вымышленными именами, то если

бы туда и забрался какой-нибудь шпион, он мог бы донести «пославшим его» только о том, что какой-то Федорыч, или Антон, или «Дедушка», в том-то месте и в таком-то часу потрясал основы, а где искать этого Федорыча! или Антона, или «Дедушку», оставалось покрытым мраком неизвестности. Проследить же на улице кого-либо из этих потрясателей было не так-то легко, потому что они на сей конец прибегали к особым мерам, в виде проходных дворов, извозчика, внезапно взятого в таком месте, где другого извозчика не было, и где, таким образом, следовавший за потрясателем пеший шпион по необходимости должен был отстать от него, и проч., и проч.

При подобных предостережениях мы благополучно могли заниматься своими делами даже в самые жестокие времена, когда не принадлежавшие к организациям революционеры (нигилисты, как называли мы их на своем жаргоне) за самомалейшие пустяки десятками попадались в руки бдительных аргусов».

Как удачно шла наша пропаганда среди рабочих?

Плеханов, тонкий и умный наблюдатель, не мало поработавший среди рабочих, склонен несколько умалять наши успехи даже сравнительно с пропагандою «лавристов». Правда, он высказывается на этот счет весьма осторожно:—Их пропаганда,—говорит Плеханов о лавристах,—в е р о я т н о (курсив мой. О. А.), была разумнее нашей». И далее:— «Если в программе образовавшегося зимою 78—79 года Северно-русского Рабочего союза сильно слышалась социал-демократическая нотка, то это, к а ж е т с я (курсив мой. О. А.), в значительной степени нужно приписать влиянию лавристов».

Слишком много чести, думается нам, для лавристов!

Землевольцы, как н а р о д н и к и, сделали в среде рабочих все, что могли. Они, конечно, не могли заняться организацией рабочих в с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к у ю партию: народническая программа отводила деятельности ее сторонников в рабочей массе в т о р о с т е п е н н о е место. Центр тяжести революционной деятельности лежал в деревне, в крестьянской массе, туда и направлялись п р я м о и к о с в е н н о (через, напр., г о р о д с к и х р а б о ч и х) наличные силы землевольцев.

Но, повторяю, в революционно-народническом смысле, землевольцы, за время своей деятельности в городе, успели не мало в среде рабочих.

Сам Плеханов указывает на это во многих местах своей брошюры «Русский рабочий в революционном движении». .

Разве этого мало, что «слушая нас,—говорит в названной брошюре Плеханов,—рабочий мог проникнуться ненавистью к правительству и «бунтарским» духом, мог научиться сочувствовать «серому мужику» и желать ему всего лучшего» (Курсив наш. О. А.).

Разве способствовать выяснению нашей тогдашней русской действительности, как мы тогда, как народники, понимали ее,—немалая заслуга? Разве рабочий-бунтарь Митрофанов, «постигший спорные программные вопросы до тонкостей», был у нас единственный в своем роде? А наши саратовские рабочие, о которых сам Плеханов отзывается, что «это были испытанные люди, искренно преданные народническим идеалам и глубоко проникнутые народническими взглядами» (Курсив наш. О. А.)?

Наконец, в своем предисловии к 2-му изданию «Русского рабочего в революционном движении» Плеханов прямо заявляет:

«А к концу семидесятых годов у народнического общества «Земля и Воля» был уже довольно значительный опыт по части пропаганды, агитации и организации в среде рабочих». «Опыт» предполагает уже работу, а «значительный опыт»—успешную и производительную работу. Не спорю, что мы не совершили всего того, что следовало и что желательно было сделать в городской рабочей массе в революционном-народническом смысле. Но не забудем, что, независимо от того, что мы работу в городе в первое время считали несущественной,—мы взялись за энергичную работу в городе уж тогда, когда она, эта работа, была обставлена огромными препятствиями. Правительственные репрессалии достигли тогда крайней степени: повальные обыски и ссылки стали тогда обычным явлением.

С весны 1878 года по осень того же года было арестовано и выслано до 600 человек молодежи!

Провалы молодежи опустошали посредственно и непосредственно и наши ряды, ряды «рабочих групп». Наша «центральная» рабочая группа, во главе которой стоял Плеханов и к которой я примкнул весною 1879 года, погибла, после 2 апреля в этом водовороте погромов, не просуществовав и несколько месяцев.

Едва спаслись Якимова («Баско»), хозяйка квартиры, я и другие.

Принимая все это во внимание, будет ближе к истине сказать, что пропаганда народнической землевольческой программы среди рабочих в Петербурге шла, вопреки всем препятствиям, довольно успешно, что набор приверженцев среди рабочих шел безостановочно, хотя и колеблющимся темпом.

Агитационная деятельность землевольцев среди рабочих Петербурга, начавшаяся зимою 1878 года и продолжавшаяся потом весною и осенью того же года, велась весьма энергично и продуктивно. Это—большая заслуга землевольцев вообще и Плеханова, как вдохновителя этой агитационной деятельности того времени—в частности.

Прошло более года после казанской демонстрации 6-го декабря 1876 года, этой первой демонстрации, на которой произошло первое же крупное сближение землевольцев с петербургским пролетариатом. Этот первый опыт агитации среди рабочих не прошел для нас бесследно. Работая, мы продолжали учиться, думать и вдумываться в то, что мы делали. Казанская демонстрация нас научила, что непозволительно приступать к какому-нибудь делу с чисто абстрактными приемами мышления, что агитация среди рабочих должна вестись, как и агитация среди деревенского крестьянства,—на почве их, т.-е. рабочих, ближайших,—и преимущественно экономических, требований. Это очень важный урок, и мы хорошо им воспользовались.

В середине или конце января 1878 года случилось одно весьма печальное событие на Васильеостровском патронном

заводе, подавшее нам, землевольцам, повод снова взяться за агитацию среди петербургского рабочего населения. Дело вот в чем.

«На Васильеостровском патронном заводе, — рассказывает Плеханов в своем «Русском рабочем и революционном движении»,—произошел взрыв пороха. Нескольких рабочих страшно изуродовало, четырех убило на месте. На другой день умерли от ран еще двое. Таким образом, рабочим этого завода предстояло провожать на Смоленское кладбище шестерых товарищей. Взрыв произошел по непростительной вине заводского начальства.

...«Понятно, когда произошел взрыв, все рабочие этого завода были озлоблены. Существовавший там революционный кружок тотчас увидел, что ему следует действовать. Кто-то из его членов написал воззвание, в котором происшедший на заводе печальный случай ставился в связи с общим положением рабочего класса. Воззвание это, напечатанное в нашей типографии, произвело хорошее впечатление, его с сочувствием читали даже такие рабочие, которых прежде никто не замечал в сочувствии к революционерам. Но этого было мало. Революционный кружок патронного завода хотел придать предстоящим похоронам характер демонстрации. Кружок этот снесся с землевольцами и пригласил их притти на похороны, но вместе с тем он настоятельно просил землевольцев ничего не сообщать лавристам. «Бог с ними совсем,—говорили рабочие,—лавристы—люди хорошие, но пойдут спорить и доказывать, что мы затеяли пустое, а нам послушаться нельзя, очень уж возбуждены все рабочие».

В день похорон, часов в 9 утра, хорошо вооруженная группа землевольцев (в числе их были: Валериан Осинский, Плеханов, М. Попов и южане: Попко, Волошенко и Чубаров) подошла к зданию патронного завода, пред которым собралась уже большая толпа рабочих. К землевольцам тотчас присоединились члены заводского рабочего кружка, тоже вооружившиеся кое-чем «на всякий случай».

Покойный Халтурин, работавший тогда на другом заводе, тоже пришел на похороны. Начали совещаться, что предпринять.

Землевольцы находили, что выступать с революционной речью было бы неуместно. Полиция, все время сопровождавшая шествие, в большом количестве стала вокруг могил. Священник пропел последнюю молитву; гробы опустили в землю. Пока их зарывали, толпа оставалась вполне спокойной. Но когда все было кончено, и наступило время расходиться, в ней началось какое-то движение. Незнакомый полный рыжий рабочий протискался к одной из крайних могил.

— Господа!—воскликнул он дрожащим от волнения голосом.

— Мы хоронили сегодня шесть жертв, убитых не турками, а попечительным начальством. Наша печаль....

Его прервали. Раздались полицейские свистки, и околоточный надзиратель положил рабочему руку на плечо со словами: «я вас арестую».

Но едва успел он выговорить это, как произошло нечто совершенно неожиданное. Со всех сторон раздались негодующие крики, и толпа, та самая толпа, которая произвела на нас безнадежное впечатление своею будто буржуазною прилизанностью, дружно кинулась на оторопевших полицейских. В одно мгновение арестованный был куда-то далеко унесен нахлынувшей рабочей толпой.

Благодаря вмешательству землевольцев и их товарищей (Попов мне вечером этого дня передавал, что особенной энергией и спокойной решимостью отличался, между прочим, наш Плеханов, первый набросившийся на околоточного), дело не дошло до драки, а все окончилось благополучно: никто не был арестован.

....«Дружный отпор,—говорит Плеханов в вышеназванной брошюре его,—данный полиции рабочими патронного завода, произвел прекрасное впечатление как на рабочие кружки Петербурга, так и на «бунтарскую» интеллигенцию. Он доказывал, что даже незатронутые пропагандою рабочие вполне способны к решительному и единодушному действию и в подходящую минуту не испугаются союза с «бунтовщиками казанской демонстрации» (слова околоточного надзирателя), т.-е. с революционерами. Нам нужно было только не упускать таких минут, чтобы обеспечить себе сочувствие рабочей массы. И когда в марте того же

года вспыхнула стачка на Новой Бумагопрядильне, мы были уверены, что легко сговоримся с этой массой».

И Плеханов не ошибся. И в мартовской, а впоследствии и в ноябрьской стачке на прядильной фабрике Кенига землевольцы оказывались во главе стачечного движения: они руководили забастовщиками, поддерживали их и в духовном, и в материальном отношениях.—«Так как,—рассказывает далее Плеханов в своем «Рабочем в русском революционном движении»,—серьезные связи на месте были у одних только землевольцев, то нечего и говорить, что влияние их на стачечников осталось непоколебимым.

«Рабочая масса попрежнему видела в них «орлов» и с доверием прислушивалась к их советам. Мало того, обстоятельства складывались таким образом, что землевольцы могли говорить с ней совершенно откровенно. Наследник не сдержал своего обещания, совсем ничего не ответил на просьбу стачечников.

«Некоторые, более доверчивые из них, продолжали еще ждать и надеяться, но зато другие—и таких с каждым днем становилось еще больше—решили, что и наследник «не хуже градоначальника тянет руку управляющего».... Вынесенный из деревни политический предрассудок быстро уступал место трезвому взгляду на вещи. Прежде стачечники смотрели на верховную власть, как на верную защитницу народных интересов, теперь они стали видеть в ней сообщницу капиталистов».

Особенно крепко стала на ноги наша «рабочая группа», когда к ней примкнул Александр Михайлов, по возвращении его из деревни.

«Здесь, как и везде,—рассказывает Плеханов в своих воспоминаниях о Михайлове,—он фигурировал главным образом в роли организатора. Не имея возможности лично посещать рабочие кварталы, он старался, по крайней мере, собирать сведения обо всем, что происходило в революционных рабочих группах, снабжал их книгами, деньгами, паспортами, а главное—давал множество разнообразных и всегда разумных советов. Кроме того, вращаясь среди петербургской революционной молодежи, он сближался с личностями, способными, по его мнению, взяться за революционную пропаганду между рабочими, вводил их в зани-

мавшуюся этим делом группу, способствовал, таким образом, расширению последней. В особенности сблизился он с «рабочей группой» во время большой стачки в январе или феврале 1879 года.

Рабочие фабрики Шау и так называемой Новой Бумагопрядильни, на Обводном канале, забастовали почти одновременно, сговорившись, через посредство своих делегатов, «стоять дружно» и начинать работу не иначе, как с общего согласия стачечников обеих фабрик. Более 1500 человек осталось временно без всякого заработка, а, следовательно, и без всяких средств к существованию, если не считать кредита в мелочных лавочках.

Кроме того, предвиделось вмешательство полиции и административные расправы с «бунтовщиками». Нужно было организовать немедленную материальную помощь всем стачечникам и обеспечить семейства арестованных или высланных в особенности.

Работа закипела. Сборы производились повсюду, где была какая-нибудь надежда на успех: между рабочими, студентами, литераторами и т. д. При своих огромных связях, Михайлов часто в один день собирал такую сумму, какой не собирали другие сборщики за все время стачки. Каждый день, явившись на заседание «рабочей группы», Михайлов предъявлял ей довольно значительную сумму денег и немедленно начинал самые обстоятельные расспросы. С довольным видом, пощипывая свою эспаньолку, выслушивал он рассказы людей, сошедшихся с разных концов Петербурга, занося в свою записную книжку всевозможные поручения относительно паспортов, прокламаций, даже оружия и костюмов. Выработавши план действий на следующий день, собрание расходилось...».

Таковой была агитационная деятельность землевольской «рабочей группы» среди рабочего населения Петербурга в последние полтора года существования общества «Земля и Воля»—в 1878 и 1879 гг.

Резюмируя результаты этой деятельности, мы приходим к следующему заключению: землевольцы за этот период времени приобрели довольно прочный операционный базис в среде рабочей массы. Кроме того, они обогатились большим практическим опытом, давшим им возможность

внести в ту часть своей программы, которая трактует о городских рабочих, существенно-радикальное изменение и дополнение, а именно: агитация на экономической почве—главным образом во время стачек—признана ближайшей практической задачей революционной деятельности среди рабочей массы. Заслуга в практической постановке этой задачи и теоретической ее формулировке всецело принадлежит Плеханову. В передовой статье, напечатанной в № 4 газеты «Земля и Воля», Плеханов подробно развивает это положение, подводя итог нашему опыту по части пропаганды, агитации и организации в среде городских рабочих.

Наш импровизированный съезд близился к концу. Все очередные вопросы разрешены. Многие намечены для ближайшего будущего. Подводя итог нашей работе, мы могли, положа руку на сердце, сказать, что славно поработали. Число членов «основного кружка» за это время возрасло привлечением к нему некоторых членов бывшего кружка «чайковцев» и других кружков.

В это время как раз были выпущены из тюрьмы,—кто на поруки, кто на других условиях,—многие революционеры, привлеченные в качестве обвиняемых по «Большому процессу». В числе их были: С. Перовская, Л. Тихомиров, А. И. Корнилова, Морозов, Зубок, Всеволод Лопатин и многие другие.

За границей жили С. Кравчинский и Д. Клеменс; с ними завели сношения, и они заявили согласие пристать к обществу «Земля и Воля». Таким образом, к концу 1878 года к нашей организации окончательно пристали следующие революционеры: С. Перовская, С. Кравчинский, Дм. Клеменс, Н. Морозов, Л. Тихомиров, Попко, М. Фроленко, Ольга Любатович и Тулисов.

Находившийся тогда в Петербурге кружок В. Н. Фигнер стал к нам в самые тесные отношения. У нас было несколько собраний, помнится, на квартире Квятковского, на которых присутствовали Ольга Натансон, Оболешев, М. Р. Попов и я,—последние двое, как представители «деревенщины». Мы делились своими деревенскими впечатле-

ниями, обменивались своими взглядами на деятельность в деревне, строили планы будущих поселений в народе, куда так тянуло Веру Николаевну и других. И наши, вначале совершенно деловые, совещания незаметно для нас самих перешли в сердечные, прямые товарищеские беседы.

Как мы друг друга стали понимать с полслова, с намека! Вера Николаевна, помнится, даже воскликнула, смеясь: «удивительно! даже одним языком говорим, точно раньше сговорились!» Вера Николаевна Фигнер, собственно, тогда же пристала к нам, но выговорила себе полную самостоятельность при организации ею местной группы.

Так как в Саратовской губ. у нас были еще остатки революционных поселений, то В. Н. решила перебраться с своими друзьями—Ю. Богдановичем, И—ным-П—вым и Соловьевым—туда же для организации деревенского поселения. Она, помнится, избрала Вольский уезд (Саратов. губ.), где она и поселилась в качестве фельдшерицы, а ее товарищи—в положении волостных писарей. Так было восстановлено старо-саратовское поселение под именем ново-саратовского.

Одновременно с этим мы ближе познакомились и, наконец, совершенно сошлись с кружком М. Н. Ошаниной (кружок «централисток»), о котором я выше упомянул.

Умная Мария Николаевна решила, наконец, поступиться некоторыми своими якобинскими воззрениями и симпатиями, ради практической необходимости действовать сообща и планомерно, и пристала к нам на условиях тесных федеративных обязательств. Она со своим кружком вместе с членами нашей организации—Квятковским, Поповым, Баранниковым, Фроленко и Тулисовым—образовала поселенческую группу, избрав местом деятельности Воронежскую губернию. Так стало образовываться воронежское поселение. Наконец, в Тамбовской губернии образовалось третье революционное поселение. В состав его вошли Харитоменов, Сергей Андреев («Андреев»), Мощенко и я—из саратовского поселения, Тищенко «Титыч», Э. Пекарский, Гартман («Алхимик»), Архангельский, Хотинский, Девель и еще с десяток лиц местной интеллигенции, по преимуществу народных учителей. Между нами были три волостных писаря и помощник, один врач, три фельдшера, а

остальные—учителя. Девель жил в Тамбове и представлял собою «центр». Он много сделал для нас. Дельный, серьезный, практический, с некоторыми связями в городе, он был для нас незаменим. Таким образом, с весны 1878 года землевольцы снова собрались с силами и вкупе с другими народниками-революционерами создали новые и реставрировали старые революционные поселения. Так образовались тамбовское, ново-саратовское и воронежское поселения.

Организация поселений, лица, входившие в состав поселений, не оставляли желать ничего лучшего. Все они старые наши знакомые, люди вполне испытанные, надежные, глубоко преданные народу, многие даровитые. Можно было надеяться, вполне рассчитывать на успех. Но—увы!—наши надежды с самого начала были отравлены ядом сомнений и основательных тревог. Где наши легионы? Нас так мало: все—старая гвардия, ветераны. Где молодые силы, могущие нас заменить в случае нашей убыли? А именно этих молодых сил в наших деревенских поселениях почти-что не было. В тамбовском поселении, например, был лишь один единственный Пекарский, правда, сразу зарекомендовавший себя с лучшей стороны, но все-таки один только. Вскоре, впрочем, к нам присоединился в Тамбове еще один «молодой», студент Казарский.

Во время пребывания нашего зимою 1877—78 г. в Петербурге, мы звали молодежь в деревню. Молодежь, если хотите, не глуха была к нашему зову, она вполне разделяла наши народнические воззрения и стремления, но ее больше привлекал город, с его интенсивными эмоциями. Во время стачек молодежь добровольно оказывала нам деятельную помощь. Деревню же она любила «из прекрасного далека».

В деревне надо работать долго и упорно, «без шума».

В городе же как раз в это время стало уже вырисовываться новое направление, манящее к себе молодежь.

И поневоле пришлось выносить на своих плечах всю тяжесть деревенской работы исключительно «старикам». Между стариками же, ушедшими в деревню, было много отмеченных печатью «нелегальности»: правительство зорко следило за ними...

Несмотря на их опытность, способность уклоняться от

правительственных сетей, положение их в деревне все-таки было неустойчиво, шатко...

Все это предвещало мало хорошего.

Вот при каких обстоятельствах складывалась жизнь новых революционных поселений в деревне в начале 1878 г.

ГЛАВА XII.

1878 г. Канун террористического периода народнически-революционной деятельности. Террористическое настроение. День 31 марта 1878 года: оправдание В. И. Засулич судом присяжных в Петербурге. Значение этого дня в истории развития общественного сознания. „Дезорганизаторская" группа общества „Земля и Воля" преобразовывается в „Исполнительный Комитет" этого общества. Деятельность „Исполнительного Комитета". Покушение Осинского на жизнь товарища прокурора Котляревского и убийство революционером Попко жандармского офицера Гейкинга. Освобождение Стефановича, Дейча и Бухановского из Киевской тюрьмы в мае 1878 г. Попытка в июле освободить Войнаральского на пути следования его в Харьковскую центральную тюрьму. 24 июля военный суд над Ковальским и его товарищами в Одессе. Уличная демонстрация. Кровавое столкновение. Две попытки в течение того месяца освободить Фомина из Харьковской тюрьмы. Убийство Мезенцева 4 августа 1878 года. Брошюра Кравчинского по этому поводу. Политическая борьба фактически выдвигается на первый план. „Северно-Русский рабочий Союз" ставит ребром вопрос о политической борьбе. Отношения землевольцев к „Союзу". Орган „Земля и Воля" №№ 1-й и 2-й (25 октября, 15 декабря 1878 г.). Итоги 1878 г.

Началу 1878 года суждено было стать прологом к целому ряду крупных революционных актов, определивших в последнем счете радикальный поворот революционно-народнической (землевольской) деятельности в сторону почти исключительно политической борьбы. Нам, современникам, стоявшим тогда так близко к этим событиям и проникнутым тогда революционно-народническою доктриною, и в голову не могли притти, что мы все вскоре очутимся опять на распутьи, что так скоро растеряем наши народнические стремления, надежды и чаяния—и очутимся в конце-концов в тупике...

Мы снова водрузили знамя «в народ!» и двинулись туда, чтобы продолжать задуманное дело—дело освобождения народа при посредстве самого народа. «Деревенщина» стала понемногу разъезжаться, в Петербурге остался «центр» с его местными группами, как это полагалось «по положению».

Общественное брожение, вызванное «Большим процессом», оказалось лишь рябью на поверхности могучего океана

общественной жизни: глубины ее оказались нетронутыми еще. «Море спокойно, только свежий ветерок весело надувает паруса, но над кораблем уже с зловещим криком носятся чайки-буревестники—и моряк знает, что будет буря, хотя и не чувствует ее» [1]). И буря действительно разразилась. 24 января 1878 года раздался выстрел В. И. Засулич. Русская девушка за свой страх и риск решила отмстить за попранное насильником человеческое достоинство, за поруганную честь партии. 31 марта того же года этот великий индивидуальный акт благородного гнева нашел свою высшую санкцию в общественной совести: «в этот день [2]) выборные общественные судьи впервые явно отвернулись от целой правительственной системы; в этот день русское общество впервые показало, что оно может не бояться открыто заявлять свои желания и симпатии».

— Тяжело подымать руку на человека—заявила на суде просто В. И. Засулич.

И суд общественной совести ответил ей на это также просто и величаво:

— Тяжело, но бывает необходимо, а потому ты не виновна!

В истории развития общественного сознания 24 января и 31 марта являются лишь прологом той великой исторической драмы, которая называется судом народа над правительством. В истории же развития нашего революционного движения делу Засулич суждено было стать решительным поворотом этого движения.

На протяжении каких-нибудь восьми месяцев после 24 января развертываются пред нами одно за другим чрезвычайные по внешней форме и внутреннему смыслу события. 30 января вооруженное сопротивление революционеров с Ковальским во главе в Одессе, на Садовой улице. В Киеве почти одновременно раздается выстрел револьвера и блеснуло лезвие кинжала: ранен Котляревский, пал Гейкинг. Первое (покушение) дело рук Осинского, второе (убийство)—Попко.

---

[1]) Из передовой статьи „Земли и Воли“ № 2. Там же. Стр. 177. (Статья Д. А. К.).

[2]) Из прокламации „Ко всем честным людям“, изданной в „Вольной Русской Типографии“. Перепечатано в журнале „Былое“ № 7, 1906 года.

В это же время «дезорганизаторская» группа «Земли и Воли» окончательно преобразовывается, усиливается наплывом новых свежих сил, твердо становится на ноги и обособляется фактически от общества «Земля и Воля», как новая организация, известная уж под именем «Исполнительного Комитета». Душою этой организации становится Валериан Осинский. После покушения его на Котляревского, он уже выпускает прокламацию от имени «Исполнительного Комитета».

«Исполнительный Комитет» вступает теперь в свои права и, опираясь на настроение тогдашнего момента, развертывает в полном объеме свою разрушительную силу. И работа закипела.

В мае 1878 г. освобождаются из киевской тюрьмы Михаилом Фроленко, при содействии Осинского, Стефанович, Дейч и Быхановский. В этот же месяц делаются еще две попытки освобождения Фомина: одна посредством подкопа, другая—двумя революционерами, переодетыми в жандармов, но обе—неудачные. В ночь на 1-е марта предпринимается грандиозная вооруженная попытка освобождения Войнаральского: было решено отбить его по пути в центральную тюрьму. Дело это организовано землевольцами: Александром Михайловым, Квятковским, Баранниковым, С. Перовской и другими. По непредвиденным обстоятельствам, дело это потерпело фиаско, несмотря на то, что задумано оно было тщательно и выполнено почти что в совершенстве. Подробно эта отчаянная попытка описана одним из участников ее в фельетоне № 4 «Земли и Воли». Слепая судьба и в этот раз обманула Войнаральского: в июле 1878 года его опять-таки не удалось вырвать из когтей правительства, как в первый раз в апреле 1876 года, когда Войнаральский и Ковалик, спускаясь с окна Дома Предварительного Заключения, уж так близки были к свободе.

На 24 июля был назначен в Одессе военный суд над Ковальским и его товарищами. Над головою Ковальского уже повис Дамоклов меч царской Немезиды. «Исполнительный Комитет» энергично готовится к освобождению товарищей хотя бы дорогою ценою вооруженного нападения. Правительство настороже: здание суда оцеплено войсками. Революционная молодежь и рабочие крайне возбуждены во

все время заседания суда; особенно рабочие тогда резко выделяются своим горячим сочувствием революционерам и решительным поведение на улице. Напряженное настроение публики в ожидании окончательного приговора доходит до крайней степени. Наконец, из залы суда раздается пронзительный, раздирающий душу крик: «Ковальскому смертная казнь!»

Толпа всколыхнулась, раздались крики негодования, протеста и проклятий. Солдаты и казаки набросились на толпу и смяли ее. Из толпы раздается револьверный выстрел, это— ответ на нападение войска. Раздается команда: «пли!», происходит кровавая свалка. Революционеры выпускают еще 18 зарядов: двое из стрелявших солдат упало. Солдаты остервенели, сильным натиском они набрасываются на толпу, рассеивают ее, убивая на-смерть двух революционеров Полтавского и Погребицкого. Уличные выстрелы достигают залы суда.

— Слышите, судьи, слышите?—заговорил Ковальский— это голос общественной совести! Общество просыпается от векового сна... Я теперь спокойно могу умереть. Месть за меня еще впереди.

И мститель нашелся. 2 августа казнен Ковальский, а 4-го того же месяца поражен кинжалом революционера среди белого дня Мезенцев, шеф жандармов, вдохновитель всех жестоких репрессий недавнего времени.

Этим мстителем был Сергей Кравчинский. В брошюре «Смерть за смерть!», написанной самим Кравчинским, заявляется, что программа социалистов—борьба на экономической почве, что политические убийства вовсе не метод их борьбы, что это отдельный эпизод, вызванный гонениями правительства. Далее в этой же брошюре выставляется ряд совершенно умеренных и законных требований, при исполнении которых повторение событий 4 августа делалось бы невозможным. Мы никогда не выйдем,—говорится в этой брошюре,—из пределов самозащиты,—своих же заветных целей мы добиваемся совершенно иным путем.

В названной же брошюре есть одно место, которое невзначай приподнимает завесу с той глубокой трагедии, которую пережил сам Кравчинский, этот великий мститель:—

«Убийство—вещь ужасная! Только в минуту сильнейшего возбуждения, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом, может лишить жизни себе подобного Нас же, социалистов, нас, посвятивших себе делу освобождения страждащих, нас, обрекших себя на всякие страдания, чтобы только избавить от них других—русское правительство довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств, возводим их в систему!»

Невольно при этом вспоминаются также дышащие такой же скорбью слова Засулич:—«тяжело подымать руку на человека!»

Впечатление, произведенное на общество событием 4 августа, было импонирующее. На правительство же оно на первых порах подействовало ошеломляющим образом: панический страх напал на него, и оно впервые почувствовало, что на него надвигается какая-то страшная, неуловимая, беспощадно-суровая сила...

Оно как будто притихло, притаилось, чтобы с удвоенною силою наброситься на своего отъявленного врага и задушить его. Оно стало гоняться по пятам за нашим «центром» и, наконец, нанесло нам страшный удар осенью 15 октября 1878 года: арестованы Ольга Натансон, Адриан Михайлов, Оболешев, Леонид Буланов, Малиновская, Каленкина, оказавшая вооруженное сопротивление, Бердников и другие.

Удар был почти роковой, крушение полное. Оставшиеся на свободе члены организации не имели ни денег, ни паспортов, у них не было даже возможности снестись с провинциальными членами организации, так как они не знали их местопребывания. Такая дезорганизация грозила, разумеется, новыми провалами. Вернувшийся спустя около недели после арестов в Петербург Плеханов уцелел, благодаря лишь счастливой случайности. Он приехал в Петербург с 30 коп. в кармане. Позвал извозчика, чтобы поехать на Царскосельский проспект, где, если не ошибаюсь, жила Малиновская. Извозчик запросил 75 коп., и это спасло Плеханова. Он решил поехать на М.-Итальянскую, где жил тогда А. Ольхин. Когда Плеханов вошел к Ольхину, последний всплеснул руками:—«Дорогой мой, хорошо, что у вас не

оказалось 75 коп.: на квартире Малиновской засада, все друзья захвачены!»

К счастью, Кравчинский был тогда цел и невредим, и Плеханов, при помощи Ольхина, нашел его в Петербурге. Александра Михайлова тогда не было в Петербурге. Он незадолго перед этим был вызван Плехановым на Дон, чтобы там на месте сорганизовать боевую дружину и дать определенное направление вспыхнувшим тогда в Донской области казацким волнениям. Положение критическое. Кравчинский и Плеханов решаются экстренно вызвать Александра Михайлова. Последний с болью в сердце бросает задуманное им на Дону дело и летит в Петербург. В последних числах октября, к слову сказать, мы чуть было не потеряли и Михайлова и Плеханова.

Дело вот в чем. После ареста Малиновской конспиративная квартира наша была перенесена на квартиру Трощанского (он же и «Жуковский»). На этой квартире собирались уцелевшие от разгрома землевольцы, в том числе обязательно Михайлов и Плеханов.

В один из октябрьских дней было назначено собрание у «Жуковского».

Дела были неотложные: надо было, во-первых,—познакомиться с письмами Валериана Осинского, только что полученными из Киева, расшифровать которые поручено было Трощанскому («Жуковскому»). А, во-вторых,—нужно было распределить добытые с таким трудом Михайловым небольшие деньги. В условленный час Михайлов,—а известно, что он на этот счет был неумолимо точен—отправляется к Трощанскому, условившись перед этим с Плехановым, чтобы и этот последний ни под каким видом не опоздал на свидание. Михайлов, ничего не подозревая, является на квартиру Трощанского—и попадается в ловушку, устроенную полицейскими. Михайлова арестуют и ведут туда, куда он совсем не хочет итти—в участок. Но, воспользовавшись оплошностью стражи, он бросился бежать по направлению Малой Посадской улицы. На крик «Держи! Лови!» один из публики кинулся было остановить его, но Михайлов выхватил из кармана кастет, и «ревнитель» быстро отскочил в сторону. Повернув за угол, Михайлов увидел довольно многочисленную толпу, которая слышала крики с Дворянской улицы.

Тогда, чтобы сбить ее с толку, он сам принялся кричать:— «Лови! Держи!» Толпа оторопела, не зная, что ей делать, и Михайлов пробежал мимо. Далее, увидев забор огорода, он перескочил через него и скрылся. Когда он перескочил через забор, он шлепнулся в лужу и испачкался с головы до ног грязью. Первою мыслью Михайлова было бежать, что есть мочи, на квартиру Ольхина и предупредить Плеханова. Но как бежать по людным улицам Петербурга в таком невозможном виде? В это время ему навстречу шла какая-то незнакомая девушка, по виду студентка. У Михайлова блеснула мысль попросить студентку сбегать за него к Плеханову, но не успел он раскрыть рта и произнести: «Сударыня!», как студентка, увидев пред собою эту подозрительную фигуру, шарахнулась от него в испуге и убежала. Пришлось нашему Михайлову самому уж без оглядки бежать на М.-Итальянскую. К счастью, он еще захватил Плеханова дома. Радость Михайлова была до того велика, когда он увидел Плеханова, что бросился—к величайшему изумлению Плеханова, ждавшего от Михайлова нагоняя—обнимать его:—«Ну, Жорж, пропал бы ты, совсем пропал! меня сцапали-было, да я счастливо вырвался от них!» Впоследствии мы узнали, что Трощанского «захватили с поличным», т.-е. забрали его как раз в то время, когда он занимался расшифрованием Валериановских писем. А письма эти были очень нужные; Валериан просил денег и требовал, чтобы «центр» скорей списался на этот счет с Дмитрием Лизогубом.

Так судьба на этот раз отвела от нас грозивший нам тяжелый удар, и землевольцы снова энергично взялись за работу. А работа предстояла поистине египетская. Надо было прежде восстановить «центр» общества «Земля и Воля», надо было реставрировать полуразрушенную организацию.

Вот как Плеханов описывает эту организационную работу Михайлова[1]).

«С утра до вечера бегал он по Петербургу, доставая деньги, приготовляя паспорта, заводя новые связи,—словом, поправляя все, что было поправимо в тогдашнем положе-

---

[1]) Воспоминания об А. Д. Михайлове. Сочинения Г. В. Плеханова, т. I. Издание Библиотеки научного социализма. Женева. 1905 г.

нии. Скоро дела наши пришли в некоторый порядок, и общество «Земля и Воля» не только не распалось, но приступило даже к изданию газеты. Неутомимая деятельность Михайлова за этот период времени составляет одну из главных заслуг его пред русским революционным движением. Он уже окончательно теперь отказался от мысли возвратиться в Саратов и весь отдался организационным работам». И далее: «Порешивши остаться в Петербурге, мы подразделили деятельность «основного кружка» на несколько различных отраслей, так что каждому из нас предстоял особый род работы. На Михайлове лежали, главным образом, хозяйственные заботы. Он заведывал паспортной частью, типографией, распространением «Земли и Воли», переписывался с провинциальными членами нашей организации, доставлял и распределял средства между различными ветвями кружка и т. д.». Таким образом, благодаря железной энергии и выдающимся организаторским способностям Михайлова, с одной стороны, и деятельной, неутомимой работе Плеханова, Зунделевича, Кравчинского (до отъезда его за границу), Александра Квятковского (вскоре затем прибывшего в Петербург) и других—с другой,—общество «Земля и Воля» вступило в 1879 год—в третий год его существования—не только с восстановленными силами, но и вполне бодрым, воинствующим, готовым к бою.

Итоги 1878 года для революционной деятельности выражаются в следующем. С одной стороны—правительство, с его вековечной системой репрессией, застенков и всяческих уловок. С другой—революционная молодежь, с ее новыми приемами борьбы,—смелыми, решительными, неуловимыми, как ветер степной, дезорганизаторскими приемами.

Правительство все туже и туже затягивает мертвую петлю над обществом: преслодования все более и более усиливаются; тюрьмы наполняются; в тюрьмах стон и зубовный скрежет; там, за решетками, бьется и трепещет молодая жизнь; стон из-за решеток и каменных мешков доходит до чуткого уха революционеров и разрывает им душу; сотни молодых, неокрепших еще сил вырываются из семей и ссылаются на гибель в якутские тундры; новые драконовские законы то-и-дело выковываются правительством и падают свинцовой тяжестью на личность революционеров;

одним словом,—реакция в полном ходу, готовая все сокрушить на своем пути. Но нашла коса на камень. Чем туже стягивается железное кольцо правительственного произвола, тем сильнее конденсируется революционное чувство, тем упорнее сосредоточивается революционная воля в одном определенном направлении—в направлении отчаянной борьбы с правительством sans trêve ni merci. Общий смысл этой борьбы таков: нам объявили войну—и мы обороняемся; наша личная свобода и человеческое достоинство попираются—и мы обязаны кровью своею защитить их; не мы первые подняли меч; пусть же поднявший меч от меча и погибнет! Правда, это пока еще не формулируется ясно, но уже категорически сказывается в настроении и воле тогдашних революционеров. Непосредственная активная борьба с правительством, в той или другой форме, фактически становится стимулом революционных действий людей 1878 года. И революционер становится все более и более аггрессивным. Даже внешность его преобрзовывается: вместо прежнего чумазого пропагандиста или даже современного деревенщика-народника в косоворотке и высоких сапогах—пред нами теперь джентльмэн, весьма прилично одетый. У него за поясом кинжал, а в кармане—револьвер: он не только будет защищаться, но и нападать; он даром не отдаст своей свободы. Так думали, говорили и действовали люди 78 года. И революционная хроника этого года вполне подтверждает это. Революционные силы все более и более стягиваются в город, борьба все более и более непосредственно направляется на правительство—она становится политическою борьбою. Мы на словах открещиваемся, как от «нечистого», от политической борьбы; мы негодуем, когда либеральная литература ехидно упрекает нас в том, что мы свернули с намеченного нами пути, но фактически—увы!—мы, помимо своей воли, ведем политическую борьбу,—как мы, помимо воли своей, говорим не стихами, а прозою... Неумолимая логика событий втянула революционеров в свой водоворот, и они, чтобы не захлебнуться, ухватились за террор, как утопающий за соломинку.

Перед нами землевольческая литература этого года—1878 года: центральный орган партии «Земля и Воля». Про-

чтите его передовые статьи, фельетоны, полемические статьи и проч.!

Господствующим лейтмотивом служат следующие положения:

«Революция—дело народных масс [1]). Подготовляет их история. Революционеры ничего направить не в силах. Они могут быть только орудиями истории, выразителями народных стремлений. Роль их заключается только в том, чтобы, организуя народ во имя его стремлений и требований и поднимая его на борьбу с целью их осуществления, содействовать ускорению того революционного процесса, который, по непреложным законам истории, совершается в данный период. Вне этой роли они—ничто; в пределах ее, они—один из могущественных факторов истории.

Поэтому, основанием всякой истинно-революционной программы должны быть народные идеалы, как их создала история в данное время и в данной местности. Во все времена, где бы и в каких размерах ни поднимался русский народ, он требовал земли и воли. Земли—как общего достояния тех, кто на ней работает, и воли—как общего права всех людей самим распоряжаться своими делами».

По поводу террористической деятельности руководящая статья говорит следующее:—«Мы должны помнить, что не этим путем мы добьемся освобождения рабочих масс. С борьбою против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Против *класса* может восстать только *класс*; разрушить систему может только народ. Поэтому, главная масса наших сил должна работать в среде народа. Террористы—*это не более, как охранительный отряд*, назначение которого—оберегать этих работников от предательских ударов врагов. Обратить все наши силы на борьбу с правительственной властью—*значило бы оставить свою прямую, постоянную цель, чтобы погнаться за случайной, временной*» [2]).

Вторая руководящая статья «Земли и Воли» от 15 декабря 1878 года, принадлежащая, если не ошибаюсь, перу

---

[1]) „Земля и Воля“ № 1, 25 октября 1878 года. Программная статья С. Кравчинского.

[2]) Курсив везде наш.

Д. А. К., посвящена исключительно четырем знаменитым цареубийцам—Геделю, Нобилингу, Монкуси и Пассаменте. Автор поставил себе задачей—выяснить действительный смысл этих крупных в то время событий, этого настойчивого повторения покушений на жизнь представителей монархического принципа на протяжении одного 1878 года. Попутно автор проводит параллель между вышеназванными покушениями и нашими террористическими действиями текущего 1878 года.

Вот что по этому он говорит:—«Ответственность за смертную казнь преступников в России открыто и явно брала на себя русская социально-революционная партия. Она не только официально признавала совершившиеся факты, заявляла заранее о своих приговорах и давала предостережения, но и объясняла всегда мотивы своих приговоров пред публикой. Из этих объяснений очевидно, что тяжелая карающая рука русского революционера подымается всегда на защиту интересов своей партии, и только на их защиту[1]).

Из совершившихся до сих пор фактов нельзя заключить, чтобы русские революционеры нападали преимущественно на какой-нибудь отдельный класс общества или представителей известной идеи. С идеями они борются идеями же. Тактика их—просто тактика воюющей стороны: бьем тех, кто нас бьет, кто нам опасен, и потому, что он нам опасен[2]). Говорят, что Мезенцев был очень добрый человек,—может быть! Но по отношению к русским революционерам он был зверем, диким зверем, мучителем по призванию—и на него был направлен удар.

Барон Гейкинг (киевский жандармский офицер. О. А.) был либерал; он, говорят, даже предупреждал кое-кого из своих знакомых об обысках и арестах,—но относительно русских революционеров он держал себя крайне подло; это был двуличный и опасный человек для революционеров, искусный шпион, угрожавший свободе многих лиц,—и он был казнен.

Русские революционеры преследуют с одинаковой беспощадностью как высокопоставленного злодея, так и про-

[1]) Курсив наш.
[2]) Курсив наш.

стого уличного шпиона или болтуна-доносчика. Во всем этом они руководятся лишь интересами своей партии, а до одобрения или отрицания общества им нет дела». И далее несколькими строками ниже автор поясняет:

«Русские революционеры ясно высказывали, что к смертной казни они прибегают лишь для спасения жизни и свободы своих собратий, для избавления их от чрезмерных страданий, и когда требует этого спасение чести партии»[1]).

Мы можем ограничиться и этими выписками. Они вполне ясно рисуют мысль наших авторов. Центральный литературный наш орган «Земля и Воля» в руководящих его статьях прямо нам говорит, что мы тогда еще оставались верны нашей народнической программе, нашей тактике. Сергей Кравчинский, в цитируемой уже выше программной статье своей, прямо предостерегает нас от слишком сильного увлечения террористическою борьбою. Он говорит:—«Не ободрять, не звать их (товарищей и друзей. Автор) на продолжение начатой борьбы намерены мы: мы очень хорошо знаем, насколько излишни для них ободрения и призывы. Мы, напротив того, хотим предостеречь их от слишком сильного увлечения этого рода борьбою, так как есть признаки, показывающие возможность такого рода увлечения»[2]).

Проницательный Кравчинский уже чуял беду. Во всяком случае, основной тон нашего центрального органа,—этого объективного выразителя наших идейных стремлений и нашего настроения,—оставался догматически-верным народничеству. Участившиеся в то время террористические акты он объясняет и оправдывает основными началами нашей дезорганизаторской программы, с самого начала предусмотревшей возможность и неизбежность такой тактики.

Террор не возводится в принцип, в систему, т.-е. общество «Земля и Воля», не задаваясь непосредственной целью борьбы с правительством, считает, тем не менее, нужным прибегать к террору, как к специальной форме

---

[1]) Курсив наш.
[2]) Курсив наш.

борьбы для специальных случаев, и только для таких случаев.

Насколько мы еще тогда оставались буквально верными нашей народнической программе, насколько догматичны мы еще были тогда, лучше всего это иллюстрируют наши отношения к возникшему тогда (в конце 1878 г.) новому обществу рабочих—«Северно-Русскому рабочему Союзу». Организатором этого «Союза»,—попутно скажу, -был Степан Халтурин, умный, развитой и энергичный рабочий. Он явился самым типичным и ярким представителем стремлений и настроений передовых рабочих масс того времени. Халтурин пользовался огромною популярностью в рабочей среде, его глубоко уважали и любили. Ему первому удалось поставить передовых рабочих на собственные ноги, создать организацию рабочих через рабочих же, собственными их усилиями «Северно-Русский рабочий Союз»—дело его рук. Программа «Союза» была напечатана в виде отдельного листка и циркулировала таким образом по рукам. К сожалению, я не могу воспроизвести ее в целом, я отмечу лишь один, весьма характерный, по-моему, пункт, против которого совсем не кстати возражала «Земля и Воля». Пункт этот касается значения и роли политического элемента в революционной деятельности вообще и отношения к нему рабочих—в частности. «Союз» в своей программе высказался прямо и категорически, что нельзя относиться отрицательно к политической борьбе, но что необходимо поставить политические задачи, и вести и то и другое—и политическую и экономическую борьбу—параллельно.

«Северно-Русский Рабочий Союз» в данном случае оказался более проницательным, чем многие в то время из землевольцев.

Здравый смысл, не отуманенный слишком частыми справками за мнимым «историческим опытом», подсказал Халтурину и его товарищам, что осуществление народных требований немыслимо без одновременной борьбы с политическою организацией, главною виновницею народного разорения. Рабочие на собственной шкуре выносили всю тяжесть правительственного гнета и, понявши это, они сочли себя вправе выставить на своем

знамени delenda est Carthago—да будет уничтожен этот политический строй!

— Как я уже выше заметил, наш орган отнесся укоризненно к этой политической ереси «Союза». В «Земле и Воле», в особой заметке[1]), посвященной программе «Союза», редакция мягко, но решительно высказалась против политических тенденций «Союза».

Это очень характерно для тогдашнего момента, переживаемого землевольцами. Но иное дело теория, иное—практика. Фактически наше положение уже в конце 1878 года стало внушать серьезные опасения не одному только Кравчинскому. Круто нароставшее террористическое настроение и резко уже обрисовавшийся поворот в деятельности землевольцев и прочих революционеров-народников предвещали нам всем, а особенно «деревенщине», тяжелые испытания.

Наша главная операционная база—деревня, была плохо укреплена; наш авангард—ново-саратовское и тамбовское поселения, за недостатком людей, не восполнялся: новые силы не притекали, армия не формировалась.

Воронежское поселение только складывалось: производились рекогносцировки и намечались пункты для поселений. А между тем, то тут, то там в народе происходят серьезные волнения: волнуются на Дону, на Кубани и на Урале. Надо во что бы то ни стало использовать эти волнения,—мы это сознаем,—но опять-таки: нет людей! сил не хватает! На Дону разрывается Плеханов; мечется во все стороны, ищет сотрудников, зовет работников, но в результате—нуль.

Он вызывает туда экстренно Александра Михайлова, но не успел тот доехать до Ростова, как он обратно уже летит в Петербург, где мы потерпели страшное разорение. В Петербурге Плеханов, отпечатавши «Воззвание к славному Войску Донскому», продолжает звать охотников на Дон.

«Эта молодежь,—рассказывает Плеханов[2]),—насквозь пропитанная народничеством, с приятным удивлением слу-

---

[1]) Заметка принадлежит перу Д. А. К.

[2]) История революционного движения в России. А. Туна. Предисловие к русскому изданию, стр. 31. Женева. 1903 г.

шала мои рассказы о казацких волнениях и вполне соглашалась с тем, что революционеры непременно должны воспользоваться этими волнениями. Но, несмотря на это, на Дон все-таки никто из петербургских революционеров не поехал.

Так и пришлось махнуть рукою на казаков. Правда, к ним отправилось несколько молодых людей из Харькова, но и эти товарищи скоро убедились в том, что ни на какую поддержку со стороны революционной интеллигенции им расчитывать невозможно, и, обескураженные этим, сами вернулись в город, хотя революционеры-казаки, которых насчитывалось тогда уже человек до пятидесяти, настойчиво уговаривали их оставаться».

Но «пришлось махнуть рукою» не только на казаков, но и на раскольников, а равно и на создавшееся еще только воронежское поселение, где были такие отменные работники, как М. Р. Попов, Александр Квятковский, М. Фроленко, Баранников, М. Н. Ошанина и проч.

После разгрома нашего «центра», Александр Михайлов стал вызывать настойчиво в Петербург на помощь себе землевольцев из провинции, и вскоре туда поехали М. Р. Попов и Квятковский—один вслед за другим—где уже оба, подхваченные водоворотом петербургских событий, окончательно, скрепя сердце, и застряли. Правда, они имели твердое намерение вернуться к начатой им столь успешно работе в Воронежской губ., но логика событий решила все наперекор: воронежское поселение не было основано, и усиленная подготовительная работа организаторов пропала почти бесследно для революции.

Точно также, по тем же причинам, пришлось, скрепя сердце, махнуть рукою и на продолжение работы в расколе в Саратовской губернии. Вот что на этот счет сообщает нам в своем «Воспоминании об А. Д. Михайлове» Плеханов:—«В принципе Михайлов попрежнему признавал деятельность в народе главною задачею общества «Земля и Воля», но он думал, что, при наличных силах этого общества, нельзя было надеяться на сколько-нибудь серьезный успех в крестьянской среде. «В настоящую минуту нам, находящимся в городах, нечего и думать об отъезде в деревню,—говорил он по возвращении из Ростова,—мы слиш-

ком слабы для работы в народе. Соберемся сначала с силами, создадим крепкую и обширную организацию, и тогда перенесем центр тяжести наших усилий в деревню.

Теперь же волей-неволей приходится нам сосредоточить все свое внимание на городских рабочих и учащейся молодежи. В то время мы были действительно так слабы, что никому из нас и в голову не приходило не соглашаться с Михайловым».

К такому выводу пришли в конце 1878 года двое из самых крупных наших землевольцев, Михайлов и Плеханов, к такому же выводу пришли и остальные землевольцы. Таково было наше положение в исходе 1878 г., с таким печальным итогом мы вступили в 1879 год—третий год нашего существования, как общества «Земля и Воля».

А итог был таков: два только землевольских поселения, ново-саратовское и тамбовское, резко обозначавшееся, по причине круто изменившегося революционного настроения, ослабление притока революционных сил из города в деревню; страстное, неудержимое почти, стремление революционных сил схватиться непосредственно с правительством; схватки то тут, то там учащаются, обостряются, ожесточаются и обобщаются.

Мы—накануне второго периода землевольской деятельности и третьего—социально-революционной деятельности вообще семидесятых годов.

ГЛАВА XIII.

1879 год. Террористический период землевольской деятельности Террористические акты в начале 1879 года; убийство шпиона Рейштейна в Москве, убийство харьковского губернатора кн. Кропоткина, покушение на жизнь шефа жандармов, Дрентельна, 13 марта 1879 г. Листок „Земли и Воли“ №№ 2 и 3. Совет землевольцев в великий четверг на страстной неделе (1879 г). Покушение Соловьева на жизнь Александра II (2 апреля 1879 г.). Листок „Земли и Воли“ № 4 по этому поводу. Эволиция землевольской революционно-народнической программы: „Земля и Воля“ №№ 3, 4 и 5. Разлад между теорией и практикой. Военное положение. Казни ссылки и аресты. Воронежский с‘езд. Состав с‘езда. Характер с'езда Последние дни общества „Земля и Воля“. Скрытая борьба двух диаметрально-противоположных тенденций—политической и экономической. Исход этой борьбы: разделение общества „Земля и Воля“ на две фракции: фракцию „Народной Воли“ и фракцию „Черного Передела“
„Еще одно сказанье—и летопись окончена моя!“

Перехожу теперь к последнему акту нашей драмы— к террористическому периоду землевольской деятельности и заключительному ее аккорду—расколу общества «Земля и Воля». Тяжелое это было время. Тяжело жилось в то время и всей партии и каждому революционеру в отдельности. Все чуяли, что фактически начинается какой-то поворот в направлении партии, который может привести к тому, что она теперь теоретически отрицает»[1]).

Вот какими чертами характеризует хроникер № 1 «Листка Земли и Воли» первые два месяца 1879 года.

«Непрерывной нитью тянутся пред нами суды, ссылки, обыски и аресты наших товарищей. Среди непроглядной ночи, царящей над нашей родиной, под непроницаемым покровом которой уже много лет кипит незаметная непривычному взгляду подпольная революционная работа, по временам раздаются отдельные удары приближающегося землетрясения.

Это казни правительственных преступников. *Это первые симптомы быстро обостряющейся революционной борьбы*[2]). Они возмущают мертвую тишину ночи. Все быстрее и быстрее сменяются они и заслоняют собою одни другие.... То, что случилось вчера, сегодня отошло на задний план картины и не волнует более прежней любовью или ненавистью наполненные другими событиями человеческие сердца. Жизнь не ждет».

---

[1]) Из моих воспоминаний 1883—84 года.
[2]) Курсив наш. О. А.

Новый год снова открылся целым рядом выстрелов: то защищаются с оружием в руках революционеры во время арестов—Валериан Осинский и Лешерн в Киеве 26 января 1879 г.; Брантнер, Антонов с товарищами, там же—11 февраля 1879 г. Одновременно с этим пуля революционера сразила харьковского губернатора (9 февраля 1879 года), князя Крапоткина. В № 4 «Земли и Воли» помещено письмо виновника этого убийства или, как тогда выражались, «казни»,—Г. Гольденберга. Письмо это—обращение к обществу, в котором сам автор объясняет мотивы, в силу которых он решился на такую крайнюю меру. Его-де толкнул на этот роковой шаг сам Крапоткин, он заслужил свою казнь.

«Он, как наемный убийца, виновен в том, что за жалованье, за содержание, получаемое от правительства, совершает убийство 30 русских социалистов,—и какое еще убийство! Он виновен в том, что с его ведома и по его приказанию были до полусмерти избиты политические преступники в харьковской городской тюрьме. Наконец, он виновен еще в том, что, по его распоряжению, были избиты нагайками собравшиеся без всякой преступной цели студенты, что неправильно донес об этом побоище министру внутренних дел, сообщив, что студенты сами бросились бить казаков,—когда дело происходило иначе, на глазах многочисленной публики и совета профессоров.

В заключение своего обращения к «Обществу» автор говорит:

«Знай же русское общество, что каждый честный человек волнуется тем же чувством, тем же желанием. И покуда ты будешь спать, тебе не раз придется принимать участие в единственно дозволенном тебе деле—похоронах высокопоставленных особ!..»

Так начался 1879 год. Это ничего хорошего не предвещало. На политическом горизонте все более и более сгущались грозовые тучи, издалека уже доносились раскаты грома.

В то время, когда описываемые мною события развертывались, с необходимостью железного закона, из Петербурга вернулся «Титыч». По пути он заехал ко мне в Тамбовский уезд, где он, в числе других «деревенщиков», за-

нимал должность народного учителя. Он передал мне желание петербургских товарищей, чтобы я оставил деревню и перебрался в Петербург.

Там тогда ощущался крайний недостаток в рабочих силах. Наши петербургские товарищи буквально разрывались на части. Работы было по горло. Началось сильное брожение среди фабрично-заводских рабочих. Снова пошла полоса стачек. Кроме того, петербургские рабочие стали организовываться. По инициативе Степана Халтурина уже образовался «Северно-русский рабочий союз». Параллельно с движением среди рабочих началась организационная работа среди петербургской учащейся молодежи, вылившаяся в форме «землячеств». Во главе этого движения стал студент Осмоловский. Одним словом, — по рассказам «Титыча»,— началась глубокая творческая работа в самых живых общественных слоях петербургского населения. Запрос, поэтому, на опытных работников сильно возрос: требуют и рабочие и молодая интеллигенция. Петербургских землевольцев не хватает, а потому «центр» и прочие группы разбрасываются по необходимости по сторонам. Далее «Титыч» передал мне, что петербургские наши товарищи начинают все более и более тяготеть к дезорганизаторской (террористической) деятельности, что революционное движение принимает все более и более острый характер, что движение, очевидно, все более и более стало сводиться к единоборству между правительством и революционной интеллигенцией.

— Наши землевольцы,—заключил «Титыч», — круто повернули фронт, а молодежь, на них глядя, словно сорвавшись с цепи, так и рвется в бой.—Все это мне рассказал «Титыч». Он был сильно озабочен. Его проницательный критический ум уж предвидел серьезные замешательства.

— Что же делать?—спросил я, выслушав его подробное сообщение.

— Нам, во всяком случае, надо жить в деревне! что бы ни случилось—здесь должны быть свои люди! А ты, Осип, поезжай в Петербург—там разберешься!..

Несколько дней спустя я уже был по дороге в Петербург. Я оставил деревню с тяжелым чувством. Больше я уже в деревню не возвращался. За мною, спустя 2—3 ме-

сяца, потянулись и многие другие «деревенщики»: одни—потому, что их присутствие в Петербурге вызывалось крайней необходимостью, другие—потому, что их выбивала из деревни та или иная темная сила: интриги местных воротил, административных и общественных, как это, напр., было с В. Н. Фигнер в Саратовской губернии.

Особенно стали редеть наши ряды в деревнях после 2-го апреля 1879 года—покушения на жизнь Александра II. Из Тамбовской губ. бежал Гартман («Алхимик»), а вскоре вслед за ним был арестован Пекарский; оставили деревню Мощенко, «Титыч», Хотинский и проч.

Ново-саратовское же поселение после 2-го апреля окончательно распалось. Можно себе представить, как себя чувствовали одинокие, кое-где разбросанные по деревням и селам «деревенщики»! Нельзя, поэтому, их винить, если они, не вынося безысходно-тяжелого чувства оброшенности и одиночества, разбежались к концу 1879 года совершенно врозь... Эти люди уходили из деревни с глубоким чувством скорби, горечи и все более и более сгущающейся ненависти к существующему политическому строю. Больно, тяжело и обидно было отказаться от того, что так недавно еще наполняло все твое существование. Уходили с поля битвы не юноши зеленые, а зрелые, опытные люди. Опустела деревня. Три года с небольшими перерывами мы поработали в деревне. Что же мы успели? Какие результаты получили? Оглядываясь назад, на путь, пройденный нами,—путь, усеянный не розами, а ухабами и трясинами, мы, положа руку на сердце, имеем право сказать: наша работа не прошла бесследно в деревне! Наше слово не было гласом вопиющего в пустыне! Правда, мы еще не успели создать в народе боевую партию, боевую силу в противовес архаической силе существующего приказно-крепостнического государственного строя. Это правда. Но нам удалось своей разнообразной подготовительно-революционной работой сузить значительно ту страшную пропасть, которую беспощадно-суровая история наша вырыла между нами, интеллигентами, и народом. Не забудем, что мы были тогда—в 70-х годах—чуть ли не первыми пионерами-культуртрегерами с революционными целями. Наша разнообразная культурная деятельность непосредствен-

но в пользу народа была насквозь пропитана революционными элементами. Мы учили народ—и притом не как пришлые, чуждые ему, люди, а как свои,—лечащие его, учащие его, радеющие о нем люди,—в амбулаториях, в сельских и народных школах, на базарных площадях, в трактирах и мастерских,—учили его, как он должен освободиться от вековечного гнета. Мы будили дремлющее в нем чувство протеста, мы бросали лучи света в темное еще тогда сознание его. Это не была простая культурная работа, как иные изображают ее весьма наивно; это была работа подготовительно-революционная, так как, повторяю, верховным принципом нашей многосторонней культурной деятельности была революция: освобождение народа самим же народом. Это была невидимая, на-глаз незаметная, работа, но которая капля-по-капле выдалбливала трещины и щели в инертной тогда еще массе крестьянства. Через эти щели и трещины то-и-дело проникали вглубь революционные мысль, чувство и воля. И вместе с «объективным процессом истории», наша подпольная работа в конце-концов создала в народе некоторую атмосферу беспокойства, тревоги и недовольства. Одним словом, где ни работал землеволец, он оставлял после себя неизгладимый след. И я имел право в 1883 году занести следующие строки в неизданные мои записки:

«Практика вполне доказала, что там, где революционные поселения просуществовали хоть один год, революционерам удалось заслужить уважение, любовь и доверие крестьян. Недаром некоторые представители администрации и земства, узнавши, что лица, с которыми они по разным делам сталкивались, принадлежат к социалистической партии, говорили, что если все социалисты таковы, то они вскоре завоюют народ».

И мы ясно сознавали это наше значение в народе, но нас глубоко огорчало,—во-первых,—неподготовленность еще масс в революционном отношении, собственная слабость наших наличных сил,—во-вторых, и, наконец, непрерывная убыль в наших рядах, не возмещаемая притоком свежих сил,—в-третьих. А непрерывная убыль эта производилась совместным действием многих причин: то нас стала отвлекать из деревни непосредственная борьба с пра-

вительством, становившаяся с каждым днем все острее и острее, то неизбежные аресты и прочие правительственные преследования, изгонявшие нас из деревень, то, наконец, заметное чувство утомления работою в народе и горькое сознание, что один в поле—не воин. Все это в общей совокупности и вызвало постепенное обезлюдение наших революционных поселений и, наконец, окончательное их крушение. Мы всячески боролись против этого еще с самого начала 1879 года. Мы всячески продолжали звать в народ, но—увы!—на наш зов мало кто откликался.

Да и в нашем зове не было прежней убедительности, прежнего жара. Чтобы людей двинуть на дело, недостаточно действовать только на ум: надо всколыхнуть чувства,—эту тяжелую артиллерию нашей психики. Мы не могли тогда увлекать людей за собою, так как у нас самих не было дела в деревне. Нас задавила не теория, а практика: ноша, которую мы возложили на себя, была нам, «деревенщикам», не по силам—и мы пали, сокрушенные. Но, как утопающий, мы хватались за соломенку, ища спасения в деревне. И чем дальше убегала от нас деревня, тем милее она нам становилась—и мы продолжали бороться за нее. Это не была только борьба из-за догмы или принципа: это была борьба за «быть или не быть?»

И она началась еще ранней весною 1879 года, сначала глухо, а потом все громче и громче, расширяясь и углубляясь, пока, наконец, не привела к роковому расколу организации «Земли и Воли». И теперь, когда я вновь переживаю перипетии этих драматических событий, для меня все более и более становится понятной роковая неизбежность этого раскола.

По дороге в Петербург я из газет вычитал о каком-то таинственном убийстве, совершенном в номере одной из московских гостиниц. Прочитав раз-другой подробности этого загадочного уголовного события, я решил в уме, что это «наши сделали». И не ошибся. По прибытии в Петербург я узнал от товарищей и из «Листка Земли и Воли», что это действительно убит, по постановлению «Исполнительного Комитета», шпион-рабочий Рейнштейн. В «Листке» по этому поводу было сказано:

«Рейнштейн вполне заслужил свою участь: этот человек в последние месяцы своей жизни сделал много зла. Им были выданы правительству десятки людей, которые до сих пор находятся в заключении или ссылке в наших отдаленных и безлюдных окраинах».

В конце февраля я прибыл в Петербург. Я застал в Петербурге Александра Михайлова, Александра Квятковского, Тихомирова, Морозова, Плеханова, Зунделевича, Мощенко, Игнатова, вскоре прибыл и Попов.

За несколько дней до моего приезда нам нанесло правительство чувствительный удар: оно вырвало из наших рядов одного из выдающихся наших товарищей, одного из самых талантливых редакторов нашего органа «Земля и Воля», Дмитрия Клеменса.

Итак, я снова среди моих дорогих товарищей, я снова в моей дорогой рабочей семье!

Что же я нашел в ней?—«Глубокими, неизгладимыми чертами врезалось то время в моей памяти, и я расскажу все, что увидел и услышал тогда, оставаясь верным правде. Когда я прибыл в Петербург, то уже была решена еще одна смерть —Дрентельна. На мой вопрос, чем заслужил этот джентльмен такую незавидную участь, мне представили что-то в роде обвинительного акта. Дрентельн, между прочим, виновен главным образом в том, что ввел ссылку в Якутскую область в систему. Не скажу, чтобы этот и многие другие пункты обвинения казались мне достаточно сильными и убедительными, чтобы за это отнять у человека жизнь. Но мой голос тогда, конечно, уж не мог иметь значения, так как приговор был уже произнесен громадным большинством голосов членов Совета против одного, который совсем воздержался от голосования [1]).

Этот последний, насколько мне помнится, был так же, как и я, мало убежден в необходимости такой крутой меры. Тем не менее, все решено и подписано. Дрентельн выслеживается шаг за шагом и, наконец, в один прекрасный петербургский день—13 марта 1879 года—раздается выстрел

[1]) Это был член редакции, Плеханов. Он, в противовес политическому террору, предложил городской экономический террор, при чем указал и на конкретный случай из тогдашних рабочих стачек, в котором было совершенно уместно применение террора последней категории. 15-XI 1906 года.

ловкого всадника: это стрелял Мирский. Но стрелок—увы!—промахнулся. Остальное известно.

Правительство пустило в ход свою, обычную в таких случаях, тактику.

За выстрелом Мирского последовали такие дни, каких не припомнит Петербург. Редко проходила ночь без 60—80 обысков и арестов. Тюрьмы, крепости, замки и даже полицейские участки были буквально битком набиты людьми всякого возраста, пола и звания: Нередко в одну камеру попадали отцы семейства с их домочадцами, к большему, конечно, соблазну первых, чем последних. Не обходилось также и без любопытных курьезов и смешных недоразумений, поистине достойных пера юмориста. Но все это было бы, может быть, и смешно, если бы не было так грустно. Ведь людей, точно баранов, хватали и ни за что, ни про-что угоняли в ссылку. Даже полиция, говорят, и та уже стала роптать: ни днем ни ночью отдыха нет.

Дрентельн—что и говорить!—опытный рыболов, но крупная рыба, к несчастью его, не клевала—и улов в конце-концов не удался. Мирского он не поймал. «Вольной типографии» не открыл и почти ежедневно под самым его носом происходивших заседаний землевольского Совета не накрыл. Совет же в это время развил неслыханную почти энергию и лихорадочную деятельность. К сожалению, это уже не был тот Совет, каким я его знал два года тому назад. Не было в нем того единства, того согласия, той прямоты и искренности, которая отличала его прежде.

Я увидел это несколько дней спустя по прибытии моем в Петербург.

Я был поражен, как громом. «Деревенщина» наша,—М. Попов, Плеханов, Мощенко и Игнатов,—с пеною у рта, говорила мне о террористических стремлениях нашей администрации и большинства членов редакторской группы, а также и других наших товарищей. Audiatur et altera pars! (Выслушаем и другую сторону!) И я обратился за объяснениями к террористам. Террористы, между которыми было не мало людей мне симпатичных, уверяли меня, напротив, что это одно лишь печальное недоразумение, что они ни на йоту не отступают от прежней программы, что все предприятия их решались Советом, в котором участвовала и

«деревенщина», дававшая на все эти предприятия свое согласие, что, одним словом, положение вещей мне передано в извращенном виде. Одни из них были несомненно искренни в своих уверениях: они смотрели на террор, как на действия, отнюдь не противоречащие, не исключающие— боже упаси!—деятельности в народе. Другие политиканствовали. Третьи, наконец, категорически заявили мне, что, по всему вероятию, деятельность примет иное направление, неизбежное в силу самих вещей. Признаюсь, мне было чрезвычайно трудно ориентироваться как в впечатлениях, вынесенных мною из разговоров и объяснений моих товарищей, так и в собственных моих мыслях и чувствах.

Ад был в моей душе. Что деревенское дело,—на время, по крайней мере,—погибло, в этом я был глубоко убежден и имел на это солидные основания. От самых близких моих друзей и товарищей я не скрывал этого. Но что следует делать сейчас, я сам не сознавал ясно—настолько ясно, чтобы самому взяться за это дело и привлечь к нему других. Террористической деятельности, как системы борьбы, я тогда, как и прежде, не признавал. Я допускал лишь исключительные случаи, как, например, случай Веры Засулич. Даже такие блистательные террористические акты, как убийства Мезенцева и Крапоткина, произвели на меня сравнительно слабое впечатление. Что близится время, когда политическая борьба станет необходимой и обязательной—это я видел уже тогда. Но я не мог еще тогда это только что обозначавшееся новое течение вполне понять, чтобы оно было убедительно для меня и для других. Фатальная же логика событий отнюдь не была для меня убедительным аргументом. И даже наоборот. Обязательно и необходимо было,—казалось мне,—бороться против этой опасной и вредной логики, ибо в случае полного успеха политической борьбы, в случае благоприятного ее исхода, положение народа от этого только ухудшилось бы.

Это было тогда мое убеждение, равно как и убеждение многих народников-революционеров. Оно так глубоко укоренилось в нас, что от него не легко было так скоро отделаться. Мы были убеждены в том, что за нас, видите ли, стоит «исторический опыт Западной Европы». Повторяю, я

не знал, что делать, понимая это в обширном, конечно, смысле. Специально для себя я наметил дело. Оно не противоречило моим убеждениям, не терзало меня сомнениями. Но этого было мало. Как человек организации, я на первый план ставил общее дело, дело в полном его объеме, а не оторванный клочок. В Петербурге я застал и других беглецов из деревни, вольных и невольных.

Одни из них, скрепя сердце, пристали окончательно и бесповоротно к террору, как, например, Квятковский и Михайлов; другие же, оставаясь верными своему знамени, звали в деревню, хотя звать-то, признаться, было некого и итти некуда!

Путь был загроможден всевозможными препятствиями, а людей, способных расчистить этот путь, было самое большее—десяток-другой. Одна ласточка весны не делает. Но тем не менее они упорно продолжали выкликать ласточек, но—увы!—время их прошло: на зов их никто не явился! Вот эти-то товарищи больше всего старались противодействовать террористическим стремлениям, хотя, по непонятному для меня противоречию, они же вотировали с террористами за те или другие дезорганизаторские предприятия [1]). Принципиальные разногласия обострялись с каждым днем и стали принимать характер личных раздоров.

В нашу семью, таким образом, было брошено семя раздора, которое не замедлило вскоре принести плоды. В редакционной и типографской группах нет ладу, а о Совете и говорить нечего: пререканиям и упрекам всяческим несть конца. «Деревенщина» предложила мне составить докладную записку и представить ее в ближайшее заседание Совета. У меня с «деревенщиной» общего было—во-первых,—безусловное отрицание террора, как формы борьбы вообще, а, во-вторых,—отрицательное мое отношение к политике. В деревню я сам тогда не звал, ибо знал настроение деревни и размер наших деревенских сил. Моя записка, поэтому, скорее имела характер протеста против начавшихся раздоров в нашей семье. Я призывал к примирению, убеждал оставить террористический путь, как край-

[1]) Теперь я считаю возможным и необходимым оговориться, что это не относится к Плеханову, который всегда высказывался против террора, за исключением экономического.

не опасный, могущий нас завести в такие дерби и трущобы, из которых нам потом выхода не будет. О деревне я тоже упомянул. Во-первых—потому, чтобы заплатить дань «деревенщине», а, во-вторых,—в то смутное тяжелое время, в том сплошном мраке, который окутал меня тогда, деревня осталась единственной светлой звездочкой, сулившей,—правда, очень туманно, — более радостные дни. Я не расчитывал на успех моей записки. Я знал уже хорошо настроение моих товарищей и положение вещей.

Записка была представлена и произвела благоприятное вообще впечатление». (Из моих воспоминаний 1883—84 гг.).

Милый, симпатичный и чуткий Квятковский, прочитав внимательно записку, сделался темнее темной ночи. Лев Тихомиров, улыбнувшись, проговорил: «А Осип может писать!» Александр Михайлов, ясный, светлый и спокойный, как всегда, подчеркнув следующие мои слова в записке: «опытный воин, хороший стрелок, не растрачивает зря всех своих зарядов, а приберегает их к необходимому моменту», заметил при этом:—«А когда, Осип, можно узнать объективно, что настоящий момент настал? Ты полагаешь, что мы рано выступили на борьбу с правительством, а мы вот противоположного мнения!» Так моя записка и осталась без последствий. Дела наши пошли своим чередом, как это я раньше предвидел. Наши товарищи-террористы, между тем, приготовили нам новый сюрприз. Сюрприз этот явился со стороны редакции «Листка Земли и Воли» [1]). Но, прежде чем говорить об этом сюрпризе, нам следует раньше познакомиться с №№ 3-м и 4-м «Земли и Воли», вышедшими в январе и феврале 1879 года.

Тогда действительное значение этого сюрприза предстанет пред нами в его настоящем неприкрашенном виде.

В руководящих статьях 3 и 4 нумеров «Земли и Воли»—«Закон экономического развития общества и задачи социализма в России»—автор их, Плеханов, последовательно и стройно развивает нашу революционно-народническую программу, при чем последняя в № 4 эволюционирует вперед: выдвигается впервые рабочий вопрос, как вопрос самостоятельный. В № 3 Плеханов пытается решить

[1]) Редактором этого „Листка“ был тогда, если не ошибаюсь, Н. Морозов.

старый, грозный, еще поставленный Герценом вопрос: «должна ли Россия пройти все фазы европейского развития?», т.-е. должна ли Россия пройти через «школу» капитализма? Опираясь на авторитет Маркса и на анализ происхождения капиталистического строя на Западе, наш автор дает на это совершенно отрицательный ответ. Плеханов доказывает, что «история вовсе не есть однообразный механический процесс», что «капитализм был необходимым предшественником социализма на Западе, где поземельная община разрушилась еще в борьбе с средневековым феодализмом»; что у нас,— где «эта община составляет самую характерную черту в отношениях нашего крестьянства к земле»,—торжество социализма может быть достигнуто совсем другим путем; коллективное владение землею может послужить исходным пунктом для организации всех сторон экономической жизни народа на социалистических началах.

«Поэтому,—заключает автор,—главная задача наша заключается в создании боевой народно-революционной организации для осуществления народно-революционного переворота в возможно более близком будущем».

Руководящая статья № 4 «Земли и Воли» была, очевидно, написана под императивным впечатлением тогдашнего рабочего движения в Петербурге.

Работая среди фабричного и заводского населения Петербурга, в качестве пропагандиста и агитатора,—особенно во время стачечного движения,—Плеханов не мог не притти к заключению, что тот параграф нашей программы, который трактует о деятельности в среде рабочих, страдает большими тактическими дефектами. Беседуя с товарищами по этому поводу, он не раз указывал им на настоятельную необходимость радикального изменения этого параграфа. Агитация должна иметь конкретный характер: она должна опираться на неотложные, насущные требования рабочих, как массы рабочих, и стать исходным пунктом целесообразной организационной деятельности в их среде. Предложение Плеханова встретило горячее сочувствие среди товарищей, и Совет предложил ему в этом смысле изложить свои соображения в руководящей статье на страницах нашего органа. Так появилась на свет вторая руководящая статья Плеханова в № 4 «Земли и Воли», исключительно по-

священная рабочему вопросу, т.-е. городскому рабочему. Приводим из этой статьи наиболее характерные и существенные места.

«Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью самостоятельно выдвигаются на подобающее место вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей. В прошлом, не без некоторого основания, мы обращали все свои надежды, употребляли все свои усилия—на деревенскую массу. Городской рабочий занимал второстепенное место в расчетах революционеров, ему посвящалась, можно сказать, только сверхштатная часть сил. В городе пропаганда велась между делом, в минуты, когда деревня почему-либо была недоступна для пропагандиста, и велась притом исключительно с целью выработать из городского рабочего пропагандиста для деревни же. Такое отношение к делу, естественно, исключало возможность как настойчивой, систематической пропаганды, так и, в особенности, организации городских рабочих, и в настоящее время дает себя чувствовать очень плачевными результатами».

...«Справедлив ли этот взгляд? Действительно ли городской рабочий остается без крупной роли в будущем социальном перевороте? Нам кажется, что это мнение совершенно ошибочно. Наши крупные промышленные центры представляют нам скопления иногда даже сотен тысяч рабочего люда. В огромном большинстве случаев—все это те же крестьяне, что и в деревне. Фабрика для них является только видом отхожего промысла и, отвлекая их от деревни, хотя бы на целые годы, не уничтожает, однако, их деревенских связей и симпатий. Вопрос огарный, вопрос общинной самостоятельности, земля и воля, одинаково близки сердцу рабочего, как и крестьянам. Словом, это не оторванная от крестьянства масса, а часть того же самого крестьянства. Дело их одно—одна у них может и должна быть борьба. А между тем, в городах собирается цвет деревенского населения: более молодые, более предприимчивые по своему подбору, они, сверх того, устранены в городе от влияния более консервативных и боязливых членов крестьянской семьи; они, наконец, более видели и слышали, более широко наблюдали все общественные отношения.

Не представляя западно-европейской оторванности от земледельческого класса, наши городские рабочие одинаково с западными составляют самый подвижной, наиболее удобовоспламеняющийся, наиболее способный к революционизированию слой населения. Благодаря этому, они явятся драгоценными союзниками крестьян в момент социального переворота. Тактическое же значение подобного союзника очевидно для каждого. Как бы ни было единодушно восстание крестьян, оно, однако, рискует быть подавленным центральными силами государства, если только не будет поддержано восстанием в самом центре, в самом средоточии правительственной власти. Городская революция должна и может отвлечь силы правительства и дать крестьянскому восстанию время окрепнуть и развиться до степени непобедимости. Только при подобном условии и мыслим успех социального переворота. Разойдясь по селам и деревням средней части России, из которой пополняется главным образом их контингент, городские рабочие сыграют роль «воровских прелестников», оказавших столько услуг разинскому и пугачевскому движению, они подготовят почву для приближающейся лавины революционного движения,—это вторая, не менее важная служба, которую может сослужить город в общем ходе революционных событий в России.

Но для исполнения подобной миссии нужна именно *масса* городских рабочих, нужно революционизирование *всей* массы и организация, влияющая на *всю* массу [1]). Осуществить как то, так и другое возможно лишь путем агитационной деятельности. Первое едва ли требует особых пояснений. Конкретный ум рабочего плохо поддается на отвлеченные логические соображения; для него гораздо понятнее пропаганда фактами, тем более, что эта пропаганда фактами по необходимости должна стать на почву обыденных и осязательных для него интересов».

...«Эта агитационная деятельность может вестись ежедневно и ежемесячно на самых мелких даже фактах жизни рабочего, но особенный смысл и значение приобретает она во время стачек». И дальше.

---

[1]) Курсив везде автора статьи, Плеханова.

...«Организация русского рабочего сословия, конечно, не может брать себе за образец тех способов организаций, которые практикуются в Западной Европе—то различие обусловливается различием политических условий борьбы в России и на Западе. При массе опасностей, которым подвергается всякая тайная организация,—а революционная организация и не может быть другою у нас,—при тех преследованиях, которые грозят ее членам, выбор личностей должен быть строг и осмотрителен».

В заключение своей статьи автор указывает на союзы английских рабочих до 1824 года, отличительной чертой которых были «страшная тайна и величайшее насилие в средствах».

...«И ни один мыслящий человек не упрекнет рабочую организацию,—заканчивает Плеханов свою статью,—за неразборчивость в средствах, когда она увидит себя вынужденною на насилие отвечать насилием, когда на террор правительства, закрепощающего рабочего фабриканту, карающего, как уголовное преступление, всякую попытку рабочих к улучшению своего положения, правительства, не останавливающегося пред поголовною экзекуцией детей, принимающих участие в стачке,—когда на белый террор такого правительства она ответит, наконец, красным...» [1]).

Так говорил наш центральный орган еще в начале рокового 1879 года. Смысл этих речей ясен: мы, попрежнему, остаемся по духу верными нашей революционно-народнической программе. Она не только находит свое оправдание в нашем историческом прошлом и в реальных условиях современной нам действительности, но ее санкционирует также и верховный авторитет научного социализма. Закон смены экономических фазисов—закон Маркса—при правильном его истолковании приводит, вопреки ходячему и некритическому мнению, к заключению, что «покуда общество не нападало еще на след этого закона, обусловленная этим последним смена экономических фазисов для него не обязательна».

...«Поэтому, пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства, мы не можем считать наше

---

1) Курсив наш. О. А.

отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станцией на пути его прогресса».

...«Сам принцип общественного земледелия не носит в себе того неизгладимого противоречия, каким страдает, положим, индивидуализм, поэтому он не носит в себе самом элементов своей гибели. Поэтому социалистическую агитацию в России мы не можем считать преждевременной. Напротив, мы думаем, что теперь она своевременнее, чем когда-либо, только ее исходные точки и практические задачи не те, что на Западе».

...«Задачи социально-революционной партии не могут быть тождественны в двух обществах, экономическая история, современные формы общественных отношений которых представляют резкую разницу. Если мы не хотим вернуться к метафизическому социализму 30-х годов, мы должны признать, что максимум необходимых и возможных социальных реформ определяется формою землевладения и техникою земледелия, если речь идет о стране земледельческой,—формами и техникой промышленности, если говорим о стране, в которой преобладает обрабатывающая и добывающая промышленность».

Та же землевольская (народническая) точка зрения переносится целиком и в программу деятельности среди рабочих, со включением в нее, в эту деятельность, некоторых специальных, вытекающих из социальных особенностей рабочей среды, приемов и методов борьбы.

При этом нельзя не отметить по пути одной весьма характерной черты в программе этой борьбы: это—террор, экономический городской террор, впервые выдвинутый Плехановым, как возможный и неизбежный в ближайшем будущем прием борьбы городского рабочего за свою экономическую самостоятельность.

Понятно теперь, почему вышеупомянутый мною сюрприз, преподнесенный нам редакциею «Листка Земли и Воли», так переполошил нас всех, землевольцев и народников. Я говорю о руководящей статье №№ 2 и 3 «Листка», в которой поистине высказывалась черная ересь. Руководящая статья этих двух номеров посвящена факту покушения на жизнь Дрентельна и помечена 14 марта, т.-е. появилась на другой

день покушения. Эта статья характерна во многих отношениях, но прежде всего рисует наглядно настроение большинства землевольской редакции и нашего «центра». Прежний спокойный, проникнутый благородным величием тон наших прокламаций и публичных объяснений по поводу политических убийств (Смотри, напр., прокламацию Кравчинского «Смерть за смерть» по поводу убийства Мезенцева и прокламации Плеханова и Адриана Михайлова — по поводу оправдания В. И. Засулич) заменен теперь крикливо-вызывающим, полным всяческих заклинаний тоном. Прочтите хоть следующие, взятые наугад строки: — «Политическое убийство—это осуществление революции в настоящем [1]. «Неведомая никому» подпольная сила вызывает на суд высокопоставленных преступников, постановляет им смертные приговоры—и сильные мира сего чувствуют, что почва теряется под ними, что они с высоты своего могущества валятся в какую-то мрачную неведомую пропасть». И дальше.

...«Политическое убийство—это самое страшное орудие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии ни легионы шпионов. Вот почему враги боятся его.

Вот почему 3—4 удачных политических убийства заставили наше правительство вводить военные законы, увеличивать жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням—одним словом, выкидывать такие salto mortale самодержавия, к каким не принудили его ни годы пропаганды, ни века недовольства во всей России, ни волнения молодежи, ни проклятия тысяч жертв, замученных им на каторге и в ссылке... Вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом» [2].

На нас, «деревенщиков», эта статья произвела прямо-таки удручающее впечатление. Да не только на нас. Я тогда стал завязывать сношения с молодежью, а через Плеханова—и с городскими рабочими. Я могу сказать, положа руку на сердце, что та именно часть молодежи и рабочих, которая

---

[1]) Курсив мой. О. А.
[2]) Курсив везде наш. О. А.

в то время была занята творческой, **организационной** деятельностью — «Землячество» и «Северно-русский рабочий Союз»—была положительно против таких политических экспериментов наших товарищей-террористов. Дело в том, что каждый такой дезорганизаторский факт обыкновенно завершался **ответным** правительственным разгромом большей или меньшей силы, со всеми вытекающими из него для молодежи и рабочих роковыми последствиями.

Мы после такого разгрома все более и более теряли свои лучшие силы, и близился уж роковой день с его отчаянным криком: «Вар, отдай мои легионы!»

Но все это были только цветочки, а ягодки ожидали нас еще впереди. Наши товарищи-террористы готовились к Пасхе 1879 года преподнести нам «Христово яичко»—и готовились весьма политично. Дело вот в чем.

В Петербург в то время прибыли Александр Соловьев, Гольденберг и Кобылянский. Они завязывали конспиративные сношения с нашими террористами—Зунделевичем, Александром Михайловым и Квятковским. Совещания их касались весьма крупного вопроса—цареубийства, которое задумал совершить Александр Соловьев. Он с этою именно целью и приехал в Питер. На совещании Соловьев отвоевал это право себе, как он об этом и мечтал. Дело, таким образом, было решено, но Соловьеву хотелось заручиться санкцией общества «Земля и Воля» и он попросил наших товарищей передать это дело на обсуждение нашего Совета. Заседание Совета было назначено на Великий четверг Страстной недели 1879 года. Привожу описание этого знаменательного заседания, как оно записано было мною еще под свежим впечатлением в 1883—84 годах в Якутской области.

«Заседание имело быть весьма бурным, и я опасался, чтобы оно не окончилось разрывом. Предмет обсуждения—цареубийство. Администрация внесла это предложение в Совет и желала выслушать его мнение на этот счет. Мнения, как и следовало ожидать, резко разделились. «Деревенщина» была против, а адиминистрация и другие члены были за предложение. Я не припомню такого бурного заседания, как это. «Деревенщина» пересыпала свои возражения массою сарказма и шпилек. Террористы держались очень сдер-

жанно, хотя, очевидно, были сильно возбуждены. Я, конечно, был в числе противников цареубийства. Я, помнится, не вдавался ни в какие теоретические по этому поводу соображения, а стоял лишь на практической почве. Я доказывал, что тем способом, каким имеется в виду осуществить цареубийство, девяносто девять против одного говорит за полную неудачу попытки. Но покушение, тем не менее, окажет свое действие: за ним последует военное положение, т.-е. такое положение вещей, из которого «единственным выходом может быть вторичное, третичное—целый ряд покушений на цареубийство, инициативу и исполнение которых должна будет уже обязательно взять на себя сама партия, на собственный страх и риск. А потому,—заключил я,—не следует совсем начинать такое дело, исход которого мало что сомнителен, но обещает еще массу замешательств.

Замечательно, что против второго моего положения возражали сторонники цареубийства, те, которым, как я теперь в этом убежден, именно этого и хотелось; на самом деле все уже было предусмотрено и решено.

Обратились же они к Совету главным образом по настоянию Соловьева, которому сильно хотелось для дела своего заручиться санкцией землевольцев. Это, во-первых, А, во-вторых,—администрация и остальные наши террористы, очевидно, имели в виду этим обращением основательнее позондировать «деревенщину» и окончательно убедиться в том, насколько они могут рассчитывать на нее в смысле содействия их планам. В этом последнем отношении цель администрации была вполне достигнута. В Совете ясно обозначались два полярно-противоположные течения, которые если не привели тогда к расколу общества, то благодаря тому, что в Совете не было и трети всех членов общества. Относительно же предполагаемого покушения «деревенщина» (большинство Совета) потребовала, чтобы администрация передала Соловьеву несочувствие его предприятию.

Заседание Совета окончилось постановлением, чтобы, в виду ожидаемой травли, большая часть нелегальных землевольцев, за исключением администрации и тех лиц, присутствие которых безусловно необходимо в Петербурге, оставила город. Так как оставить город должен был так-

же и один из редакторов «Земли и Воли» (то был Плеханов. О. А.), то «деревенщина» возложила на меня обязанность отсутствовавшего редактора, при чем строго-на-строго наказала мне не пропускать ни одной строчки, в которой оказался бы хоть малейший намек на политику.

Таким образом, я не только попал в редакторы, но и в цензоры. Я согласился, во-первых, потому, что мне хотелось, чтобы скорей улеглись страсти, а, во-вторых,—посмотреть, что из всего этого выйдет. Опыт Соловьева, при тогдашних условиях, был во всяком разе не лишен интереса»[1]). Товарищи разъехались. Я за это время,—замечу в скобках,—ближе сошелся с теми из наших товарищей, которых раньше мало знал, а в том числе с Тихомировым, который тогда каждый почти день бывал у меня на Гончарной. Наши беседы были продолжительны и не только касались текущих вопросов, но и многих жгучих проблем теории. Он очень критически относился к известному труду Костомарова «Северно-русские народоправства» и горячо доказывал, что мы совершенно напрасно увлекаемся этим прославленным «федеративным» строем. В этом-де строе ничего жизненного, творческого не было: дела вершали больше «худые мужики», нередко «голытьба»,—элемент совершенно противогосударственный и противообщественный. Тихомиров более чем скептически относился к нашей работе в де-

[1]) Мое описание заседания этого Совета, написанное еще двадцать три года тому назад, почти тождественно с таким же описанием глубокоуважаемого и дорогого моего товарища по „Земле и Воле“, М. Р. Попова, в журнале „Былое“ № 8, 1906 г. Однако, я должен внести небольшую поправку. Михаил Родионович в пылу спора сказал почти буквально вот что: „Господа, если среди нас возможны Каракозовы, то поручитесь ли вы, что завтра из нашей же среды не явится такой, который во-время предупредить намеченную жертву, чтобы таким образом избавить ее от рокового несчастия?“. С Комисаровым, о котором в названной статье говорит Михаил Родионович, ничего сходного нет. Это, во-первых. А вовторых,—напрасно М. Р. Попов подчеркивает, что о „разделе и речи в то время не заходило“. В моих „воспоминаниях“ я об этом и сам ничего не говорю, я лишь отметил: „я опасался, чтобы оно (заседание) не кончилось разрывом“. Не спорю, „конфликты чаще случались между редакторами «Земли и Воли»“, но конфликт конфликту рознь. На этом совещании подымался впервые вопрос кардинальной—не только тактической, но и принципиальной—важности, и в своих возражениях я и указывал на то, что мы легко можем совсем сойти с рельсов.

М. Р. Попов в своей передаче слишком смягчает возникавшие уже тогда между нами коренные разногласия. А между тем, это историческое заседание было чревато важными и роковыми для нас последствиями. Оно было для нас тем, что паталоги называют signum maligne,—зловещим признаком надвигающегося на нас полного крушения.

ревне. Я любил эти беседы, и с каждым днем я все более—скажу прямо—привязывался к Тихомирову или, как мы тогда его называли, к «Тигрычу». Он меня покорил своей, казалось мне, глубокой цельной преданностью революционному делу. Он,—казалось мне,—жил только для революции: туда ушли все его помыслы, желания и воля.

Тихомиров, помнится, тогда уже стал требовать, чтобы я остался в Петербурге и пристроился, между прочим, к редакции.

Выстрел Соловьева раздался 2 апреля 1879 года.

Правительство, как можно было ожидать, ответило на него целым рядом драконовских законов.

Введено было военное положение в Петербургской, Московской, Харьковской, Киевской и других губерниях, а равно в Одессе и Ростове-на-Дону. А обычный правительственный механизм—III Отделение—делал свое дело. Массовые аресты, ссылки и разгромы достигли крайней своей степени. Государь в своем ответе петербургской думе сказал:—«Благодарю вас, господа, за чувства, выраженные за вас вашим головою. Я в них никогда не сомневался. Обращаюсь к вам, господа: многие из вас домовладельцы. Нужно, чтобы домовладельцы смотрели за своими дворниками и жильцами. Вы обязаны помогать полиции и не держать подозрительных лиц. Нельзя относиться к этому спустя рукава. Посмотрите, что у нас делается. Скоро честному человеку нельзя будет показаться на улице. Посмотрите, сколько убийств. Хорошо меня бог спас. Но бедного Мезенцева они отправили на тот свет. В Дрентельна тоже стреляли. Так я надеюсь на вас. Ваша помощь нужна. Это ваша обязанность».

День 2 апреля врезался глубоко в моей памяти, и я расскажу, что представлял собою Петербург в этот день.

В этот день я и Мощенко находились на Невском. Мы видели, как Александр II вернулся из Казанского собора. Царь сидел в своей коляске, закутанный в своей шинели. Во время его проезда раздалось жиденькое «ура»—и замерло. Я с Мощенко весь этот день до поздней ночи ходили по Петербургу, побывали во многих трактирах, ресторанах и—о, чудо!—нигде ни слова о покушении на царя.

Наученный горьким опытом, Петербург просто замолчал это крупное событие. Не молчал только Дрентельн: он за это время вполне развернулся. Третье отделение заработало. За одну святую неделю произведено сотни арестов, и высылок из столицы. Некоторые организации страшно разгромлены. «Северно-русский рабочий Союз», едва только ставший на ноги, разбит; наша рабочая конспиративная квартира захвачена, хозяин ее арестован, хозяйка, Якимова («Баско» тож), едва спаслась. Я сам чуть ли не чудом спасся: уж подходил было к квартире, как на лету схваченный мною подозрительный взгляд дворника обратил меня вспять. Так я и двух месяцев не поработал с рабочими. Сильно также пострадали и студенческие организации — «Землячества». Вообще Петербург имел какой-то растерянный вид. Но мои товарищи-террористы высоко держали голову. В № 5 «Земли и Воли»—он же был и последним—в статье «Отголоски 2-го апреля» о покушении на жизнь царя говорится уже в таком тоне, который не оставлял ни малейшего сомнения в том, что партия (в статье говорилось от имени партии) отныне выступит решительно на борьбу с правительством.—«Правительство,—говорится в этой статье,—объявляет себя в опасности, объявляет открытую войну уже не одним революционерам, а всей России. Пусть будет так. Мы не знаем пока, хватит ли у правительства сил для этого, чтобы сделать из этого военного положения не смешной фарс, а нечто действительно ужасное. Но это все равно.

Будут ли расстреляны десятки или сотни, будут ли высланы тысячи или десятки тысяч—не спасти себя правительству подобными мерами. Беззаконие, бесправие, деспотизм, насилие, попирание личности и всей страны—губили правительство до сих пор: они создали у нас революционную партию, они дали ей решимость биться на смерть с правительством, они доставили партии сочувствие всех порядочных людей. Доводя свои основные принципы до самого безрассудного абсурда, правительство дает революционной партии только новые средства.

Мы знаем—много отдельных личностей из нашей среды погибнет, но гибель единиц не страшна для партии, когда весь ход истории ведет к революции, когда само правитель-

ство берет на себя труд уяснить России до очевидности, что такое наше современное государство. Мы принимаем брошенную нам перчатку, мы не боимся борьбы, и в конце-концов взорвем правительство, сколько бы ни погибло с нашей стороны»[1]).

Вот каким языком заговорил наш центральный орган по поводу события 2 апреля! Надо быть глухим, чтобы не слышать в этом тоне резких политических нот! Я указал на это редакции. Мне спокойно возразили, что я читаю между строк, и обратили мое внимание на передовую статью этого же номера, которая говорила о деятельности в крестьянстве. Это—так. Но получилось что-то совершенно недопустимое: в «передовице» говорится одно, а в «хронике»—другое, совершенно противоположное; передовица защищает «деревенщину», хотя, как увидим ниже, в специальной форме, хроника же выдвигает на первый план политику, личную или групповую борьбу, революцию сверху («и в конце-концов взорвем правительство»). Передовая статья, о которой сейчас речь идет, любопытна во многих отношениях. Прежде всего появление ее было вне очереди. Дело вот в чем. Насколько припоминаю, на одном из редакционных совещаний было решено продолжать дальнейшее теоретическое развитие нашей программы, со всеми необходимыми дополнениями, уже внесенными в нее практикой. Статью должен был написать Плеханов. Статья должна была быть посвящена расколу, его историческому значению и той роли, которую ему предстоит сыграть в ближайшем революционном будущем русского народа. Разумеется, раскол должен рассматриваться с строго народнической точки зрения, через призму знатока и авторитета по расколу, покойного А. П. Щапова. Плеханов написал эту статью для № 5 «Земли и Воли» и представил ее в редакцию. Она была одобрена.

К слову скажу, особенно сочувственно к ней отнесся наш «Дворник»—Михайлов. Но потом, после отъезда уже Плеханова, было решено, что Тихомиров напишет, вместо статьи Плеханова, другую. В статье Плеханова, очевидно, было слишком много народничества.

---

[1]) Курсив наш. О. А.

Так и появилась в № 5 «Земли и Воли» вышеупомянутая мною статья Тихомирова. Статья, эта, проповедывавшая о деятельности в крестьянстве, говорила главным образом об аграрном терроре. Таким образом, аграрный террор явился тем необходимым звеном, при помощи которого замкнулась цепь нашей революционно-народнической тактики: террор в городе, террор и в деревне.

Так террористическое настроение овладело всецело редакцией «Земли и Воли» и другими землевольцами, потому-то и статья Плеханова не оказалась ко двору.

«Еще одно последнее сказанье»—и конец моим воспоминаниям. Наступал конец апреля. Оставаться в Петербурге было тяжело. Повсюду заработали военные суды: казни, казни и опять казни! 20 апреля повешен за вооруженное сопротивление подпоручик Владимир Дубровин; 14 мая в Киеве устраивается на «законном основании» бойня: повешены Валериан Осинский, Брантнер и Антонов (Сидоренко); 28 мая в Петербурге казнен покушавшийся на цареубийство Соловьев; 18 июля казнены в Киеве Федоров (Гобст) и Бильчанский; 10 августа в Одессе казнены Лизогуб, Чубаров и Давиденко; в Николаеве того же числа—Виттенберг и Логовенко.

Таков революционный мартиролог за лето 1879 года.

«Вихрь злобы и бешенства носится над тобою, страна безответная!..» Страна молчала. Только две враждебные силы выступили друг против друга, борясь на жизнь и на смерть,—правительство и революционная интеллигенция.

И чем энергичнее работает царский палач, тем упорнее и ожесточеннее становятся нападения революционеров. Все поставлено на карту. Все помыслы сосредоточены на одном, вся революционная страсть и воля направлены теперь на одно лицо, как на фокус, куда должны собраться все революционные силы террора. Этот фокус—глава государства. В № 4 «Листка Земли и Воли» редакция, говоря от имени партии, прямо заявляет:

«Да, пока живем при современных условиях—царь не может быть неответственным за все, что делается в России, и немудрено, если в народе являются мужественные и самоотверженные люди, решающиеся ценою своей гибели протестовать против того, кто олицетворяет собою реакцию и заду-

шение всякой свободной и честной деятельности». И жребий брошен.

Террористическая деятельность становится отныне верховным принципом революционной тактики вообще, а цареубийство—лозунгом. Все это пока необосновывается теоретически, не возводится, как теперь говорят, в идеологию, но практически система борьбы уже восторжествовала: террор задает всему тон. В теории все террористы—еще народники, а на практике расчленение уже выступило очень выпукло. Да и в центральном органе «Земля и Воля», как мы уже видели, противоречия между теорией и практикой давали себя уже живо чувствовать. Начался разброд мнений и сил.

Между тем, время настало до того горячее, что в такой момент итти врозь казалось совершенно безумием. Мысль о том, что необходимо спеться, сговориться, все более и более овладевала землевольцами. И ярким выразителем этой назревшей потребности явился М. Р. Попов. Он списался с «центром» и одновременно предпринял окружное путешествие по всем тем местам, где «жили-были» землевольцы.

В пользу съезда высказались все землевольцы.

В Тамбове уже собрались многие, особенно те, которые жили в этой губернии. Там уже в то время—в начале июля—находился сам М. Р. Попов, «Титыч», Мощенко, В. Н. Фигнер, «Егорыч» («Юла» тож), Юрий Богданович и пишущий эти строки. Съезд был первоначально намечен здесь, в Тамбове, но по непредвиденым обстоятельствам, о которых в своих воспоминаниях в «Былом» говорит М. Р. Попов, его (съезд) пришлось перенести в Воронеж, куда должны были собраться все к 20 июня, если не ошибаюсь.

Землевольцы стали съезжаться понемногу.

В виду громадного значения конгресса, собравшиеся раньше землевольцы решили устроить несколько предварительных частных совещаний. Это была благоразумная мера. Необходимо было прежде всего спеться в главном, чтобы облегчить, таким образом, работы конгресса. Таких частных совещаний было 5 или 6.

На этих заседаниях были отмечены и поставлены те вопросы, которые подлежали обсуждению и окончательному решению конгресса. С особенной тщательностью рас-

сматривался и обсуждался, пункт за пунктом, главный предмет обсуждения—программа. Намечены необходимые изменения и дополнения. В связи с программой был, конечно, жгучий вопрос того времени—террор вообще и цареубийство в частности. Несмотря на жар, с которым обсуждался этот вопрос на предварительных совещаниях, общее настроение было таково, что можно было наверное рассчитывать, если не на полное, то во всяком разе на такое соглашение, которое было бы вполне достаточно для сохранения целости Общества. Наконец, все члены собрались, и конгресс открыл свои заседания.

На конгрессе участвовали следующие землевольцы:

Александр Михайлов, Александр Квятковский, Плеханов, Тихомиров, Морозов, В. Н. Фигнер, С. Перовская, М. Ошанина, Тищенко «Титыч», М. Р. Попов, Хоризоменов «Сергей Андреев», Николаев «Егорыч», Короткевич «Ко—кевич», М. Фроленко и пишущий эти строки.

Некоторые из товарищей, не дождавшись съезда, разъехались в свои деревни (Мощенко и Хотинский), другие же, по тем или другим причинам, не успели прибыть (Преображенский и Пресняков).

Во время заседаний конгресса были вновь приняты в общество «Земля и Воля» следующие лица: Желябов, Ширяев, Колоткевич и Сергеева.

Всех заседаний конгресса было 8—10, по два заседания в день. Заседания происходили на открытом воздухе, то в одном из самых уединенных и живописных уголков Ботанического сада, то в архиерейской роще, то на лодках на реке Воронеже. Чаще всего, если не ошибаюсь, мы собирались в Ботаническом саду.

Недалеко от лужайки в Ботаническом саду, на которой мы заседали, расположены были несколько столетних дубов, укрывавших нас от постороннего взгляда. Александр Квятковский вырезал на одном из гигантов-дубов следующие слова: «здесь заседал конгресс землевольцев», далее следуют: месяц, число и год. Этот дуб, вероятно, и теперь находится там, как немой свидетель одного из самых драматических моментов в жизни землевольцев. На этой исто-

рической поляне много было передумано гордых дум, много пережито и выстрадано....

На этой именно поляне Морозов, если не ошибаюсь, прочел полученное нами из Киева письмо-завещание нашего милого, дорогого Валериана Осинского.

Привожу это письмо в том виде, как оно сохранилось в «Листке Земли и Воли» (№ 6), с кое-какими личного свойства выпусками.

«Дорогие друзья и товарищи!

Последний раз в жизни приходится писать вам, и прежде всего самым задушевным образом обнимаю вас и прошу не поминать меня лихом.

Мне же лично приходится уносить в могилу лишь самые дорогие воспоминания о вас.

.....Мы ничуть не жалеем о том, что приходится умирать, ведь мы же умираем за идею, и если жалеем, то единственно о том, что пришлось погибнуть почти только[1]) для позора умирающего монархизма, а не ради чего-либо лучшего, и что пред смертью не сделали того, чего хотели. Желаю вам, дорогие, умереть производительнее нас. Это единственное, самое лучшее пожелание, которое мы можем вам сделать. Да еще: не тратьте даром вашей дорогой крови! и то все берут и берут....

....Мы не сомневаемся в том, что ваша деятельность теперь будет направлена в одну сторону. Если бы даже вы и не написали об этом, то мы и сами могли бы это вывести. Ни за что более, по нашему, партия физически не может взяться. Но для того, чтобы серьезно повести дело террора, вам необходимы люди и средства.

Больше, кажется, нечего писать о делах. Так и рвешься броситься в теорию—да руки коротки.... и торопишься, и все такое прочее. Дай же вам бог, братья, всякого успеха! Это единственное наше желание пред смертью! А что вы умрете и, быть может, очень скоро, и умрете с неменьшей беззаветностью, чем мы—в этом мы ничуть не сомневаемся. Наше дело не может никогда погибнуть—эта-то уверенность и заставляет нас с таким презрением относиться к вопросу о смерти. Лишь бы жили вы, а если уж придется

---

[1]) Курсив Осинского везде.

вам умирать, то умерли производительнее нас. Прощайте и прощайте!...

Поцелуйте от меня всех моих товарищей и знакомых здешних и заграничных, кто только не забыл меня.

Многие имели против меня (хотя в большинстве в силу недоразумения) кое-что; пусть хоть позабудут старые счеты. Я же ни к кому не уношу в могилу вражды.

Ты просил, В., наших биографий. Зачем, брат!

Если понадобится, то их могут и без нас составить.

А вообще пусть забывают нас, лишь бы самое дело не заглохло. Прощайте же, друзья-товарищи дорогие, не поминайте лихом. Крепко, крепко от всей души обнимаю вас и жму до боли ваши руки в последний раз....

14 апреля 1879 г. Ваш Валериан.

Мою сестренку сейчас по выходе ее из тюрьмы со свидания арестовали и выслали».

Одновременно с этим мы получили роковое известие из Одессы: над другим нашим дорогим товарищем, Дмитрием Лизогубом, тоже уже нависла рука палача. Все это внесло в настроение многих членов съезда то чувство глубокой скорби, гнева и ненависти, которое хорошо знает тот, кто хоть раз испытал гибель дорогих товарищей... И я глубоко убежден в том, что это именно чувство сыграло не последнюю роль в окончательных решениях вопросов о терроре. О чем сейчас.

Прежде чем открыть конгресс, приступили к выбору президента, который руководил бы прениями и формулировал постановления конгресса.

Единогласно выбран «деревенщик» «Титыч».

Первым очередным вопросом была, само собою, программа, в широком смысле этого слова. Основные положения землевольской программы остались неизменными. Центр тяжести революционной деятельности должен, попрежнему, обязательно лежать в народе (в деревне). Экономическая революция—цель этой деятельности. В пункте, трактующем об агитации в деревне, сделано весьма важное, в практическом смысле, дополнение: признается необходимым и своевременным организовать в деревне систему террора, подобную ирландскому ронбонизму. Пункт этот характе-

рен в двояком отношении. Во-первых,—он рисует общее настроение того времени: террористическая окраска составляет основной тон его, так что даже «деревенщина» и та не могла освободиться от этого. А, во-вторых,—он ясно указывает, какие успехи «деревенщина» сделала в смысле изучения и ознакомления с условиями деревенской революционной деятельности.

Мы думали тогда, что аграрному террору, как особой форме агитации, с целью революционной организации в деревне, принадлежит в ближайшем будущем блестящая роль. Современные экономические условия,—рассуждали мы,—все более и более усложняющиеся, будут императивно гнать народ на этот путь. И плоха будет,—полагали мы тогда,—та революционная партия, которая не сумеет воспользоваться уже готовыми, самим народом созданными фактами. Заслуга «деревенщины» состояла именно в том, что она предвидела возможность зарождения аграрного террора, а потому она и требовала, чтобы почин в этом деле принадлежал ей, революционной интеллигенции. Пункт этот был принят единогласно, и даже сторонники политического («городского») террора весьма сочувственно отнеслись к постановлению конгресса — предоставить в распоряжение «деревенщины» необходимые средства и людей, способных и готовых заняться этим делом в деревне.

Второе предложение, стоявшее на очереди, был политический террор—это яблоко раздора между землевольцами. Предложение это дебатировалось так страстно и бурно, что президенту с большим трудом удалось водворить порядок в прениях и формулировать в окончательном виде преобладающее мнение конгресса на этот счет.

Особенно резким, энергичным и непримиримо-последовательным противником террора или дезорганизации, как тогда еще выражались, был Плеханов.

— Чего добиваетесь вы,—обратился он прямо с вопросом к террористам,—на что вы рассчитываете?

— Мы получим конституцию,—неожиданно в пылу спора выпалил Михайлов,—мы дезорганизуем правительство и принудим его к этому!

Произошло полное замешательство. Плеханов горячо возражал, что дезорганизаторская деятельность наша толь-

ко приведет к усилению правительственной организации, что в окончательном результате борьбы победа окажется на стороне правительства, что единственная перемена, которую можно с достоверностью предвидеть, это—вставка трех палочек, вместо двух, при имени «Александр»; что, дальше, стремиться народнику-революционеру к конституции почти равносильно измене народному делу. Желябов поставил вопрос ребром и решил его прямо без обиняков: надо-де совсем отказаться от классовой борьбы, выдвигая в этой борьбе на *первый* план *политический* ее элемент. Тихомиров старался всячески смягчить, сгладить эти резко столкнувшиеся противоречия и разногласия. В конце-концов соглашение все-таки было достигнуто и я думаю, что буду близок к истине, если я выражу окончательное на этот счет постановление конгресса в такой форме: *политический террор*, как форма борьбы, *признается лишь как крайняя и исключительная мера для данных специальных случаев*.

Третье предложение, подлежавшее обсуждению, касалось Лиги цареубийства[1]).

Петербургская секция «Исполнительного Комитета» (бывшая дезорганизаторская группа) констатировала на конгрессе факт организации Лиги с целью цареубийства. Так как Лига была тесно связана с «Исполнительным Комитетом», а через него с обществом «Земля и Воля», то, естественно, конгресс обязательно должен был решить, в какие отношения стать ему к Лиге: оказать ли ей поддержку, материальную и нравственную, или же, наоборот, разорвать всякие с нею связи, и, таким образом, снять с себя ответственность за ее предполагаемое цареубийство? Вопрос в окончательном счете сводился, стало быть, к цареубийству: сочувствовать ли ему или нет? Террористы, оставаясь верными себе, высказались в пользу цареубийства вообще и данного—в особенности. «Деревенщина» же, отрицая политический террор вообще, отвергла, само-собою, цареубийство, как орудие борьбы. Но по отношению к данному

---

[1]) Под „Лигою цареубийц" я, для наглядности, разумею ту группу террористов, в которую, ради цели цареубийства, вошли „Исполнительный Комитет" общества „Земля и Воля" и другие террористы-цареубийцы. 15. XI. 1906 г.

случаю в среде «деревенщины» произошло раздвоение. Одни (слабое большинство) отнесли данный случай к специальным и исключительным, которые уж решены конгрессом в утвердительном смысле: стало быть, обязательно всячески содействовать планам и намерениям Лиги. Мотивы, которые они привели в пользу своего мнения, были приблизительно таковы. Военное положение создало у нас такое положение вещей, против которого должен бороться всякий свободный человек. Ответственность, поэтому, падает целиком на главного и единственного виновника этого. Это—во-первых. А, во-вторых,—благодаря военному положению, немыслимо теперь рассчитывать на организацию аграрного террора. Аграрный террор требует предварительной работы, которая может затянуться на неопределенное время, а этим временем правительство успеет не раз разбить нас на-голову. Весь предшествующий наш опыт прекрасно иллюстрирует это. А потому,—в-третьих,—принимая во внимание все вышесказанное, целесообразно теперь же прибегнуть к такому поводу агитации в деревне, который скорее и вернее вызвал бы эту последнюю, чем, например, аграрный террор. Цареубийство же, по огромному его значению, может сыграть такую роль. Нельзя же в самом деле сравнить убийство главы государства с убийством, например, какого-нибудь ничтожного кулака-мироеда? Это была, конечно, черная ересь, которая глубоко возмутила правоверное меньшинство «деревенщины». Начались бесконечные споры и препирательства. Президент вынужден был объявить прения по этому вопросу оконченными, и предложение передано было на голосование.

Большинством голосов решено: оказать Лиге содействие и деньгами и людьми. Террористы торжествовали.

Покончивши с программой во всех ее частях, приступили к обсуждению вопроса об органе. Постановили, чтобы «Земля и Воля» сохранила то направление, которое выражено в исправленной и дополненной на конгрессе программе. Тогда Плеханов попросил слова. Он начал с того, что прочел вслух некоторые места из вышеупомянутой уже нами статьи «Листка Земли и Воли» по поводу покушения на жизнь Дрентельна, а именно те места, которые наиболее

ярко рисуют возведенное уже в систему террористическое направление органа,—и, окончив чтение, обратился ко всем членам конгресса с вопросом,—считают ли они, товарищи, что редакция имеет право и впредь высказываться в таком духе? Снова началась сказка о белом бычке, снова завязался горячий спор, произошла схватка между Плехановым и остальными членами редакции, с одной стороны, и террористами и «деревенщиной»—с другой. Спору не предвиделось конца. Президент поставил вопрос на голосование. Слабым большинством голосов было решено, что, принимая во внимание особенности данного момента, редакция это право имеет.

Результаты голосования привели в ярость Плеханова. Точно ужаленный вскочил он с места и разразился страстной, едкой филиппикой против конгресса. Раз конгресс того мнения,—говорил Плеханов,—что «политическое убийство—это осуществление революции в настоящем»[1]), то это значит, что общество «Земля и Воля», как носительница и выразительница революционно-народнических идей, перестает существовать, и это надо сказать прямо, открыто надо заявить об этом. А так как он, Плеханов, продолжает стоять на старой народнической точке зрения, то он не считает возможным оставаться в организации. И он оставил конгресс.

На другой день, во время заседания конгресса, Плеханов прислал собранию протест, составленный спокойно, сжато и выразительно. Плеханов, помнится, рекомендовал, между прочим, вниманию конгресса любопытную историю революционного движения в Австрии в 40-х годах. Особенно подчеркивает он то содействие, которое оказывали галицийские крестьяне австрийскому правительству в подавлении революционных стремлений. Протест, само собою, остался без действия. Работа конгресса продолжалась своим чередом. Дело теперь стало за редакцией органа.

В редакции остались два прежних редактора,—оба террористы: Н. Морозов и Л. Тихомиров. Нужен, по меньшей

---

[1]) Из статьи по поводу покушения на жизнь Дрентельна.

мере, еще один. «Деревенщина», естественно, хотела, чтобы в редакцию попал ее сторонник. Кто-то,—кажется, Тихомиров,—предложил меня. Редакция сочувственно отнеслась к этому предложению и настаивала на моем назначении. Я наотрез отказался. Вместо меня был выбран другой, Преображенский, прямолинейный народник.

И дело уладилось. «Деревенщина» была также сильно озабочена тем, чтобы в администрации усилить элемент чисто-народнический. Прежняя администрация, как я уже упомянул, тянула сторону террористов. Выбор пал на президента конгресса, «Титыча». «Деревенщина» осталась очень довольна этим выбором. Работа конгресса близилась к концу. Просмотрели устав и проверили кассу. Решено было, чтобы не больше 1/3 имеющихся сумм тратилось на террористическую деятельность. Остальные же 2/3 предназначаются исключительно для деревенской деятельности. Террористы слабо возражали против этого. Они хорошо знали, что никаких дел в деревне не предвидится, что людей для этого нет, а, стало быть, все это останется мертвой буквой, деньги же, по-прежнему, можно будет тратить на террор. И они не ошиблись. Чтобы покончить с конгрессом, я должен сказать, что на одном из первых еще его заседаний было предложено и принято обеими сторонами—террористами и народниками—много новых лиц в общество.

В таком реорганизованном виде общество «Земля и Воля» представляло собою довольно солидную революционную силу. Все, что было лучшего в революционной среде, независимо от окраски, примкнуло к Обществу.

Желание действовать сообща было преобладающим. Ни террористы, ни народники не хотели разбрестись врозь в эту тяжелую годину существования революционной партии. Это—во-первых. А, во-вторых,—как ни велико было разногласие во мнениях террористов и народников, но старые товарищеские симпатии, традиции недавнего прошлого, с его жертвами и победами, радостями и печалями, тени, наконец, погибших товарищей,—все это,—на время, по крайней мере,—одержало верх, и ослабевшие было узы Общества, казалось, снова окрепли. Конгресс закрыл свои засе-

дания[1]). Все уехали успокоенные и примиренные. «Деревенщина» осталась тоже довольна. Она, повидимому, приняла все меры, чтобы обеспечить свое дело. Но это только повидимому.

На самом же деле, как это скоро обнаружилось, все дело единения было построено на песке. «Элементы общества были уж слишком разнородны, чтобы из них могло образоваться прочное устойчивое соединение. Заграничные товарищи, на которых «деревенщина» возлагала свои надежды—люди с революционным прошлым и опытностью,—Яков Стефанович, Дейч, Аксельрод и В. Засулич,—тоже стали в оппозицию к террористической деятельности. Разрыв был неизбежен. Никакие личные симпатии, никакие традиции не действуют: события сильнее благих желаний, а они неумолимо предписывают—разрыв и разрыв.

По окончании съезда мы разъехались. Я уехал в Петербург.

Над Петербургом нависли свинцовые тучи. Душно было в этой мертвящей атмосфере правительственного беззакония, с одной стороны, и непреодолимой инертности общества—с другой. Все замерло, точно объятое столбняком. Работали и боролись только террористы. Разбитые в одном месте, они снова собираются «к шатрам» своим—в другом.

Я вскоре получил предложение от товарищей поехать в Кубанскую область, чтобы там завязать сношения с местною революционно-народническою группою. Предложение это вполне согласовалось с моими собственными желаниями и я отправился на Кубань. Я пробыл там с месяц, перезнакомился с местной «деревенщиной», которая, к слову сказать, произвела на меня весьма благоприятное впечатление.

Это была небольшая группа лиц, но вполне солидно основавшаяся на месте среди кубанских казаков. Один из них (фамилии его, к сожалению, сейчас не припомню) устро-

---

[1]) Мне очень приятно убедиться в том, что, за исключением некоторых частностей, М. Р. Попов, в своей статье „Земля и Воля накануне Воронежского с'езда" („Былое" № 8, 1906 г.), вполне сходится со мною в оценке Воронежского с'езда, составленной мною более чем двадцать лет тому назад (1883—84).

ился лавочником в одной из станиц и пользовался авторитетом среди казаков.

Другой—Золотарев—арендовал, кажется, хутор и, кроме того, имел собственную молотилку и веялку, которые за небольшую плату предоставлял в распоряжение соседних казаков, переезжая для этого сам из одного хутора (станицы) в другой. Знакомство у Золотарева было обширное.

В свободное от полевых работ время я попросил товарищей-кубанцев собраться для выслушания некоторых моих предложений от землевольцев и сообщения краткого отчета о Воронежском съезде. Мы собрались в поле, в палатке. Проговорили за-полночь. Кубанцы отнеслись сочувственно к резолюциям Воронежского съезда и уполномочили меня передать товарищам-землевольцам их солидарность как с теорией, так и с практикой «деревенщины».

Много интересного я узнал от них о секте «шелапутов» на Кавказе. Товарищи-кубанцы жаловались, что недостаток людей не дает им возможности завязать с «шелапутами» более тесные отношения. Они настойчиво просили меня, чтобы побольше людей направлять к ним, что, помимо сектантов и казачества, благодарную почву для революционной деятельности представляют в настоящий момент и горцы Чеченской области. Там теперь работает туземец-народник (к сожалению, фамилии его никак не могу вспомнить), и просьба нашего «центра» отпустить его в Петербург сейчас не может ими, кубанцами, быть исполнена, хотя в принципе они ничего не имеют против переселения своего товарища в Петербург. Что касается просьбы нашего «центра» о доставке им оружия, то кубанцы обещали это устроить, но не раньше, как переговорят об этом со своими остальными товарищами на Кавказе и поставят это дело на прочную ногу. Переговорив обо всем с кубанской революционно-народнической группой и познакомившись еще кое с кем во Владикавказе, я вернулся в Петербург. Здесь меня ожидал тяжелый удар: воронежское соглашение оказалось самым плохим из известных мне соглашений. Я застал полный разрыв среди товарищей, полный раскол, выработаны уже были все пункты разделения. Я попросил познакомить меня с условиями разделе-

ния. Мне предъявили «федеративную конституцию» — так называли мы наш договор, выработанный обеими сторонами для урегулирования наших взаимных отношений. Согласно этому договору, общество «Земля и Воля» с его органом того же названия прекращает свое существование. Ни одна из образовавшихся фракций—ни террористы, ни народники—не имеет права ни своей организации, ни будущему своему органу присвоить это название. Материальные средства распределяются поровну. Обе фракции обязуются друг другу оказывать всяческую поддержку.

«Я протестовал тогда энергично, как умел и понимал[1]). Я говорил, что крайне неразумно, нерасчетливо расходиться нам в то время, когда наша партия еще недостаточно окрепла, когда мы еще не успели сорганизовать в народе достаточно солидную боевую партию, когда самое положение вещей,—беспрерывная и неустанная борьба с правительством в той или другой форме,—требует от нас большей концентрации сил и энергии».

...«Но эти резоны, к сожалению, не привели ни к чему. Одна часть ударилась исключительно в борьбу с правительством, считая ее злобою дня, другая, напротив, в силу естественной в таком случае реакции, стала вовсе отрицать необходимость в данный момент непосредственной борьбы с правительством и убеждала сосредоточить свои силы в народе».

Таким образом, разногласия о приемах борьбы перешли в разногласия принципиальные: одни предлагали политическую борьбу на первом плане, другие—экономическую.

Мне хотелось спасти, по крайней мере, орган. Я думал, если «Земля и Воля» будет издаваться по той же программе, которая была выработана на конгрессе в Воронеже, то обе фракции будут удовлетворены. Незачем, стало-быть, дробить материальные и литературные силы; незачем давать повод радоваться правительству; незачем, одним словом, вводить в смущение молодежь, рабочих и общество. Я высказал мои соображения и тем, и другим,

---

[1]) Из „Письма моего к бывшим товарищам“, помещенного в № 1 „Черного Передела“.

и предложил вести **общий** орган под **тем** же названием «Земля и Воля». Предложение мое было принято. Переговоры по этому поводу и соглашение, буде оно состоится, возложены на специальную комиссию из 4-х человек—по-двое, с каждой стороны [1]). Комиссия собралась. Пробным камнем для этого послужила передовая статья одного из редакторов террористической фракции (Н. Морозова. О. А.). Статья была прочитана. Я не верил ушам своим. Это была апология террора и политики; террор не только возводится в систему, но и политика поставлена во главу угла программы. Переговоры оказались излишними. И мы пошли разными дорогами.

Так общество «Земля и Воля», после трехлетнего существования, прекратило свою деятельность, прекратил, согласно договору, свое существование и орган «Земля и Воля». Я долго не мог примириться с этим. Я глубоко уважал моих товарищей-землевольцев, а многих сердечно любил. И они вполне заслужили это. Со многими я работал с самого возникновения общества. Это были большие люди. Живи эти люди при иных политических условиях, они оставили бы глубокий след в теоретической и практической мысли нашей родины—в науке, литературе, искусстве и политике.

Но история имеет порою свою логику—и отвела большинству этих людей место... на Голгофе!.. Спите мирно, борцы за свободу!..

---

[1]) **В состав комиссии вошли**: со стороны народников—Преображенский и пишущий эти строки, со стороны террористов—Морозов и Тихомиров.

ГЛАВА XIV.

Конец 1879 года и январь 1880 года. „Народовольческая“ группа развертывает вширь и вглубь свою деятельность. Народовольческие воззрения овладевают умами. Политическая свобода и борьба за нее становится все более и более популярными как в обществе, так и среди учащейся молодежи. Группа „Черного Передела“. Ее члены. Характеристика некоторых „чернопередельцев“. Деятельность „чернопередельцев“. Революционное народничество, как доктрина и практика, клонится к упадку. Предательство чернопередельческого рабочего-типографщика, Александра Жаркова. Провал „чернопередельческой“ типографии. Отъезд главных членов „Черного Передела“ за границу. Смерть „Черного Передела“. Моя болезнь. Мой арест.

„Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие; это—седая юность, одна из форм выздоровления, или, лучше, самый процесс его.

Человечески переживать иные раны можно только этим путем. (А. И. Герцен. „Былое и Думы“, том I. Женевское издание. Стр. 4).

Окончательный раскол в обществе «Земля и Воля», состоявшийся осенью 1879 года, развязал руки обоим воюющим фракциям: «народовольцам» (террористам-политикам) и «чернопередельцам» (народникам). Первые прекрасно воспользовались своей свободой. Они быстро сорганизовались и повели энергическую упорную аттаку против правительства. Спешу, однако, оговориться.

Я не пишу истории революционного движения в России вообще и истории партии «Народной Воли»—в частности. Я лишь мемуарист и могу, поэтому, лишь постольку коснуться революционной деятельности «Народной Воли», поскольку она, эта деятельность, входит в содержание моих воспоминаний вообще.

Я захватил лишь н а ч а л о народовольческой работы, п е р в ы е смелые выступления группы «Народной Воли», как «Н а р о д н о й В о л и».

Говорят: «конец венчает дело», но н а ч а л о народовольческого дела было так важно, оно так импонировало обществу и молодой интеллигенции, что я не могу по справедливости не занести на страницы моих записок именно э т о г о момента в деятельности «народовольцев», и занесу я его т а к и м, к а к и м я е г о запомнил—ни больше, ни меньше.

Грандиозные террористические предприятия, устроенные на всем пути следования Александра II, еще, можно сказать, на памяти у всех. Впечатление, произведенное ими, было, поистине, мощное. Либеральное общество, сторонившееся, по своему обыкновению, от крутых, насильственных приемов борьбы, тем не менее, не могло не сочувствовать «народовольческому» направлению: оно, это направление, поставило вопрос о политической свободе ребром, а это для политически развитых либералов значило много, очень много. Я в то время жил в Петербурге и был прямо поражен этим почти всеобщим сочувствием либеральных сфер «народовольцам». Да и не только либеральных сфер: интеллигентный разночинец или, как его стали величать в 90-х годах, «третий элемент», повидимому, тяготевший к народу и к народнической идеологии, —и он также прямо выражал свои горячие симпатии народовольцам и мало-по-малу вовлекался в круг их деятельности. И если иных кое-что отпугивало от народовольцев, то это не суровые приемы их борьбы, не террор—нет! а та постановка вопросов, программных и тактических, логическим выводом из которых могли быть «захват власти» и «заговор». Такой вывод именно сделал уже из № 1 «Народной Воли» мой знакомый, учитель математики Павлов. Помню, с какой неподдельной тревогой говорил он о возможности перехода на этот опасный и рискованный путь, от которого только один шаг к дворцовым переворотам.

— Этим путем они, народовольцы, поведут страну к гибели!—воскликнул Павлов.—Но это были, во всяком случае, одинокие голоса.

Что касается учащейся молодежи,—лучшей части ее, из которой революция обыкновенно рекрутировала своих сторонников,—то эта часть молодежи почти всецело вскоре перешла на сторону «народовольцев». На первых порах после происшедшего раскола молодежь была как бы в нерешительности, она недоумевала, из-за чего произошло собственно разделение. Но, с выходом № 1 «Народной Воли» и «Черного Передела», все выяснилось: выяснились и принципиальные, и тактические разногласия обеих фракций, а с этим и неизбежные причины раскола общества «Земля и Воля». И после этого молодежь все-таки потянулась к

«народовольцам». Не потому, чтобы молодежь считала народовольческую идеологию более истинной, чем «чернопередельческую»—нет! в то, по крайней мере, время, т.-е. в конце 1879 года, молодежь еще не успела разобраться вполне в идеологических построениях обоих революционных фракций: теоретические и программные разногласия не захватывали тогда еще ее. Настроение молодежи было тогда сильнее ее мышления; факты же, между тем, были за народовольцев: народовольцы шли в огонь, клали жизнь свою в борьбе за освобождение родины.

Молодежь это видела и, очарованная, пошла за борцами.

Народовольцы были тогда единственной фракцией, которой обстоятельства дали полную возможность совершенно развернуть свои силы и в полном блеске обнаружить свою преданность революционному делу. Что же мудреного, что живая молодежь стала под знамя «Народной Воли»? Революционный героизм обаятелен. Общественно-психологические мотивы, в форме эмоциональных и волевых движений, действовали тогда более властно, чем чисто идейные, познавательные. В известной части мыслящего общества накопилось много гнева и негодования, искавшего себе выхода,—и этот выход нашелся, казалось многим, в той форме борьбы, которую начали практиковать народовольцы, борьбы, сулившей, так сказать, кратчайшим путем привести революцию к полной победе. Это так. И это, повторяю, увлекало молодежь. Как «доказательство от противного», я живо припоминаю теперь «чернопередельческие» сходки молодежи в ноябре и декабре 1879 года. Молодежь требовала, чтобы мы, чернопередельцы, пришли к ней на сходки, изложили нашу программу, тактику и познакомили ее с нашей практической работой. Я помню три такие сходки, но особенно врезалась в моей памяти сходка у технологов,—кажется, в Измайловском полку. На сходке было приблизительно 200—250 человек. Со стороны «чернопередельцев» выступили «Егорыч» и я. Интерес к нам был живой, искренний. Мы оба говорили горячо, иллюстрировали нашу программу массой фактов, почерпнутых нами из непосредственных наблюдений над деревенской жизнью,—словом, стойко и яро защищали наше дело. Нас—слова нет!—слушали даже с захватывающим интересом. И, тем

не менее, я оставил сходку.... Я бы сказал: «с разбитым сердцем», если бы не боялся быть смешным. Я шел домой, тихо опустивши голову. Я считал наше дело в молодежи потерянным,—может быть, «Егорыч», относившийся ко мне так нежно и любовно, увидя меня унылым, заюлил передо мною:—«Ну, Осип Васильевич, что голову повесил? Ничего, брат: перемелется—мука будет!» Я слабо улыбнулся, в голове почему-то промелькнуло слово: «мукосеевщина», навязчиво сверлившее некоторое время мой разгоряченный мозг.

На другой день я назначил анкету, т.-е. по-просту попросил некоторых моих знакомых из молодежи собрать побольше сведений о том впечатлении, которое мы, «чернопередельцы», произвели на сходку молодежи, и передать их мне нелицеприятно. Вот отзывы молодежи по смыслу довольно стереотипные, почти буквально переданные.

«Чернопередельцы»—убежденные люди, но убедительности в них мало. Они беззаветно преданы народу, но они сами, как будто, изверились в него. Сам А—н производит впечатление смертельно раненого на поле битвы знаменосца: истекая кровью, он, тем не менее, не выпускает из рук знамени». Не знаю, удалось ли нам, в течение названных двух месяцев зимы 1879 года, завербовать в свои ряды хоть с полсотни верной молодежи. Скажут: это ничего не доказывает: просто, я и «Егорыч» не оказались на высоте своего положения—плохие пропагандисты и агитаторы,—и только! Однако, и в других городах наши фонды не ахти как высоко стояли. Это,—во-первых. А, во-вторых,—вскоре появившееся в № 1 «Черного Передела» открытое письмо к народовольцам, говорят, произвело сильное впечатление на молодежь. Стало быть, не совсем уж я так плох был в идейном отношении: мог бы и убедить и увлечь, если бы наша песенька не была спета. О, я т о г д а уже это чувствовал всей душой, но не хотел сдаваться—все мы, «чернопередельцы», не хотели сдаваться. И хорошо. Но, повторяю, объективный ход вещей и настроение тех общественных слоев, которым тогда принадлежала инициатива борьбы, были п р о т и в нас. То—и я снова подчеркиваю это—была пора отнюдь н е и д е й н о й т о л ь к о борьбы, это была пора а к т и в н о й борьбы попреимуществу, если не исключительно, за п о л и т и ч е с к у ю свободу. Политическая сво-

бода (и борьба за нее) уже тогда была для интеллигенции вопросом жизни—«быть или не быть». Она непосредственно захватывала молодую интеллигенцию, задевала, так сказать, ее за живое, была ближе ей, чем экономические требования народа. Слова нет, интеллигенция тяготела к народу. И это было чувство глубокое и неподдельное. Но—увы!—народ тогда еще молчал, он не был тогда еще классом. Ясно это тогда еще не формулировалось, но чувствовалось, сознавалось, так сказать, настроением.

А потому та фракция, которая поставила на своем знамени: delenda est Carthago! и ежеминутно, ежечасно стремилась осуществить это требование путем неустанной и беззаветной борьбы,—та фракция,—говорю я, — и должна была фактически завоевать авторитет и силу у интеллигенции. Оно, действительно, так и было. «Народовольцы» уже тогда, т.-е. в конце 1879 года, начали монополизировать поле битвы, они завладели умами, симпатиями и волей тогдашней революционной России. Все им благоприятствовало: и общее настроение, и взаимоотношение сил выступивших тогда на борьбу революционных фракций,—«народовольческой» и «чернопередельческой»; слабость последней косвенно содействовала усилению первой. И здесь подбор—революционно-общественный подбор — в борьбе за существование.

Не в «добрый час» родилась организация «Черный Передел». Не дал бог жизни ей—и она зачахла спустя три месяца.

Организация «Черный Передел» обязана своим возникновением, с одной стороны, энергии старых землевольцев, М. Р. Попова и Г. В. Плеханова, а с другой—новых, принятых на воронежском съезде бывших землевольцев—Стефановича и Дейча. В переговорах с террористами-политиками и в выработке пунктов разделения, когда раскол уже состоялся, участвовали, между прочим, также Стефанович и Дейч. Тем не менее, нашу «чернопередельческую» группу в ссылке почему-то считали исключительно детищем М. Р. Попова и называли ее нередко просто «группой Родионыча». В организацию «Черный Передел» вошли следующие лица: Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч,

Я. В. Стефанович, В. И. Засулич, М. Р. Попов, Преображенский, Козлов, Козлова, Е. Н. Ковальская, Е. Шевырева, М. Крылова, Н. П. Щедрин, Переплетчиков, П. В. Приходько-Тесленко, И. Пьянков, В. Игнатов, Николаев «Егорыч», Короткевич К—ч, Л. Гартман и пишущий эти строки.

Из старых землевольцев оказались: Плеханов, Попов, Игнатов, Гартман, Преображенский, Крылова, «Егорыч», К—вич и я.

Из новых землевольцев, принятых на воронежском съезде, целиком вошла заграничная группа: Дейч, Стефанович, Засулич и Аксельрод. Итого старых и новых землевольцев оказалось во фракции «Черного Передела» тринадцать человек.

Впрочем, Гартман от нас скоро освсем улетел. Подготовляя в Москве подкоп, народовольцы, нуждаясь тогда в рабочих силах, обратились к нам, чтобы мы для этой цели отпустили к ним кого-либо из наших товарищей. Вызвался Гартман. После взрыва 19 ноября 1879 под Москвой, Гартман вскоре эмигрировал. За границей Гартман уже является представителем фракции «Народной Воли», которая открыто обращается к нему, уполномочивая его на те или другие действия.

«Егорыч» после воронежского съезда совсем покинул деревню и уехал со мною в Петербург. Его потянуло в город с неотразимой силой.—«Не могу больше жить в деревне,—заявил мне «Егорыч»,—знаешь: совсем обалдел! Тоска порой берет, хоть ревмя реви!

Хочется поговорить с своим человеком, книжку почитать—совсем одичал! Раз—поверишь ли?—захотелось на нашем языке поговорить и я обратился к печке и стал говорить с ней, воображая себе, что с своим веду разговор!»

В Петербурге «Егорыч» засел основательно за книжку читал с разбором и толково, а в свободное время стал заводить знакомство с молодежью. «Егорыч», если читатель припомнит, был сельским писарем в Саратовском уезде, дельный и хороший работник. Прожил он безвыездно в деревне не менее двух лет—и сбежал-таки.

К—вич—народный учитель, тоже в Саратовской губ.

После воронежского съезда он также перебрался в Петербург и, как вполне легальный, служил посредником ме-

жду редакцией и типографией. Его оплошности, к слову сказать, я обязан своим арестом. Дело было так. Проходит день-другой, а К—вич не является в редакцию. Это мне показалось подозрительным.

Я отправляюсь к нему встревоженный, но уверенный в том, что на его квартире меня ничего не ожидает. Ошибся жестоко: там оказалась засада, и меня забрали. Кажется, что Е. Шевыреву тоже забрали на этой квартире. Я никак не мог себе объяснить, каким образом я влопался: квартира, в конспиративном отношении, была хорошо обставлена, сам К—вич—совершенно легальный человек, знали его квартиру, кроме меня, еще разве двое-трое из нашей организации, а посторонние не ходили на эту квартиру. В Петропавловской крепости дело просто объяснилось: К—вича взяли в типографии и, когда его обыскали, нашли в кармане его паспорт, по которому он был прописан.

Из с т а р ы х землевольцев-деревенщиков, не приставших к «Черному Переделу», надо назвать следующих: Мощенко, «Титыча», Хотинского и Сергея Андреева[1]). И эти «деревенщики» после воронежского съезда побросали деревни и разъехались кто-куда: «Титыч» и Хотинский один за другим уехали в конце 1879 или в начале 1880 года за границу. Мощенко был вскоре арестован и административно сослан в Западную Сибирь. В последний раз я с ним виделся в Перми у Сергеевых в 1886 году, возвращаясь из Якутской области.

Сергей Андреев переселился в ноябре 1879 года в Петербург, где он вполне легализировался.

Таким образом, к концу 1879 года из бывших землевольцев почти никого не осталось в деревне. Правда, в Саратовском уезде остался еще Севастьянов С—ов и тот семинарист-народник, о котором в своих очерках о крестьянском движении в Саратовской губернии говорит Тан. Этот семинарист в семидесятых годах близко стоял к «Земле и Воле».

Когда «Земля и Воля» завела свои деревенские организации в Поволжьи, названный семинарист—фамилии его, к

---

[1]) С. Перовская тоже не пристала к „Черному Переделу". Она прямо заявила мне, что пристанет к нам лишь в том случае, е с л и у н а с у д е т р а б о т а в д е р е в н е.

сожалению, сейчас не могу припомнить—женился на крестьянке и «вошел во двор». Он,—рассказывали нам,—еще в те времена успел приобрести вес и положение в деревне.

Может быть, в Саратовской или других губерниях застряли кое-где одиночки-землевольцы, которых я сейчас припомнить не могу. Но все-таки это не изменяет положения вещей: одна ласточка весны не делает: два-три землевольца, допустим, даже десяток, рассеянные на «дистанции огромных размеров», не образуют еще революционного поселения, революционной организации, как 2-3 и больше хуторов не образуют деревни или села.

Землевольских поселений, одним словом, тогда, в конце 79 года, не было уже[1]): они все распались.

Таково то деревенское наследие, которое «Черный Передел» получил от «Земли и Воли». Надо было теперь подумать о постройке новых поселений, на новых началах и с новыми людьми. И эта задача была поставлена «Черным Переделом» во главу.

На первых порах надежда улыбнулась нам: в наших рядах уже находились с самого основания «Черного Передела» Стефанович и Дейч, испытанные практики-организаторы.

Они, действительно, задумали среди чигиринцев новое дело, на иных основах чем старое. Мы все ожили. Раз,—думали, мы,—за это дело возьмутся такие люди, как Стефанович и Дейч, успех обеспечен: мы оснуемся в деревне, заложим фундамент, а молодежь и другие живые силы, глядя на нас, пойдут за нами.

Пример заразителен, успех ободряет. Мы еще поборемся. Пусть террористы тревожат правительство сверху, а мы будем наддавать снизу. Так мы мечтали.

Стефанович предложил предварительно произвести рекогносцировку на месте. К несчастью, ни ему самому, ни Дейчу, по многим уважительным причинам, нельзя было делать разведки в Чигирине.

Надо было по необходимости послать других людей. Выбор пал на некоего П—ова, близко стоявшего к «чернопередельцам».

---

[1]) Терское поселение, о котором я говорил выше, хотя и народническое, но не землевольское.

Его снабдили необходимыми указаниями и благословили в путь-дорогу.

К сожалению, П—ов был не совсем подходящий для этого человек, что вскоре и подтвердилось. Наши разведчики вернулись из Чигирина ни с чем: военное положение создало, дескать, там, в Чигирине, такую обстановку, в которой сам чорт себе ноги сломает. Мы повесили головы. Наши грандиозные планы рушились, лопались, как мыльные пузыри. Неудавшаяся попытка Стефановича создать в Чигирине новую организацию, полное отсутствие у нас в то время людей, способных обосноваться в деревне, подрезали тот народнический сук, на котором мы сидели до сих пор. Деревня ушла от нас—и, повидимому, бесповоротно и надолго. Что же теперь? Что же мы, «чернопеределыцы»-народники, значили без работы в деревне, в народе? Какую силу могла иметь наша пропаганда революционно-народнических идей среди интеллигенции и рабочих, к которым мы по преимуществу обращались, когда п р о ш л а я наша р е в о л ю ц и о н н а я деятельность в деревне о к а з а л а с ь м а л о-р е з у л ь т а т н о й, чтобы не сказать больше, а н а с т о я щ е е находится только in spe?

Эти вопросы неотвязно преследовали и мучили меня. Да и не одного только меня. Все мы, чернопеределыцы—каждый на свой манер—переживали тяжелое время. Но мои товарищи были сильнее меня и они выдержали внутреннюю борьбу, а я пал сокрушенный.

Мрачное отчаяние овладело мною. Мрачна была моя душа, мрачно и черно было все кругом. Меня страшило наше б а н к р о т с т в о, которое—я это ощущал тогда всеми наболевшими струнами моей души—вот-вот уже надвигается на нас неотвратимо. Я чувствовал, что под моими ногами колеблется почва, пропасть разверзается, готовая проглотить меня, моих товарищей-чернопеределыцев, наше народничество, со всеми его гордыми помыслами и высокими стремлениями.....

Ни тюрьма, ни ссылка, ни каторга,—даже и смерть не страшна была! Со всем этим мы с давних пор свыклись. Меня, повторяю, страшило наше б а н к р о т с т в о, и д е й н о е и т а к т и ч е с к о е.

Может быть, эти страхи и тревоги были неоснователь-

ны и ложны, но они жили во мне, сверлили мой мозг, терзали мою душу. И я заболел: я полетел в Нирвану... Нежное, трогательное, заботливое попечение моих товарищей-друзей вырвало меня из когтей смерти, ножницы Парки счастливо миновали меня. Я стал понемногу поправляться. Когда я стал на ноги, я почувствовал в себе новый прилив сил, я готов был к работе, твердо решил продолжать начатое дело, не уступать, не поступиться ни одною, так сказать, пядью наших воззрений.

Горе, которое я моей болезнью причинил товарищам, мучило меня, печально-укоризненные взгляды (я хорошо помню особенно такой взгляд, брошенный на меня невзначай Е. Н. Ковальской) товарищей задели мою гордость и достоинство. И, чтобы оправдать себя перед товарищами, искупить свой невольный грех, я еще больше ушел в работу. А работа наша теперь, после крушения наших надежд на деревню, упростилась. Мы сосредоточили все наше внимание на работе в городе—на пропаганде народнических идей устно и печатно среди интеллигенции и рабочих.

Как петербургская молодежь приняла нас, т.-е. меня и «Егорыча», я уже выше говорил. Конечно, были в Петербурге и у нас сторонники, но можно было их считать самое большее—десятками, а к народовольцам шли непрерывно целые толпы молодежи, особенно с 80 года.

Только Москва нас несколько утешила. Там образовалась солидная группа молодежи (кажется, с Я—ко во главе), послужившая ядром, вокруг которого, в последующие 1½—2 года, как мне передавали, собирались рассеянные чернопередельцы.

Московские чернопередельцы близко принимали к душе наше положение. Они писали нам, чтобы мы поторопились изданием нашего органа, что орган во всяком случае подымет наш престиж в глазах молодежи. Они были очень озабочены составом нашей редакции. Из декларации нашей они узнали, что в числе постоянных сотрудников нашего органа были, между прочим, Стефанович и Дейч.—«Что это за литераторы, писали они нам, Стефанович и Дейч? Мы их знаем, как первоклассных практиков, а не как литераторов. Совсем особь статья—Плеханов и Аксельрод».

Я почти буквально со слов Преображенского передаю содержание этого письма. Наши московские товарищи, конечно, могли ошибиться на счет литературных способностей Стефановича и Дейча, но нам дорого было их сочувствие и материальная поддержка. Как обстояли наши дела с молодежью в провинции—не знаю, не могу ничего определенного сказать.

Знаю только, что в Киеве работал М. Р. Попов, но насколько успешно—не знаю. В Одессе разрывался Л. Г. Дейч.

Он писал нам, что в Одессе с молодежью «тихо», что там ощущается крайний недостаток в работниках, он настойчиво звал меня туда и просил товарищей отпустить меня. Мой отъезд, после немалых пререканий, был уже решен и фиксирован день, как совершенно неожиданно получилась телеграмма от Дейча, чтобы я не трогался с места. Не могу сейчас сказать, отчего произошла такая быстрая перемена. Припоминаю только, что сам Л. Г. Дейч вскоре явился в Петербург. Это было, если память меня не обманывает, в конце декабря. Припоминаю, с какой живостью и рыцарской прямотой набросился на нас Дейч с укором, отчего мы заснули и двигаемся, словно мухи осенние.

Никто из нас не обиделся, так как мы, действительно, тогда, как *организация*, особой подвижностью не отличались. Дейч пробыл некоторое время в Петербурге, оживил нас своей жизнерадостностью, бодростью и энергией, а потом, словно метеор, снова куда-то исчез,—может быть и за границу. Больше с Дейчем, я не встречался.

В Харькове наши дела с молодежью тоже были не блистательны. Плеханов нам негодующе передавал, что в Харькове сочувствующих нам среди молодежи собственно не мало, но сочувствие это ограничивается лишь *словами*: *итти в народ никто не хочет*.

Харьковское народничество чисто платонического характера. Один из старых пропагандистов, близко стоявший к нашему старому ростовско-харьковскому кружку, Серебряков, развитой и положительный человек, так в разговоре с Плехановым формулировал тогдашнее *настроение* харьковской молодежи:—«Теоретически вы (т.-е. мы, народники-чернопередельцы. О. А.) правы, психика (Серебряков произносил «психийка». О. А.) у молодежи теперь *иная*:

она, молодежь, не пойдет за вами, в деревню ее калачом не заманишь». Попутно здесь замечу, что это именно настроение молодежи живо схвачено таким опытным и тонким наблюдателем, как Дебагорий-Мокриевич. В своих «Воспоминаниях» он, между прочим, рассказывает, что в Москве ему очень приятно было встретить так много народнической молодежи, но его тогда же поразило, как слово с делом расходились у этой молодежи: итти в народ никто не хотел.

Так обстояли наши дела с молодежью.

О деятельности нашей среди рабочих скажу несколько слов.

После 2 апреля, если читатель припомнит, наш рабочий кружок совершенно провалился. Одновременно с этим потерпел порядочное крушение «Северно-русский рабочий Союз». Сношения же с «Союзом», с момента его основания, у нас велись при «Земле и Воле» Плехановым. Уезжая накануне 2 апреля, по постановлению Совета, из Петербурга, Плеханов передал свои полномочия, для ведения сношений с «Союзом», Степану Ширяеву. Осенью 79 года Плеханов, вернувшийся в Петербург, уже как чернопределец, снова возобновил свои сношения с «Союзом». Степан Халтурин, который очень близок был с Плехановым, обрушился на последнего целым потоком упреков «Человек, с которым ты познакомил меня перед своим отъездом[1]), говорил он, был у нас один раз, обещал доставить шрифт для нашей типографии, а потом исчез, и я не видался с ним два месяца. А у нас уж и станок сделан, и наборщики есть, и квартира готова. Остановка только за шрифтом». Плеханов оправдывался тем, что Ширяева отрекомендовала организация, как весьма дельного и положительного человека, но что, вероятно, какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помешали Ширяеву выполнить свои обязательства. Такие обстоятельства, замечу в скобках, действительно были: выезд «нелегальных» из Петербурга пред выстрелом Соловьева, Липецкий и Воронежский съезды и т. д. оторвали Ширяева от возложенной на него миссии. Но—lest no least—прерванные за лето сношения с «Союзом» были снова восстановлены.

---

[1]) Г. В. Плеханов. „Русский рабочий в революционном движении". Издательство „Пролетариат".

«Союз» настойчиво просил Плеханова, что, если ему самолично, в виду обременения его работой, нельзя вести с ним правильных сношений, то пусть отрекомендует кого-нибудь из чернопередельцев. Плеханов собрал Совет чернопередельцев. Собрание происходило на нашей конспиративной квартире, которую я занимал вместе с Приходько. Эта квартира вполне заслуживает это название. Она помещалась в огромном доме, нижние этажи которого были заняты лабазами. Двор сквозной, с воротами на Невский проспект и на Рождественскую улицу. Движение во дворе и через двор было громадное. Подъездов в этом доме было три или четыре. Это,—во-первых. А, во-вторых,—наша хозяйка была вполне предана нам. Это была прекрасная, благородная женщина. Судьба прямо послала ее нам, чтобы нас хоть немного утешить в наших тесных обстоятельствах. Ее нашел, если я не ошибаюсь, Приходько, но как—не могу теперь сказать. Это был клад для нас. Народу к нам ходило много и народу «отчаянного», помимо чернопередельцев: на этой квартире бывали частенько Л. Тихомиров, С. Перовская и проч. Хозяйка спокойно, с чисто народной выдержкой, следила за всем. Скажу уж попутно, что 3—4 дня после моего ареста была арестована и наша хозяйка. При обыске на конспиративной квартире ничего не найдено. Хозяйка все припрятала и препроводила куда следовало. На допросах этот чудесный человек, эта «простая» женщина держалась с полным благородством. Она, помнится, даже была арестована и просидела некоторое время не то при полиции, не то в Доме Предварительного Заключения. Ничего от нее нельзя было добиться. Никто на нашей квартире не был захвачен в засаде. Если не ошибаюсь, она была выслана с семьей из Петербурга. Хорошо также, говорят, держался ее муж, который одно время внушал нам некоторые опасения. Но мы его привязали к себе огромной услугой, оказанной нами ему. Он—бывший солдат, совершил какой-то проступок, за который ему грозили дисциплинарные роты. Он бежал и скрылся, дрожа каждую минуту за свою судьбу и за участь своей семьи. Мы его снабдили из нашей «небесной канцелярии»—прекрасным паспортом, с которым он устроился в Петербурге на месте,—если не ошибаюсь, чуть ли не городового. Читатель, я думаю, не по-

сетует на меня, что я уклонился в сторону, вспомнив о нашей квартирной хозяйке. Эта женщина, совершенно нетронутая нашей пропагандой, нашла в своем благородном сердце отзвук на наши революционные стремления, привязалась к нам крепкой народной любовью, пострадала за нас, оставаясь до конца твердой и верной нам! Разве такая женщина из народа не заслуживает нашей благодарной памяти? Возвращаюсь теперь к нашему Совету. Докладчиком был Плеханов. В живой, яркой и сильной речи обрисовал Плеханов наше тогдашнее положение. Мы—народники, но в народе у нас теперь точек опоры нет, фактически нет. Деревня—вне нашего революционного воздействия. Мы в этом не виновны. Нас так мало, а новые силы не приливают к нам. Кто виноват в этом? Habeant sua fata—и революционные партии.

Настроение наличных революционных сил молодежи не в пользу систематической работы в деревне. Настроение толкает молодежь на другой путь, на путь террористической деятельности. Но мы не должны падать духом. Есть работа и для нас, работа народническая. Нас зовут городские рабочие. Разве они не те же крестьяне? Пойдем же в их среду! Для этой работы у нас хватит своих сил, а за нами в этой работе пойдет и молодежь. Речь произвела сильное впечатление.

Пойти к рабочим вызвались Н. П. Щедрин и «Егорыч». Они и стали завязывать через «Северно-русский рабочий Союз» сношения с фабричным и заводским населением Петербурга.

Меня, между прочим, познакомили с двумя членами «Союза», покойным Павловым и Гусевым. Знакомство это было в связи с предположением приобщить меня к органу «Союза». Не помню сейчас, кому из них—Гусеву или Павлову—был на следствии предъявлен вопрос о предполагаемом участии моем в рабочем органе. Кстати. С Павловым и Гусевым мы столкнулись в 1881 году в вышневолоцкой пересыльной тюрьме. С ними мы пошли в Якутскую область за непринятие присяги Александру III. В Якутской области бедный Павлов покончил самоубийством в 1884 году, если не ошибаюсь. Но я забегаю вперед. Об этом после, на своем месте.

Работа Щедрина («Рыжий», «Кот» тоже) была, к сожалению, прервана в самом начале: чернопередельческий провал в январе 1880 года изгнал Щедрина и других наших товарищей-чернопередельцев из Петербурга, а «Егорыч» был арестован еще до провала. Вообще, то была пора, крайне неблагоприятная для всяческих организационного характера начинаний как в среде интеллигенции, так и рабочих.

Интенсивная террористическая борьба усилила донельзя правительственную реакцию и репрессалии. Белый террор беспощадно обрушился также и на рабочих и на неокрепшую еще организацию их—«Союз». Это в первые времена террора вызвало резкий протест со стороны «Северно-русского рабочего Союза». «Он,—говорит Плеханов в своей брошюре «Русский рабочий в революционном движении»,—сначала очень неодобрительно относился к новому приему революционной борьбы.—«Чистая беда, воскликнул Халтурин, только-только наладится у нас дело,—хлоп! шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!»

Но революционный террор все усиливался; усиливался и белый.

Провалы учащались. Выстрел Соловьева довел полицейские строгости до неслыханной степени. Вместе с тем, он же указывал, повидимому, и выход из невыносимого положения. Падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы. Так думали тогда очень многие. Так стали думать и рабочие. Таким образом, террористическое настроение начинало охватывать и рабочих. Сам основатель «Северно-русского рабочего Союза», Степан Халтурин, вскоре самым решительным образом выступает на путь террора. В своем интимном разговоре с Плехановым он высказывается на этот счет весьма категорически [1])—«....смерть Александра II принесет с собою политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение у нас пойдет не попрежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться».

Степан задумал цареубийство и с этой целью взял место столяра в Зимнем дворце. Не полагаясь на собственные

[1]) Г. В. Плеханов. „Русский рабочий в революционном движении“. Издательство „Пролетариат“, стр. 90.

средства, он попросил Плеханова познакомить его с террористами, что Плеханов и исполнил, отрекомендовав Халтурина Квятковскому и Тихомирову, как весьма надежного человека. Дальнейшая революционная карьера и судьба Халтурина известны: террор поглотил и эту мощную личность из рабочей среды, а 22 марта 1882 года он умер на виселице. Со смертью Степана Халтурина окончательно рушилась рабочая его организация,—«Союз», созданный им с такими усилиями и жертвами. Когда чернопередельцы стали заводить сношения с «Союзом», а через «Союз» с прочим рабочим населением Петербурга, «Союз», как рабочая организация, висел уж на волоске: гибель его уже была близка, а с его гибелью рушились и все наши начинания среди петербургских рабочих. Наше собственное крушение только ускорило этот неизбежный, при тогдашних обстоятельствах, крах нашего рабочего дела. Но в результате опять-таки получилось для нас одно—неудача, неудача и опять-таки неудача! И так во всем. Но это еще с полгоря—горе настоящее еще надвигалось и было уже близко: готовилось крушение нашей типографии, нашего органа, редакции, со всей организацией «Черный Передел».

На типографию у нас ушло не мало сил. Сколько было тревог, опасений и страхов, пока приобрели типографию, пока доставили ее в Петербург и устроили ее на месте! На это ушло чуть ли не два месяца, а преданная нам молодежь все не унималась: все приставала с назойливыми вопросами,—когда же, наконец, выйдет орган, когда? Я хорошо помню это время и могу сказать, что бывали у нас плохие времена, но такой «страды» мы еще никогда не переживали. Помню этот холодный ненастный день петербургский—не то в начале декабря, не то в конце ноября 1879 года—когда столь желанная типография наша прибыла, наконец. Надо было ее получить с вокзала. Это было поручено Щедрину и Приходько. Я и еще кто-то,—может быть, я и Приходько, не помню,—должны были тщательно следить в стороне за всей процедурой от момента получения багажа с товарной станции до доставления его предварительно на квартиру Щедрина и Е. Н. Ковальской. Мы должны были выследить, не устроена ли где засада, не гоняются ли за багажом полицейские агенты.

К счастью, все обошлось благополучно во всех отношениях.

В последующие за тем дни типография была разобрана по частям и перенесена, со всеми, разумеется, предосторожностями, в типографскую квартиру. Все, повидимому, шло хорошо, но вдруг «заковыка». В числе типографских принадлежностей оказалась тяжелая типографская доска, чугунная. Перевезти ее на извозчике, по понятным причинам, было неудобно, а на руках снести тяжело. Никто из наших чернопередельцев перенести доску, да на такое еще громадное расстояние—из Измайловского (или Семеновского?) полка, где была квартира Ковальской, на Васильевский остров—не брался. Что делать? Попросили мы «Сергея Андреева»,—мужчина он крепкий,—но он попробовал-попробовал на руках да отказался. Вспомнили мы про нашего старого товарища по «Земле и Воле», про «Титыча». Этот, решили мы все, выручит. И действительно. Он, не говоря ни слова, пришел на наш зов, завернул доску в толстую бумагу, взял ее под мышку и бережно, словно «ценную картину» или «зеркало», как назвал доску «Титыч», водворил ее без всяких приключений на место. Мы все были очень рады.

Теперь, думали мы, работа пойдет ходко. Типографская группа была сорганизована. В нее вошли: М. Крылова, опытная наборщица, работавшая все время в «Земле и Воле» и перешедшая после раскола к «Черному Переделу»; рабочий-наборщик (впоследствии предатель и шпион) А. Жарков, из саратовской рабочей группы, принят в «Черный Передел» по рекомендации Преображенского и Плеханова; П. Приходько, И. Пьянков и Е. Шевырева.

Теперь дело стало за редакцией. В состав редакции вошел тогда Плеханов и я, как ближайший его сотрудник. П. Б. Аксельрода тогда еще не было в Петербурге, мы его ждали со дня на день. В. И. Засулич, по своей идеальной скромности, уклонялась от редакторских обязанностей, хотя она вносила свою лепту в орган, как прекрасная переводчица писем наших заграничных корреспондентов-друзей и, как вдумчивый, стойкий товарищ—своими советами и указаниями. Нам надо было торопиться выпуском первого номера органа. Плеханов должен был написать руководящую, программного характера, статью.

Ему это ничего не стоило. Он на моих же глазах, в моей квартире, с удивительной быстротой написал передовицу. Как теперь я вижу его из моего маленького кабинета сидящим за столом в столовой и пишущим. Четвертушки почтовой бумаги, исписанные его характерным почерком, так и ложились торопливо одна на другую. Меня даже досада взяла.

— Где же мне угнаться за тобою?—воскликнул я, обернувшись к Плеханову.

— Пиши, пиши, Осип, знай не ленись!—раздался мне вслед бодрый и веселый ответ Плеханова.

Дня через два он написал, в дополнение к руководящей статье, другую подробную программную статью. Поразительна легкость, с какой Плеханов писал свои статьи! В нем, тогда еще молодом, самом молодом из всех товарищей наших—ему тогда, полагаю, самое большее было 22 года—уже крепко сидел завзятый литератор. Поражала меня тогда еще *другая* манера его писания: не корпел он над работой, попишет час-другой—и берется за другую работу, за чтение, —научное, литературное и проч.

На мою же долю выпал поистине искус. Совет поручил мне, по предложению Плеханова, написать статью полемического характера по поводу нашего разделения, т.-е. по поводу раскола общества «Земля и Воля». Как я ни отказывался, но работа эта мне была навязана. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Я засел в публичной библиотеке дней на десять, собрал нужный материал—и в результате этой работы появилось мое «Письмо к бывшим товарищам». Не могу теперь без улыбки вспоминать, как народовольцы интересовались — кто будет писать у нас по поводу нашего разделения. Я, как во времена «Земли и Воли», сохранил добрые отношения с бывшими моими товарищами. Когда они от меня узнали, что названную статью (в форме письма) поручено мне написать, они положительно обрадовались: моя полемика их не тревожила, боялись они только Плеханова. Возвращаюсь к редакции. На моей обязанности еще лежала редакция полученных корреспонденций и ведение отдела «хроника». Кроме статей Плеханова и моей, в № 1 «Черного Передела» вошла еще большая статья Я. Стефановича под названием «Чиги-

рииское дело»[1]). Все статьи уже были сданы в типографию. Дело, казалось, наладилось, вот-вот появится № 1 «Черного Передела». Мы сгораем от нетерпения и отчасти досады. Ведь № 1 «Народной Воли» уже вышел, опередил нас!

У них, у народовольцев, все спорится. Торопим наших типографщиков. Вдруг, неожиданное осложнение. В один прекрасный день, в разгар самой работы, приходит ко мне Жарков и просится, чтобы его отпустили домой, в Саратов, на одну-другую неделю: в семье у него что-то неладное творится. Когда я ему указал на то, что, с отъездом его, работа в типографии значительно затормозится, а этим выход нашего органа может задержаться, Жарков стал уверять, что дело в типографии теперь налажено хорошо, и что типографские товарищи сами справятся с своей работой, что, далее, он-де пришел сюда с своей просьбой с согласия последних. Я посоветовался с товарищами, и мы решили отпустить Жаркова, взявши с него слово, что он вернется к сроку. Что стряслось с Жарковым в Москве—об этом после.

Продолжаю рассказывать о нашей редакции и о делах, связанных с ней. В конце ноября или в половине декабря приехал, наконец, из-за границы П. Б. Аксельрод. Это был для нас праздник, праздник не только редакторской группы, но и всей организации. Нужны были тогда люди, живые силы,—ох, как нужны были! На П. Б. Аксельрода организация возлагала большие надежды. Аксельрод быстро познакомился со всеми нами. Надо было ему спеться, согласиться с товарищами, особенно с редакцией, куда вошел он, как член-редактор.

Революционер-семидесятник, Аксельрод в то время, помнится, был более, чем кто-либо из его современников, проникнут духом з а п а д н и ч е с т в а. Может быть, это объясняется его давнишней жизнью за границей и близкими отношениями его к западному пролетариату. За границей он в то время занимался серьезным изучением, теоретическим и практическим, р а б о ч е г о д в и ж е н и я на З а п а д е.

---

[1]) К статье Стефановича было сделано редакцией примечание, гласившее, что организация „Черного Передела“, одобряя предприятия Стефановича, как попытку организации крестьянской массы, совершенно не одобряет того авторитарного принципа, к которому аппелировал Стефанович.

Это я слышал от Перовской, которая, к слову сказать, относилась с большим уважением к Аксельроду. В это именно время П. Б. Аксельрод поместил в журнале «Слово» прекрасную статью об английских трэд-юнионах. Я не могу сейчас припомнить точное заглавие этой статьи, но помню хорошо, что в интеллигентно-радикальной и рабочей среде она произвела весьма благоприятное впечатление.

Все это еще больше расположило нас всех в пользу П. Б. Аксельрода.

Живо припоминаю я теперь наши горячие споры и дебаты по поводу народничества. Чаще всего они происходили между мною и Плехановым, с одной стороны, и Аксельродом—с другой. Помню, как раз Аксельрод не удержался и воскликнул: «право же в вашем народничестве немало славянофильства!» В результате наших споров оказалось вот что. Аксельрод попросил нас, чтобы мы ему указали народническую литературу, с которой он счел необходимым познакомиться. Аксельрод, со свойственной ему живостью и горячностью, набросился на эту литературу и быстро проглотил ее.

Одновременно с этим Аксельрод стал заводить знакомства среди сочувствовавшей нам интеллигенции. Живой, душевный, всецело преданный революции, он быстро завоевывал симпатии молодежи. О нем в кружках молодежи прямо говорили с восхищением. Я, конечно, несказанно был рад этому: знай, мол, наших!

Как-то вышло—уж не помню хорошенько, как—что Плеханову надо было обязательно уехать в Киев. Там действовал среди рабочих наш чернопеределец М. Р. Попов. Возможно, что Попов нуждался в временной помощи Плеханова. Переговорив со мною о делах редакции, Плеханов попрощался со мною, обещав вернуться дней через 10—15. Так я с Аксельродом остались одни в редакции. Редакторские обязанности страшно тяготили меня. Кроме того, на мне лежали еще другие, административного характера, обязанности, связанные с докучливой беготней. Аксельрод тоже был завален еще посторонней работой. А между тем надо было уже подумывать о составлении № 2 «Черного Передела». Настоятельной необходимостью было, поэтому, позаботиться своевременно об усилении редакции или, по край-

ней мере, о привлечении новых сотрудников к органу. Еще раньше были намечены П—ов и Юзов-Каблиц.

С Павловым меня познакомил Преображенский, который горячо рекомендовал его нам, как возможного сотрудника в нашем органе. Я потом несколько раз был у П—ова.

В моей памяти сохранился очень смутный образ молодого человека, сутуловатого, с выцветшими глазами и серого цвета лицом. Он жил где-то у чорта на куличках, занимал небольшую комнату в нижнем этаже, всю почти наполненную книгами, журналами, газетами, газетными вырезками и обрезками бумаги. На меня П—ов производил впечатление, что называется, Bücherwurm'а, целиком ушедшего в тяжелую работу кропотливых изысканий и исследований. Преображенский мне говорил, что он готовит какую-то солидную работу. П—ов разделял наши народнические воззрения. Он обещал нам свое сотрудничество в нашем органе. В последний раз я зашел к нему, когда уже готова была первая половина «Черного Передела», в которой была руководящая статья Плеханова и мое открытое «Письмо к бывшим товарищам». Мы торопились тогда всячески распространять хоть эту половину, чтобы, по крайней мере, чем-нибудь скорее проявить себя, хоть сказать:—«вот и мы!», ибо нас почти не слышно и не видно было в шуме и блеске народовольческих дел. Я пошел к П—ву, чтобы поторопить его с представлением обещанной им нам статьи. Он показался этот раз более живым, чем в предыдущие разы, и указал мне на лежавшую на его столе половину «Черного Передела». Он осведомился, кто написал передовую. Я назвал автора.—«Орган будет иметь успех. Это несомненно. Тон органа серьезный».

Мне было очень приятно это слышать и я, воспользовавшись его благорасположением, поставил вопрос ребром, когда же, наконец, он даст обещанную статью? П—ов указал мне на целый ворох исписанной бумаги:—«5—6 дней дайте мне—и все готово!» Мы распрощались довольные друг другом. Но статья П—ова (кажется, о казачестве и побратимстве—в роде этого) не попала в наш второй номер, так как мы вскоре потерпели крушение. Не встречался я также больше никогда с П—овым.

Юзова (Каблица) избрал сам П. Б. Аксельрод и пред-

ложил мне привлечь его к редакции. С Юзовым П. Б. Аксельрод был знаком, если не ошибаюсь, еще в Киеве во времена пропаганды и хождения в народ. Лично мне покойничек был несимпатичен. Помню хорошо, что «Земля и Воля» хотя порою и имела с ним кое-какие дела, но в свою организацию не желала его принять. Предложение Аксельрода меня покоробило, но я согласился, имея в виду специальный характер наших, т.-е. чернопередельческих, к нему отношений: Юзов—народник и, как-никак, литератор и с подготовкой человек. В этом специальном смысле, при наличной бедности наших литературных сил, с Юзовым можно безусловно иметь дело. Я согласился. Так же смотрел на Юзова и Павел Борисович. Но у него, если не ошибаюсь, был еще другой, невысказанный, благородный, вполне характеризующий Аксельрода, мотив: он, если не ошибаюсь, не полагался на себя в народническом смысле, а ведь наш орган—народнический par excellence! Надо, стало-быть, усилить народнический элемент в органе. Этот мотив—я в этом глубоко убежден—главным образом и руководил идеально скромным Аксельродом. Теперь дело стало за тем, как найти Юзова.

Юзов в то время окончательно завладел редакцией «Недели». Его статьи тогда читались довольно охотно, даже молодежью, хотя уже тогда в них был слышан специфический букет юзовского народничества. Пристроившись в «Недели», Юзов, в 1879 году, как-то незаметно сошел с радикально-революционной сцены, на которой он в предыдущие годы нет-нет да появлялся. Он куда-то запрятался. Кого ни спрашиваешь, никто не знает, где живет Юзов. Но мы все-таки его нашли. Выручила нас польская молодежь. В Петербурге в то время была студенческая группа «Пролетариата». С некоторыми членами этой группы «Черный Передел» был в хороших отношениях. Славная это была молодежь, горячая, энергичная, интеллигентная! Сношения велись через меня. Молодежь эта не мало услуг оказывала нам. К сожалению, я запомнил лишь одну фамилию Даниловича, жившего в 90-х годах в Петербурге, в качестве врача и пользовавшегося значительной популярностью. Вот эта-то молодежь и нашла Юзова и устроила нам, т.-е. мне и Аксельроду, с ним свидание. Юзов поставил

условием, чтобы мы пришли к нему вечером и предварительно приняли все предосторожности, чтобы не притащить за собою шпионов. Мы все это выполнили с требуемой аккуратностью и добросовестностью. Сидим уже в уютном кабинетике Юзова. Хозяин принял нас, повидимому, радушно. Мы сели. Я посмотрел на Юзова. Единственный его глаз[1]) заерзал, забегал: страх, беспокойство сказались в нем. Меня охватило какое-то странное чувство: я не мог оторваться от этого глаза.—«Маленький, крошечный орган, с миндаль величиною, а в нем отражается душа человека!»—подумал я, впиваясь все больше в этот глаз. Юзов завертелся на своем стуле. Я отвернулся и почти не принимал участия в разговоре. П. Б. Аксельрод, коснувшись вкратце целей и задач нашего органа, обратился в заключение к Юзову с вопросом, не согласится ли он сотрудничать в органе. Я невольно взглянул на Юзова: то же выражение страха и любопытства.

— А кто редактирует орган?—спросил он живо, то обращаясь ко мне, то к Аксельроду. Ему назвали редакторов. Между Юзовым и Аксельродом завязался разговор. Доктоpальные, тягучие реплики Юзова раздражали меня, а некоторые его попутные рассуждения так и резнули меня по душе. Одно из таких застряло, как гвоздь, в моей памяти. Речь зашла о еврейском вопросе.

Поводом послужили, с одной стороны, массовые почти изгнания евреев из Петербурга, в виду исключительного тогда положения вещей, а с другой—всяческие препятствия, чинимые вновь прибывшим в Петербург евреям. Перед Юзовым, изволите ли видеть, явилась дилемма: дать евреям с е й ч а с все права, значит—отдать им русский народ в кабалу. Это—с одной стороны. Но с другой—как же не разрешить местожительства молодой девушке-еврейке, желающей изучить акушерство? Я передаю формулировку юзовских суждений почти буквально: Повторяю, меня тогда от юзовских суждений только претило, но настоящий их смысл я понял только года 2—3 спустя, когда Юзов вполне развернулся в «Недели» своим своеобразным народничеством. К чему, однако, привели наши переговоры? Помнится, что в конце-концов Юзов обещал дать одну-другую статью в

[1]) Читатель припомнит, что Юзова звали „Око“ за то, что один глаз был у него искусственный.

орган, но от постоянного сотрудничества уклонился. Мы распрощались. Я был не в духе. Аксельроду это бросилось в глаза, и он с участием осведомился о причине моего дурного настроения.

Противен мне этот человек!—выпалил я раздраженно.

Павел Борисович добродушно рассмеялся и, энергично ковырнув в носу, заметил:—«Не из храброго десятка, он, что и говорить!»

Надо ли сказать, что и статьи Юзова не попали в наш орган, так как орган, увлекаемый общим погромом, вскоре прекратил свое существование.

Перехожу теперь к самым тяжелым воспоминаниям о «Черном Переделе». Если в «Земле и Воле» прошла самая светлая полоса моей жизни, то в «Черном Переделе»—самая темная.

Если с «Землею и Волею» были связаны лучшие мои мысли и самые смелые мои надежды, то уже на пороге «Черного Передела» я оставил бесповоротно все это. И не потому, что я тогда был так мрачно настроен, а потому, что наше положение, в силу объективных, вне нас лежавших причин, было с самого начала безнадежно-печальное. Я присутствовал при рождении хилого больного ребенка, я был свидетелем, как он все более и более хирел, я видел его агонию и смерть. О страдании и смерти не вспоминают с светлой душой.

В январе 1880 года симптомы летального, по выражению медиков, исхода были уж на-лицо. Начался уже выезд за границу главных членов «Черного Передела»; выехали почти одновременно разными путями Дейч, Стефанович, Засулич и Плеханов. Оставаться им дольше в России нельзя было: это значило все равно, что самим им добровольно отдаться в руки правительства. Дело вот в чем. После 19 ноября 1879 года, т.-е. после взрыва под Москвою, стал упорно циркулировать слух в Петербурге, что полиция намерена проверить все паспорта, по которым прописаны и живут в столице ее граждане. Сначала этому слуху не придавали значения. Но в январе 1880 года мы убедились, что слух этот был совершенно основателен: стал фактом.

Встревожились все революционные организации, в том числе, само собою, и чернопередельческая.

В нашей петербургской группе легальных было лишь, если не ошибаюсь, четверо: я, Приходько, К—вич и «Егорыч».

Остальные—Плеханов, Засулич, Стефанович, Дейч, особенно лакомые куски для правительства, и прочие наши товарищи были нелегальны и жили либо с фальшивыми паспортами, либо с подлинными паспортами, либо по дубликатам. К несчастью, у нас паспортов последней категории не на всех хватало: не было их ни у Плеханова, ни у Стефановича, ни у В. И. Засулич. А поверка, между тем, надвигалась. Созвали совет и на совете решили, чтобы вышеназванные лица немедленно выехали,—если память не изменяет мне,—на время только за границу, пока положение дел не выяснится.

Я помню хорошо мое сердечное прощание с Плехановым, с самым близким моим товарищем еще по «Земле и Воле». Я помню хорошо также, как я проводил на Варшавский вокзал Стефановича. Была морозная, туманная январьская ночь. Мы по дороге молчали. Не до разговоров было. Когда приехали на вокзал, я было хотел сам взять билет для Стефановича, но я не успел оглянуться, как сам Стефанович быстро подошел к стоявшему у кассы жандарму и, вручив ему деньги, важно попросил его взять для него билет до Варшавы, что жандарм с почтением исполнил.— «Зачем вы бравируете,—спросил я потом Стефановича, — разве вы не знаете, что у каждого железнодорожного жандарма имеется ваша фотографическая карточка?»—«Говорят!» лаконически ответил Стефанович. Когда раздался третий звонок, мы обнялись. Свисток. Поезд тронулся. Я постоял с минуту на платформе, пока поезд, вздохнув глубоко раз-другой, не прошел мимо меня, унося с собою Стефановича, а с ним и последние мои надежды на деревню. Я поплелся домой мрачный, как могила.

Тоска и оброшенность снова охватили меня. Все прощаюсь и прощаюсь! Недавно только попрощался с Плехановым, а теперь проводил Стефановича. Лучшие люди ушли, на время ли, на долго ли—кто знает?—а с уходом этих людей с таким именем, с таким прошлым, как у Стефановича,

В. И. Засулич, Дейча и Плеханова,—душа отлетела от нашего общества, от осиротелого «Черного Передела». И началась уже агония, смерть казалась неминуемой. То, о чем я сейчас расскажу, что ближайшим образом привело к гибели «Черного Передела»—только случайность,—правда, очень роковая для нас случайность. Но и без этой случайности, все, все обстоятельства сложились для нас таким образом, что мы неудержимо шли к полному крушению. Против нас, прежде всего, был тогда объективный ход истории: настроение широких масс народа, не сознавшего себя, как класс, призванный разрушить старый строй и создать новый; настроение революционной интеллигенции и общества, искавших путей к освобождению помимо народных масс. При таких условиях революционная организация, избравшая операционным базисом своей деятельности массы и сообразно с этим строившая свою программу и тактику, должна была уже à priori потерпеть фиаско. Такой именно организацией был «Черный Передел»—и его постигла участь «безвременья»...

Были в его организации крупные люди, большие величины—слова нет! но и они оказались бессильны, и они оказались не ко двору, а потому они, и, помимо правительственных гонений, рано или поздно должны были выйти из организации «Черный Передел», чтобы развязать себе руки для более сообразной с требованиями обстоятельств деятельности. Конечно, мы тогда этого не сознавали и прали против рожна,—за что и понесли должное наказание: одних изгнало правительство за границу, других забрало в тюрьмы и погнало в ссылку.

Мне остается теперь рассказать о той печальной случайности, которая ускорила нашу гибель и о которой я сейчас упомянул. Случилось поистине глубоко потрясающее событие: убило нас предательство нашего же чернопередельца. Этого, конечно, никто не мог предвидеть и не предвидел. Страшнее этого наказания трудно придумать. Я говорю о Жаркове, ставшем предателем и шпионом. Дело было так.

Получив от нас отпуск, Жарков уехал. Прошло несколько дней и из Москвы получено известие, что Жарков арестован и арестован при весьма серьезных обстоя-

тельствах: при обыске у него нашли чуть ли не целый чемоданчик с «Народною Волею». В те времена за одиндва номера «Народной Воли», найденные при обыске, арестовывали и грозили серьезным наказанием. А тут еще масса экземпляров, да еще у рабочего-типографщика. Дело плохо. Мы считали уже Жаркова погибшим и потерянным для «Черного Передела». Он, действительно, погиб, но в другом совершенно смысле. Правительство лезло из кожи, чтобы найти типографию «Народной Воли», но все тщетно, а тут уже выросла другая, чернопеределыческая, типография. Сыск энергично взялся за свое ремесло. Жарков прибыл из Петербурга, при нем масса «Народной Воли», он—типографщик, следовательно, он работал в типографии «Народной Воли». Сыск, действительно, предъявил Жаркову такое обвинение. Мало того, сыск пригрозил ему, говорят, смертной казнью. Это вероятно, если принять во внимание, что сыск нередко прибегал к таким угрозам и запугиваниям, особенно имея дело с рабочими. А тут еще поймана птичка, вылетевшая, может быть, из самого опасного и ненавистного правительству гнезда—из «Народной Воли».

Прошло еще с неделю. Я сижу в своем кабинете и занимаюсь. Вдруг вбегает Н. П. Щедрин, возбужденный, порывистый, и веселым голосом передает мне, что он сейчас встретился с Жарковым, что он ловко выпутался из беды: его выпустили на волю. Щедрин закончил тем, что Жарков («Александр» тож) хочет-де повидаться со мною прежде, чем пойти на работу в нашу типографию.

В первую минуту я тоже очень обрадовался, но вдруг меня точно молния озарила и я воскликнул: «Николай Павлович, тут что-то неладное: как это «Александра» выпустили, когда он взят с «Народной Волей». Это подозрительно!».

Щедрин был прямо поражен моими словами, он словно сразу прозрел: «Вы правы: это очень подозрительно! Что же делать?» Мы решили так: Щедрин всячески задерживает Жаркова и под разными предлогами не пускает его ни в нашу типографию, ни на мою квартиру. Я немедленно бегу к М. Н. Ошаниной, народоволке, передаю ей, что Жарков здесь и что надо узнать через народовольческого агента (Клеточникова) о положении дела. Если не оши-

баюсь, в этот же день мы узнали все: Жарков, под угрозою смертной казни, действительно предал нас и теперь находится в распоряжении III Отделения. Над нами повисла страшная опасность и притом двойная: Жарков не только знал всех чернопередельцев, знал и часто бывал на нашей конспиративной квартире, знал помещение нашей типографии, где одно время сам работал, но знал еще многих народовольцев хорошо в лицо, частенько видел их на моей квартире. Стало-быть, его шпионство за раз грозило двум революционным организациям. Нельзя было медлить. Каждый час был дорог. Решено было устранить Жаркова, и Н. П. Щедрин вошел по этому поводу в соглашение с народовольцами. А пока-что мы решили принять всяческие меры, чтобы обезопасить себя от грозящего нам краха. Прежде всего, мы бросились искать нового помещения для типографии: мы этим надеялись спасти и типографию, и людей (товарищей).

Но—увы!—мы ничего не успели: Жарков нас предупредил. 29 января 1880 года, если не ошибаюсь, была взята типография наша; арестованы работавшие там М. Крылова, П. Тесленко-Приходько и Пьянков.

В 1881 году, 29 сентября,—скажу уж попутно,—дело их разбиралось в петербургской судебной палате. Их приговорили к легкому сравнительно наказанию: на житье и поселение в Сибирь.

Прокурор по этому поводу приблизительно сказал следующее:—«Я не настаиваю на тяжком наказании: они—не террористы, хотя и должен сказать, что по своим целям и задачам чернопередельцы опаснее народовольцев. «Народоволец» все равно, что убийца, который смело врывается в дом и убивает домохозяина, «чернопеределец» же тихо, незаметно, невидимо подрывается под самый фундамент здания, так что в один прекрасный день здание рушится, рассыпается в прах, погребая безвозвратно под своими обломками и домохозяина, и чад его, и слуг его, и все добро».

Умные речи приятно слушать даже от прокурора.

Наши дорогие товарищи действительно могли утешиться: если тогда — в 1879-80 годах—их постигла неудача, то во всяком разе они были предтечами той великой исторической работы, глубоко-трагические моменты кото-

рой мы еще теперь переживаем: рушится старое, строится новое. Продолжаю, однако, свои воспоминания.

На другой день, 30 января, был арестован в типографии Короткевич, а 31 того же месяца, как я уже выше упомянул, я был взят на квартире Короткевича. Это было уж поздно вечером. Меня повели в сыскное отделение. По дороге мне удалось уничтожить кое-какие бумаженки и адреса. В сыскном меня довольно долго продержали, пока не пришел начальник сыскного отделения, Колошкин, если не ошибаюсь. Меня позвали в кабинет. Я прошел сквозь строй, по меньшей мере, 20-25 пар шпионских глаз. Колошкин при входе моем встал и завел со мною целую политическую беседу. Мы прохаживались взад и вперед по кабинету, словно добрые знакомые. Он убеждал меня, чтобы я назвал свою фамилию (я отказался наотрез назвать свою фамилию, по понятным причинам), почему-то заговорил о каком-то Жуковском, жившем и тогда за границей, высказал свое мнение, что конституция (я в душе хохотал: вот нашел сторонника конституции!) не спасет России, что в Америке-де какая свобода, а какой там подкуп царствует, что, одним словом, для России конституция—величайшее зло и т. д., и т. д.

Разглагольствования архисыщика ни к чему не привели: я не назвался; меня на извозчике отправили в Спасскую, кажется, часть.

Выйдя из кабинета Колошкина, я увидел Е. Шевыреву. Мы переглянулись—и поняли все: взята типография, взяты также и товарищи.

В участке меня опять стали спрашивать и допрашивать, но я наотрез отказался назвать свою фамилию и дать какие-либо показания о себе. Меня отвели в «одиночку». Камера ничего себе. Обстановка обычная, достаточно известная.

Постель отвратительно грязная. Я страшно устал и повалился на кровать, не раздевшись. Спал сном праведника. Рано утром щелкнул замок, скрипнула дверь, входит фигура. «Ваша фамилия?» выкрикивает она смело, уверенно, как что-то обычное. Я спросонья чуть было не назвался, но спохватился:—«фамилии нет!» ответил я.

Два дня пробыл я в участке, как «непомнящий родства».

Больше уж не пробовали поймать меня на удочку. Было скучно, но на душе было поразительно спокойно. Чему быть, тому не миновать,—думал я.

На третий день, утром, в камеру мою входит пристав, вежливо поздоровался со мною, назвав меня отчетливо по имени, отчеству и фамилии.—Как вы узнали мою фамилию?—наивно вырвался у меня вопрос.—«Разве от нас что-нибудь скроется?» с важностью ответил пристав. Мы спустились в канцелярию, а потом, совершив еще кое-какие формальности, пристав предложил мне следовать за ним.

Мы сели на извозчика и поехали в III Отделение.

Помню смутно двор, в который мы вошли, потом подъезд и какие-то коридоры, темные и запыленные, заставленные корзинами, сундуками, ящиками, чемоданами и проч. —«Трофеи все!»—подумал я, и вдруг взор мой упал на один из сундуков, в котором я признал наш, доставленный с вокзала на квартиру Е. Н. Ковальской.—«Кончено!»—раскрывшаяся дверь в кабинет оборвала мою фразу в голове.

В большом, довольно светлом кабинете, за столом влево от входа, сидел какой-то полный, с солидным брюхом, широким лицом господин. Выражение лица важное, но не отталкивающее, скорее даже приятное, во всяком случае умное. Кажется, это был Дрентельн. Я поклонился. Мне предложили сесть в кресло vis-à-vis. Сел. Смотрим с минуту друг на друга. На одном кресле грузная, массивная, сдобная, упитанная «важная особа», «столп государственный», «муж совета и разума», на другом—маленький, худенький, тщедушный, издерганный весь «подрыватель основ».

— Ну, что вы нам скажете?—прервала молчание «особа».

— Ничего!—был тихий ответ не-особы. Пауза.

— Не знаете ли вы Преображенского, «Юриста» тож, не знаете ли «Титыча», Щедрина?

— Не отрицаю, что знакомство у меня большое, но этих лиц не знаю!

«Особа» закидывает слегка голову назад и уж насмешливо, с легким оттенком пренебрежения, растягивая слова, спрашивает:

— Ну, а Жоржа, Жоржа Пле-е-х-а-а-нова (сильно растягивает буквы), полагаю, хорошо знаете?

— Ваше дело полагать, мое—отрицать: интересы у нас различные!—ответил я, продолжая упорно ощупывать своими глазами эту сытую, довольную фигуру.

— Бедная Россия, которую вы с Жоржем Плехановым (опять растягивает буквы в фамилии «Плеханов») собираетесь спасти!

Я ничего не ответил, а смотрел в упор на особу. Тело у особы как-будто задрожало, как тесто дрожит в кадке, когда его чуть-чуть толкнут. Маленькая, неловкая пауза.

— Так вы нам ничего и не сказали!—проговорила особа, сделав какой-то знак, по которому я догадался, что наше «интервью» окончено.

Я поднялся и, молча кивнув головою, вышел. За дверьми меня ждал жандармский чин, который по каким-то ходам и коридорам провел меня в корпус, весь занятый жандармами. Меня ввели в большую в два окна комнату, довольно чистую и там, ни о чем не спрашивая меня, оставили. Кровать у левой стены, довольно чистая постель. В общем впечатление не удручающее. Только бряцанье шпор и особое, своеобразное притаптывание жандармское да наглое выкрикивание их нарушали тишину в этой мирной обители III Отделения. Первый день провел без книг. Чтобы не скучать, я занялся решением геометрических и алгебраических задач. Особенно меня заняло «выведение» формулы квадратного уравнения: долго не давалась мне эта задача, наконец, я ею овладел. Чертежи и формулы, само собою, писал на стене—бумаги и чернил не давали. На другой день, не дожидаясь моей просьбы, мне принесли какую-то книжку журнала «Дело». Любезный народ эти жандармы, особенно когда рассчитывают кое-что от вас получить. Частенько ошибаются, но все-таки пробуют. Я, видимо, был им нужен. На третий день меня, действительно, позвали на допрос. Узкая комната, неприятная. Большой стол вдоль комнаты, покрытый синим сукном. Жандармский офицер меня весьма любезно встретил и указал на место против него. Сухопарый жандарм производил неприятное впечатление. Лицо хищника. «Не слопаешь—подавишься!» промелькнула в голове злая мысль. Не буду описывать допроса. Я раньше все обдумал, да и вообще насчет допросов у нас установилась уже прочная традиция. Все, что лично, непосредственно лично ка-

салось меня, т.-е. моей биографии, я не отрицал. О деле ни слова. Когда я окончил писать свои показания, сыщик-следователь вдруг надел синие очки. «Скотина!—подумал я—ты боишься моего упорного честного взгляда!»

Прочитав мои показания, жандарм предъявил мне массу фотографических карточек. Сколько дорогих моему сердцу лиц я узнал! Я медленно перебирал одну карточку за другой, не желая расстаться с этим милым, чудным обществом.

— Никого не знаете?

— Абсолютно никого!

На этом окончился первый допрос. При III Отделении я оставался дней 8 или 10—хорошенько не припомню.

За день или два до перевода в Петропавловскую крепость меня снова позвали на допрос. Обстановка уже другая. Присутствовали два прокурора, в числе их, кажется, Гоголь. Спрашивали о чернопередельцах, взятых в типографии.

— Никого не знаю!—был лаконический мой ответ.

— Приходько?

Опять отрицательный ответ.

— Даже Приходько?—воскликнул прокурор, привскочив даже с места,—Приходько, с которым вы жили и прописаны на одной квартире?

Я попросил, чтобы мне или дали очную ставку с Приходько, или, по крайней мере, предъявили мне его фотографическую карточку. Тогда только я могу дать ответ. Мне предъявили карточку Приходько.

— Не он, не Приходько это, ни малейшего сходства с тем Приходько, с которым я жил на одной квартире. Плохая, должно быть, у вас фотография!—был опять-таки мой ответ.

Я иначе не мог поступить. Приходько жил на двух квартирах: в конспиративной, под настоящей своей фамилией со мною, и под вымышленным именем—в типографии. Последней фамилии его я не знал, но когда прокурор назвал мне всех наших типографщиков по фамилии, то я поймал незнакомую, неизвестную мне фамилию, которую я совершенно правильно, путем исключения, и отнес к Приходько. Если Приходько,—быстро сообразил я,—не называет себя по настоящей фамилии своей, то на это у него свои резоны, и я

должен поддерживать его в этом отношении, упорно отрицая тождество карточки с его личностью.

Собственно это ни к чему не привело, но этого требовала тактика показаний впредь до выяснения всех обстоятельств дела.

Больше меня не допрашивали—ни в III Отделении ни в Петропавловской крепости, когда дело мое перешло к Плеве. Вызвали меня, правда, два раза в крепости, но не в качестве обвиняемого, а свидетеля. Об этом после.

Накануне перевода моего из III Отделения в Петропавловскую крепость меня сняли. Увезли меня в крепость ночью, в карете, в сопровождении жандармского офицера и двух нижних жандармских чинов. Я выглянул в окно кареты: едем по набережной Невы по направлению к Троицкому мосту. Вот уж Троицкий мост; мрачные очертания стен Петропавловской крепости выплыли на одно мгновение. «Значит—в крепость!»—подумал я, почувствовав, что меня охватила радость. Да, читатель, р а д о с т ь, как это ни звучит странно, дико, почти уродливо! Значит—уж очень тяжело мне жилось в последнее время, что даже крепость казалась мне желанной пристанью, где бы я мог хоть немного отдохнуть и забыться. Грузно отворились ворота крепости. Мы въехали в какой-то дворик и высадились у подъезда какого-то кирпичного строения. Вошли. Неожиданный громкий крик: «стройся!» заставил меня встрепенуться и оглянуться: я увидел взвод или полувзвод солдат, отдавших честь офицеру, приведшему меня. Вошел какой-то господин, пожилой, бритый, лицо кантониста, сухое, формальное. Меня сдали этому господину. Опять повели меня по каким-то запутанным ходам, пока не очутились в довольно светлом коридоре, откуда я прямо почти попал в просторную, с с каменным полом, камеру. На постели лежало приготовленное белье, халат и туфли. Мне приказали раздеться. Меня охватила дрожь, словно я попал в погреб или ледник. Когда я переоделся в «казенное», смотритель и тюремный надзиратель повернулись и молча вышли из камеры.

Тяжелая дверь закрылась, ключ со скрипом повернулся в замке—и я остался один.

———

Приложение.

Письмо к бывшим товарищам.

Amicus Plato, sed magis amicus veritas est.

Прежде всего, товарищи, приветствую вас всех и крепко жму вам руки! Пусть этот привет и рукопожатие служат лучшим доказательством той симпатии, которую я всегда чувствовал к вам и которую я сохранил даже теперь, несмотря на наше резкое расхождение. Скоро будет полгода с тех пор, как мы разошлись. Факт этот,—крайне для меня прискорбный,—теперь уж не подлежит никакому сомнению,—так сказать, публично констатирован с первого же дня появления в свет вашего органа «Народная Воля». Вы сказали первое слово, теперь очередь за нами. Не думайте, однако, что я намерен в этом письме пускаться в подробное изложение нашей программы. Здесь это неуместно. Моя цель—разъяснить те разногласия, которые послужили поводом к нашему разделению.

Как видите, мы снова подымаем тот жгучий вопрос, с которым у нас,—я говорю лично о себе,—связано столько тяжелых воспоминаний. Вы, вероятно, помните, как я отнесся к нашему разделению. Оно произошло, когда я был в провинции. Вернувшись сюда, я застал умы до того возбужденными, что не предвидел никакой возможности предотвратить разрыв соглашением. Я протестовал тогда энергично, как умел и понимал. Я говорил, что крайне неразумно, нерасчетливо расходиться нам в то время, когда наша партия еще недостаточно окрепла, когда мы еще не успели организовать в народе достаточно солидную боевую партию, когда самое положение вещей,—беспрерывная и неустанная борьба с правительством в той или другой форме,—требует от нас большей концентрации сил и энергии. Заодно со мною стояли очень многие из наших товарищей, которые частью вошли к вам, частью остались у нас. И они, подобно мне, настойчиво отстаивали необходимость совместного действия и резко протестовали против разделения, как причины, ослабляющей наши силы. Но эти резоны, к сожалению, не привели ни к чему. Одна часть ударилась исключительно

в борьбу с правительством, считая ее злобой дня; другая, напротив, в силу естественной в таком случае реакции, стала вовсе отрицать необходимость в данный момент непосредственной борьбы с правительством и убеждала сосредоточить свои силы в народе.

Таким образом, разногласия о приемах борьбы перешли в разногласия принципиальные: вы предлагали политическую борьбу на первом плане, мы—экономическую.

В настоящее время вы выпустили публично в вашем органе с пропагандою новых принципов и новых способов борьбы. Вы зовете на этот «новый» путь молодежь, общество и всех, кто только способен к активной борьбе. Вы доказываете необходимость в данный момент политической борьбы с целью политического переворота. Не отрицая абсолютно возможности действия в народе, вы находите, однако, что «при настоящих условиях она слишком затруднена». А поэтому вы говорите: «для партии абсолютно необходимо изменить эту обстановку, необходимо обуздать правительственный произвол, уничтожить это нахальное вмешательство в народную жизнь и создать такой государственный строй, при котором деятельность в народе не была бы наполнением бездонных бочек Данаид». Независимо от этого соображения, необходимость систематической борьбы с правительством с целью «политического переворота» и «передачи государственной власти в руки народа» вытекает, по вашему мнению, из специфических особенностей современного русского государства и из отношений его к другим «социальным группам». Пока у нас не образовались классы, известным образом обособленные, с определенными политическими и экономическими тенденциями, борьба с правительством не представляет особых затруднений. Опасность наступит тогда, когда буржуазия наша, начинающая лишь зарождаться, окрепнет настолько, что захватит политическую власть в свои руки. Борьба же с буржуазным государством, конечно, по вашему мнению, не в пример труднее, чем с современным. Проповедуя политический переворот, вы, тем не менее, считаете нужным заявить, что вы отнюдь не отказываетесь от переворота экономического, социального. Последний у вас тесно срастается с государственным, который, будучи совершен, даст

народу возможность устроиться согласно его идеалам, наклонностям и стремлениям.

Мысли, высказанные в «Народной Воле», настолько важны и серьезны по своим практическим последствиям, по тому влиянию, которое они могут оказать на еще неустановившееся убеждение, что я считаю необходимым несколько остановиться на них.

Мне кажется весьма странной, чтобы не сказать больше, ваша уверенность в необходимости в данный момент политического переворота в России. Уверенность ваша в этом отношении даже доходит до того, что вы не церемонитесь назвать «предрассудком», «боязнью собственной мысли» всякое мнение, несогласное с вашим.

Общественные явления слишком сложны и обусловливаются взаимодействием слишком многих факторов, чтобы позволительно было людям интеллигентным относиться к ним так просто, примитивно. Каждый общественный деятель, тем более революционер-социалист, к которым, конечно, вы причисляете и себя, должен прежде всего уметь толково ориентироваться в этой массе разнообразных факторов. Он должен понимать и знать, что из этой массы надо выделить такие факторы, которые главным и существенным образом обусловливают это, а не другое состояние общества, эту, а не другую физиономию его. Критика современного общества убедила людей науки, что в основе его лежат главным образом отношения экономические, которыми по преимуществу и определяются остальные отношения,—государственные, юридические, нравственные и проч.

А потому, понятно, что каждая живая партия должна избрать точкою приложения своих сил базис данного общества—его экономические отношения.

Исторический опыт учит нас, что реорганизация общества на более справедливых основаниях возможна лишь при помощи экономической, социальной революции, что политические перевороты нигде и никогда не могли обеспечить народу экономическую и политическую свободу. Идеалы политической свободы,—верховное право народа, всеобщее избирательное право,—во имя которых еще так недавно совершались политические революции, в настоящее

время потеряли всякую силу и обаяние. Как продукт критики своего времени, как результат коллективной умственной работы философии XVIII века, эти идеалы, естественно, должны были служить лозунгом для передовых лучших людей Западной Европы. Политические революционеры новейшего времени, начиная с 1789 до 1848 года, не только во Франции, но и в остальной континентальной Европе, горячо верели в обновляющую силу этих политических идеалов и думали, что достаточно политического переворота, чтобы разрушить старое общество и воздвигнуть на его развалинах новое, более справедливое, и согласное с требованиями этих идеалов. Как дети своего времени, как сторонники философов XVIII века, они думали и мыслили, как эти последние, априористично и метафизически. Выдвинув на первый план априористичные, идеальные принципы,—право человека, верховное право народа,—эти люди игнорировали реальные, экономические отношения, вне которых всякая политическая деятельность становится сизифовою работою.

Вся система политических заговоров, захватов власти, пущенная в ход якобинцами 1789 года и, с легкой их руки, подхваченная якобинцами Италии, Испании в первой четверти настоящего века, может служить примером того, как шатки, непрочны политические перевороты, совершающиеся сверху «во имя народа», но без его инициативы. Да и понятно. Разве может быть прочна та система, которая основывается на принципе: «все для народа, но ничто при посредстве самого народа?» Люди, исповедующие этот принцип, само собою, отрицают всякую инициативу в народе, считают массу совершенно индиферентною, безразличною, средою, над которою позволительно проделывать всевозможные фокусы-покусы. Как бы ни были такие люди преданы народу, как искренни ни были бы их симпатии и стремления, способ их реализации должен непременно и роковым образом приводить к диаметрально-противоположным результатам.

Вспомните, напр., хоть знаменитых эксцентриков-революционеров, якобинцев 1789 года—Робеспьера, Дантона и Марата! Они сложили свою голову на плахе. Вы думаете: за народ? О, нет! За «единую, нераздельную республику»,

т.-е. за старый принцип государственности. Какова была их тактика, система? Террор, насилие и принуждение. Во имя чего они это делали? Во имя прав человека, прав народа, а особенно во имя общественной безопасности. Сторонники по преимуществу правительственной инициативы, ставя выше всего государство, якобинцы предоставляют себе, во имя громких и высоких принципов, думать и делать все, что им угодно. Абстрактно понимая свободу, они во имя ее уничтожают монополии, привиллегии, цехи и другие корпорации, и в то же время, во имя той же свободы, издают декреты, лишающие рабочих прав ассоциаций, сходок и стачек, т.-е. естественного права самозащиты. «Якокобинство,—говорит Прудон,—было главною причиною падения свободы во Франции, и оно же с 1804 года по 1815 год грозило уничтожением ее во всей Европе».

«Наполеон I, образованный в школе Робеспьера, который был у него всегда великим гением, захватив власть, сделался тотчас же идолом якобинцев. Оттого они и прозвали его Робеспьером на коне. Его 18 брюмера можно считать как бы отмещением за 9 термидора. Он заполнил якобинцами свой главный штаб, свои советы, свою адиминистрацию и всех их возвел в дворянство. Зато и секта выказала ему свою преданность; она изобрела формулу посвящения: «император значит—революция, император значит—демократия».

Таков якобинизм, каким рисует его Прудон, этот честный и талантливый защитник народных прав и интересов. Он совершенно прав, утверждая, что политическая свобода якобинцев привела во Франции к политическому рабству наполеоновского абсолютизма.

Но было несправедливо думать, что якобинцы стремились к этому сознательно. Для лучших представителей их политическая свобода была не пустое слово, не пустой звук, брошенный на ветер, а искреннее глубокое убеждение, выработанное у них под влиянием древних классиков и современной им философии. Это была своего рода религия, «благая весть», которою они мечтали обновить одряхлевшее общество и водворить царство Свободы, Равенства и Братства. Мечтатели сложили головы свои за эту свободу,

но сами вырыли ей яму, сами разбили тот кумир, которому поклонялись!

Виновата та система, те способы и приемы борьбы, которыми они хотели реализировать свой идеал, свою «единую, нераздельную республику». В последних трех словах скрываются причины и последствия их поражения и гибели. Что такое «единая нераздельная республика»? Это—абсолютная монархия Людовика XIV, говорившего, что «государство—это я», это—империя Наполеона, утверждавшего, что «империя—это революция, демократия». В основе их один принцип—государственность и централизация: авторитет и инициатива власти, с одной стороны, безгласность и подчинение массы—с другой.

Раз революционная партия выставила на своем знамени этот принцип, она—партия реакции и застоя. Она теряет почву под ногами, лишается доверия и поддержки массы и, следовательно, сама себя обрекает на поражение и смерть. Лучшей иллюстрацией могут послужить отношения французских крестьян к первой республике. Еще в своих наказах национальному собранию народ прямо заявляет, что если не будет приступлено немедленно к отмене феодального права, то он откажется присягнуть конституции, а, следовательно, и защищать отечество от грозившей ему внешней опасности. Эта угроза крестьян так сильно подействовала на законодателей, что они немедленно декретировали уничтожение феодальных прав. Что эта угроза могла бы легко осуществиться, можно убедиться на примере вандейцев. Эти последние восстали на защиту старого режима главным образом потому, что с ним невольно ассоциировалось у них представление об известной степени экономической обеспеченности.

Известно, напр., что в некоторых местностях Вандеи вплоть до самой революции сохранилось личное крепостное право, и с ним и крепость лица к земле. Благодаря этому, экономическое положение этих, крепких к земле, крестьян было сравнительно лучше, чем положение лично свободных, но обезземельных. Если к этому прибавить ту ненависть, которую питали к возраставшему в то время волонтериату все французские крестьяне, а особенно ван-

дейцы, то станет совершенно понятным, почему эти последние так отчаянно защищали старый порядок.

Роялисты прекрасно знали в этом отношении вандейцев и умели эксплуатировать их в свою пользу.

Если мы обратимся теперь к политическим движениям Испании и Италии, в первой четверти настоящего века, то найдем массу аналогичных явлений, подтверждающих вышесказанную мысль.

В Испании эти явления выражены особенно резко. В то время, как высшие интеллигентные классы, проникнутые философскими идеями XVIII века, увлекались политическими идеями французских якобинцев, народ служил слепым орудием реакции в руках попов, монахов и иезуитов. Политическая история Испании новейшего времени до последних дней состоит из беспрерывных, упорных, сопровождаемых с обоих сторон ужасными жестокостями междуусобиц двух партий: либерально-конституционной, опирающейся на войска и городское население, реакционно-монархической, опирающейся главным образом на духовенство, крестьян, разбойников и разного рода подвижной, бродячий элемент. Не проходило года без мятежа или государуственного переворота.

То побеждают одни, то другие. То заводятся конституционные учреждения, широкая политическая свобода, кипит либеральная деятельность, то все это уничтожается одним ударом: водворяется «законный порядок», упраздняются и уничтожаются нововведения, начинаются гонения, преследования, неслыханные жестокости и казни. Революционная мысль, лишенная возможности высказаться открыто, работает тайно, подпольно. Вся Испания покрывается сетью тайных обществ, заговоров. Ожидается подходящий момент, чтобы поднять знамя восстания. Так было, напр., в 1820 году, когда войска, собранные в Кадиксе для отправки в Америку, совершили военную революцию и восстановили конституцию 1812 года. Король испанский, «возлюбленный» Фердинанд, торжественно клялся в верности конституции. Но реакция не дремала. Она пошла работать тем же путем, что и революционеры. Начинается сильная агитация в среде преданных реакции крестьян, вербуются волонтеры во имя «священной войны против еретиков-революционеров», со-

ставляются банды, вспыхивают повсеместные восстания. Фердинанд благословляет «священную войну», призывает французское оружие и при помощи его подавляет революцию. Снова начинается реакция—реакция, неслыханная в летописях истории. В течение трех месяцев казнено до 3.000 революционеров!

Совершенно такую же картину, с небольшими лишь оттенками представляет нам революционное движение в Италии.

Слух о революции в Испании быстро облетел всю Европу и вызвал такие же движения, во имя тех же идеалов и принципов, в Италии. В Сицилии, Неаполе и Сардиний, почти одновременно вспыхивают восстания. Милан был взят инсургентами-карбонарами, которых в то время насчитывали в Италии до 300.000 человек. Созвана была юнта и введена конституция, буквально списанная с испанской. Король Фердинанд со слезами на глазах присягнул конституции. Но потом пошла «старая, но всегда новая история». Реакция, встревоженная этими повсеместными восстаниями, затрепетала, и «союзные армии» Меттерниха поспешили потушить революционный пожар.

Такова была судьба политических переворотов в первой четверти текущего столетия в большей части Европы. Мы видели во имя каких идеалов они совершались, какие общественные группы в них участвовали, какие средства и орудия борьбы ими практиковались и, наконец, каково было отношение к ним массы крестьянского народа. Но традиции конституционной свободы не умерли. Грянула февральская революция. Революционная волна из Франции быстро распространилась по всей Европе. «Божиею милостью» монархи-то бежали в страхе, то должны были уступить требованиям времени и, волею-неволею, дать конституции.

Таким образом, конституционные идеи, после долгой и упорной борьбы, восторжествовали во всей Европе в 1848 году.

Но торжество конституционных идей стало торжеством буржуазии.

С этого момента она выступает борцом и проводником их в политической жизни западных народов. Для нее эти идеи нужны, как средство борьбы против враждебных ей

элементов: королевской власти, где таковая есть, с одной стороны, и массы рабочего сословия повсюду—с другой.

Чем сделалась буржуазия для народа—слишком хорошо известно.

Февральская революция—это первый массовый протест французского рабочего против буржуазной формы эксплоатации его труда. С этого момента на историческую арену выступает рабочее сословие, выразителем мнений и стремлений которого в научной форме является социализм. Лучшие передовые люди на Западе отказались в настящее время от идеалов политической свободы, как отживших свое время, и избрали своим лозунгом социализм, во имя которого они организуют, сплачивают и подготовляют массы.

Задача их—реорганизация экономических и общественных отношений при посредстве народа и самим народом.

Если для вас неубедительны вышеприведенные мною факты из европейской истории, то я попрошу вас вспомнить кое-что из истории польских движений, особенно последнего времени. Главная тенденция этих движений—политическая независимость Польши, казалось, должна была бы обещать полный успех инициаторам.

Политически-национальная независимость во всяком случае—принцип слишком понятный для народа, чтобы не откликаться на него, чтобы не восстать во имя его. Образование в новейшее время независимого итальянского королевства, автономия Венгрии, независимость Румынии, Черногории, Сербии и проч.,—все это факты, говорящие в нашу пользу.

Отчего же польские восстания окончились так плачевно? Главная, по нашему мнению, причина заключается в том, что польские заговоры, агитация по преимуществу ограничивались привилегированным и городским сословием, масса же литовского и польского крестьянства не была приобщена к этим движениям.

Партия «белых», состоявшая главным образом из знатных и богатых дворян, вообще всегда была очень умеренна и только впоследствии, когда движение разрослось, она пристала к нему. До крестьян этой партии никогда дела не было: по своим традициям дворянским, она слишком пре-

зирала это «быдло», чтобы о нем думать, и слишком высоко ценила свои сословно-дворянские интересы.

Партия «красных», состоявшая из интеллигентной молодежи, сразу поставила вопрос, как следует: она поняла, что масса только тогда станет за них, когда ей обеспечат необходимые экономические льготы. А отсюда понятно, почему «красные» потребовали освобождения крестьян от крепостного права и наделения их землею без всякого выкупа. К сожалению, «красные» сосредоточили свою деятельность в городе, где их сторонниками были ремесленники, фабричные и заводские рабочие. Если бы «повстанцы» догадались сорганизовать крестьянство, то успех восстания был бы несомненен. Не только русское правительство, но и союз трех соседних государств вряд ли мог бы что-либо сделать с партизанским народным восстанием.

Если опыт западной Европы неизбежно приводит нас к отрицанию идеалов политической свободы, как средств, способных осуществить народные желания, то собственная наша история приводит нас к тому же, но иным путем.

Спокон веку наша история шла таким образом, что между государством и народом не образовались и не могли образоваться промежуточные, самостоятельные общественные группы. Наша история выработала лишь две самостоятельные враждебные одно другой силы—государство и народ.

Отсутствием указанных промежуточных групп объясняется бедность нашей общественной жизни. Общественное мнение, как выражение преобладающего в данное время направления, у нас едва зарождается. До этого у нас были отдельные лица, группы лиц—кружки того и другого направления, с теми или другими оттенками. Эти лица или кружки, не имея определенных сословных традиций, то приставали к государству, служа ему непосредственно—во вред народу, то стояли особо, образуя центр, вокруг которого группировалось все молодое, честное и интеллигентное. Задачи и цели их кружков, широта их умственного кругозора, круг их деятельность, естественно, должны были измениться со временем и сообразно тем условиям, посреди которых им приходилось существовать.

Но, несмотря на это видимое различие кружков, в них

нельзя не заметить общего, так сказать, основного тона. Этот основной тон выражается в том стремлении к умственному развитию, которое составляет характерную черту всех наших кружков в разные времена. Таковы были, напр., кружки Новикова во времена Екатерины и кружки Станкевича и Белинского в новейшее время. Умственные завоевания, сделанные западно-европейской наукой в разнообразных сферах знания, а особенно в социологии, усилили умственное брожение наших кружков, пробудили в них критику мысли в определенном социальном направлении. Раз мысль начала работать в этом направлении, она неизбежно должна притти к отрицанию современных государственных и общественных форм, как тормозов нормального развития отдельных личностей и масс. Из кружков, таким образом, исключительно «самообразования», «саморазвития» с течением времени вырабатываются группы с определенными политически-экономическими тенденциями. Являются кружки радикальные. Из области толкований, прений и самоуяснений они переходят в сферу практической деятельности—они становятся революционными. Таковы были кружки декабристов и петрашевцев. Первые имели характер по преимуществу политический, вторые—экономический. Декабристы, проникнутые политическими идеалами французских революционеров, задумали, подобно им, государственный переворот с целью освобождения России от ненавистного им правительственного гнета! Это был первый и единственный в нашей истории строго-задуманный план военного заговора. Сомнительно, чтобы они, в случае даже полного успеха, сумели удержаться на высоте своих задач и стремлений. Мы видели, к чему привел якобинизм в Европе. Дальнейшая история нашей радикальной мысли есть история развития нашей революционной партии, задачи и стремления которой более или менее известны.

Из этого беглого очерка явствует, что нашей прошедшей историей созданы такие условия, в силу которых деятельность лучшей части нашей интеллигенции должна была по необходимости получить двоякое направление: либо служить правительству, либо стать особо, воспитывая и возбуждая вначале лишь общественное самосознание, а впоследствии, с дальнейшим развитием критики мысли,—и

народное. Но становясь на сторону народа, она, естественно, должна была сделаться носительницей его идеи, которая, во всяком случае, не могла быть политической, или же потерпеть фиаско, как это было, напр., на Западе. Вы, конечно, теперь легко можете убедиться, что мы сами заражены тем неприятным для вас «предрассудком», который отрицает политическую борьбу и политические перевороты.

Впрочем, считаю нужным оговориться.

Мы восстаем против политической борьбы не безусловно, а ставим ее в зависимость от предварительной революционной работы в народе. В отношении к России необходимость этого способа действия доказывается, по нашему мнению, почти математически. Скажите, каким образом вы думаете осуществить политический переворот в России? Думаете ли опереться на какие-либо сословия, или же на собственные силы—силы партии? Кроме заговоров—дворцового и военного—мы не видим других путей для осуществления политического переворота у нас в настоящее время.

Что касается дворцового заговора, то мы убеждены, что вы не станете и рук своих марать в этой грязной работе.

Какое значение и к чему могут приводить военные революции, мы уже неоднократно говорили. Россия в этом случае не может быть исключением. Романовы, надеемся, не откажутся без борьбы, если такая понадобится, от своих «Божиею милостью» прав. Для них вдоволь хватит у нас реакционных элементов во всех сферах, чтобы с их помощью устроить контр-революцию и подавить заговор. Что за этим последует—известно. На другие же сословия, кроме военного, вряд ли сами вы рассчитываете. Это, по крайней мере, явствует из ваших собственных слов, из той характеристики, которую вы даете современному государству нашему. Дворянство, молодая буржуазия наша, литераторы, ученые и проч. не имеют у нас пока никакой самостоятельной силы, а составляют лишь неотделимую часть нашего государства, с которым они связаны более или менее искренно общими интересами. Они слишком пассивны, неопытны в борьбе, беспринципны,—кроме принципа наживы,—чтобы рисковать своим привиллегированным положением, своим кошельком ради борьбы с правительством, которого они спокон веку покорно слушались. Остается наша молодая интеллигенция

и многие отдельные личности разных сословий и положений. Они-то и составляют главный контингент нашей революционной партии, ими она восполняется и растет.

Спрашивается, что может сделать эта, сравнительно, немногочисленная группа, полная энергии и решимости, верующая в себя и в свои принципы, в смысле захвата власти, политического переворота? Не знаю, товарищи, представляете ли вы себе это конкретно. Единственное орудие ее борьбы—это систематическая терроризация правительства, в роде той, которая так ловко практиковалась польским «жондом» в последнем восстании.

Но история последнего доказала, что кинжал революционеров—недостаточно устойчивая точка опоры для здания не только политической свободы, но и национальной независимости.

Положим, что вам повезет почему бы то ни было,—ведь вся система террора основана на случайностях,—тогда правительство, напуганное и смущенное, вынуждено будет пойти на уступки, согласится созвать «обывателей», допустить Земский Собор, словом, даст конституцию.

Не знаю, товарищи, задумались ли вы крепко над тем, какие серьезные и важные последствия для народа (ведь вы все это, конечно, делаете для «народа») могут возникнуть из этого вновь созданного вами положения вещей? Вы потому именно теперь так сильно настаиваете на необходимости непосредственной борьбы с правительством и на необходимости конституционного режима, что желаете, во 1), задержать у нас процесс образования буржуазии, как экономического и политического класса и, во 2), очистить путь для более плодотворной деятельности в народе. Но поймите, что, действуя теперь таким образом, вы фатально, помимо своей воли, добиваетесь совершенно противоположного! Правда, наша буржуазия, как политическая сила, пока находится лишь в потенциальном состоянии. Но, слабая политически, она в настоящее время, при общей нашей экономической бедности—народа, дворянства и других социальных групп—составляет единственную солидную силу.

Правительство в настоящее время принимает все меры для увеличения роста ее. Покровительственный тариф, система внутренних займов, субсидии на железно-дорожные

и другие крупные предприятия,—это первоначальное капиталистическое накопление совершается с ведома правительства—для него самого и для излюбленного его детища—буржуазии.

Кроме этой непосредственной помощи, правительство способствует ее развитию и косвенно—целым рядом законодательных мер, клонящихся к «упразднению» общины. Общинное влияние, очевидное зло, стоит на дороге нашему буржуа, надо его, значит, убрать!

Каковы тенденции нашей буржуазии, привожу несколько фактов из нашей недавней общественной жизни.

В 1870 году петербургское земство ходатайствовало о введении подворного владения, а в 1872 г. мнения большинства лиц, выслушанных комиссией для исследования сельского хозяйства, высказались в том же смысле. Наконец, разосланные в 1878 г. в присутствия по крестьянским делам вопросы о замене общинного владения подворным, доказывают, что заключения комиссии приняты во внимание. В настоящее время, кажется, вошло уже в силу правительственное постановление, которым облегчается выход общинника из общины.

Разве не характерно заявление московской биржи, недавно поданное Грейгу, о том, чтобы все финансовые мероприятия правительства совершались с ее ведома, сообразно ее интересам.

Всегда осторожная, боящаяся всяких заговоров и смут, буржуазия наша, тем не менее, прекрасно сумеет воспользоваться тем переполохом, который вы намерены произвести. Когда понадобится, она обнаружит немало энергии, находчивости и ума. Найдутся писатели, ученые и ораторы, готовые защищать ее, облечь ее требования в законную форму. Да и теперь уже большинство наших ученых и публицистов, за весьма немногими исключениями, работают в пользу буржуазии. Возьмите хоть бы, напр., труды разных наших комиссий, проекты вольно-экономического, ссудо-сберегательного и других обществ, чтобы убедиться в том, что буржуазная тенденция, если не сказать наука, вполне сложилась у нас и что она ждет лишь политической арены... Вот эти-то люди,—ученые, адвокаты, литераторы, но больше

всего, и по преимуществу, капиталисты, крупные и мелкие хищники и проч., и проч.,—имя же им легион,—с остервенением набросятся на тот «общественный пирог», который будет преподнесен им Александром II, или Александром III, или же временным революционным правительством—все равно, под видом конституции. В то время, как эти жадные акулы будут пожирать и упитываться этим «пирогом», вы будете стоять в стороне и... злобствовать.

Народ же не станет за конституцию, как это было всегда и повсюду. Вы рассчитываете на избирательную агитацию, на депутатов, которые будут представлять крестьянство; напрасно—и вот почему: когда совершится переворот сверху, народ будет захвачен врасплох. Правительственная перемена, без всякого сомнения, вызовет в нем сильное брожение. Начнутся, как это обыкновенно бывает, самые разнообразные толки, имеющие непосредственное, разумеется, отношение к его земельным интересам, будут, может быть, посылаться прошения, ходоки. Могут быть даже местные бунты и всякого рода «нарушения общественной тишины». Словом, движение будет сильное, но не настолько, чтобы оно послужило в пользу народа. Что же из этого выйдет? В этом хаосе воспользуются прежде всего враждебные народу элементы, как это было и всегда. Вспомните, напр., историю крестьянских наказов перед началом великой французской революции. Как их фальсифицировали, урезывали и переделывали в средних и высших инстанциях. Весьма также интересна в этом отношении недавняя еще история плебисцита во Франции. А какова избирательная система в Великобритании, мы ссылаемся на речь Гладстона, произнесенную им в парламенте в 1872 г. по поводу ирландского земельного билля. В этой речи оратор констатирует факт, что в Англии и Ирландии помещик принуждает фермера, под страхом изгнания его с арендуемого им участка земли, подавать голос во всех общественных и парламентских выборах по приказанию лорда-вотчинника.

Подобная же система выборов будет несомненно практиковаться и у нас, как это уже происходит в небольшом виде при выборах земских и городских гласных. Какую роль играет народ в этих собраниях—прототипа будущего Земского Собора—слишком хорошо всем известно. В городе в

Земский Собор попадет богатый, влиятельный купец, в деревне в большинстве случаев—богатый, «знатный», «хозяйственный мужичок»,—надежда и радость наших либеральных публицистов и становых приставов, которые с редким единодушием относят ожидание черного передела к числу «исторических предрассудков нашего народа». В число депутатов от крестьян попадет также местный землевладелец—«барин». Все эти люди попадут главным образом вследствие экономической зависимости населения: подкуп, интрига и систематическое спаивание или прямое запугивание выступят тогда в полном блеске. Нет сомнения, что попадут в Земский Собор и честные люди, представители крестьянских интересов, но таковых, по необходимости, будет так мало, что влияние их останется ничтожным. Вы указываете на Галицию, где в 1848 году представителей от крестьян было много в рейхсрате. К сожалению, вы не приводите числового отношения этих действительных представителей крестьянских интересов к фиктивным; а без этого трудно судить об участии галицийских крестьян в избирательной агитации, а, следовательно, и о значении этой агитации. Сколько бы их ни было, присутствие их, во всяком случае, не помешало галичанам поддерживать редакционную политику венского правительства, политику, которую вы, товарищи, едва ли решитесь назвать выражавшею интересы галицийского народа. Раз мы признали, что избирательная агитация, при указанных выше условиях, будет вестись у нас неправильно, мы, конечно, не можем придавать какое-либо серьезное значение Земскому Собору, как выразителю народной воли, а, следовательно, и той конституции, которая будет продиктована этими представителями. Так я смотрю на нашу конституцию, всякую, которая добывается тем способом, какой вы рекомендуете. Но не думайте, пожалуйста, товарищи, что я вообще против конституции, против политической свободы. Я слишком уважаю человеческую личность, всех честных и искренних людей, чтобы быть против политической свободы. Как на Западе, так и у нас стремление к политической свободе есть результат нашего прогрессивного умственного развития, продукт нашего общественного самосознания—понятие вполне определенное, оформленное и ясно сознаваемое.

Для народа политическая свобода есть инстинктивное стремление к свободе вообще, она у него **всегда и непременно** ассоциируется с каким-нибудь конкретно-осязаемым представлением-фактом (право равного пользования и владения землею, право каждого человека пользоваться продуктами своего труда, право каждого взрослого рабочего участвовать в обсуждении общественных вопросов и проч.). Следовательно, говорить, что идея политической свободы для народа—вещь непонятная, ненужная—не резон. Она для него такая же необходимая потребность, как для интеллигентного. Разница в том, что эта потребность у народа срастается с другими, более насущными, основными потребностями экономического свойства. Эти-то последние должна принять в резон каждая социально-революционная партия, если она пожелает, чтобы политическая свобода была вполне обеспечена и гарантирована от узурпаций и искажений враждебных ей элементов. А это может быть достигнуто лишь организацией в народе боевой партии на почве экономических отношений, как их понимает народ. Задачи такой партии: подготовлять умы, средства и орудия борьбы—в мирное время; регулировать, направлять движение—в революционное. Чем раньше такая революционная партия сорганизуется, тем влиятельнее она будет в момент революции, тем больше она будет иметь шансов утилизировать ее в интересах народа. Для такой деятельности, понятно, требуются люди с известною выработкою характера, способные приспособляться к народной среде, организовать, сплачивать народ,—словом, требуется тип народного организатора-революционера. Если этот тип и редкость пока в нашей среде, то отчаяваться этим особенно не следует: он вырабатывается практикой, опытом, как это бывает во всякой деятельности. Притом, мы вовсе не думаем, чтобы вся тяжесть революционной деятельности в народе лежала бы исключительно на интеллигенции. Наша роль в народе—по преимуществу инициаторская, все остальное должно делаться самим народом, лучшими его представителями. Народ же давным-давно выработал этот тип. Я говорю о тех протестующих элементах, которые во всякое время можно найти в народе,—будь это сектант, в роде Никиты Семенова, или же ловкий смышлен-

ный агитатор, в роде Прядько [1]). Как энергично, ловко ведут свои дела эти народные организаторы можно видеть, напр., из недавно помещенной, кажется, в «Молве» корреспонденции из Вологодской губ. о сектанте-бегуне 20 лет, проповедывавшем свое теологически-анархическое учение в своем родном селе в виду начальства. О другом подобном типе я недавно собрал самые верные сведения. Это—женщина-шелапутка, несколько лет пропагандировавшая на далеких окраинах России, а в настоящее время она продолжает ту же работу в одной из центральных губерний. Эти типы и созданные ими организации могут служить лучшим ответом тем из наших скептиков, которые слишком мало верят в народную самодеятельность. Этот скептицизм обыкновенно происходит от недостаточного знания народной жизни, либо от преднамеренного игнорирования хороших ее сторон. А между тем, нет предрассудка более вредного, более опасного, чем этот. Обыкновенно думают, что «серая» народная масса совершенно однородна, и по двум-трем фактам позволяют себе делать обобщения. Люди, живущие несколько лет с народом, знают, какое громадное разнообразие в привычках, взглядах, в степени умственного развития и способности к активному протесту представляет этот народ в пределах даже одной волости. Такая разнородность массы составляет, по нашему мнению, самое благоприятное условие для революционной деятельности.

Настоящий момент мы считаем наиболее благоприятным и необходимым для этого. Правительственный гнет, правда, поставил нам на пути новые препятствия, но они не непреодолимы. Если трудно действовать в известном положении, то можно выбрать многие другие, менее уловимые для правительственного надзора. Напрасно вы думаете с автором письма «Из деревни» [2]), что теперь созданы в деревне такие условия, при которых революционная деятельность крайне непродуктивна, так что приходится «биться об народ, как

[1]) Фома Прядько—один из самых деятельных „дружинников“ так называемого „Чигиринского дела“,—организации, созданной Стефановичем с товарищами. Прядько был лишен всех прав и сослан в Сибирь. (См. „Чигиринское дело“. „Приложение III“ к Туну, стр. 298). 4 дек. 1906 г. *Автор.*

[2]) См. „Народная Воля“ № 1, 1 октября 1879 г. Автор этого письма—Кудряшов (псевдоним). 4 декабря 1906 года. *Автор.*

рыба об лед». Единственный вывод, который можно сделать из письма вашего автора, это тот, что в настоящее время нельзя заниматься культурною деятельностью, так как приходится каждую минуту открыто сталкиваться с такими элементами, для которых эта деятельность помеха. Но я спрошу: разве революционеру необходима такая деятельность, чтобы об ней печаловаться? Пусть об этом плачутся культуртрегеры! Революционер же всегда и при всяком правительстве найдет поле для своей деятельности—эта тайная, подпольная агитация.

Разве меттерниховская реакция помешала организации массы тайных обществ в Испании и Италии? Разве у нас военное положение мешает деятельности городского террора? Нам кажется, товарищи, что вы слишком уж мрачно смотрите на деревенскую деятельность, слишком мало верите в способность народа к революционной организации. Вы не верите в народ, вы не верите в революцию! Но что значит, спрошу вас, не верить в революцию? Разве можно не верить в то, что есть явление естественное, историческое, необходимое? Даже такие спокойные, объективные историки, как Шлоссер и Циммерман, и те верят в неизбежность революционных движений. Да иначе и быть не может. Пока будут существовать такие ненормальные общественные отношения, при которых большинство будет эксплоатироваться меньшинством, пока существует антагонизм, рознь интересов, до тех пор, говорим мы, разного рода противоречия могут быть разрешены не иначе, как революционным путем.

Если внимательно наблюдать общественные явления, то между нами всегда можно открыть такие симптомы, на основании которых можно с некоторой вероятностью диагносцировать приближение революции. Надо только иметь глаза, чтобы видеть, и уши—чтобы слышать.

Так как революция обнокновенно подготовляется исподволь, то можно заметить некоторую постепенность в явлениях. Сначала, пока патологические явления еще слабы, в массе преобладает настроение мирное, желание порешить многие недоразумения соглашением, законным путем. Это—период пассивного протеста (посылка ходоков, прошений и челобитных всякого рода).

Второй период—период активного протеста—начинается тогда, когда вера в законный путь утрачена, когда одновременно с этим патологические процессы обострились. Этот период проявляется увеличением числа преступлений против собственности, разного рода аграрными преступлениями,—наконец, более или менее крупными спорадическими бунтами. Этот же период обыкновенно бывает богат разного рода толками и «превратными слухами», волнующими и возбуждающими народ. Наконец, когда все противоречия, экономические, общественные и государственные, доходят до крайней степени своей интенсивности, тогда все мелкие, изолированные движения быстро, почти мгновенно, под влиянием случайной искры, объединяются и сливаются в одно разрушительное революционное движение. Это—третий период—революционный. Для революционной партии, в подготовительном смысле самый важный период—это второй. В этот период партия должна напречь все свои усилия, всю свою энергию, чтобы во чтобы то ни стало организовать революционную партию в народе. В противном случае она рискует быть застигнутой, как «тать в нощи», т.-е. не воспользоваться результатами революции. Необходимость этой партии во второй период важна еще в том смысле, что партия может значительно ускорить исход его, бросить ту искру, которая нужна для революционного пожара. Она может, если найдет нужным, часть сил отрядить в город. Крупный террористический поступок в городе в известный момент может быть очень кстати. Неожиданный, смелый удар сверху, целый ряд систематических нападений снизу разрушат старый экономический и государственный строй, и на развалинах воздвигнуто будет новое, созданное самим народом общество.

Какова будет форма нового общества, и как скоро и быстро совершится процесс разрушения старого, мы об этом пока говорить не будем. Но что мы в настоящий момент переживаем второй, критический период, мы в этом глубоко убеждены.

Положение нашего крестьянства, по сознанию даже легальной литературы, поразительно напоминает положение французских крестьян в конце XVIII века, накануне революции. Все остальные симптомы, которыми характеризуется второй период, выражены теперь очень ясно.

Ближайшей задачей нашей, следовательно, должна быть организация теперь той народно-боевой партии, о значении которой мы уже говорили. Если мы этого не сделаем, если мы к этому не подготовим народ, революционное движение, как всякое стихийное движение, может пройти грозою через всю Россию, не принося народу ничего существенного.

Революционная партия, которая отказалась бы теперь от народа, стала бы партией застоя и реакции.

Тяжелое, подавляющее впечатление производит на нас теперешнее положение революционной мысли.

Под влиянием исключительных условий минуты, люди фактически отказываются от живых, признанных наукою принципов, ради будто «новых», но в сущности давным-давно отживших и отвергнутых наукою. И люди вздумали расходиться в самый критический момент как партийной, так и народной жизни.

8 декабря 1879 года.

Заключение [1]).

Мы прожили 10 лет революционного движения, 10 лет непрерывной борьбы, страхов и опасений. Нам пора оглянуться назад и окинуть пройденный нами путь. Революционная деятельность наша в деревне, как мы видели уже, привела нас к следующему горькому выводу: мы ничего не сделали в народе, ничего, как социалисты и очень мало, как народники. Где же причины этого рокового явления? Кроятся ли они во внешних влияниях—в условиях политической организации родной страны нашей, с одной стороны, и особенностях народной среды—с другой? Или же глубо коренятся в самой партии: ее деятели оказались слабыми, неподготовленными к такой серьезной работе? Мы думаем, что неудачи наши в деревне обусловливаются

---

1) Заключение это написано в 1883 году к воспоминаниям моим о землевольцах и семидесятых годах. Воспоминания озаглавлены „Из недавнего прошлого". Начал я писать свои воспоминания в конце 188: года в Уст.-Мае (Якутской обл.). Я остался совершенно один: каракозовец П. Ф. Николаев переехал в Батуруский улус, а Волков (шестидесятник тоже) уехал куда-то надолго искать работы. На меня нахлынули недавние переживания и я торопливо, без системы и плана, набросил на бумагу все, что просилось наружу. Так появилась первая версия моих воспоминаний. Помню хорошо, что я много места уделил революционно-народнической идеологии („доктрине", как мы тогда говорили), сравнивая и сопоставляя ее с учением социализма на Западе,—как оно, это учение, идейно переломилось и практически вылилось в полярно-противоположения построения у германских и романских народов. Эти первые мои наброски (ибо это была лишь куча набросков) читались моими товарищами по „Земле и Воле", а равно и Вл. Гал. Короленко, с которым я жил, по переводе моем в слободу Амга (тоже Якутской обл.). Он, по-видимому, читал их внимательно и с интересом, ибо когда я, по экспансивности своей, уничтожил этот набросок и стал уже писать обдуманно и систематически свое „Из недавнего прошлого", В. Г. Короленко, когда, застав меня за работой, узнал об этом, проронил с досадой:—„А жаль,—народничество изложено хорошо!" (приблизительно так). Я потом уж и сам жалел не раз, но: что с воза упало—то пропало. Так появилась вторая уже версия моих воспоминаний („Из недалекого прошлого").

Считаю еще нужным оговориться. Ни это заключение, на воспоминания мои в целом—отнюдь не предназначались для печати, а написаны исключительно только pro domo sua: для товарищей. *А.*

не одной из указанных мною причин, а всей совокупностью их, с весьма значительными, впрочем, ограничениями для каждой в отдельности.

Что политический гнет тормозил революционное дело —это не подлежит ни малейшему сомнению. Но было бы, по-моему, по меньшей мере, легкомысленно все взваливать на голову правительства. Неправы были, поэтому, народники, упрекая террористов в том, что будто бы их деятельность обострила правительственную реакцию, создала в деревне непреодолимые для «деревенщины» препятствия. Террористы совершенно резонно указывали им на то, что первые революционные поселения 1877 года были разбиты тогда еще, когда и помину не было о терроре. Точно также весьма плохо связаны с террористическою деятельностью и деревенские погромы 78 года. Ново-Саратовское поселение, пожалуй, до известной только степени обязано 2-му апреля своим распадением.

В течение всего 79 года, несмотря на все разглагольствования на эту тему «деревенщины», не было сделано ни одной серьезной попытки обосноваться в деревне. Попытки Стефановича в конце того же года были настолько слабы, что об них даже говорить совестно. Ему самому, по многим причинам, нельзя было делать разведок в той местности, где он раньше работал, а потому он избрал для этого других. Но выбор, по-моему, оказался не совсем удачным. (N B. В числе эмиссаров был, помнится, П е т р о в—неподходящий для такого серьезного дела человек. А. Июнь 1921 года). И действительно. Они ровно ни к чему не прицепились и вернулись ни с чем. Военное положение, дескать, создали здесь такую обстановку, что сам чорт себе голову сломает. В этом же смысле объяснил мне Стефанович и причину его отъезда за границу. Может быть, это так. Но мне и тогда казалось,—а теперь я убежден в этом,—что никакое военное положение не в состоянии убить ж и в о е дело: военное положение могло только о б о с т р и т ь борьбу, если бы п о ч в а д л я б о р ь б ы в д е р е в н е о к а з а л а с ь. Исход борьбы, при н е р а в е н с т в е б о е в ы х с и л, мог и должен был окончиться поражением одной какой-либо стороны. Возможно, что разбитой стороной оказалась бы революционная партия. Пусть

так, но, по крайней мере, была бы битва; на поле битвы, говорят, и смерть красна.

Наша же деревенщина терпела поражение за поражением, не выпустивши, так сказать, ни одного заряда. Многие сами, без всякого со стороны правительства толчка, бежали без оглядки из деревни: деревня, очевидно, опротивела им хуже самого правительства. Но мы, тем не менее, сваливали свои неудачи на правительство; люди, казалось, боялись отдать себе отчет в том, что происходило вокруг них.

Они, очевидно, предпочитали смотреть на дело с закрытыми глазами.

Утверждение террористов, что масса инертна,—приводила народников в ярость. Никто из нас не в состоянии был отразить это мнение дельными аргументами, или фактами из народной жизни, а ограничивались лишь общими пустопорожними местами. Я не виню народников — боже упаси! Я знаю, как им тяжело было. Больно было разорвать со своим прошлым, больно было выбросить в один мах за борт все свое состояние. Такой опасной операции не всякий способен подвергнуться и безнаказанно выносить. И народники, точно загипнтизированные, топтались на одном месте.

Горькие испытания выпали на долю революционной партии с самого начала. Вспомним, какое это было тяжелое время, когда партия выступила на революционное поприще. То была, как мы уже видели, пора ликвидации старых, отживших форм жизни и построения новых.

В такое время водрузить революционное знамя—дело в высокой степени трудное и рискованное. Трудное потому, что еще не успели выясниться вполне действительные страдания народа, его живые идеалы, не сказались еще его настроение и поступки. Рискованно потому, что при таких запутанных условиях легко наделать массу промахов и, таким образом, подорвать авторитет партии. Так именно и случилось. Мы выступили на революционный путь, когда едва только началось серьезное пробуждение народа. Что же нам было известно о народе? Народ плохо живет, крестьянская реформа только ухудшила его положение; народ стремится страстно к земле. Вот и все. До нас дохо-

дили еще известия о происходивших то там, то сям крестьянских бунтах. Мы не вдумались в истинный характер этих фактов и поторопились дать им ненадлежащее объяснение. Нам казалось, что эти бунты могут служить верным показателем народного настроения, порожденного новыми условиями его быта. А потому, думали мы, бунты эти должны в будущем все более и более расти. Наша, стало быть, провиденциальная миссия—обобщить эти разъединенные спорадические бунты в цельные организованные восстания. На самом же деле это было не так. Смысл крестьянских бунтов второй половины 60-х годов и начала 70-х совершенно противоположный. Это были, так сказать, запоздалые волны крепостных порядков, наследие прошлого, факты исторического переживания, но отнюдь не продукт новых общественных отношений: бунты эти должны были, стало-быть, наоборот, по мере того, как отношения между помещиками и бывшими крепостными улаживались, убывать и убывать.

Факты вполне подтверждают это. В начале 70-х годов таких бунтов было сравнительно с концом 60-х—ничтожное число; во второй половине этого десятилетия о бунтах и слуху даже не было. Таким образом, в первое десятилетие революционной деятельности (69—79) масса не проявила себя ровно никакими актами, по которым можно было судить об ее настроении в то время и о возможных ее действиях, согласно этому настроению, в ближайшем будущем. А между тем, названные нами бунты, как факты, желательные для революционной деятельности, легли в основу народнической программы. Ясное дело, что партия, если не рассуждала á priori, то была введена в заблуждение названным бунтами. Также сомнительную услугу, как и бунты, оказали, по-моему, нам наши совершенно произвольные понятия о расколе, общине и «народных идеалах» вообще. Начнем с раскола. Нам было известно, что раскол охватил громадную полосу России и почти 10 миллионов ее населения. С легкой руки Щапова, а потом Кельсиева и других, стало вдруг, несомненно, известным, что раскол составляет клад для революции. Между тем, видите ли, есть бегуны—упорные и последовательные отрицатели существующего строя. И бегуны, как и другие раскольники, приняты во

внимание и вводятся в программу, как желательные элементы для революционной деятельности. Собираются многочисленные сходки молодежи и читаются пространные рефераты о раскольниках, при чем с апломбом доказывается, что стремления раскола якобы сходны с стремлениями революционной молодежи. Но откуда это взято? На чем оно основано? Ведь это значит только плодить недоумение на недоумении и сбивать с толку без того неустановившуюся еще революционную мысль. Раскол, говорят нам, служит протестом автономно-областной России против России государственной. Может быть, оно и так, но во всяком разе было это при царе Горохе. В настоящее же время раскол представляет собою застывшую в ее догмах организацию, способную только на то, чтобы эксплуатировать безбожно остальное крестьянство.

Раскол, говорят нам, играл главную, если не исключительную, роль в Пугачевщине. Ну, так что же? Ведь мы живем не в XVIII, а в XIX веке: возможно ли сравнивать такие несоизмеримые величины? Разве мыслим теперь Пугачев—раскольник и его знамя? Нельзя же, в самом деле, так злоупотреблять историческими фактами!.. Я понимаю, что обязательно, но и необходимо считаться с прошлым нашей истории, желательно и полезно допрашивать его и искать в нем объяснений настоящему, но, смею думать, отнюдь не в той форме, как это делалось у нас. Ведь, если мы сознательно и не подтасовывали фактов, то, во всяком разе, не в обиду будь нам сказано, мы допускали не малую передержку их. Четыре года сряду нас немилосердно угощали расколом и разными его прелестями, большая часть которых—мечта, по меньшей мере.

Четыре года сряду, говорю, мы носились, как с писанною торбою, с Разиным, Пугачевым, Белавиным, расколом, казачеством, общиной, о которой мы тогда мало знали, с «народными идеалами», о которых мы и поныне обретаемся в полной неизвестности. Факты седой старины, давным давно отжившие, факты, весьма близкие к этому и, наконец, не совсем еще выяснившиеся течения современной жизни спутывались самым прихотливым образом и легли в основу народничества.

Практика убедила нас, что социализм не по плечу рус-

скому народу и мы отказались от него, урезали собственные идеалы до возможного minimum'a,—до народничества.

Благо, если бы народничество представляло собою нечто, хотя и урезанное, крошечное, но, по крайней мере, цельное и достоверное, с которым, в видах практически-революционных, можно было помириться. Но, к сожалению, в том виде, в каком оно появилось в конце 76 года и оставалось вплоть до конца 1879 года, оно не представляло собою ничего цельного и достоверного.

Партия выдвинула народничество в силу практических мотивов главным образом. Это, конечно, резонно, но только до известной степени. Практические соображения не должны довести ни отдельного человека, ни тем паче революционную партию до их обезличения, а потому урезывание собственных идеалов должно практиковаться с крайней осторожностью.

Партия была убеждена в 1878—79 годах, что осуществление народных идеалов откроет путь социалистическим идеалам, социалистическому строю. Ну, а если бы этого не оказалось, как поступила бы партия? Какую программу требований выставила бы она тогда?

В основу революционной программы должны прежде всего лечь те руководящие начала, которые выражают собою назревшие прогрессивные стремления как народа, так и общества.

Такая программа, если не вполне, то хоть до известной степени, будет выражать также и стремления самой партии. Партия не станет с нею в противоречие и ее делу можно предсказать успех. В ином совершенно положении находилась революционная партия с ее программой. Правда, партия была убеждена, что ее программа вполне удовлетворяет только-что указанным нами условиям, но это был лишь самообман, чтобы не сказать больше.

Как продукт того хаотического времени, народничество носило на себе явственный отпечаток его: все было скомкано, спутанно и не выяснено. Анархия мысли была полнейшая. Мы уже видели, как истолковывала партия крестьянские бунты и раскол. Так же, по меньшей мере, распоряжалась партия с нашим прошлым. Бунт Стеньки Разина, Пугачевщина, Булавинский бунт, казачество и проч.,

—явление, несомненно, интересное, но только в историческом смысле. Но в каком ином еще смысле можно говорить о них? Пусть эти явления «представляют самую светлую страницу нашей истории», пусть, как особенно любили выражаться наши революционеры в то время, «через все наше прошлое красною нитью проходят общие (? А. 1921 г.) федеративные начала» («соборное начало» «Русской Мысли»). Пусть так, но к чему это меня обязывает в ближайшей практической деятельности? Какие указания дают они мне для этой практической деятельности? Ведь наши идеалы, смею думать, не позади, а впереди. Никому, конечно, не возбраняется восхищаться прошлым, но истинно критически мыслящая личность может удовлетворяться лишь теми идеалами, которые лежат впереди ее. И чем шире и глубже идеалы личности захватывают жизнь, тем обязательнее для личности пользоваться всеми **творческими силами данного времени**, чтобы приблизить желательный для реализации ее идеалов момент. Личность живет и работает не в пустом пространстве, а в общественной среде. А только эта среда, а ничто иное, налагает на нее известные обязанности и вынуждает ее к известным действиям. С этой средой необходимо считаться: ее симпатии, задачи и идеалы имеют решающее значение для нашей практической деятельности. Прошлое этой среды, будучи интересно и важно в историко-философском отношении, не имеет императивной силы для данного ближайшего момента действия.

Да и не всякое прошедшее влияние может пойти в счет: иное, в свое время важное, до того стерлось и сгладилось в быстрой смене исторических событий, что трудно теперь отыскать и след его. Пугачевщина, несомненно, самое крупное общественное явление XVIII века. Она произвела глубокое впечатление на народный ум. Но для всякого непредубежденного человека очевидно, что традиции ее теперь с каждым годом все более и более слабеют.

Близок час, что сам Пугачев обратится в миф. Какой же резон этот миф то-и-дело выдвигать на первый план? Зачем это землевольцы, при каждом удобном и неудобном случае, в беседах, на сходках, в самом органе, наконец, преподносили нам это прекрасное историческое блюдо, от

которого в настоящее время может нам только непоздоровиться? Мне не хотелось бы упрекнуть моих товарищей, с которыми меня связывает лучшая полоса моей жизни, которых я любил и уважал,—что они были несовсем искренни и недальновидны. Но манера, с которою они защищали свою программу, способ, которым они пользовались при группировке и освещении исторических и современных фактов, вызывает краску стыда на моем лице: мне больно и стыдно за них и за себя. Я уж не говорю о строго-научных приемах мышления—хотя и это обязательно для людей партии,—я говорю о простой логике, которая зачастую совсем отсутствовала. Запомнить и перечислить все промахи—нет никакой возможности и я упоминаю о них лишь затем, что мне хотелось бы, чтобы товарищи мои без боязни взглянули на свое прошлое и исправили свои вольные и невольные грехи.

Подобно Пугачевщине, народники не в меру славили наше казачество, как иллюстрацию «исконных идеалов народа».

Кому же, спрашивается, не ясно, что казачество служит наглядным примером исторического переживания? Какие это живые сознанные идеалы казачества, которые резко выделяют его, ну, хоть бы из среды серой массы великорусского крестьянства? Где вольный дух «славного казачества»? До сих пока, несомненно, известно, что казачество «с верою и правдою» служило русским царям и не мало содействовало угнетению крестьянской массы.—Известно также не менее достоверно, что казачество относится с глубоким презрением к крестьянству. Революционная партия действительно должна считаться с этою, хотя и вырождающейся, но пока еще весьма опасной для народной вольности группой. Только постановка вопросов и задачи должны быть иные. Не-зачем возвеличивать казачество до седьмого неба, не-зачем приписывать ему такие добродетели, которых у него нет. Необходимо связать единым принципом, единым требованием дело казацкое с общенародным.

И факты, насколько они известны, говорят в пользу своевременности и возможности такого способа действий. Казачество, как особое военное сословие («Войско»), выро-

ждается. Военные люди говорят, что казацкое войско, при современном состоянии милитарного искусства, становится ненужным, так что роль казачества сводится на весьма специальную и обидную для его престижа функцию служить «внутренней охраной». Кроме того, правительство целым рядом мер стремится, очевидно, похерить казачество и уравнять его с другими сословиями. Отчасти при содействии правительства, отчасти независимо от него, в среде казачества начался глубоко-разрушительный процесс хищений и захватов казацких земель высшими чинами казацкого войска. Обособилась значительная группа казацкого пролетария, которая, относясь с презрением к русскому крестьянину, платит ненавистью своему брату-казаку—выскочке казацкому. На этой почве, как это ни трудно, возможно и необходимо единство крестьянства с обедневшим казачеством. Другого пути для нас не видим.

Равным образом необходимо изменить свои взгляды и отношения к расколу. Ошибочно думать, что раскол представляет благоприятную почву для революционной деятельности. В этом отношении разницы никакой от остального русского населения. Но завести с ним связи, во всяком случае, желательно и целесообразно.

Как готовая организация, раскол, как и казачество, может нам оказать немалую услугу: от него можно получить массу сведений, указаний всякого рода, укрывательство и прочие услуги, крайне необходимые в деревенской деятельности.

Описанными недоумениями не исчерпывается вся умственная путаница народничества того времени. Главный узел всех несообразностей лежал в ложном и произвольном толковании народной жизни, что породило массу нелепостей и превратило народничество в какое-то попурри крайних экономических воззрений, с одной стороны, и консервативно или безразлично (что еще хуже) политических— с другой. Допустим, что исконные идеалы, общинные стремления и проч. прелести, которыми так щедро награжден народ, не подлежат ни малейшему сомнению. При таких предположениях положение революционной партии было бы довольно удовлетворительно: партия могла бы взять на себя

миссию служить выразительницей и защитницей той общественно-экономической организации, за которую народ стоит и которая, вместе с тем, не противоречит собственным идеалам партии. Но этого,—увы!—не было... Единственное, что было известно, как достоверное и всенародное стремление—это тяготение народа к земле. И только. Во всем остальном разительное различие и пестрое разнообразие во взглядах, симпатиях и наклонностях, а, вообще, —непроходимая тьма. Партия толковала об общинных стремлениях народа, упустив из виду два обстоятельства.

Во-первых, община переживает в настоящее время глубоко-критический процесс, исход которого внушает немало опасений друзьям ее. Во-вторых, общинные стремления не составляют отличительной черты всего русского крестьянства. Индивидуалистические идеалы малороссов и белоруссов, полагаю, не таковы, чтобы революционная партия могла взять их под свою защиту. Между тем, партия говорила об общине в таком тоне, как-будто оно—явление универсальное в России, так что с этой стороны все обстоит благополучно. Как же это? Отчего партия отмалчивается на этот счет? Отчего она не установила прямо своих отношений к невеликороссийским национальностям? Или революционная партия была исключительно великорусская, а не всероссийская? Одно из двух: или партия должна была твердо установить свои руководящие начала и всячески защищать и проводить их в жизнь, или же чистосердечно признаться, что ее идеалы политические опередили Россию и потому она ограничивается скромною задачею осуществить единственное реальное требование народа: передать в его руки землю. Что же касается всего остального, то ни сама партия, ни народ ничего об этом не ведают и не знают, а представляют все дело на волю божью: «Бог не попустит, свинья не съест». В первом случае партия, как мы ее понимаем, имела бы определенную физиономию, а во втором—партии бы, конечно, не было, а была бы группа людей без всяких претензий, преследующих определенную специальную задачу и осуществляющую ее определенным образом. Но народники вообще и землевольцы в частности и не думали ограничиться такой скромной ролью, и сваливали в одну кучу и свое и якобы народное,—и в итоге получилась непозволительная, неосмысленная, проти-

воречивая амальгама прогрессивного с реакционным. Согласимся с революционной партией, уверуем вместе с ней (ибо партия, несомненно, отчасти искренно верила в это), что общественные идеалы всего русского крестьянства совпадают с нашими, тогда, при такой выгодной для партии уступке, остается еще целая, в высокой степени важная сторона, которую партия непростительно упорно игнорировала. Мы говорим о политических идеалах народа. Как партия могла так слепо смотреть на политические воззрения народа? Неужели она не замечала, что политические идеалы народа, с позволения сказать,—мертвая петля, душившая нас столько веков и теперь грозящая задушить нас, если мы не одумаемся, в свое время не оставим игры в жмурки? Партия ни разу не ставила этого вопроса ребром, ни разу не отнеслась к нему прямо, а как-то умела скрываться в тумане исторических примеров, в роде Пугачевщины, казачины и прочих, якобы, несомненно доказывающих тяготение народа в сторону федерализма. Современное же идолопоклонство народа,—за исключением, может быть, сектантства, о котором мы тогда мало знали, а ныне не больше того,—партия не замечала, словно она не на земле живет, а на луне. Или, может быть, партия думала, что царизм (политический идеал большинства народа) может вполне ужиться с более справедливой в общественном смысле организаций? А в таком случае зачем было ссылаться на «светлые страницы нашей истории»—Разина, Пугачева и проч.? или народ федералист, или закоренелый монархист?

Но партии, повторяю, обязательно было определенно высказаться насчет этого, выяснить свое отношение к политическим . . . .

. . . . [1]

---

[1]) Последние две строки дотого смыты и стерты временем, что едва-едва отдельные буквы просвечивают. Буквально я этих строк, само собой, восстановить не могу, но смысл их—ручаюсь за это—таков. Наша позиция в политическом вопросе была крайне колеблющаяся: то мы, подражая Герцену (если не ошибаюсь), считали царя за „историческое недоразумение“ народа, полагая, что народ—анархист по природе и ни в каких царях, князьях нужды не имеет: сам со всем справится; то народ—за царя, но какого?—„выборного“, „миром“ поставленного, „землею“ излюбленного и т. д., и т. д. Попали в мертвый круг и никак из него выбраться не могли...

Большая у нас была на этот счет путаница в головах!.. *А.* 1921 г.

Такое отношение для партии по меньшей мере непростительно. Чтобы лучше охарактеризовать туман, существующий в нашей голове по отношению к политическим вопросам, я должен здесь отметить одно крупное влияние, которое, вместо того, чтобы внести порядок в наши мысли, подействовало на нас совершенно парадоксальным образом, спутало нас еще пуще прежнего.

Я говорю о критике западно-европейского строя, вообще и о социализме—в частности. Мы уже видели, какой тяжелый внутренний процесс пережила наша молодежь перед выступлением ее на революционный путь. Она искала живого дела, без этого ей грозила нравственная смерть. Наша литература, по крайней мере, в лице лучших, благородных ее представителей, о которых мы выше говорили, непосредственно ей ответа не давала. Критерий «целостности личности, единстве строения и отправления, гармония средств и целей»[2]) чист и безупречен, как дева. Для теоретической работы он дает очень много, но в практическом отношении он почти бесплоден: он не говорит нам, что надо сейчас делать, не указывает нам путей, при помощи которых возможно было хоть минимально осуществить этот светлый идеал. Осуществление его улыбалось нам в далеком-далеком будущем, а настоящее, между тем, как кошмар, мучило и угнетало нас. Это настоящее было ужасно. Целый ряд явлений прошел перед нашими глазами. Мы не могли разобраться в них, не могли извлечь из них какой-нибудь положительный вывод. Противоречия общественные оттолкнули нас и мы бесповоротно отринули их. Отрицание, как видите, было, но положительных идеалов, практически осуществимых, не было. На выручку к нам явился социализм с его критикой существующего и с положительными его идеалами. Предшествовавшей работой мысли и переживаемым тогда нами душевным настроением, мы оказались вполне готовыми для усвоения социалистических идей.

Чем обязывает нас социализм? что предписывал он нам?

Социалистическая критика убедила нас, во-первых, в том, что современный экономический строй держится на

1) Н. К. Михайловский. Что такое прогресс? (стр. не помню)
Л. 15/VI 1921 г.

эксплоатации человека человеком. Этого не должно быть. Во-вторых, та же критика научила нас, что всякая политически-общественная формация покоится на экономическом базисе, на котором воздвигаются и строятся все остальные отношения—семейные, правовые, политические и проч. А потому центр тяжести практической деятельности, а тем более революционной, должен лежать на экономической почве: экономические отношения ближе всего захватывают интересы и легче объединяют их для совместной борьбы.

Наконец, в-третьих,—идеалы политической свободы, за которые проливал свою кровь западно-европейский рабочий, не облегчили его участи, а выдвинули лишь на общественную арену новую социальную группу—буржуазию с ее специфическими орудиями эксплоатации. А потому, решили мы, нам, русским революционерам, отнюдь не следует гнаться за политической свободой, не следует тратить на нее свои силы, если мы хотим избавить народ от такой же формы эксплоатации труда, какая существует на Западе. Буржуазия, рассуждали мы, пока у нас еще в зародыше, но она не замедлит явиться на другой же день политической революции. Она явится, обезземелит народ и пустит его по миру. Наша цель—социальная революция; средство для этого—сам народ, который породил бы восстание: революция снизу, а не сверху. Успех социализма ослепил нас и толкнул на этот путь. Мы ожили, но—увы!—не надолго. Первые и последующие социальные походы наши в народ окончились полным поражением. Урок этот не пропал для нас даром. Мы решили сократить свои идеалы, уменьшить их и создали народничество—компромисс между нашими политическими воззрениями и воззрениями якобы народа. Мы ничего не имели бы против этого, если бы партия установила свои руководящие начала, с одной стороны, и пункты соглашения с народными воззрениями—с другой. Партия этого не сделала, да и не могла, по правде сказать, этого сделать. Смутные, несознанные стремления народа, какими они были тогда, да и теперь еще остаются, не поддаются формулировке. Общинными стремлениями народа, будь они даже универсальны, не исчерпывается все содержание на-

ших идеалов: с общиною, как мы это прекрасно знаем, легко уживается и может ужиться самая неограниченная деспотия. Да и община—общине рознь. Стихийно созданная община, как Великорусская, не может последовательно и логически проводить свои принципы во все отношения людские. Продукт бессознательного процесса мысли, община лишена творческих сил: под гнетом событий или она совсем каменеет на некоторое время, или развивает замечательную способность приспособления—приспособляется, но не приспособляет к себе условий жизни, что, в конце концов, приводит к распадению ее. Только сознательно построенная община может гарантировать нас от вторжения враждебных ей элементов; только такая община может охватить своим духом все отношения—семейные, общественные и политические.

Партия наша не приняла этого во внимание и возымела намерение, путем исторических фактов и логических построений, создать из русской общины, бессознательной и распадающейся, чуть ли не доктрину, целую систему идей, согласно которой можно преобразовать, в народном смысле, современный общественный строй. Революционное наше народничество представляет, по-моему, весьма удобный пример, в котором наглядно сказалась предвзятость мнений. Наши убеждения сложились. . . . . (NB совершенно неразборчиво. А. 1921 г.) и влиянием критики западно-европейской мысли. Мы выступили на революционное поприще с готовыми решениями, взятыми с иностранной жизни и литературы, не сличенными с русскими условиями. Под влиянием опыта мы вынуждены были проверить наши готовые формулы. Но жизнь наша, к сожалению, не давала нам для этого подходящего материала, не давали ничего и наши люди мысли. У нас же самих не хватило ни знаний, ни синтеза, чтобы создать нечто подходящее к нашим условиям. И вот, под гнетом сознания необходимости этого нечто, с одной стороны, и поверхности знаний—с другой, мы и создали нашу народническую программу, якобы выражающую собою наши стремления и стремления народа. Но если внимательно вглядеться в эту программу, то мы узнаем в ней нашего

старого знакомого—социализм, только общипанный, и . . . . . . (неразборчиво. А.) до-нельзя. Даже в самый разгар увлечения народничеством мы остались верными сынами социализма, верными, по крайней мере, критике его. Наши отношения к экономике остались те же. Но это ничуть не облегчило нашей задачи, не выпутало нас из затруднений как теоретических, так и практических. Мы, попрежнему,—правда, не всегда последовательно, открещивались от политической борьбы, как от дьявола. Мы совершенно упустили из виду, что положения, заимствованные нами с Запада, имеют силу только относительную, силу эмпирических обобщений—самое большее.

Если оставить в стороне вопрос о генезисе экономики и политики, т.-е. что было первоначально первичным, что производным явлением,—спор ничего не выяснявший, а то только затемнявший вопрос,—то дело представится нам в таком виде.

И политика и экономика, в течении всей истории человечества, шли рука об руку, параллельно, друг друга обусловливая, друг на друга действуя. Важно, стало-быть, указать, который из двух взаимодействующих факторов оказывается превалирующим в данный момент. По отношению к России, вопрос об экономике и политике представляется, по-моему, в менее запутанном в настоящее время виде, чем где бы то ни было. У нас очевиднее, чем где бы то ни было, что политическая организация (понимая это слово в более узком смысле,—правительство) является исключительно экономическою силою, угнетающею народ. Другие общественные группы слабы и ничтожны,—политически и экономически.

Буржуазия у нас не имеет будущего; стало-быть, опасаться ее нечего. Считаться обязательно необходимо не с ней, а с правительственной организацией. Непростительно, стыдно и позорно отварачиваться от политической борьбы! Ошибочно, будто политическая свобода ухудшила положение рабочего класса. Политическая свобода сделала для рабочего все, что было возможно: она разбила средневековые оковы, тяготевшие над ним и, как одно из деятельных орудий культуры, способствовала в сильной степени росту его личности. Она несомненно гораздо бо-

лее сделала бы в этом направлении, если бы развитие политической свободы шло прямолинейно, равномерно, а не скачками, порывами и пароксизмами. Западно-европейский рабочий настолько теперь развит политически, что, смею думать, он ни за какие коврижки не согласится вернуть «старый порядок». Экономически ему теперь хуже, но в этом отнюдь не виновата политическая свобода. Напротив, он убежден—и это твердили ему неустанно верные друзья его,—что без широкой политической свободы ему никогда не удастся осуществить желательный экономический строй. Политическая свобода открывает ему широкий простор для экономической борьбы, в той или иной форме. Экономическая борьба создает школу, где вырабатываются не только боевые силы, но и общественные, альтруистические чувства рабочего класса. Рабочий не сознает себя одиноким, отверженным, а считает себя членом рабочего класса, преследующего определенные задачи и цели. Много ли, мало ли успел рабочий в этом смысле—это другой вопрос, но что он ростет и развивается, как критически-мыслящая личность, это не подлежит сомнению. И, повторяю, политическая свобода в этом оказала немалую услугу. Ошибочно также думать, будто политическая свобода выдвинула буржуазию, как враждебную рабочему экономическую силу. Великая Французская Революция санкционировала лишь те фактические отношения, которые существовали до революции. Буржуазия уже тогда была единственной экономически сильной социальной группой. Дворянство было разорено: его экономическое и политическое влияние равны были нулю. Крестьянство, добрая половина его, фактически пользовалась личной свободой; от прежней массы феодальных повинностей и стеснений всякого рода остались лишь бледные остатки. Буржуазия выступила в защиту идеалов политической свободы не ради идеалов этих, а для того, чтобы вернее побить злейшего своего врага, феодальную аристократию, с ее феодальными аттрибутами, тормозившими живую предприимчивость и творческие силы буржуазии. Ошибочно, поэтому, думать, будто буржуазия боролась и проливала свою кровь за политическую свободу. Повторяю, не политической свободы она добивалась, а широкой арены для предпринимательской деятельности. Она

то прикрывалась ее щитом—политической свободой, то душила ее, смотря потому, с какой стороны грозила ее опасность. Она первая открыла Бонопарта, одела, обувала и накормила его и объявила «великим человеком». Он велик: он спас ее от Якобинского террора, во-первых; он открыл ей богатый источник наживы,—во-вторых. Она же, напуганная красным призраком Февральской революции, бросилась в объятия авантюриста Луи-Наполеона. Она ни пред чем не остановилась, чтобы забросать грязью республику 48 года: чудовищные слухи, клевета и мерзость всякого рода пущены были в обращение в среду крестьянства. В настоящее время буржуазия почивает на лаврах, спокойная и уверенная, что республика ничем не грозит «священной» собственности, семье и прочим прелестям буржуазного добра. Как ни бледна вообще современная оппортунистическая республика, как ни жалки и ничтожны меры, предпринимаемые ею относительно рабочего класса, которому она пока только глазки делает,—значение ее тем не менее велико. И опять говорю, французский рабочий ни за что не согласится променять республику, ну, хотя бы на «цезарский социализм». А это много значит: французский рабочий, стало-быть, съумел отделить идеалы политической свободы в одну категорию явлений, а буржуазию, с ее тенденциями—в другую.

Я думаю, что и нам пора отказаться от того в высщей степени опасного предрассудка, будто политическая свобода ведет к еще большему угнетению народа. По нашему, эти два явления не находятся в п р и ч и н н о й между собою связи, хотя, может быть, они имеют какую-нибудь общую причину. В историческом движении они несомненно шли рядом, до известной степени реагируя одна на другое. Как продукт критики мысли, идеалы политической свободы ближайшим образом связаны с общественной философией XVIII века. Разрушая старый режим, с его остатками феодальных отношений, с феодальным дворянством и ненавистной всем «infame»[1]), общественная философия VIII века бессознательно подготовляла Великую французскую революцию и вырабатывала элементы для будущего либерализма.

[1]) Ecrasez l'infame!—крылатый лозунг Вольтера в непримиримой и упорной борьбе его с католическим духовенством. *Д.* 1921 г.

Вполне обособившееся в это время третье сословие было политически «ничем», должно было, однако, стать «всем». За него ратовали тогда лучшие люди того времени. Борясь за третье сословие, эти люди были убеждены, что они защищают дело всей нации, всего народа: интересы третьего сословия они отожествовали с интересами всего народа. Третье сословие, одним словом, означало всю нацию, за исключением привеллигированного дворянства и духовенства. Laissez faire, laissez passer не имело в то время того пошлого значения, которое оно получило впоследствии в устах вульгарной экономии и позднейших либералов.

Это был лозунг, объединивший лучших людей того времени в борьбе против опеки, насилия и гнета, практикуемых над личностью и имуществом людей непривеллигированных сословий. Только впоследствии, с диференциацией третьего сословия на два враждебные класса—буржуазию и рабочий класс, обособился и либерализм, как доктрина, преследующая и санкционирующая исключительно интересы буржуазии.

Вместе с тем, и идеалы политической свободы, как один из привходящих элементов либерализма, служа до известной степени буржуазии, подверглись дальнейшему процессу дробления, и крайние их направления весьма близко примыкают к радикальному экономизму. И близко уже время, когда политический радикализм, как самостоятельная партия, потеряет свой raison d'être и сольется либо с социализмом, либо с учением, ему аналогичным.

Таковы, по-моему, значение и роль идеалов политической свободы в историческом их воздействии на буржуазию, с одной стороны, и рабочий класс—с другой. Содействие, оказанное политическою свободою росту буржуазии, если и должно быть признано, то, во всяком случае, не в том преувеличенном виде, как мы до сих пор это делали.

Мы думаем, что услуги, оказанные политической свободой, не больше тех, которые оказали ей же прогресс знания вообще и естествознания—в особенности. Ведь никто же, полагаю, не станет отворачиваться от науки потому, что до сих пор она главным образом служила интересам капитализма? Никто, думаю, не станет называть естественные науки аристократичными или демократичными? Знание, куль-

тура, прогресс—все это лишь сильные и необходимые орудия, при помощи которых может быть осуществлена та или другая цель. Если наука обособилась от рабочего класса, то это лишь один из частных случаев, общего нашему времени принципа обособления, результат «эксцентрического периода» общественности [1]). Не следует смешивать явлений случайных, преходящих с явлениями постоянными, неизменными.

Критика мысли и, как результат ее, политическая свобода всегда останутся лучшими и наиболее целесообразными орудиями борьбы. Человечными же, гуманными и справедливыми они станут лишь тогда, когда они будут вырваны из рук немногих избранных и будут переданы в распоряжение огромной массы рабочего люда. Когда это будет сделано, тогда процесс обособления, охвативший современную общественность до мельчайших ее изгибов, прекратится, а с этим и кончатся всевозможные парадоксы и противоречия. Лучшие люди на Западе вполне сознали это, а потому ревностно работают над политическим развитием рабочей массы. Они сознали, что осуществление социальной революции не мыслимо без одновременного осуществления широких идеалов политической свободы, что старые, заржавленные формы политических организаций служат сильным тормозом для первых шагов революционной. . . . (неразборчиво. А.) деятельности. И нам также пора усвоить эту простую мысль. Настоятельною, поэтому, необходимостию представляется, чтю бы мы отказались раз навсегда от боязни политической борьбы; как партия, мы призваны, если не осуществить, то, по крайней мере, облегчить процесс осуществления прогрессивных стремлений как народа, так и общества. У нас есть общество и народ, как везде, конечно. Общество, интеллигентная часть его, растет и развивается умственно, а с тем вместе растут и развиваются его политические и общественные идеалы, как результат сознательной работы мысли. Народ, хотя и безсознательно, по-своему стремится к правде, бессознательно же борется за более справедливый строй экономической организации. Общество стремится так или иначе реали-

[1]) Терминология Н. К. Михайловского: „Что такое прогресс?“. *А.* 1921 г.

зировать свои идеалы, народ—тоже. Взаимодействие между ними неизбежно. Вопрос только в том, в какой форме это взаимодействие должно сказаться в ближайшем будущем. При современных политических условиях России лучшей, искренно преданной народу интеллигенции отрезан всякий путь воздействия на народ. Только политическая свобода может удалить это препятствие; только при ней мыслимо образование п а р т и й вообще и народной—в особенности, с целью партийной или революционной борьбы, смотря по обстоятельствам. Конечно, и враждебная народу социальная группа, играя на низменных инстинктах его (известной его, народа, части), съумеет съорганизоваться для общественных целей. Но этим, конечно, смущаться нечего: прогрессивные элементы в народе б у д у т и д о л ж н ы расти crescendo с ростом критики и сознания, а с ними будет крепнуть и народная партия. Борьба, конечно, неизбежна и чем скорее, тем лучше. Это не будет недавно прошедшая на наших глазах борьба революционной партии с правительством, в которой как общество, так и народ не участвовали. Та борьба будет ясная, оформленная. Различные течения, общественные и народные, в настоящее время перепутанные, выльются в определенные формы, потекут по определенному руслу. Народ скорее увидит, где его друг и недруг. Замешательство и путаница на первых порах, конечно, будут, но они, смею думать, не будут больше существующих. Одно только важно, что революционная партия, завоевавши хоть минимум политической свободы, съумеет обосноваться в деревне, съорганизовать из прогрессивных элементов в народе н а р о д н у ю партию, которую можно было бы направить в ту или другую сторону. Без политической свободы, повторяю, образование такой партии не мыслимо. Каким путем добиться политической свободы—это дело революционной техники данного времени, которое может быть удовлетворительно решено людьми, близко знакомыми с положением вещей; здесь, вдали от родного берега, в столице Альбиона, мне трудно судить о том, что и как надо по преимуществу в этом смысле делать. Известия с родины доходят до меня из вторых и третьих рук и нередко в извращенном виде. Что же я могу посоветовать при таких обстоятельствах? Моя цель

была лишь показать, какое значение придавала партия политической свободе и борьбе за нее, и необходимость в настоящее время коренным образом изменить этот взгляд.

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к следующему заключению: неудачи наши в народе объясняются: во-первых, политическим строем; во-вторых, инертностью массы, обусловленной отсутствием необходимых мотивов к активному протесту и, наконец, в-третьих, неподготовленностью самой революционной партии, вовлеченной в борьбу в самую тяжелую пору исторической нашей жизни. Ближайшее будущее покажет нам, временное ли это явление, или оно грозит остаться постоянным.

О. В. Аптекман.

Конец.

Именной указатель.

СОДЕРЖАНИЕ.